

Составитель серии  
Артем Драбкин

СОЛДАТЕНИЕ

Эльбруса  
В. Буркоф,  
И. Осипов, А. Уманов

# ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

МЫ НЕ БЫЛИ СВОЛОЧАМИ!



За нашу Советскую Родину!

# ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ. МЫ НЕ БЫЛИ СВОЛОЧАМИ!

В. Беликов, Н. Овсянников, А. Утенков

Серия: **Война и мы. Солдатские дневники**

Издательство: **Яуза, Эксмо** (2006)

ISBN: **5-699-16561-4**

Объём: **672** стр.

Формат: **84x108/32**

Война ворвалась на территорию нашей страны, безжалостно ломая судьбы не только взрослых, вынужденных встать на защиту Родины, но и детей, подростков. И хотя немногим из них пришлось с оружием в руках принимать непосредственное участие в боях, они в полной мере хлебнули военного лихолетья с его безмерными тяготами и тяжелыми утратами. Они вынесли на себе не столько сражения с врагом, сколько с холодом, голодом, одиночеством. Парень из деревни Гнилево, что на Брянщине, едва не расстрелянный за попорченное село, подросток из Сталинграда, чудом переживший ужас бомбежки 23 августа, и анапский мальчишка, ушедший вместе со взрослыми в партизаны, побывавший в боях, прошедший ужас лагеря и застенков гестапо, - у всех у них была своя война, которая оборвала их безмятежное детство, изменив с мальчишеских лет всю жизнь. Прошло больше полувека, но до сих пор она не выходит из их памяти и сердец.

## Н.Овсянников. «АНАПА В ОГНЕ»

На дворе слякотный, холодный март 1941 года... Перед войной при нашей школе инструктором ОСОАВИАХИМа был организован клуб юных моряков. Конечно, мы, анапские пацаны, болели морем! Моряки были нашими кумирами, и когда организовали этот клуб, мы с товарищами с радостью туда вступили. С огромным рвением мы учились морскому делу, проходили практику и через год сдали экзамены на значок «Юный моряк». После нее освоили более серьезную программу на значок «Моряк». И вот наша команда «моряков», окончательно прикипевшая к ОСОАВИАХИМу, помня то, что в июне мы отправимся на Всесоюзные соревнования «Юных моряков» в Ленинграде, занимается шлифовкой всего того, что нам предстоит там показать. Исчерпав всю программу до конца, дотошно вы зубрив теорию, до совершенства отработав практику на море, мы, наконец, завершили свою учебу. Успешно сдав приемной комиссии экзамены, мы получили удостоверения «Инструктор военно-морской работы», хотя по возрасту и не подходили для этого «звания». Страна на подъеме: начатая досрочно в 1938 году 3-я пятилетка успешно выполняется, [6] но в разговорах людей только и слышится: «Быть войне...», «Скоро будет война...».

Этому способствуют указы и постановления правительства: о дополнительной мобилизации в Красную Армию, об увеличении сроков службы в армии и на флоте, о призыве в армию молодежи с 18 лет сразу после школы, сообщения о перевооружении и оснащении армии новейшим оружием и много других фактов. Закончился учебный год в школе, и 10 июня у меня на руках аттестат об окончании 7-го класса. Долой поднадоевшие учебники! Среди учеников возбуждение, предчувствие длительных летних каникул, беззаботного отдыха, купания в море и других прелестей жизни. Но некоторые призадумались... Указом Верховного Совета СССР организуется подготовка квалифицированных кадров из числа молодежи для работы в промышленности и на транспорте. В городах открываются ремесленные и железнодорожные училища (РУ и ЖУ), школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Для желающих посвятить себя военной службе — спецшколы: военно-морская в Ленинграде и Одессе, военно-воздушная (ближайшая к нам) в Краснодаре, артиллерийская в Саратове. Как же нам — «морякам» упустить такой шанс? Это то, что мы хотим, то, чему мы посвятили себя уже два года назад!

Поговорив между собой, мы решили оформлять документы на поступление в Одесскую военно-морскую спецшколу, но отложить это где-то

до июля месяца. А пока — отдых и поездка в Ленинград на соревнования. На том и остановились...

Ранним утром 22 июня, после завтрака, я зашел к Коле Кравченко (мы его звали Крабом), и мы отправились купаться и гулять. Тихое море кристальной чистоты, еще только просыпающееся, мягко ласкало кожу теплом вчерашнего солнца. В такие вот ранние часы, когда не опалает зной, плавать особенно приятно. Мы купаемся, загораем, барахтаемся в песке. К полудню солнце уже припекает и надо отправляться домой — переждать зной в домашней прохладе, а заодно и пообедать. Пятнадцать минут бега трусцой — и мы у ажурного мостика через реку Анапка. Еще десять — и мы у [7] Крепостных ворот, идем улицей Кирова. На перекрестке с Тираспольской, перед домом городского радиоузла, толпится народ, слушая какое-то сообщение из выставленного в окно радиоузла громадного четырехгранного раструба громкоговорителя. Поодаль среди присутствующих стоит, прислонясь к стволу акации у тротуара, Женька Божко, двоюродный брат Коли. Мы подходим и спрашиваем:

— Что случилось? Что передают?

Женька с испугом на лице и почему-то шепотом говорит: «Война, братцы! Немцы напали на нас! Молотов говорит!»

«Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — слышим мы заключительные слова Молотова. И сразу же музыка: во всю свою мощь громкоговоритель извергает песню:

*Если завтра война, если враг нападет,*

*Если темные силы нагрянут.*

*Как один человек, весь советский народ...*

Люди (их не так много), случайные прохожие, медленно — может быть, от растерянности, от неожиданности услышанного, а может быть, боясь комментировать случившееся, молча расходятся.

— Я домой! — вдруг спешит Коля Краб и, не ожидая от меня ответа, торопится к себе. Всего один короткий квартал, и я дома. Мама на веранде возится у примуса и керосинки — готовит обед.

— Мама! Война! Сегодня в 4 часа утра немцы напали на нас!

— Ох, боже мой! — крестится в испуге мама. — Что же теперь будет?!

— А где Борис? — спрашиваю. Мне не терпится ошарашить старшего брата новостью.

— Борис в комнате, спит!

Да, он лежит на своей кровати, лицом уткнувшись в стенку, в ковер.

— Борис, вставай! Война! Только что по радио объявили! [8] Молотов выступал! Я сам слышал! — выпалил я все, что знал, и бросился включать наш репродуктор. Включаю:

*Мы мирные люди, но наш бронепоезд*

*Стоит на запасном пути...*

Радио продолжает поливать бравыми песнями. Борис медленно, нехотя поворачивается.

— Все это бабские сплетни! — говорит он. — Никакой войны не может быть. У нас с Германией крепкая дружба!

Я не удивлен, я возмущен его наглостью — не верить мне! Вообще-то, его реакция на мое сообщение понятна: его заедает, когда кто-то другой, а не он первым узнает новость. Но тут война! Это же не кто-то там кому-то дал в морду!

— Мама! Я не буду обедать! — кричу я.

Какой там еще сейчас обед? Я хватаю кусок хлеба и бегу в ОСОАВИАХИМ. А куда же еще? Там сейчас должны быть все мои друзья, не иначе! Такое событие — и дома сидеть?!

Я не ошибся. Десять, двадцать минут — и все в сборе, благо живем мы поблизости.

Из кабинета начальника слышится приглушенный закрытой дверью разговор по телефону.

— Добро! — кричит он в трубку и тут же выходит к нам.

— Молодцы, что собрались! Вы очень нужны! Пойдемте со мной!

Через соседский двор мы выходим на Пушкинскую улицу, оттуда начальник ведет нас в Горсовет. Поднимаемся по лестнице на 2-й этаж, а там прямо в кабинет председателя.

— Вам задание, — обращается к нам секретарь райкома партии. — Вам поручается оповестить жителей города, кто это еще не знает, о начале войны. Разбейтесь на пары, пройдете по улицам и, заходя в каждый дом, двор, сообщите эту неприятную новость людям. И не только о начале войны! Предупреждайте — с наступлением темноты всем затемнить, позанавешивать окна своих домов и квартир, чтобы наружу не проникал свет. Одним словом, необходимо создать полную светомаскировку. Лица, не пожелавшие это делать, будут оштрафованы! Разъясните, что затемненный город будет недоступен бомбежкам вражеской авиации! [9]

Еще пара слов — и он, повернувшись к стене за спиной, отдернул в сторону шторку на ней. Там оказалась карта нашего города, и он обозначил, куда, по каким кварталам каждому из нас надо идти.

Я с Колей Крабом начал с края города: от Кладбищенской площади по улице Папанина. Нет смысла рассказывать, как проходило наше «оповещение» людей. Скажу только, что реакция людей, услышавших о начале войны, была совершенно не такая, какую потом, в послевоенные годы, будут показывать в кино. Слезы, стоны, рыдания, чуть ли не обмороки — все это было только в кино. На самом же деле, сколько мы ни ходили, сколько ни говорили во дворах, квартирах с жителями — ничего подобного не видели и не слышали. Начало войны, нападение на нас немцев абсолютно не было неожиданностью. Наоборот, обстановка была такова, что все этого давно ждали с тревогой в душе. Угроза начала войны буквально ежедневно, ежечасно витала в нашей среде, так что нападение немцев не вызвало даже удивления: все восприняли это как неотвратимое горе, которое и должно было пасть на нас.

На следующий день начальник ОСОАВИАХИМа обратился к нашей команде с просьбой охранять ОСОАВИАХИМ в ночное время. Мы жаждали дела и согласились. Домой мы ходили теперь только есть, а так круглосуточно были здесь. В нашем же кубрике-классе были поставлены солдатские металлические кровати с полным комплектом чистого постельного белья, на которых мы и спали. Ночами же, с боевыми винтовками, мы поочередно, соблюдая армейские правила несения караульной службы, охраняли снаружи само здание ОСОАВИАХИМа и его двор. Охранять там действительно было что. На складе хранилось оружие: несколько боевых винтовок; учебных с просверленными ствольными коробками; винтовки системы «бердана»; малокалиберные и воздушно-пневматические; охотничьи ружья; много всевозможных патронов; гранаты, толовые и дымовые шашки; средства противохимической защиты и даже «отравляющее вещество» — сжиженный газ хлорпикрин в стеклянных 10-литровых бутылках в плетенках из лозы. [10]

Напротив, не более как в двадцати метрах от наших дверей, — городской радиоузел. Каждое утро мы слушали из его громкоговорителя сводку Верховного командования о боевых действиях за прошедшие сутки, о положении на фронте. Информбюро и его сообщения появились значительно позднее, а пока эту функцию выполняло Верховное командование. Сводки были противоречивы: чувствовалось, что на фронте какая-то неразбериха.

В июле наконец-то выступил по радио с обращением к народу «наш дорогой и любимый» товарищ Сталин. В выступлении, помимо всего другого, он призвал сограждан повсеместно создавать для борьбы с врагом партизанские отряды, истребительные батальоны, народное ополчение.

Вняв призыву вождя, руководители города объявили об организации ополчения и у нас в Анапе. Партизанские отряды были пока что ни к чему, фронт еще далеко. Да и навряд ли немцы доползут сюда! Красная Армия не настолько слаба, чтобы позволить это немцам. Истребительный батальон тоже как-то не с руки. Какие тут могут быть диверсанты-парашютисты, шпионы, паникеры и прочая нечисть?! А вот ополчение почему-то решили создать. По городу было объявлено, что все желающие записаться в ополчение могут это сделать, прибыв в воскресенье на Кладбищенскую площадь.

С утра мы с Колей были уже там. Людей собралось уйма! Пришли какие-то командиры, с трудом навели в сутолоке относительный порядок и поставили всех в строй. Началась запись. Из чего исходили, чем руководствовались в отборе бойцов в ополчение — одним им известно, но из всей массы записали только человек 60–70. Нас не приняли. Сказали: «Четырнадцатилетним пацанам в ополчении нечего делать!»

Но тут один из командиров вдруг громко спросил:

— Кто хорошо, грамотно и красиво, пишет? У кого хороший почерк?

— Вот он красиво и грамотно пишет! — закричал из [11] строя Коля Краб, пальцем указывая на меня. — Он отличник в школе!

Подошел командир:

— Ты и вправду хорошо пишешь?

— Да.

— А ну-ка вот, — он достал из планшетки тетрадку и карандаш, — напиши здесь свою фамилию, имя, отчество и домашний адрес!

Коля Краб согнулся дугой, я положил на его спину тетрадь и написал. Командир прочитал, повертел в руках мною написанное и ухмыльнулся:

— Ты действительно красиво пишешь. Что же, я беру тебя к себе! Будешь у меня в штабе писарем!

Так я стал ополченцем. Штаб разместился на первом этаже пустующего здания сельхозтехникума на Черноморской улице. Куда определить бойцов, командование не знало. Наконец договорилось с Курупром: тот позволил разместить их на пляже, У спуска с набережной было большое летнее сооружение легкой постройки, из фанеры и досок, выкрашенное в ядовито-синий цвет, — «солярий». Летом в нем под наблюдением врачей принимали



солнечные ванны отдыхающие. Почти рядом с ним и «климатопавильон». Сейчас оба павильона были пусты, и здесь временно и прижилось ополчение. Временно — потому, что долго оно не просуществовало.

Недели две-три все еще как-то держалось. Днем ополченцы работали на своих работах, вечером собирались, и с ними проводились далеко не самые необходимые для войны занятия — строевая подготовка, изучение уставов Красной Армии и т.п. Затем спали, кто как примостился в этих самых павильонах, а утром — вновь на работу. С каждым днем на вечерний сбор приходило все меньше и меньше людей. Начальство толком само не знало, как вести себя, чем занять людей, в конце концов махнуло рукой, и ополчение как таковое самоликвидировалось.

Мы продолжали охранять ОСОАВИАХИМ. В какой-то из дней был обнародован приказ не то начальника гарнизона, не то коменданта города, в котором жители города и района [12] обязывались в трехдневный срок сдать в военкомат радиоприемники, фотоаппараты, велосипеды, охотничьи ружья и всякое другое оружие, имеющееся на руках. По прошествии нескольких дней мы, придя в ОСОАВИАХИМ, увидели в учебном классе на полу в беспорядке, навалом сваленные в высокую горку сабли, шашки, кинжалы. А рядом, отдельно — охотничьи ружья. Это было то, что сдано населением во исполнение вышеназванного приказа в военкомат. Но почему оно сейчас здесь? Мы не стали никого спрашивать. Значит, так надо!

С интересом мы рассматривали прямые кавалерийские шашки в ножнах и без, тускло отливающие блеском обоюдоострые палаши, кривые турецкие ятаганы, короткие, изогнутые дугой персидские и отечественные сабли! Я поднял, держу в руках такую, на которой гравировка: «За доблесть в бою казаку Чуприне от атамана Платова». Подумать только — подарок казаку от легендарного атамана! Да эта сабля должна храниться в музее! А вот другая, — на этой подлине всего клинка вычеканено: «Есаулу Шеремету от благодарной императрицы Екатерины II». На других просто: «За храбрость!», «За доблесть!». А вот красиво, славянской вязью оттиснуто: «Уряднику Скибе за веру, за царя, за Отечество».

Некоторые эфесы были с затейливыми темляками, другие — без. В ножны некоторых искусно вделаны посеребренные пластины, а есть и позолоченные, на которых тоже дарственные подписи или просто звание и имя владельца сабли. Были, конечно, и простые шашки, без каких-либо украшений, не именные. Очень много было кинжалов. Маленькие, иные можно за пазухой носить, и длинные — в полсабли. Рукоятки некоторых, да и ножны к ним, — тоже в украшениях. Все это историческое богатство



брошено и навалом, сиротливо валяется у наших ног. Зачем было отбирать это у людей? Кто позаботится теперь об этом уникальном оружии? Эх! Пропадает казацкая слава!

Наше нахождение в ОСОАВИАХИМе не ограничивалось только тем, что мы охраняли его и дежурили у телефона. Приходилось выполнять много разных поручений самого [13] председателя, а также и руководителей города, военкомата, коменданта. Анапа была уже объявлена на «военном положении», был установлен комендантский час, разрешавший жителям быть на улицах не позже 7 часов вечера и не раньше чем с 6 часов утра. По городу ходили военные патрули, и в ночное время их число во много раз увеличивалось.

Все же то, что мы делали в ОСОАВИАХИМе, нас не воодушевляло. Да, мы не сидим дома, не бездельничаем, как многие другие наши сверстники, и хоть что-то вносим в общее дело. Но хочется чего-то большего, живого! Мы хотели быть бойцами истребительного батальона, который был создан в конце июля и расположился в санатории им. Крупской. Мимо ОСОАВИАХИМа каждый день повзводно, а то и поротно проходят строем его бойцы. Они идут на полевые занятия в район аэродрома, а потом обратно. Мы с Колей Крабом с завистью провожаем взглядом их стройные ряды, браво под песню чеканящие шаг по булыжникам мостовой. Вот бы нам так же, как они, ходить с оружием строем на занятия, нести гарнизонную службу... Но, к огорчению таких четырнадцатилетних пацанов, какими были мы, из-за нашей молодости нас не принимают.

Со стороны улицы Калинина — вход в санаторий им. Крупской. В высоком каменном заборе — арка, и в ней красивые металлические ворота из затейливо гнутых прутьев. У ворот часовой — боец батальона. Я и Коля Краб стоим и униженно, подхалимски просим его пропустить нас во двор, в штаб, к комбату. У нас страстное желание поступить, быть принятыми в батальон! Вчера битый час так же, как и сейчас, мы просили, умоляли часового пропустить — не пустил. Сегодня — все сначала.

— Не положено! Посторонним на территорию входить нельзя! — деланным, очень строгим голосом, гонит нас от себя часовой, для пущей убедительности держа винтовку на изготовку.

— Тогда вызывай начальника караула, если сам не можешь пустить! — потеряв терпение, требуем мы.

А вот, к счастью, и сам начальник караула Карнач идет со сменой к воротам. [14]

— Вы что здесь крутитесь? Что вам надо? — так же, как и до этого часовой, с напускной строгостью спрашивает он нас.

— Нам надо поговорить с командиром батальона. У нас к нему важное дело!

К нашему удивлению, он не против: «Ну, раз важное дело — пойдете!»

Мы входим в ворота, следуем за ним. В дальнем углу двора отдельно стоящий домик — там штаб батальона. Карнач оставляет нас в крохотном коридорчике, а сам после стука в дверь и «разрешите войти!» вошел к командиру. Через пару секунд дверь вновь открылась. Голова Карнача приглашает: «Входите!»

За письменным столом сидит старший лейтенант Корчагин, командир батальона (его фамилию мы с Колей знали еще до прихода сюда). Он молодой, симпатичный, в форме чекиста, которая ему очень идет.

— Какое у вас дело ко мне? С чем пришли? — спрашивает он, пристально рассматривая нас.

— Примите нас в батальон! Мы очень хотим быть бойцами батальона! Мы умеем стрелять из винтовки. Учились военному делу в ОСОАВИАХИМе.

— Вот с этим только вы и пришли сюда? — Корчагин с удивлением и, как мне показалось, с легкой усмешкой смотрит на нас. — Вы учитесь в школе?

— Учимся!

— В каком классе?

— Седьмой закончили!

Не более как на секунду задумавшись, Корчагин твердо, голосом, не допуская никаких возражений, сказал:

— Идите и продолжайте учиться в школе!..

— Да, но...

Прервав его, я попробовал добавить еще какие-то доводы в пользу нашей просьбы, и Корчагин с раздражением сказал уже «командирским голосом»:

— Когда ваша помощь будет нужна нам, мы вас позовем! Никаких больше разговоров! Идите домой!.. [15]

Мы с Колей Крабом, подавленные неудачей, молча сидим у него во дворе. Настроение отвратительное.

— Подсаживай меня, а потом я тебе подам руку! — тихо, вполголоса говорю я. Дождавшись вечером полной темноты, мы лезем через высокую

стену забора санатория им. Крупской со стороны улицы Кирова. Часовой только что прошел здесь и направился дальше. Вполне благополучно преодолев забор, мы быстро проскальзываем в глубь двора к нужному нам домику штаба батальона. Еще минута — и мы стоим перед столом командира Корчагина.

— Вы, опять вы?.. — Он даже встал от удивления. — Как вы попали сюда? Кто вас пустил?.. Начальник штаба! — кричит он в гневе в полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. — Опять!..

Тут же оттуда появляется небольшого роста, в очках, неказистый на вид, но в полной армейской форме и даже с портупеей через плечо начальник штаба батальона Окунь.

— Что у нас происходит? — напускается на него комбат. — Как могли проникнуть сюда эти пацаны? Вы как попали сюда? — психуя, спрашивает он теперь нас.

— Мы... через забор!

— Что-о? Через забор?! — Корчагин оторопел. — Окунь! Это вот так налажена твоя караульная служба?.. Ну, дожили! Идет война, а территория воинской части — проходной двор!..

Вдруг гнев его как рукой сняло.

— Иди, занимайся своим делом! Потом поговорим! — приказал он Окуню, так и не успевшему ничего сказать в оправдание.

Окунь вышел.

— Ну, что вы теперь еще скажите? — Корчагин, уже сидя за столом, удавом смотрит на нас.

— Примите нас в батальон!..

После такой бурной реакции комбата на наше появление здесь мы уже не надеялись на что-то положительное. Но тем не менее стояли, дерзко смотрели прямо в глаза ему. [16]

— Я вас не приму, а знаете, куда сейчас пошлю? — Корчагин опять начал наливаться гневом.

Открывается входная дверь — и... на пороге Кравченко, Дмитрий Алексеевич. Увидев нас, он сразу заулыбался. Комбат повернулся к нему:

— Посмотри, комиссар, до чего мы докатились! Вот эти двое свободно, как к соседу в сад за яблоками, перелезли через забор — и прямо ко мне в штаб! Мы, воинская часть, в военное время, что — не можем себя охранять? Сегодня они, а завтра кому-то еще чего захочется в штабе?..

Разобравшись с нашим появлением здесь и успокоив комбата, комиссар сказал ему:

— А что, почему нам не принять этих сорванцов в батальон? Боевые, находчивые хлопцы, они это уже доказали своим проникновением сюда. Будут у нас разведчиками! Я их отлично знаю. Это вот мой племянник, — он кивком головы показал на Колю. — А это его друг! Я знаю его отца, мать. В общем, ребята надежные. Зачисляй их, комбат, в батальон — не прогадаешь!

Корчагин вроде бы заколебался, а потом вдруг стукнул ребром ладони по столу:

— Добро!..

— Почему ты раньше не сказал, что твой дядя Митя комиссар батальона? — спрашивал я потом Колю Краба. — Мы бы сразу попросили его оформить нас в батальон! Не надо было бы лазить через забор, просить часовых.

— Да как-то не сообразил... И стыдно было просить дядю Митю!

Но как бы там ни было, мы оба с 20 июля 1941 года — рядовые бойцы истребительного батальона № 66 войск НКВД, дислоцированного в г. Анапа.

...Батальон был сформирован примерно две недели назад, 3 июля. Надо сказать, что желающих вступить в него было более чем достаточно. Одни желали этого действительно из искреннего чувства патриотизма, другие же, как мне кажется, шли в батальон с целью как-то оттянуть свою личную мобилизацию в армию, после которой следовала немедленная отправка на фронт.

Дисциплина была на самом высоком уровне. И не только [17] потому, что этого требовали командиры: сами бойцы боялись нарушить ее своим каким-либо проступком и из-за этого быть отчисленными, выгнанными из батальона. Как-никак служить в родном городе, рядом со своим домом и семьей лучше, чем отправляться в пекло фронтовых боев. Но принимали не всех подряд, а только после тщательной проверки каждого. Учитывались возраст, здоровье, чистота биографии. Играла роль и партийность, принадлежность к комсомолу, активность, авторитет на работе. Были и такие, которые с начала войны получили «бронь» — освобождение от мобилизации в армию по причине их незаменимости в работе. Этим, как говорится, сам бог велел вступить в батальон. Иначе как еще докажешь свой патриотизм, как оправдаешь свое пребывание дома, когда рядом всех под метелку забрали в армию? Но, как бы там ни было, батальон с момента его формирования и в ближайшие месяцы представлял из себя вполне сплоченный, крепкий, боевой отряд.

Состоял батальон из двух рот. В каждой роте по два взвода; в каждом взводе по три отделения. Естественно, был штаб: в нем начальник штаба,

писарь, начальник боепитания, отделение связи, хозчасть. Была отдельная группа девушек-санитарок. Общая численность личного состава — около 150 человек. Вооружены мы, бойцы, были польскими карабинами. Польский герб, марка завода и номер карабина были выбиты на его казенной части. Это оружие было захвачено нашей армией в 1939 году у поляков при освобождении Западной Украины и Белоруссии и при разгроме самой польской армии. На весь батальон было два ручных пулемета. Один наш, конструкции Дегтярева, а другой, как и карабины, — трофейный, чешского завода «Брно». У командира и комиссара автоматы ППД и по пистолету «ТТ».

На складе боепитания в штабеле хранились ящики с бутылками горючей смеси для уничтожения танков противника. Там же, на складе, было небольшое количество гранат «Ф-1» и «РГД-33». В добавление ко всему этому уже где-то весной 1942 г., когда немцы взяли Ростов и готовы были ринуться на Кавказ, в батальон поступило диковинное для нас всех оружие — американские автоматы «Томпсон», всего [18] 14 штук. Нас удивило не только то, откуда они взялись, но и сама их конструкция. Калибр устрашающий: 12 мм. Если учесть, что винтовки имели калибр 7,62 мм, то это говорило о многом. Влепить такую пулю в лоб фашисту — разнесет его череп на куски! Во всем автомате один-единственный винт, крепящий ствольную коробку к прикладу. Выверни его — и затем автомат разбирается до последней своей детали без отвертки, просто пальцами. К каждому автомату имелась брезентовая сумка с четырьмя отделениями: в них четыре запасных прямых магазина-рожка. В каждом рожке по 16 патронов.

— Мало патронов в рожке! — обменивались мнениями об автоматах бойцы батальона. — У наших в магазинах по 72 патрона. Вот это да! А эти что? Нажал на спусковой крючок — и через 2–3 секунды патронов нет! А где их еще возьмешь? В Америку ехать, что ли?!

— Чепуха эти автоматы! — говорили другие. — С ними не повоюешь в бою! Это, по всей видимости, у них, американцев, — оружие полицейских!

Несмотря на внешнюю привлекательность, легкость в весе, бойцы не хотели менять свои карабины на них.

— Карабин все же надежнее! И патронов к нему сколько хочешь!

— Да-а! — добавляли другие. — Вот если бы нам выдали наши автоматы «ППШ»!

Со временем, по мере приближения фронта, у проходящих через город воинских частей мы всевозможными способами приобрели и другое оружие. Появился у нас и ротный миномет. Правда, мин к нему не было ни одной.

Мы видели, держали в руках, разбирали, изучали трофейные немецкие «вальтеры», «парабеллумы»... Вот так мы были вооружены. Надо добавить еще то, что каждый из нас имел противогаз.

В жизни города июнь прошел относительно спокойно. Война, фронт были еще далеко от нас, и городские организации и предприятия работали более-менее нормально. Но в поведении горожан чувствовалось напряжение, тревога. В воздухе под городом застыло, висело что-то [19] давящее, гнетущее, убрав с лиц людей улыбки, сделав их суровыми, озабоченными. Чего удивляться: идет война! Сам город не менее мрачен, чем его жители. В первые же дни войны городские власти приказали выкрасить все дома в черный цвет. Это для того, чтобы немецкие летчики, пролетая над городом ночью, не видели его. Никакой проблемы с краской не было: жители выскребывали из печных труб домов сажу и ею мазали стены. Но, как показала в дальнейшем жизнь, окраска домов ничего не дала. Пустая, никчемная затея!

Стекла в окнах, также в приказном порядке, жители заклеили полосками бумаги «крестом» на клейстере. НОВОРЭС пока еще давал свет городу, но с наступлением темноты окна в домах тщательно занавешивались чем попало, не оставляя ни малейшей щелочки, через которую свет проникал бы наружу. В городе непроницаемая темень! С вечера по дворам, улицам ходят квартальные, общественники, следят, чтобы нигде не просвечивалось.

— Вы что, хотите помочь немцам видеть город? Вы что, сигналите им светом? — такими убийственными вопросами давили они незадачливых, испуганных хозяев, у которых где-то сквозь щелочку в оконной раме пробивался наружу лучик слабого света, невидимого уже в трех шагах от окна.

Но если ночью затемненный город был безлюден, то днем наоборот. Мне кажется, с войной он стал еще более оживленным. Несмотря на то что многие уже были мобилизованы в армию, людей стало как будто еще больше. С продуктами в магазинах стало туговато. Хлеб продавали нормированно, по карточкам. У хлебных магазинов громадные, в несколько сот человек очереди. У радиорепродукторов-громкоговорителей, выставленных на улицах, толпы людей, слушающих очередную неутешительную передачу последних новостей. В первые дни войны, когда все ожидали только победных реляций (иначе никто и не мог думать), при входе в городской сквер вкопали два столба. На них укрепили огромный фанерный щит с нарисованной красками географической картой. От края до края щита был изображен величавый Советский Союз с граничащими с ним

на западе [20] странами Европы. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря была на гвоздиках проложена красная ленточка. Она ломаной линией фиксировала положение фронта на данный момент, согласно поступающим сводкам. Начальству мыслилось, что наша Красная Армия будет успешно громить зарвавшихся фашистов по всему фронту и гнать их туда, откуда они пришли. Тогда ленточка на карте красиво показывала бы ее героические успехи в продвижении на запад. Но в последующие дни все получилось наоборот... Наша армия отходила на восток, ежедневно оставляя врагу город за городом. Лента на карте ползла не в ту сторону, в которую хотелось бы. Людям было стыдно смотреть на нее, и последними городами, зафиксированными лентой, были одновременно оставленные фашистам на Украине Первомайск и Кировоград. После этого ленточка провисела неподвижно еще несколько дней и затем незаметно, стыдливо была снята с карты. Больше фронт на карте не фиксировался.

Почти каждый вечер в густых сумерках со стороны моря слышится подвывающий гул немецких самолетов, летящих с крымских аэродромов бомбить город и порт Новороссийск. Туда, в Новороссийск, они, тяжело груженные бомбами, идут высоко морем, подальше от берега, опасаясь быть обстрелянными зенитками. Назад же, после бомбежки, облегченные, они нагло, пренебрегая безопасной высотой полета, проносятся над Анапой, спеша на свои базы в Крыму. Наш город пока не трогали.

Обстановка в стране все более осложнялась. Где-то под Ленинградом, под Смоленском шли ожесточенные бои. На юге, ближе к нам, румыны 5 августа полностью окружили, заблокировали с суши Одессу. Началась героическая оборона города, все больше и больше требовавшая подпитки боеприпасами и воинскими частями. По Анапе покатила вторая, более глубокая волна мобилизации. Подбирали под гребенку почти всех без исключения, кто соответствовал по возрасту. На какие-то там дефекты в здоровье медкомиссия уже мало обращала внимания. Брали уже и с плоскостопием, и с близорукостью, с отсутствием одного-двух пальцев на руках и ногах, что до войны было строжайше запрещено. [21]

У военкомата, что в небольшом доме на углу Пушкинской и Ленинской улиц, столпотворение, — здесь сотни людей со всего города и района. Идет мобилизация! Призывники прибыли сюда вместе с семьями, родственниками, друзьями, многих из которых завтра-послезавтра постигнет такая же участь. В воздухе жаркое, августовское марево. Стоны отчаяния, причитания женщин, провожающих своих родных. Люди стоят тесно, запрудив ближайшие кварталы улиц, стоят сплошной массой, огромной



толпою. Объятия, шумный говор прощания и плач, плач, плач. Местами, вырываясь из общего гама, слышатся печальные, с надрывом в голосе, хмельные песни.

Как уж там проходил сам процесс мобилизации, как работала медкомиссия, как писаря военкомата успевали оформлять каждого призывника в бумагах при таком их огромном количестве — трудно себе представить, но к концу дня все закончилось. Был сформирован 714-й полк. Ему сразу же дали имя «Анапский», что в то время еще не было распространено в Красной Армии. Такое наименование было дано не только из-за того, что в полку были анапчане, а больше потому, что полк с таким именем существовал и до революции в царской армии, получив право называться так за заслуги перед Отечеством. С началом войны власть стала восстанавливать старые традиции... Полк без задержки был пешим порядком направлен на станцию Тоннельная, затем в порт Новороссийска, там на корабли и — морем в полыхающую огнем Одессу.

Прошедшая мобилизация подобрала кое-кого и из нашего батальона. Может быть, эта причина подтолкнула командование принять группу добровольцев из числа молодежи города, в основном учеников моей школы. Теперь рядом были близкие мне товарищи и друзья.

Где-то в начале августа, поздно вечером, в районе Анапской бухты почти разом прогремели два мощнейших взрыва. Земля содрогнулась, посыпались стекла в домах на Набережной улице, Джеметинском шоссе, в гостинице «2-я пятилетка». На другой день пошли слухи. Кто говорит — немецкий самолет сбросил две огромные мины, чтобы заминировать [22] бухту, но как-то неудачно, и они взорвались. Кто — что это были просто тонные бомбы, упавшие на песок пляжа в Бимлюке. Что бы ни было, но это были «первые ласточки» для города. Не прошло и двух недель, как бомбежка стала регулярной, причем с каждым днем все более ожесточенной.

Первые две бомбы упали в 10 часов вечера на квартал жилых домов между улицами Терской и Горького. Одна из бомб взорвала дом соседа моего хорошего знакомого Мишки Голотова. Мы, бойцы батальона, в этот вечер после занятий по военному делу высыпали из помещений санатория во двор и стояли, перекуривая перед отбоем — отходом ко сну. Был обычный тихий, теплый летний вечер. В небе прослушивался, теперь уже постоянно, шум моторов наших истребителей, патрулирующих небо над Анапой. Вдруг в этот привычный для нас шум вклинился какой-то свист, с нарастающей силой переходящий в вой.

— Самолет пикирует! — успел крикнуть кто-то. Раздался взрыв. Это и были первые упавшие на город бомбы.

Вчетвером мы бегом бросились к месту взрыва. В темноте трудно что-либо рассмотреть. Бесформенные остатки саманных стен разрушенного дома; из вороха черепицы торчат балки, стропила; под ногами у нас сплющенное в блин новое цинковое ведро, еще какой-то хлам. Стоит какой-то тяжелый, густой запах чего-то незнакомого, тревожного, ранее не слышанного. Убитых мы не видим: плачущая женщина-соседка говорит, что всех убитых и раненых увезли в морг и больницу. Другие свидетели взрыва рассказывают, что рядом на Терской улице стояли красноармейцы с лошадьми, человек шесть. Все погибли: и лошади, и солдаты.

— Там на тротуаре столько крови. Ужас! Идите посмотрите, если не верите!

Смотреть не хочется. Мы спешим в батальон. Ушли-то без разрешения, считай, что в самоволку! Как бы не нагорело нам!

Арсен подбирает с земли осколок от бомбы. Мы с любопытством осматриваем, ощупываем «первый привет от врага [23]». Осколок длинный, узкий, с острыми зазубренными краями.

— Оставлю себе на память! — говорит он.

— На хрена он тебе сдался?! — ворчит Славка. — Дело идет к тому, что скоро, наверное, лопатой надо будет сгребать такие осколки!..

В последующие два дня немцы, уже днем, высыпали бомбы в Приморский парк, что у пляжа. По-видимому, они пытались бомбить суда в порту и саму пристань, но получился недолет. Бомбы взорвались, но жертв не было, если не считать одну убитую осколками корову, пасущуюся на газонах парка.

Надо сказать, что к тому времени в Анапе на аэродроме базировался 7-й авиаполк подполковника Душина. В полку имелись самолеты-истребители: 9 «МиГ-3», 5 «Як-1», 4 «ЛаГГ-3», 1 «И-15». Самолетов для защиты такого города, как наш, было более чем достаточно. Но почему-то, как нам всем виделось, никакого эффекта от них не было. Немцы бомбили город, порт и аэродром когда хотели: и днем, и ночью. Наши истребители, обычно в паре, круглосуточно «висели» над городом, но бомбы почему-то всегда сбрасывались немцами безнаказанно.

В Джемете, Бимлюке, у самого берега в кучугурах стояли зенитные батареи среднего калибра. Стояли они и в самом городе: в курзале на Якорном мысу у обрыва к морю, у бойни и у хлопкового завода. А пулеметных зенитных установок в виде спаренных «Максимов» на

автомашинах-полуторках «ГАЗ-АА» и крупнокалиберных ДШК на катерах-охотниках в порту было и того больше. Во время полета вражеской авиации из всех этих стволов открывался огонь такой плотности, что казалось — куда там прорваться самолету к намеченной им цели? Все небо сплошь в черных и белых облачках разрывов снарядов, пронизанное насквозь трассами пуль пулеметов! Но самолеты прорываются сквозь этот огненный ад, пикируют и бомбят!

А если все такое происходит ночью, то картина еще более потрясающая: небо — сплошное море огня! Зенитчики-артиллеристы и пулеметчики, не видя самолетов, палят в [24] небо бесприцельным заградительным огнем. В первом своем заходе немцы сбрасывают осветительные бомбы на парашютах. Они медленно опускаются и освещают все вокруг так, что хоть иголки собирай на земле. По небу беспорядочно мечутся яркие, кажущиеся голубыми лучи прожекторов, установленных где-то под Джемете и в Анапе у аэродрома. В общем, для тех, кто не забился в страхе в спасительную траншею-убежище, — картина впечатляющая!

Хотите верьте, хотите нет, но мы, будучи невольными свидетелями всех этих ужасных бомбежек, неистового огня зенитчиков, воздушных боев наших самолетов с немецкими над городом, не видели ни одного случая, когда бы на наших глазах был сбит фашистский самолет. Или хотя бы был подожжен, чтобы улетал, оставляя за собой хвост дыма. Обидно, но такого мы не видели!..

Мы, бойцы истребительного батальона, были на «казарменном положении № 2» — так нам объявило наше командование. Это значило, что мы находились в батальоне не постоянно, а только с 18 часов до 6 часов, т.е. ночью. В остальное время суток каждый занимался тем, чем хотел, как если бы он не состоял в батальоне. Все работали на своих местах в организациях, предприятиях, были дома с семьями, а в 6 часов вечера обязаны были прибыть в батальон, где начальник боепитания на складе выдавал закрепленное за каждым его собственное оружие: винтовки, патроны в патронташах, противогазы.

До наступления темноты тут же, на территории санатория, проходили занятия по строевой подготовке: мы отрабатывали, шлифовали мало нужное в войну — «действия бойца в строю и вне строя» в соответствии с «Уставом строевой службы Красной Армии». И так часа два. Затем переходили заниматься в спальные корпуса санатория (теперь они были нашими казармами). Здесь, затенив окна, мы изучали оружие. Неделя, десять дней таких занятий — и каждый из нас узнал свое оружие в совершенстве. Мы

разбирали до последней детали и собирали потом на свету и в полной темноте, на ощупь, винтовку, гранаты, наши ручные пулеметы: чешский и Дегтярева. Крутили, вникая в его суть, прицел [25] миномета, запоминали мудреные названия деталей оружия и противогаза.

Занятия проводил командир взвода. Штатных, армейских, кадровых командиров у нас не было: на эту должность просто назначали одного из более-менее инициативных, деловых, умеющих хорошо подавать команды. Моим командиром взвода был слесарь винзавода: человек уже в возрасте, член партии (что было немаловажным). Фамилию его я, к сожалению, не помню. Военное дело он знал ровно столько, сколько и все остальные, так что и сам учился и нас учил. В 23.00 — отбой. Спать ложились все за исключением тех, кто был назначен в караул. Два взвода поочередно заступали в наряд, несли караульную службу. Мы постоянно охраняли (пока только в ночное время) райком партии, почту, телеграф, радиостанцию. Были посты в порту, несли мы патрульную службу по городу и в составе гарнизонного наряда. Ну и, само собой, охраняли самих себя, всю территорию санатория им. Крупской.

Нельзя думать, что служба в батальоне была легкой, — этакой игрой в солдатики, забавой. Чего только стоили ночные «марш-броски»! Только разомлешь, погрузишься в сон, и в час-два ночи вдруг: «Тревога!» Мгновенно вскакиваем с кроватей, минута, — и мы уже одетые, в полном снаряжении стоим во дворе в строю.

— Фашисты выбросили парашютный десант диверсантов в районе станции Натухаевской! Наша задача: обнаружить, локализовать место высадки, найти и уничтожить! — отдает приказ командир роты. — Бегом марш!..

Мы бежим строем. Винтовка, противогаз, 60 штук патронов на животе в патронташе тяжелым грузом висят, давят... Бежим, пыхтим. Темень такая, что бегущего рядом соседа не видишь!

Где-то уже под станицей Анапской, когда многие не могут бежать, задыхаются, раздается команда:

— Шагом!.. Не отставать!..

Мы переходим на шаг, быстро проходим станицу и там, спотыкаясь о булыжники разбитого шоссе, вновь трусцой продолжаем бег. Потная рубашка и растертое ремнем винтовки [26] плечо... Казалось, мы уже не в состоянии сделать и шагу дальше, но после получасового отдыха вновь следует приказ:

— По данным разведки, диверсанты зафиксированы в районе колхоза им. Кагановича! Прочесать местность!

Вновь «бросок», но теперь хоть утешает то, что бежим мы уже назад, в сторону города. К утру, еле передвигая ноги, шагом плетемся в свое расположение. Чистим, сдаем оружие и... по домам. Вот когда пригодилась мне физическая закалка, приобретенная на занятиях по военному делу в ОСОАВИАХИМе! Тогда подобные броски в Варваровку, изнуряющая гребля веслами в шлюпочных походах закалили меня надолго! Еще не один раз я буду с благодарностью вспоминать инструктора, натаскавшего нас, мальчишек, в выносливости, закалившего в нас волю при любых обстоятельствах приходиться к финишу без нытья, со стиснутыми зубами, — даже если тебе уже невмоготу...

Пока что служба в батальоне тяготила только вот такими частыми марш-бросками и несколько нудной караульной службой. Потом, со временем, стало намного хуже и опасней.

\* \* \*

Как-то в перерыве между занятиями ко мне и Коле (мы сидели во дворе на скамейке у курилки) подошел комиссар, его дядя Митя Кравченко.

— Ну как дела, комсомольцы? — обратился он к нам.

— Нормально! — говорим. — Только мы не комсомольцы!

— Как это не комсомольцы? — опешил комиссар. — Идет война. Вы бойцы-добровольцы истребительного батальона — и в стороне от комсомола? Такого не должно быть!

— Так нам еще только по пятнадцати лет, а в комсомол можно с шестнадцати! Не примут!

— Почему не примут! Вас обязаны принять! Пишите заявления, я протолкну это дело!

Мы с Колей написали все, что надо: заявление, автобиографию, заполнили анкету и карточку, в которой обязаны [27] были дать письменное поручительство два члена партии. За меня поручился сам комиссар и мой командир взвода. Мы приложили к этим бумагам по две фотокарточки и отдали все комиссару.

Через несколько дней, вечером, когда уже достаточно стемнело, меня, Колю Краба, и еще двоих ребят вызвали в райком комсомола, располагавшийся в одном квартале от батальона. Несмотря на поздний час, в кабинете секретаря, освещенном большой настольной электролампой под зеленым абажуром, сидело несколько человек. Здесь были сам секретарь Булатников, начальник НКВД Булавенко, наш комиссар Кравченко и еще какой-то незнакомый мне человек.



Д. А. Кравченко — комиссар  
2-го Анапского партизанского  
отряда

Беседовали с нами с каждым в отдельности. Я был первым. Стоя, я прочитал свое заявление, в котором клялся быть верным ленинцем, стойким борцом за дело Ленина-Сталина, рассказал биографию. Мне задавали вопросы, но было видно, что это формальность. Надо сказать, что я очень боялся процедуры приема в комсомол.

Выслушав всех нас, члены комиссии перебросились между собой фразами, из-за стола встал Булатников. Широко улыбаясь, он поздравлял и пожимал каждому из нас руку, вручая комсомольские билеты. Оказывается, билеты были выписаны на нас уже заранее, и фото были наклеены.

Что говорить? Конечно же, мы были очень рады! Бегом, прыгая вниз по широкой лестнице, мы спустились на улицу. Переполненные радостью, гордостью, что мы теперь комсомольцы, мы становимся в строй, и хотя нас всего четверо, идем в ногу. Твердо ступая по булыжникам мостовой, мы орем от избытка чувств во все горло песню:

*Дан приказ ему на запад,  
Ей в другую сторону,  
Уходили комсомольцы  
На Гражданскую войну...*

Жалко было, что ворота санатория Крупской были совсем близко! Хотелось идти и орать, идти и орать!.. [28]

Мы, молодые ребята, вначале были разбросаны по ротам и взводам. Говорили, что в каждой роте, взводе должны быть шустрые, быстрые, вездесущие мальчишки-бойцы. Потом нас, наоборот, собрали всех в один взвод, назвав его комсомольско-молодежным. Во взводе было 24 человека. Командиром назначили недавно закончившего школу умного и интеллигентного парня Жору Широчинского, который к назначению его на эту должность отнесся со всей серьезностью. Ходил он в военной форме: гимнастерка с петлицами на воротнике под широким командирским ремнем с портупеей, брюки-галифе, хромовые сапоги, фуражка.

Нашему взводу выделили отдельный дом на территории санатория, с чистыми постелями на железных кроватях в спальнях комнатах. Молодость брала свое! Вечерами, пренебрегая командой «Отбой!», мы далеко за

полночь возились, шумели, пели, рассказывали анекдоты, а бывало, часами сидели, лежали, слушали приносимые Жорой и читаемые им же нам редчайшие приключенческие книги из его богатой домашней библиотеки. Приходили пообщаться с нами девчата из сандружины. Как-то комбат нам разъяснил: «Мы выделили вас, молодежь, в отдельный взвод потому, что вы теперь причислены в помощь заградотряду НКВД». В чем это выразилось, мы вскоре узнали на практике.

НКВД располагался в отдельном доме фасадом на Ленинскую улицу. При доме глухой, обширный двор. Глухой потому, что он вкруговую отделен от любопытствующих взглядов высоким каменным забором. Какой он из себя, этот двор, что там, — никто из жителей города и не пытался узнать. Само название этого учреждения звучало угрозой, подавляя любопытство.

Каждый вечер одно-два отделения нашего взвода приходило сюда для выполнения спецзаданий совместно с матросами моршколы. К полуночи начиналась наша работа. Выделялась группа из 6–10 матросов. Старший группы — обязательно командир получал задание, и, прихватив одного-двух из нас, моряки шли «на дело». Выглядело это примерно так. [29]

Быстрым шагом мы идем по улицам вслед за командиром. Какие-либо разговоры между собою, даже шепотом, запрещены. Город на военном положении, сейчас комендантский час, поэтому он безлюден, тих, вокруг полный мрак. Я рядом с командиром, выполняю роль проводника, хорошо знающего город.

— Нужна улица Новороссийская! — тихо, на ходу говорит он мне. — Далеко еще?

— Нет, не далеко! — отвечаю я. — Сейчас будет Терская, Крымская, потом Новороссийская.

Вот и она. Подходя к перекрестку, командир опять ко мне:

— Номера домов куда идут?

— Влево! Четные по правой стороне, нечетные по левой!

Сворачиваем на улицу и идем по четной стороне. Командир через два-три двора всматривается в номера на домах. А вот и нужный номер: в глубине небольшого двора отдельно стоящий дом. Калитка на запоре. По знаку командира один из матросов сигает через забор — и калитка открыта. Темно и тихо. Еще команда — и матросы с оружием наготове уже вокруг дома, у окон, у сарая. Командир, два матроса и я — у входа в дом. Он негромко стучит в дверь. Долго ни звука. Наконец, после очередного стука, за дверью настороженный голос женщины, видно, понявшей, что стучащий не отстанет, пока не отзовешься:



— Кто стучит, что надо?

— Откройте, милиция!

— Я не открою! Не верю, что вы милиция! Уходите!

— Не рассуждайте, открывайте! — Голос командира суров. — Гражданка! Считаю до трех и ломаю дверь!

— Ой, не надо! Я открываю!

Слышится шум убираемого запора, звякнул крючок, дверь открыта. Командир теснит плечом молодую женщину из сеней в комнату, за ним и мы; не давая ей опомниться, вопрос:

— В доме кроме тебя кто есть?

— Нет, никого нет, я одна! — испуганно лепечет хозяйка.

— Осмотреть! — Командир кивнул матросу головой на [30] противоположную дверь в комнату, сам в спальню. В руке у него пистолет.

Я с карабином на изготовку, палец на спусковом крючке, за ним. Беглый взгляд вокруг по комнате. На разобранной кровати явно кто-то лежит, укрывшись по-глупому с головой одеялом. Рывок, одеяло летит на пол. На кровати, полностью одетый, даже в ботинках, лежит, вытаращив на нас глаза, мужик.

— Встать! — Пистолет командира уперся в висок мужика.

— Стоять у двери! — приказывает мне командир.

Небольшая быстрая возня — и руки у мужика связаны назад. Только вывели хозяйку и ее гостя за калитку, как тут же подъехала полуторка из НКВД.

«Смотри, как рассчитали по времени! — мысленно удивляюсь я. — Машина подошла точно, как по расписанию!»

Вот такая операция. Кто этот мужик? Кто хозяйка? Каким образом у НКВД этот адрес и все прочее? Мне никто ничего не рассказывал. «Не положено!» — как говорят в армии.

Как-то, уже под утро, группа моряков в пять человек, и я в их составе, пришли по адресу: ул. Протанова, 12. Как всегда в подобных операциях, мы бесшумно входим во двор. Двое матросов к окнам дома, командир, еще матрос и я — ко входу. Все по стандартному сценарию. Стучим, нам долго не открывают. Наконец кто-то подходит к двери. Называем себя милицией. Небольшая словесная перепалка через закрытую дверь — и она открывается. Проталкиваем открывшего дверь мужчину внутрь квартиры, и следует быстрый беглый обыск. Полураздетый хозяин квартиры стоит, облокотясь о спинку кровати. На него направлен ствол моего карабина. Я стою в дверях на выходе, бдительно наблюдаю за ним.

Командир после осмотра квартиры объявляет хозяину:

— Вы арестованы! Тридцать минут на сборы, и мы вас уведем! Время пошло! — Он смотрит на свои часы.

Хозяин в квартире один. Это интеллигентного вида человек, он удивительно спокоен. Я с интересом наблюдаю за [31] ним. После столь страшного услышанного им — никакой нервозности. Он как будто ждал нашего визита! Быстро, без суеты, оделся, обулся, собрал небольшой «докторский» саквояж.

— Он, что, шпион? — спросил я потом командира. — Диверсант, вредитель?

— Какой там шпион! Нет! — усмехнулся командир. — Просто неблагонадежный! Вышлют его подальше...

Вот в таких и подобных этим операциях участвовали мы — бойцы молодежного взвода.

По городу покати́лась очередная волна выселения неблагонадежных. Первая волна прошла еще до войны, в 1939 году. Выселялись в массовом порядке попавшие в эту категорию греки — греко-подданные, турецко-подданные (были и такие!) и просто греки. Выселялись немцы, которых в городе было не так уж много. В их число попали и мой друг Рейнгольд, его семья и семья дяди Франка с милыми мне красавицами-сестрами Элеонорой и Хильдой. Выселялись семьи и многих других национальностей, в том числе и русские. В общем, все те, которые по спискам, составленным в НКВД, считались опасными, недостойными доверия в тяжелый для Родины час, окрещенные одним словом: «неблагонадежные». Вот и сейчас начали подбирать ранее нетронутых из таких, остававшихся до сего времени в городе.

Выселение проходило так: в дом, двор или просто квартиру приходила милиция, работники НКВД и объявляли хозяевам: «Вы выселяетесь из города. Даем на сборы, упаковку вещей 4 часа!»

Все выселяемые были подразделены на «более неблагонадежных», «менее» и просто «неблагонадежных». Соответственно и время на сборы давалось: 2 часа, 4 часа, 6 часов, а некоторым и сутки. Были такие, которых сразу же брали под надзор, а то и под охрану. Последним не разрешалось никуда отлучаться из дома, двора, контактировать с соседями, прощаться с родственниками и близкими. Фактически они были под арестом.

Выселяемые после сбора увозились во двор НКВД, а поскольку этот двор не вмещал всех, то использовался и двор [32] уголовного розыска, что напротив через дорогу. Через сутки, когда уже невозможно было еще кого-то

втиснуть в «накопитель», напуганных людей, мало понимающих, что с ними происходит, грузили, битком набивая в кузова грузовых автомашин, мобилизованных для этой цели со всех предприятий города, и увозили под конвоем на станцию Тоннельная. Там — в вагоны и на Кавказ, в Орджоникидзевский край. Потом, когда фронт приблизился и туда, — в Баку, через Каспий в Среднюю Азию, в Сибирь, на Урал. В конвоировании этих несчастных людей, как в самом городе, так и до ст. Тоннельная, принимали участие и мы — бойцы истребительного батальона.

Были и те, кто добровольно, по собственному желанию покинул город. Тревога за свою судьбу заставляла их метаться, искать где-то убежище. Но кто тогда знал, где оно?

\* \* \*

1 сентября, начало занятий в школе. Служба в батальоне, где мы находились в ночное время, не мешала посещать школу. Наш 8-й класс, да, пожалуй, и все остальные классы заметно поредели. И не только потому, что кто-то уехал из города. Просто многие бросили школу по разным причинам. Скажем, хлеб продается в хлебных магазинах с начала войны нормированно, по карточкам. Но получить ту пайку, которая тебе, твоей семье определена, непросто. Хлеб в магазины с хлебозавода завозится в недостаточном количестве, с перебоями. У каждого магазина огромные, по несколько сот человек, очереди. Люди стоят, сидят прямо на тротуаре, ждут. У каждого на ладошке химическим карандашом написан его номер в очереди. Дежурят, ждут хлеб не только днем, но и ночью. Какая уж там учеба в школе, если ученик проторчал в очереди не спавши сутки, а то и двое?

Участились бомбежки. Все чаще и чаще в городе воют сирены воздушной тревоги. Каждый раз при этом занятия прерываются на час, на два. Срываются уроки, ломаются графики учебы. В общем, занятия проходили уже не так, как раньше, до войны. Не было той строгости в дисциплине, требовательности учителей в оценках знаний учеников. Поредевшие классы объединялись. В нашем классе появились [33] ранее незнакомые мне девчата и ребята. Я еще не знал, что с одним из них, Виктором, меня в недалеком будущем тесно сведет судьба.

Я был горд тем, что единственным из всего моего класса состоял добровольцем в истребительном батальоне. Было приятно: сидишь иногда на уроке, и вдруг резко открывается дверь, в класс врывается связной батальона,



Николай Овсянников

и опешившему преподавателю заявляется: «Овсянников срочно вызывается по тревоге в батальон!» А потом, однажды я пришел в класс после очередной такой тревоги в полном вооружении. На мне был карабин, патронташ с патронами, противогаз на боку, висящая на поясе граната «РГД-33», — не только учитель, но и все ученики были в шоке! Я, гордый, с достоинством молча прошел по проходу между рядами парт и уселся как ни в чем не бывало за последнюю. Все смотрели на меня: кто из ребят с завистью, кто из девчат с восхищением, а кто потрусливее — с опаской. На перемене меня обступили: осторожно трогали оружие, расспрашивали. В общем, эффект был колоссальный! Я зримо видел, что я сейчас на голову, если не больше, выше всех одноклассников!

Через два месяца школу закрыли, а оставшиеся несколько классов учащихся перевели вместе с учителями продолжать учебу в «греческую школу». До 1939 года эта школа, располагавшаяся на улице Кирова, через дорогу от санатория им. Крупской и в 100 метрах от моего дома, действительно была греческой — здесь на своем родном языке учились анапские греки. В год первой волны выселения из города неблагонадежных граждан (куда автоматически попадали и греки) школа была закрыта. Оставшаяся мизерная их часть была переведена в русские школы. С тех пор большой, красивый, старый дом из темного кирпича пустовал. Сюда и перевели наши классы, и мы продолжали учиться. При воздушной тревоге все разом бросались вон из класса во двор, где были вырыты зигзагообразные траншеи-убежища. Я с товарищами предпочитал в таком случае прыгать через окна на улицу и там, задрвав головы вверх, наблюдать за вражескими самолетами. Мальчишеская гордость не позволяла нам прятаться с девочками в траншеях. [34]

16 сентября пала Одесса. Остатки оборонявших город войск были переброшены морем в Крым. Там уже шли не менее кровавые бои. Через две недели, 30 октября, немцы обложили Севастополь. Начались долгие, тяжелые оборонительные бои за город. Бомбежки нашей Анапы еще более усилились.

И неудивительно! Снабжение войск в Крыму всеми видами довольствия, боеприпасами, а также живой силой шло через порты Новороссийска и Анапы.

Моя служба в батальоне продолжалась. Кроме обычных вечерних занятий в казармах, в выходные дни с утра мы строем, повзводно топали с песнями по улицам города на огромный пустырь у аэродрома. Там, в поле на пустыре, проходили занятия. Кроме изучения устройства стрелкового оружия мы научились бросать гранаты, стрелять по мишеням. В мастерских винзавода нам изготовили из листового железа макет танка на колесах почти в натуральную величину. Винзаводская полуторка таскала его на длинном буксире вдоль наших окопов, а мы учились бросать в него бутылки с горючей смесью. Таких бутылок у нас было достаточно, и, надо сказать, мы в этом деле поднаторели.

Мы отработывали приемы рукопашного боя, используя винтовку, саперную лопатку. Нас учили многим приемам бесшумного «снятия» — убийства ножом вражеских часовых, охраняющих объект. Теперь я знал и устройство призматического бинокля, и как с его помощью определять расстояния на местности. В общем, занятия были насыщенными, лично мне они дали многое, что было нелишним в будущем.

У нас были два солидных по оформлению и содержанию альбома. В них на гладкой, глянцевой бумаге были четкие фотографии боевых самолетов — причем как стоящих на площадках аэродрома, так и летящих в разных ракурсах. Рядом, на каждом листе — все тактико-технические данные каждого самолета. В одном альбоме советские самолеты, в другом — немецкие. Все данные тех и других мы учили наизусть. Мало того, кто-то становился в стороне и держал, перелистывая альбом у груди, тем самым показывая нам поочередно все самолеты. Мы через бинокль должны были [35] смотреть и, определив по силуэту тип, громко объявить его данные.

Помимо всего остального, мы изучили по справочнику военную форму немецких и румынских войск, их воинские звания и знаки различия. Научились ползать скрытно по-пластунски, маскироваться на местности, освоили азы топографии и тактики — все это было!

Как-то в один из выходных, в погожий, теплый солнечный день, мы сидели и бездельничали в курилке. Полевые занятия по какой-то причине были в этот день отменены.

— Давай сходим ко мне домой! — предложил Арсен.

— Пойдем! — соглашаюсь я: Делать все равно было нечего. Сидеть просто так — скучно, можно и пройтись. Двор и дом Арсена совсем близко:

полтора квартала от санатория Крупской. Идем улицей Кирова; осталось идти всего ничего, как вдруг завывла сирена воздушной тревоги на здании горсовета. Ее стонущий звук тут же подхватил, словно настороженно ждал, боясь пропустить, гудок винзавода. Затягвали, завывали плачущими шакалами ручные сирены в порту на катерах и ОСВОДе.

Я только успел сказать «Фрицы летят!», как загрохотали зенитки в курзале, а через мгновение к ним подключились и все остальные батареи городской ПВО. Мы прибавили шаг. Люди на улицах, уже вполне вкусившие ужас бомбежек, в панике прячутся в ближайших дворах. Зенитки не умолкают. Фашисты где-то над городом.

Ворота двора Арсена прямо через дорогу против входа в церковь Святого Онуфрия. Почти рядом, на Кубанской улице, хлебный магазин. Возле него длиннейшая очередь, изогнувшись дугой, выползающая из Греческого переулка. Сейчас, по тревоге, она рассыпалась, ища спасения в ближайших укрытиях. Полно людей и здесь, во дворе Арсена, куда мы и вошли. Двор большой, в нем разбросаны по углам три дома, а посередине, ближе к воротам, небольшой каменный сарай, в торцовой стене которого широкая дверь и ступеньки в глубокий подвал. И сарай, и подвал ничейные и совершенно пусты.

Зенитки неистовствуют. Их грохот слился воедино с [36] грохотом разрывов их снарядов где-то вверху. В небе рвутся черные и белые хлопья.

— Смотри, — кричит и показывает мне рукой Арсен, — вон фрицы!

Со стороны аэродрома, не так уж высоко, один вслед другому летят два «Хейнкеля-111». Летят, не рыская, не меняя курса, сквозь огненный ад зениток, как будто их стрельба им «до лампочки». Они летят по прямой, и я понимаю, что она пересекает то место, где я стою. Если вот сейчас... еще чуть-чуть... сыпанут бомбы — они мои! Точно!..

— Бомбы! — ору я Арсену.

От самолета отделились три черных комочка. Летят прямо в меня! Их быстро нарастающий вой переходит в ужасный, какой-то неестественный, фантастический, скрежуще-шипящий рев.

Я падаю вниз лицом, кинув руки под голову, вдоль каменной стенки сарая. Взрыв!.. Грохот... Меня кто-то куда-то бросает, земля подо мною вспучивается, рвется на куски, что-то тяжело рухнуло...Очень больно... Меня нет!..

\*\*\*

...Почему так тихо? Странно... Ах, да! Самолеты улетели, зенитки больше не стреляют... Но почему так темно? Голове больно!.. И жарко, трудно дышать...

Бомба попала прямо в подвал под сараем, у стенки которого я стоял, а затем упал. Невероятно, но взорвалась она в пяти шагах от меня (потом я для интереса замерил расположение края ее воронки). Каменная стена всей своей массой рухнула на меня. Это спасло меня от осколков и взрывной волны, но я оказался заживо погребенным, засыпанным камнями и землей, и потерял сознание.

Я полулежу, вытянувшись на спине, упираясь ею в груды камней и земли, вывороченных бомбой. В голове боль, шум, поташнивает. Моя радость и гордость — новенькая черная флотская шинель, купленная совсем недавно мамой, — забита пылью, отчего она сейчас уже серая. Вокруг люди.

— Ну вот, ты уже живой! — Какая-то женщина подошла и потрепала мои волосы на голове, вытряхивая из них мусор. — Считай, что ты побывал на том свете! [37]

— Не взяла его смерть к себе, значит, долго будет жить мальчишка! — добавляет еще одна, обращаясь ко всем.

— Пусть кланяется в ножки вон тому мужчине, что лежал у ворот! Он один видел, как этот пацан упал здесь у сарая перед взрывом! Если бы не он — никто бы и не подумал здесь копать! Сам еле живой, а говорит: «Копайте, я видел, мальчишка под стенкой был!»

Я с трудом поднимаюсь с земли, отряхиваюсь.

«А где же Арсен? — вдруг мелькает в голове. — Он живой?»

Подбирают и увозят со двора убитых и тяжелораненых. Легкораненые, зажимая сочащуюся кровь, идут на перевязку в поликлинику сами. Она буквально рядом, наискосок через дорогу.

Я ищу Арсена. Вот он! Сидит под завалинкой дома прямо на земле. Ноги вытянуты, раздвинуты в стороны, голова безвольно свесилась на грудь. С нее медленно сочится кровь, растекаясь алым пятном по рубашке под щекой. Я бросаюсь к нему:

— Арсен! Ты...что?

Он медленно поднимает голову, мутными глазами смотрит на меня:

— Помоги мне пройти в поликлинику. Там моя мама сейчас работает...

— А ты сможешь идти?

— Смогу, только ты помоги...



Арсен медленно подтягивает ноги под себя, опирается на мои руки, встает. Обнимаю его за талию, он кладет свою руку мне на плечи, и мы осторожно топаем.

В поликлинике много людей — и больных, пришедших на прием к врачам, и только что раненных бомбами. Поддерживая Арсена, я останавливаю проходящую мимо медсестру:

— Позовите, пожалуйста, Савицкую. Она здесь работает. Ее сын, вот, ранен...

Минута — и к нам бежит через зал мама Арсена. Она в белом халате и, естественно, испугана, взволнована.

— Мама! — увидев ее, успевает сказать Арсен, и его рвет. [38]

Перед взрывом бомбы, когда я упал под стенку сарая, он был рядом, за углом у дверей. Взрывом двери вышибло, разбило в щепки, два маленьких осколка вонзились в его голову слева, чуть выше виска. Кроме этого ранения он был к тому же контужен.

Арсена увезли в городскую больницу, где он провалялся недели три. Затем его выписали, и он еще долго ходил с повязкой на голове. Мы, его товарищи, стали замечать, что он стал уже каким-то не таким, каким был раньше, и в своем поведении, и в разговорах: вроде бы как «с легким приветом». На это обратило внимание наше командование, и Арсена не раздумывая списали из батальона.

\* \* \*

Хмурый, мокрый, ветреный декабрь. Время от времени сыпется мелкий въедливый дождь... В середине месяца, в ночь с 13-го на 14-е, у нас в батальоне случилось ЧП: погиб мой друг Коля Краб. Произошло это так: вечером наш взвод заступил на сутки в наряд. Кто-то из бойцов попал на охрану ставших уже штатными для нас объектов в городе, кто-то в патрули. Я и Коля — во внутреннюю охрану, на территории батальона. На постах мы стояли, как это и положено по уставу, по два часа. С 23 часов до 1-го часа ночи я охранял склад боеприпасов, размещенный в отдельном каменном доме прямо посреди обширного двора санатория.

Густая темень ограничивала видимость до предела. Разыгравшийся еще с вечера ветер с моря выл и стонал в голых, давно сбросивших листву ветвях деревьев, гремел надорванным железом крыши склада, бросал вниз мелкий, холодный дождь, заставлявший ежиться, прижиматься к стенке под карниз крыши.

В час ночи пришел разводящий со сменой. Я сдал пост Коле, а сам поспешил в караульное помещение, куда минут через десять вернулся и разводящий. Не успел я раздеться, разрядить и протереть карабин, как вдруг где-то снаружи, в темноте ночи — выстрел.

— Тревога! В ружье! За мной! — командует начальник караула, и мы бежим на проверку постов. [39]

У склада боеприпасов, где только что заступил на пост вместо меня Коля Краб, никого нет.

— Идите сюда! — раздается из темноты робкий, дрожащий голос. На миниатюрной террасе у входа в дом стоит Алешка Савицкий, он-то и позвал нас. У его ног лежит Коля Краб.

В ночное время для связи между часовыми назначается подчасок. Таковым и был в этом карауле Алешка.

— Подхожу, — говорит он, — к складу боеприпасов, вижу, кто-то стоит у дверей. «Кто стоит?» — спрашиваю. Молчит фигура. — «Кто стоит, буду стрелять?!» — Молчит, ни звука. Я и пальнул...

Пальнул он в часового, в Колю Краба. Пуля прошла навывлет через шею, разорвала сонную артерию. Николай был немедленно доставлен в городскую больницу, где к вечеру наступившего дня скончался. Умер он от большой потери крови, и не более того. В то тяжелое время в больнице не было хорошего квалифицированного врача-хирурга, а никто из тех, кто там был, не мог сделать не столь сложную операцию и спасти ему жизнь. Как обидно!

Колю Краба отправили в больницу, а Алешку — в подвал НКВД до выяснения всего необходимого в этом случае.

Утром мы решили известить о трагедии его маму, но ее дома не оказалось. Соседка пояснила, что видела и говорила с ней.

— Она мне сказала, что идет на базар купить продуктов для празднования Колиного дня рождения.

Да... мой друг Коля Краб погиб 14 декабря, в день своего пятинадцатилетия, а 17-го, в день моего рождения, его похоронили на Анапском кладбище. Похоронили со всеми воинскими почестями, включая и прощальный ружейный салют, как бойца истребительного батальона, погибшего на боевом посту.

Несколько дней отсидки, допросов в НКВД — и Алешку отправили в Новороссийск, в тюрьму. Через 15 лет мне довелось случайно встретиться с ним. Времени прошло достаточно, чтобы он мог спокойно, без боязни рассказать правду о гибели Коли Краба. [40]

— Я убил его! — признался он. — И это произошло не так, как я рассказывал. Коля стоял на посту, я подошел к нему. Поболтав, мы стали баловаться оружием. Стоя в нескольких шагах друг от друга спинами, по счету «раз, два, три» мы быстро поворачивались и, вскинув карабины, «кляцали» — стреляли холостыми спусками курков. Чтобы кляцнуть, достаточно поднять и опустить рукоятку затвора — курок взведен. Мы увлеклись игрой, в спешке я забылся и отвел затвор назад и вперед, тем самым дослав патрон в патронник. Произошел выстрел. В тюрьме я не сидел... Там, в Новороссийске, я попросил, чтобы меня отправили на фронт. Это и было сделано. Я воевал и однажды в бою получил глубокую контузию, вследствие чего потерял 90% зрения. Был демобилизован из армии инвалидом...

\* \* \*

После гибели Коли Краба самым близким другом мне стал Славка Еременко. Все свободное от школы, истребительного батальона время мы проводили теперь вместе. В декабре я еще продолжал учиться в школе, а Славка бросил учебу и пошел работать: отец, замначальника порта, устроил его спасателем на бездействующую спасательную станцию ОСВОДа в порту. Жили они на улице Набережной в доме портовиков. Это небольшой домик окнами на тротуар, с которого можно было камнем добросить до берега моря.

Бомбежки немцами города стали регулярными. И самым опасным местом был, конечно же, порт. Чтобы не рисковать жизнью, лучше всего было держаться подальше от него, но мы со Славкой этим пренебрегали. Его дежурство на станции или дежурство его напарника грека Кирьяка — мы всегда постоянно здесь. Куда еще пойдешь? Сидим у широкого окна, через которое видна вся пристань и весь рейд порта с массой судов на нем, болтаем, «травим», что кому взбрдет в голову. Когда по городу объявляется воздушная тревога, мы выскакиваем на берег и крутим ручную переносную сирену. Ну, а когда сыпятся, рвутся вокруг бомбы, когда фрицы, отбомбившись, низко (так, что мы видим улыбки на их мордах) проносятся над пристанью, поливая [41] ее из пулеметов дождем пуль, мы, бросив сирену, сидим, сжавшись на корточках под цоколем станции у самой воды.

Прошла бомбежка, самолеты улетели, зенитки умолкли, мы открутили сиреной «Отбой!» — и снова чарующие мелодии мандолины в руках Кирьяка. В порту кто-то убит, кто-то ранен, пролита кровь, кому-то горе, а нам все нипочем! Мы тоже только что могли бы быть убитыми,

искалеченными! Только молодостью, мальчишеством можно объяснить несерьезность нашего поведения.

Вот так мы проводили свободное время на спасательной станции. В декабре, вслед за контрнаступлением нашей армии под Ростовом, началась подготовка к высадке войск в Крым с целью освобождения от фашистов всего Крымского полуострова и снятия блокады Севастополя. В Анапском порту концентрируется масса всевозможных плавсредств, начиная от мелких фелюг и кончая огромными несамоходными баржами на буксирной тяге. К счастью, в этот, обычно штормовой, месяц погода держится умеренной. На море легкая зыбь. Где-то еще далеко отсюда затаился, сдерживая себя, чего-то выжидая, не торопясь обрушиться на нас, грозный, свирепый норд-ост. Представляю, что было бы, если бы он нагрянул сейчас! Разметал бы половину, если не больше, всего этого флота, что стоит на рейде, разбил бы, выбросил на берег, где его сразу же с жадностью засосал бы в себя песок пляжа. Но пока в бухте все относительно спокойно. Все больше и больше в городе накапливается войск. Вот прибыли сразу две казачьи дивизии. В одной у казаков верх кубанок, башлыки, отвороты на рукавах черкесок голубого цвета, потому и дивизия «Голубая». В другой то же самое — красного цвета. Их, казаков с лошадьми, так много, что они размещены не только в городе, но и по ближайшим станицам. На улицах запах конского пота и навоза.

Командир одной из этих дивизий, той, что «Красная», — генерал-майор Книга. Я его знал еще раньше по повестям и рассказам о Гражданской войне. Он один из известных героев той войны на Кубани и Ставрополье. А сейчас я его вижу рядом с собою. Дело в том, что он со своим штабом разместился в одном из домов на территории санатория [42] им. Крупской, а здесь ведь теперь наш истребительный батальон! Вот я его и вижу каждый день. У него не лошадь, как у всех его казаков, а изящная, черного лака легковая автомашинa «М-1» — в народе ее называют ласково «Эммочка». Такие авто тогда еще только входили в жизнь, были редкостью, и их имело в служебном пользовании только высокое начальство. В Анапе на начало войны «Эммочка» была у первого секретаря райкома партии Веры Соломоновны Иоффе и у председателя горсовета Анастасии Гусевой.

Мы, бойцы батальона, за спиной у генерала Книги потихоньку над ним посмеивались. Как только в городе объявлялась воздушная тревога, ревели сирены, гудки, — генерал сразу же выходил из штаба, садился в свою автомашину и поспешно куда-то уезжал. По окончании тревоги он возвращался.

— Трусливый генерал! — говорят наши бойцы. — На время тревоги удирает на машине за город!

Правда это или просто совпадение, не знаю, но мы думали только так.

В сквере на Пушкинской улице, в Приморском парке, во всех дворах, ближайших к порту, полно казаков и лошадей. На перекрестках улиц, там, где нет высоких домов и деревья не затевают небо, разместились автомашины-полуторки и «ЗИСы» со спаренными пулеметами «Максим» для стрельбы по фашистским самолетам. В порту на пристани — штабеля боеприпасов. Двор гостиницы «2-я пятилетка» и огромный котлован, вырытый под фундамент непостроенной гостиницы, забиты ящиками со снарядами и патронами. У стенки Морвокзала, у настилов рыбацкой пристани тесно жмутся катера-охотники. И их, и торпедных катеров много на рейде бухты. Они все ждут своего часа — сопровождать флот с войсками в Крым, охранять его огнем своих ДШК от налета фашистских самолетов. Оберегать флот от нападения немцев со стороны открытого моря, катера которых все чаще и наглее стали появляться вблизи.

Все было готово к походу на Крым. Красноармейцам и казакам раздавались листовки с приказом Стачина взять во что бы то ни стало, любой ценой к Новому году Крым. Да, [43] так и было и сказано: «любой ценой!..» Сообщалось, что в случае невыполнения данного приказа виновные в этом будут расстреляны. В левом верхнем углу листовки, в рамке, была надпись: «Прочти и порви!» Меня удивила эта секретность. Листовки читают тысячи людей, разве можно при этом соблюсти какую-то секретность? Немецкая разведка отлично знала обо всем: каждый день над городом пролетала, а то и кружила немецкая «рама» — двухфюзеляжный самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189». Бомбы стали сыпаться на город почти ежедневно.

К концу месяца, в предновогодние дни, много дней до этого являющаяся лакомой приманкой для немецкой авиации армада судов в Анапской бухте наконец-то покинула свою стоянку и вышла в открытое море курсом на Крым. Там, в беспокойном в это время года море, перегруженные до опасного предела боеприпасами, военным имуществом и вооружением мелкие и крупные суда, баржи соединились с другими, идущими из Новороссийска, Геленджика, и общей массой торопились, спешили к крымским берегам. Красноармейцы, казаки на них спешили побыстрее проскочить этот 90-километровый путь морем, выброситься десантом на твердую землю, пока еще немцы не обнаружили, не раскрыли их замыслы и не начали бомбить.

26–28 декабря, неся огромные потери, наши войска высадились на берег Керченского полуострова, захватив поселки Эльтиген и Камыш-Бурун. Выполняя приказ Сталина «взять Крым любой ценой», батальоны, полки, дивизии, сокрушая оборону противника, рванули вперед. 30-го числа штурмом с моря был освобожден город и порт Феодосия, — но эйфория побед была недолгой. Еще неделя — и поток наших наступавших войск захлебнулся, разбился о мощную оборону немцев уже почти на подступах к столице Крыма — Симферополю.

Высадку десанта на Керченский полуостров мы в Анапе наблюдали в виде полыхавшего зарева в той стороне. С наступлением темноты небо там буквально горело. Звуки артиллерийской канонады, взрывов бомб доносились еле-еле, — сказывалось большое расстояние. [44]

Новый год прошел без празднования, — не до этого было. 31-го в 6 часов вечера мой взвод заступил в гарнизонный наряд. Я и Славка были определены на ночь патрулями по городу, причем очень удачно для нас: район патрулирования был от улицы Черноморской до Высокого берега, то есть наш «родной». Мы получили пароль на ночь и пошли.

Над городом тихая, слегка присыпанная снегом новогодняя ночь. Тихая — это относительно. Я имею в виду то, что с вечера не было бомбежки, не ревели сирены тревоги, не барражировали в небе истребители-ночники. Только прожектор у аэродрома временами включался и словно спросонья испуганно шарил своим длинным лучом по небу.

— Немцы сегодня не прилетят, — говорит Славка, — по всему видно, встречают Новый год, гады...

На улицах никого. Да и кто куда пойдет? До 6 часов утра хождение, пребывание на улицах запрещено. Ни звука, ни света, — тишина и темнота. Мы заходим ко мне, и Новый, 1942-й год встречаем втроем с моей мамой: чаем без сахара, вприкуску с кусочками сухарей.

Наш двор опустел. Греков всех выслали. Семья инструктора райкома партии Степаненко, занимавшая квартиру Поляковых, тоже куда-то выехала. Мы и Ковтуны в доме напротив — вот и все жители нашего недавно многолюдного двора. Мама целыми днями, без выходных, на работе в прокуратуре. Брат Борис все там же, в колхозе им. Кагановича: заскакивает к нам раз в неделю, а то и реже. Я — то в школе, то в батальоне. Со Славкой мы теперь вообще не расстаемся.

Когда надоедает слушать анекдоты и мандолину грека Кирьяка, мы бродим по песку пляжа, уходя далеко, за Бимлюк, а то и за Джемет. Там было что посмотреть: баркасы, рыбацкие байды, шлюпки и вельботы с военных

кораблей и катеров — все, что уцелело, осталось на плаву после неравного боя с фашистскими стервятниками. Вот спасательный вельбот с красавца теплохода «Армения». Это видно по надписи на белом борту. Мы уже знали, что теплоход под флагом Красного Креста был варварски разбомблен фашистами на внешнем рейде порта Ялты. Он был до предела загружен эвакуирующимися на Кавказ десятком госпиталей со [45] всем их скарбом и сотнями раненых бойцов. Палуба его была сплошь забита прижавшимися друг к другу беженцами — женщинами и их детьми. Эвакуируемыми в глубокий тыл детьми были заполнены каюты и салоны теплохода. Прямым попаданием бомб теплоход был разорван пополам и мгновенно ушел под воду. Этот спасательный вельбот, никем не использованный по его прямому назначению, долго блуждавший по морю, был выброшен в конце концов на анапский пляж прощальным приветом трагически погибшего корабля...

Запоздавшая в этом сезоне зима, спохватившись, постепенно брала свое. Задул норд-ост, заштормило море, затвердел морозом до каменной твердости песок, появилась кромка льда по берегу бухты. Город покрыли низкие серые тучи: из них порциями, то крупой, то хлопьями сыпался снег. Самолеты фашистов не появлялись. Погода для них была не летная, а скорее всего, они были очень заняты в Крыму.

С момента высадки наших войск десантом в Крыму в предновогодние дни куда-то исчез наш командир батальона Корчагин. Конечно же, кто-то из начальства знал, куда он делся, но мы, рядовые бойцы, не знали. Ходили разные слухи, — даже такой, что он, Корчагин, назначен комендантом освобожденной Керчи. Мы все очень сожалели о его уходе от нас. Дисциплина в батальоне стала падать. Сказывалось не только отсутствие авторитетного командира, но и сама обстановка в целом. Если раньше из батальона не призывали в армию, и это держало бойцов в рамках дисциплины, то теперь, когда знаешь, что тебя не сегодня-завтра мобилизуют и на фронт, — что же тут стараться! — никого ничто уже не пугало. Страшнее фронта ничего нет!

Уменьшилось общее количество бойцов. Было две роты, стала одна. Взамен ушедших в армию в батальон было принято много новых людей, причем принимались они уже без той тщательной проверки чистоты биографии, какая была вначале. Командиром батальона то временно назначался командир роты, то какой-либо командир взвода, то начальник штаба Окунь был и за себя, и за комбата. В конце [46] концов, уж не знаю кем, комбатом был окончательно утвержден сержант милиции Грецкий. Мы, молодежь, были возмущены, ворчали:

— Боевой истребительный батальон войск НКВД — и вдруг командир в нем милиционер!

Нас унижало даже то, что он был какой-то невзрачный на вид, да еще и в синей милицейской форме. Наше отношение к службе тоже пошатнулось. Комиссар Кравченко стал значительно реже появляться в батальоне: по-видимому, у него на винзаводе были более важные хозяйственные дела, чем здесь. Но тем не менее служба шла. Нам стали выдавать курево: две пачки махорки на 10 дней. Это такая же норма, как и в действующей армии. Получая табак, куда его девать? Надо курить! Сначала мы, молодые, баловались, выпендривались, затем, как-то незаметно, курение вошло в привычку. Каждый из нас обзавелся кресалом для добывания огня. Спичек не было — дефицит, а кремневые зажигалки, или, как их вначале называли, «бензинки», мы узнали уже от немцев и румын в оккупации.

Рабочие рыбцеха привезли на подводе четыре бочки хамсы. В одной просто соленая, в трех других — маринованная в рассоле. Каждое утро желающие вкушать хамсу приходили сюда с собственным куском хлеба, брали из бочек кому сколько надо рыбы и завтракали. Никакой оплаты никто не требовал, но уносить хамсу из столовой запрещалось. Надо сказать, мы были довольны такой щедростью нашего командования и завтракали рыбой с удовольствием. Не знаю, как у других, а у меня завтраки дома были не лучше.

Поскольку нас стало намного меньше, занимать столь большую территорию санатория им. Крупской и охранять ее и себя здесь потеряло смысл. Наш новый комбат Грецкий, согласовав с кем-то все, что надо в таком случае, перевел батальон в санаторий «Ривьера».

Находясь на территории санатория им. Крупской, мы ворчали: «Неужели нельзя наш батальон разместить где-то в городе, подальше от порта? Бомбят немцы больше всего именно этот объект! Зачем же нам торчать здесь, рисковать по-глупому своими жизнями? Мы не более как в трехстах [47] метрах от порта! Совсем не плохо было бы, если бы нас перевели отсюда куда-нибудь подальше!»

И вот, наконец, дождалось! Нас перевели в «Ривьеру», — а это вообще рядом с портом! «Ривьера» — это был санаторий закрытого типа, расположенный между проспектом Революции и Садовой улицей. Справа располагался кинотеатр «Спартак», слева — Курзальный переулок. Сам санаторий, его большой двор для меня и моих друзей всегда были загадкой. Если по территориям находящихся почти рядом санаториев «Украина», «Промстрахсоветкасы» и той же «Крупской» можно было свободно ходить



в любое время суток — там были танцплощадки, где всегда многолюдно, — то в «Ривьеру» так не пойдешь! Она окружена высоким забором, за забором со стороны двора — густые заросли сирени. Каких только сортов ее здесь нет! Причудливые формы соцветий, разнообразные цвета и оттенки: от чисто-белого до темно-красного, почти черного! Входные ворота санатория и калитка рядом — всегда на запоре. Мы с друзьями, еще будучи малыми пацанами, не один раз пытались проникнуть во двор. Нас манило любопытство, таинственность тишины за забором. Но стоило только взобраться на него, как тут же слышится грозный окрик смотрителя или сторожа.

Весь двор — сплошной парк. Примерно в центре его фонтан. От него лучами идут узкие аллейки, выстланные плоскими плитами дикого камня. Там и сям, в самых неожиданных местах, в декоративной зелени стоят на постаментах нагие статуи — персонажи древнегреческой мифологии.

Сама по себе «Ривьера» была и двором, и количеством корпусов намного меньше санатория «Крупской», но для нашего батальона это было вполне приемлемо. Наш молодежный взвод расположился в двухэтажном доме, окнами на улицу. На нижнем этаже мы, на верхнем — штаб. Никаких занятий по военному делу с нами теперь не проводились. Да и что было еще изучать? Я безо всякого там бахвальства мог сказать, что знал все, что обязан знать боец регулярной армии, и даже немного сверх положенного. Жора Широчинский, наш командир взвода, крепко держал нас в [48] рамках воинской дисциплины. С этого момента мы занимались только тем, что несли караульную службу, как внутри расположения батальона, так и по городу.

Зима в этом году выдалась нехолодной. Легкие морозцы, снежок, а больше дожди. Вокруг все мокро, стыло. Свободное от караульной службы время мы проводили в безделье. Установили посреди своей казармы миниатюрную чугунную печь-буржуйку, трубу от нее вывели в окно. Печку нашли на складе санатория, где, кстати, хранился в более чем достаточном для нас количестве запас дров и угля. Печь работала исправно: гудела, раскаляясь докрасна. Часами мы сидели вокруг, наслаждались пышущим от нее жаром, трепались, травили баланду, анекдоты. В общем, безжалостно убивали время. От скуки безобразничали, балуясь с оружием. Брали, например, ручную гранату «РГД-33», снимали кожух, корпус рвали, рассрочивали плоскогубцами, извлекали из нее взрывчатку. Нам было интересно знать: взорвется тол, если положить его на раскаленную печку? Но

тол, оказывается, не взрывается, а вспыхивает и горит желтым, сильно коптящим пламенем.

Жора где-то приобрел немецкий пистолет «парабеллум», и я с большим удовольствием с разрешения Жоры пострелял из него в нашем парке у фонтана, целясь в пуп статуи голого бородатого Зевса. Чего мы только не делали и чего мы только не пробовали, экспериментируя с оружием! Да, это было очень опасно! Но зато мы познали его в совершенстве, все потрогали, пощупали собственными руками, видели собственными глазами!

Как-то вечером Витька Коробов, балуясь, прицелился в грудь Лешки Черненко.

— Я Дубровский! — кричит он Лехе словами киногероя. — Граф, пришла твоя смерть! — и нажимает курок винтовки. Раздается сухой щелчок сработавшего курка затвора. Витька передергивает затвор, желая еще раз щелкнуть. Из винтовки выбрасывается боевой патрон. Осечка! Невероятно, но произошла осечка. Не будь этого — Леха был бы убит наповал! Винтовка глухо падает из рук Виктора на пол, он, бледный как стена, медленно идет к своей кровати и как-то [49] безвольно валится на нее, лицом в подушку. Леха смотрит осоловелыми глазами на нас, его губы тянутся в глупую улыбку, которая тут же гаснет. Мы ошарашенно молчим. В другой раз Толька Жовнер, забыв, что винтовка заряжена, выстрелил вверх. Пуля пробил тонкий потолок, срикошетила от металлической спинки кровати, на которой в это время лежал, читая книгу, Жора Широчинский, и врезалась в штукатурку стены.

Во дворе, в парке теперь уже нашей «Ривьеры», стоит автомашина «ЗИС-5» с кузовом-фургоном. На его крыше — радиоантенна причудливой формы. Вместе с кузовом, под тихий зуммерящий шум работающего двигателя, она медленно вращается вкруговую. Оборот за оборотом, оборот за оборотом... Это передвижная радиолокационная станция. Как мы потом узнали, таких станций было на всем Черноморском побережье только две: одна вот эта и вторая в Новороссийске. Станцию обслуживают моряки-радисты. Они следят за воздушным пространством на подступах к Анапе. Как только зафиксируют летящие сюда фашистские самолеты — звонят на зенитную батарею, что расположилась неподалеку, на Якорном мысу в Курзале. На батарее бьют в висящую пустую гильзу от снаряда, объявляется тревога. Сообщение о тревоге тут же передается в штаб ПВО города. Начинают выть сирены, городской радиоузел объявляет населению тревогу по радио. Поскольку радиолокаторщики всегда рядом с нами, мы первые

узнавали о предстоящей бомбежке города. С начала февраля месяца немцы возобновили налеты на город. Бомбы сыпались через наши головы на порт.

Занятия в школе прекратились. Школа просто закрылась, — я едва успел взять у директора справку об окончании 8-го класса. Как только чуть утихает шторм на море, как только появляется просвет в погоде, из нашего порта, мимо Анапы из Новороссийска идут, торопятся в Крым, в Керчь, Севастополь морские транспорты. Штабелями на палубах боеприпасы, трюмы полны всем необходимым, без чего нельзя воевать. Баржи, шхуны грузятся ротами, батальонами, полками солдат под завязку и — туда. [50]

— Какие же это там бои идут, если столько туда прут всего? — слышим мы со Славкой, патрулируя в порту, разговоры работающих грузчиков. — Как только немцы успевают убивать столько наших красноармейцев и матросов? Только от нас, из нашего порта, — ого-го сколько отправляется их! Уходят, как в прорву какую! Где там, в Крыму, хоронят убитых? Никак нельзя же закопать столько трупов в землю — места, земли не хватит! Может быть, вывозят в баржах в море и топят там?

Назад из Крыма суда идут еле-еле. Многие из них побиты, покорежены, с развороченными бортами, со снесенными, срезанными разом, словно гигантской секирой, надстройками, закопченные пожаром, с наполовину перебитой осколками и пулями командой.

На днях протопала, прижимаясь как можно ближе к берегу под защиту зенитных батарей на побережье, «Парижанка». «Парижанка» — это так ласково называют все гордость Черноморского флота, его флагман — линкор «Парижская Коммуна». Передняя часть его, вместе с носовой орудийной башней главного калибра, срезана по диагонали до самой ватерлинии. Это же какую надо силу применить, чтобы так изуродовать корабль?! Чтобы вырвать, выхватить из корабля такую массу клепанного, сваренного в единое целое металла?! «Парижанка» шла из Севастополя. Мы стоим в толпе грузчиков и рыбаков в порту, наблюдая ее траурное шествие. Зрелище подавляло, люди рядом молчали.

День и ночь мимо Анапы сновали туда-сюда, легко обгоняя тихоходные транспортные суда, быстроходные эсминцы. Они тоже вносили свою весомую лепту в снабжение Крыма. Среди них особо выделялись своим изящным почерком хода самый быстрый на флоте лидер «Ташкент», эсминцы «Незаможник» и «Безупречный». Мы безошибочно распознавали их по внешнему виду, хотя они и проходили неблизко к берегу.

Наступило 23 февраля.

— Ну, наверняка немцы на День Красной Армии преподнесут бомбами нам подарок! — рассуждали мы между собой. — Дадут нам капитально прикурить! [51]

Так и получилось. По местному радио было объявлено, что в городском театре 23-го числа вечером будет проведено торжественное собрание по случаю праздника, на которое приглашались граждане города. Не знаю, прав ли был тот умник, который назначил это собрание. Но думаю, что собирать массу людей в одном месте в такое время, когда была 100-процентная гарантия бомбежки города, причем вблизи порта, было по меньшей мере глупо, если даже не преступно! Бомбежка началась в 9 вечера. Сказать, что это был ад, — мало. Я был дома с мамой, Борис куда-то ушел. Все грохотало, тряслось, сыпалась со стен штукатурка, дом вот-вот рухнет.

— Дом завалится! — кричит мне мама. — Быстрее во двор!

Мы выскочили и тут же взрывом близко упавшей бомбы были брошены под стенку нашего сарая. Земля под нами содрогается, ходит волнами. Свет осветительных бомб, вспышки разрывов зенитных снарядов, больно бьющие по ушам взрывы в небе и на земле, — все слилось в единое, страшное целое. Сыплются с неба горячим металлом острые, зазубренные осколки зенитных снарядов, с визгом, шипением проносятся над нами рикошетирующие осколки бомб, падающих где-то совсем рядом. Сверху, с крыши сарая, кусками сыпалась перелопаченная взрывами черепица. Рядом, у соседей, что-то горело. Оттуда слышались крики отчаяния, боли...

\*\*\*

Санаторий «Красная звезда» — один из старейших в городе, располагавшийся в старых, построенных еще в прошлом веке казармах русских войск в крепости Анапа, переоборудовали в военный госпиталь. Он и располагающийся напротив дом отдыха «СКВО» {1} под завязку забиты ранеными бойцами, доставленными из Крыма. Ухоженный, уютный двор санатория, сеткой забора отделяющийся от Кубанской улицы, днем полон ими. Выбеленные бинтами повязок [52] на ранах, белыми исподними рубашками, они, покинув душные палаты, сидят на скамейках. Кто может, кому это позволяет ранение, — ходят, толкуются по двору. А некоторые приспособились, сидят прямо на широком цоколе забора, просят курево у проходящих мимо мужиков. Мы щедро, горстью отсыпаям из своих карманов несколько не ценимую нами полученную на паек махорку. С прохожими, с нами завязываются разговоры. Тема, вопросы всегда одни: как там, на фронте, в Крыму?

— Бардак там! Наше командование ни к хренам! Немцы давят!

Голова бойца вся в бинтах. Оставлены только левый глаз, рот и щека. Он смотрит по-птичьи боком, свертывая сигарку трясущимися руками.

— Чего ты раскудахтался? — напускается на него матрос. У него рука по плечо в гипсе. — Чего паникуешь? Скоро мы попрем фашистов! Сюда, говорят, вот-вот подбросят пару дивизий сибиряков! Искупаем мы этих вшивых колбасников в море, похлебают они нашей черноморской водицы!

Мы слушаем их перепалку, наши симпатии на стороне матроса. А как же иначе? Хочется верить, да мы и верим его прогнозам и с чувством неприязни смотрим на одноглазого бойца.

Мы еще не могли знать, что предпринятое вскоре, в конце февраля и в начале марта, наступление наших войск провалится. 21 марта немцы перешли в контрнаступление, но тоже не добились никакого успеха. Обе стороны перешли к обороне.

\* \* \*

Пришли теплые, погожие дни ранней весны. Наш батальон продолжал нести охранную службу важных объектов в городе. Служба есть служба. На всех постах мы в какой-то степени подвергаемся риску. Но самыми опасными постами были, конечно же, те, что в порту. Фашистские бомбы здесь падали чаще. А самым спокойным считался среди нас пост на городской радиостанции, размещенной в одном из домов жилого квартала по улице Крепостной, в двухстах метрах от маяка. Сюда бомбы не падали: немцы не бомбили, [53] берегли маяк, — видимо, для себя. Пост был круглосуточный, в наряд назначались 3 бойца. Сами сменяли друг друга, по очереди спали.

Радиостанция — высокий полтораэтажный дом в глубине двора. Две высокие мачты-антенны венчают крышу. Вверху вся рабочая аппаратура, внизу — складское помещение. Еще ниже — маленький подвальчик: метр на метр. Там какая-то полка, на ней скорчившись, иначе не поместишься, отдыхает тот, кто сменился с поста.

Днем и ночью, круглосуточно, гудят моторами в небе над городом, над морем и на самом аэродроме самолеты. Этот гул уже просто въелся в нас. Мы по звуку разбираемся в марках самолетов, чьи они. Вот летят морем на Новороссийск, гудят с подвыванием тяжелые немецкие «Хейнкели-111», прерывисто стонут «Юнкерсы-88». А вот звонко, резко ревет так, что стекла в окнах домов дребезжат, наш «МБР-2». Тонко, звеняще, словно осы, проносятся быстрые «Мессершмитты-109». Спокойно с рокотом высоко-

высоко в небе барражируют тупоносые «ишачки» — «И-16». Редко, но прилетают на наш аэродром изящные, интеллигентные красавцы — скоростные бомбардировщики «Пе-2», «пешки». Прилетали, но только в самом начале войны, когда еще немцы не посбивали их играючи, громадные, до безобразия тихоходные, тяжелые и неповоротливые бомбардировщики «ТБ-3». Сорок метров размах крыльев этих летающих в небе «барж», хоть в футбол играй на их крыльях.

На аэродроме — непрекращающийся рокот самолетных моторов. Взлетают и садятся самолеты, прогреваются их двигатели, стреляют — пробуются пушки и пулеметы перед каждым взлетом.

Как раз в связи с этим с нами, часовыми радиостанции, как-то произошел маленький курьез. Днем на посту стоял Борис Шпарага, и мы со Славкой собрались идти ко мне домой пообедать. Только вышли со двора за калитку, слышим — на аэродроме раздается короткая очередь самолетной скорострельной пушки: ду-ду-ду! Мы знаем, это обычная проверка оружия. Но вдруг... Пах-пах-пах! — посыпались [54] у тротуара, у наших ног взрывающиеся снарядики. Опять очередь из пушки: ду-ду-ду! Мы только-только успеваем прыгнуть в калитку за забор, как по нему снаружи рвутся снаряды: пах-пах-пах!

— Что они там, на аэродроме, с ума посходили? — ругается Славка. — По городу стреляют!

Мы знаем, что, когда летчик опробует оружие, стреляет, самолет стоит носом в сторону моря и, естественно, все пули и снаряды летят туда. В данный момент один из самолетов развернут в сторону города, вот какой-то идиот и стреляет сюда. Но невероятность происходящего сейчас в том, что стреляют — словно наблюдают за нами и хотят именно в нас попасть. Пока мы выжидаем, стоим за забором, стрельбы нет. Только сунемся за калитку — опять слышим очередь на аэродроме: ду-ду-ду! Мы — за забор, и опять по нему снаружи рвутся снарядики: пах-пах-пах!.. Невероятно! Бывает же такое!

После очередного обстрела мы, для верности выждав еще какое-то время за забором, наконец, выходим на улицу. На этот раз тихо. Подбираем с земли один неразорвавшийся снарядик. С любопытством рассматриваем, свертываем с него спереди тонкий колпачок. Под ним, в центре, дрожащий, колеблющийся стерженек.

— Бросай его подальше! — боязливо говорит Славка. — Ну его к хренам, еще взорвется в руках!

Я осторожно махнул рукой и недалеко бросил снаряд. Раздался хлопок-взрыв...

— Вот так какой-то педераст на аэродроме мог запросто расстрелять нас ни за что, ядрена вошь! — ворчит сердито Славка.

\* \* \*

В начале апреля месяца немцы, по-видимому, решили окончательно сломить нашу оборону в Севастополе и на Керченском полуострове и полностью овладеть Крымом. Там ужесточились бои. Это было заметно и по притоку раненых оттуда к нам в город, и по усилившимся бомбардировкам портов. Кому-кому, а Новороссийску доставалось! [55]

С наступлением темноты, вечером, мы в Анапе видели за горами в его стороне мерцающее, полыхающее взрывами и пожарами зарево. Иногда доносился и приглушенный расстоянием гул бомбежек. Однажды зарево стало особенно ярким и широким — горело нефтехранилище на Мефодьевке. Шлейф густого, жирного черного дыма тянулся оттуда многокилометровым языком через Семигорье, Джемете, Витязево и пропадал где-то за Железным Рогом. С точностью до минуты, в 8 часов вечера, фашистские самолеты летели над морем мимо Анапы бомбить Новороссийск. Обратным рейсом они сбрасывали оставшиеся у них по каким-то причинам бомбы на наш город. Интенсивность бомбежек нарастала с каждым днем. И так продолжалось до 17 апреля. Как писали потом в газете, наше командование решило пресечь ночные набеги фашистов на Новороссийск. Для этого туда срочно перебросили большую группу истребителей-ночников, имевших большой опыт боев. В ночь на 18 апреля они и дали немцам прикурить, сбив сразу 14 фашистских бомбардировщиков! С этого времени налеты резко поубавились.

Надо сказать, что хотя наша потрясаемая бомбежками Анапа претерпела уже много плохого от войны (тут и выселение неблагонадежных, и мобилизация мужчин в армию, и недостаток продуктов питания, карточная система отоваривания граждан в магазинах), а все же жизнь в городе продолжалась. Продолжали работать все предприятия и организации. Работал, как обычно в мирное, довоенное время, городской кинотеатр «Спартак». Кинозал его не пустовал. Ходили туда и мы, отпрашиваясь у командира. Знаем, что ровно в 8 часов вечера, как раз в середине сеанса, будет воздушная тревога, — а идем. Авось пронесет! Авось не будет бомбежки! Авось немцы сбросят все бомбы на Новороссийск и на наш город им нечего будет бросать!

Фильмы поступали в кинотеатр с перебойми, и поэтому, бывало, какой-либо один фильм крутили там по несколько дней подряд. Перед каждым

фильмом вместо обычного киножурнала, как правило, показывали пятнадцатиминутный [56] киносборник «Победа за нами!». Это были как бы новости с фронта, но хороших, утешительных новостей оттуда было мало, и поэтому для поднятия духа людей в него включались игровые сценки популярных артистов, высмеивающих «тупоголовых», «трусливых» фашистов.

Мы сидим, смотрим, и вдруг где-то в середине фильма гаснет экран. В городе объявлена воздушная тревога, воют сирены. Двери кинозала распахнуты, зрители валом валят наружу. Над головой, в черном, темном небе гудят фрицевские самолеты. Совсем рядом, в курзале, жестко твякают зенитки.

Мы, как и все остальные зрители, жмемся к стенке кинотеатра и дома почты, что напротив через дорогу. Стоим, ждем: сбросят фрицы бомбы или нет? Если сбросят и их вой через секунду-две не перейдет в свист, в рвущее уши шипение, — значит, бомба упадет далеко, и бояться нечего. Не надо падать, распластываться по земле и мысленно повторять:

— Пронеси мимо! Пронеси мимо!

На этот раз действительно пронесло. Самолеты после налета на Новороссийск пролетели порожняком. Зенитки смолкли, сирены отвыли «отбой». Люди, сбрасывая, отряхивая с себя остатки страха, только что холодом окатывавшего с головы до пят, вновь торопятся в кинозал занять там свои места и досматривать кадры захватывающего фильма.

На другой день в 8 часов вечера точно, как по графику, в городе снова объявляется воздушная тревога. Где-то в темном небе гудят немецкие самолеты. Два прожектора, один у аэродрома, другой у Джемете, быстро машут, рыскают то вкруговую, то наотмашь из стороны в стороны длинными, яркими до голубизны лучами — ищут и не могут найти фашистов. У зенитчиков на батареях не выдерживают нервы, и они открывают бешеную бесприцельную стрельбу «заградительным огнем». Небо пылает. Вдруг, как всегда неожиданно, словно из ничего, высоко над городом яркими фонарями одна за другой вспыхивают три осветительные бомбы, сброшенные фрицами на парашютах. Сразу все осветилось [57] вокруг так, что хоть газету читай. Мы уже знаем, что после этих бомб немцы развернутся, сделают прицельный заход и сбросят фугасы туда, куда им хочется. Да... Вот уже их гул усиливается, приближается. Немцы сыпанули бомбы! Нарастающий вой...

— Ложись!!



Серия взрывов сливается в один, сотрясающий все и вся вокруг. Визжат осколки, ударная волна ломает ветки деревьев, рвет провода. Звенят, сыплются осколками стекла окна в домах, где-то что-то валится, рушится, разметывается в прах, горит. И... как всегда, вдруг тишина. Самолеты ушли.

Быстро сообразив, что бомбы рвались где-то в нашей стороне, между Черноморской и Серебряной, я прыгаю через забор, бегу. На ходу оборачиваюсь, кричу:

— Славка, скажи Жорке — скоро вернусь!

Улица Кирова, мой двор, дом. Вот мама и тетя Катя стоят у ворот.

— Мама! У нас все в порядке? Бомбы здесь не падали?

— Нет, сынок! Упали где-то у больницы, в той стороне!

Я направляюсь туда. В воздухе еще не осевшая после взрывов пыль, неприятный запах чего-то неестественного, не обычного. Где-то совсем близко взорвалась, по-видимому, одна из бомб. Вот здесь! Угол улиц Крымской и Папанина — огромный дом с не менее огромной, широкой верандой — пристройкой к дому. В этой пристройке столовая санатория авиаработников. Сам санаторий на Нижегородской улице, а здесь как бы его филиал. И сюда, в эту самую столовую, и попала одна из бомб. Все разворочено, побито, поломано...

\* \* \*

Следующий день начался нормально, как обычно. А вот с середины дня все пошло наперекосяк. Я был свободен от несения караульной службы, но в первом часу ко мне подошел Жора Широчинский — он сегодня был начальником караула — и попросил подменить, то есть пойти на пост вместо Вадима Николаева: у Вадима что-то случилось дома. Хотя [58] это была просьба, отказаться было невозможно, и я согласился. Ровно в час дня я заступил на пост часовым на городском телеграфе, что по улице Ленина. Телеграф — это отдельно стоящий дом. Справа от него здание военкомата, слева жилой дом и правление рыбколхоза им. Сталина. Внутри телеграфа два больших зала. За деревянным барьером и стеклом выше его сидят, работают, принимают телеграммы связистки. В малом зале вдоль стены сплошь закрытые кабины. Верхняя половина дверей кабин под стеклом. В эти кабины беспрерывно заходят и через какое-то время выходят оттуда шифровальщицы. При свете тускло светящихся там электролампочек они передают куда-то секретные, зашифрованные цифрами телеграммы.

— Двенадцать — тридцать три — шесть — десять.... — слышатся их голоса. А поскольку это происходит одновременно во всех кабинах сразу, цифры глухо сыпятся на меня дождем через дверки.

В руках у меня карабин, на поясе патронташ с патронами, через плечо в сумке противогаз. Я сижу на стуле и наблюдаю за поведением всех входящих с улицы. В случае если замечу попытку какой-либо диверсии, я обязан принять все меры по недопущению ее, то есть стрелять в диверсанта. Скучно! То и дело я посматриваю на часы: все нормально, дежурство проходит спокойно. Я не стрелял и никого не убивал, диверсанты в мою смену не приходили. А вот и смена! Ровно в 3 часа, минута в минуту, в зал входят начальник караула Жора и мой сменщик — боец батальона Зарецкий.

Меня лично удивляет этот Зарецкий. Он мой учитель по школе, преподавал нам экономическую географию и Конституцию. У него вид утонченного интеллигента: высокий, худощавый, лысоватый, близорукий. Что заставило Зарецкого добровольно вступить в батальон — это известно ему одному. Ясно было одно, что он пока из-за близорукости призыву в армию не подлежал. Неужели в нем так сильно чувство патриотизма?

— Пост сдал! Пост принял!

Все формальности соблюдены, мы с Жорой выходим из телеграфа и следуем в свое распоряжение, в «Ривьеру». [59]

Неожиданно загрохотали зенитки, хотя «воздушная тревога» по городу не объявлена. Проспали радиолокаторщики или в штабе ПВО?

Фрицевские самолеты подкрались со стороны моря внезапно. Мы с Жорой были уже у Госбанка, когда засвистели, завывали бомбы, сброшенные на город.

— Вот они! — кричит, показывает мне рукой Жора. — Три «Ю-88»!

Черные туши бомб летят прямо на нас! Вой переходит в адский скрежет, в раздирающее уши шипение.

Ввах-ввах! — рвутся бомбы совсем рядом с нами, где-то за нашими спинами.

Я встаю, стряхивая с себя осколки стекол, вырванные ударной волной из окон Госбанка и брошенные мне в спину. Встает и Жора.

— Вот это рвануло! — взволнованно говорит он. — Совсем рядом рвались бомбы! Ну-ка давай вернемся, посмотрим — все ли в порядке на телеграфе?

Быстро пробегаем до военкомата, за угол на Ленинскую улицу, и... телеграфа нет! На том месте, где он только что был, где меня только что сменил на посту боец Зарецкий, вместо дома огромная, глубокая воронка от

взорвавшейся бомбы: в ней было не менее 500 кг. В самой воронке и вокруг нее хаотическое нагромождение всего того, что осталось от телеграфа, причем битое, ломаное, скрученное, вывернутое наизнанку. Концами вверх торчат балки, стропила, доски. Два бревна торчком сцепились концами. В них зажаты ноги, и поэтому труп, весь изрешеченный осколками, висит окровавленной головой вниз... Это наш боец Зарецкий. Жора переводит взгляд с него на меня, говорит: «Николай, ты родился в рубашке! Оpozдай я сменить тебя на посту на пять минут, здесь бы висел ты!» — он показал на Зарецкого...

В эту бомбежку жертв было в городе много. Еще две такие же мощные, крупные бомбы упали и взорвались в здании техникума на Черноморской улице и во дворе Греческой школы. Много людей, прятавшихся там в убежищах-траншеях, были задавлены сдвинувшейся землей. Еще одна бомба, поменьше, взорвалась в детском садике, что [60] прямо через дорогу от моего дома. У нас никто не пострадал, но черепицу на крыше перелопатило взрывной волной. В этот же день, поздно вечером, был еще один налет. Какой-то шальной фриц сбросил пару бомб, одна из которых попала в общественную уборную. Вонь вокруг было!..

\* \* \*

Бочки, бочки, бочки... Сотни бочек с вином... По узкой полоске берега у самой воды под обрывом Набережной, от Спасательной станции и до гостиницы «2-я пятилетка» в два яруса стоят на попа бочки с вином. И сама пристань в порту от своего основания до здания Морвокзала заставлена такими же бочками.

Фронт в Крыму, что в Севастополе, что на Керченском полуострове, под все усиливающимся натиском немцев трещал, готовый вот-вот рухнуть. Городские власти, опасаясь худшего, решили помаленьку убирать, увозить из города куда-то подальше в тыл все, что представляло хоть какую-то ценность. Начали с винзавода. Громадные запасы вина в бочках вывозились и складировались в порту, чтобы при случае отгрузить его баржами на Кавказ. Начали демонтировать и оборудование завода. Подобное происходило и на других предприятиях. Мы, бойцы истребительного батальона, теперь помимо поста на КПП при въезде в порт несли охрану и вина, складированного там. А до него, до вина, естественно, о-го-го, сколько было охочих! Пока ты, часовой, идешь между бочек по берегу, в это время на пристани уже кто-то просверлил, или просто пробил гвоздем, дно бочки и спокойно наполняет вожделенной влагой жбан. Хорошо, если вор имеет

совесть и после себя забьет чоп в сделанную им дыру. А то добрая половина содержимого в бочке вытекает оттуда на землю сладкой пахучей струей! Когда видишь, как такое добро бесполезно пропадает, — не удержишься и продегустируешь.

Как-то утром мы увидели на рейде притопавший ночью большой сухогруз «Эльбрус». Пообщавшись с командой судна, мы узнали, что и они загружены под завязку вином знаменитой крымской Массандры. Вино в бочках, коллекционное — в бутылках. [61]

— Гоняют нас из порта в порт! — жаловались моряки. — Полный бардак! Начальство потеряло голову! Теперь вот сюда, в Анапу, турнули. А здесь кому оно, вино, нужно? Вы своим завалили пристань!

Пришел и в кабельтове от «Эльбруса» бросил якорь красавец-бриг «Вега». Я зачарованно смотрел на него и не мог оторвать взгляда. Корабль из прошлого! Как потом мы узнали, с начала войны «Вега» прятала, берегла как реликвию, как один из двух сохранившихся парусников на флоте (вторым был трехмачтовый барк «Товарищ»). Пряталась от бомб «Вега» далеко на Кавказе, в порту Потти. Но потом, после гибели в десантных операциях большого количества плавсредств, дошла очередь и до «Веги». Она сделала несколько удачных рейсов в Крым, доставляя туда боеприпасы. Однажды, попав под бомбежку и чудом уцелев, «Вега» примчалась к нам в Анапу. Ее команда, не желая в дальнейшем рисковать жизням и, разбежалась. Капитан через нашу местную газету объявил о приеме на борт, в команду корабля в качестве матросов желающих. Разве я мог удержаться?

Я пришел на «Вега», но принять меня в команду, несмотря на мои большие познания морского дела и мою горячую просьбу, капитан себе не позволил:

— Ты боец истребительного батальона. Я не хочу, не могу принять тебя на борт. В противном случае ты будешь считаться дезертиром!

Это был единственный раз, когда я пожалел, что вступил в истребительный батальон...

\* \* \*

Конец апреля. По времени самый разгар весны, но погода не весенняя. Стоят солнечные, безветренные, по-летнему жаркие дни. С дисциплиной, с самым порядком службы в батальоне все хуже и хуже. Военкомат продолжает выскребывать из нашего личного состава уже даже не вполне здоровых бойцов, которых в мирное время никак не допустили бы к службе в армии. «Все для фронта! Все для победы над врагом!» — призывают

плакаты, расклеенные по городу. Занятия по военному делу прекратились уже совершенно, и мы были предоставлены самим себе, хотя пока что [62] еще кое-как несли караульную службу. Комбата Грецкого мы видим редко, батальон на грани полного развала. Теперь можно, не боясь какого-либо наказания, не являться на ночь на службу. Можно не приходить в батальон день-два-три, а потом появиться, и никто тебя даже не спросит, почему ты отсутствовал.

Я задался целью определиться где-то в городе на работу. Надо как-то помогать маме, жить на ее мизерную зарплату все труднее и труднее. Борис работал, сапожничал, но этого было мало, даже чтобы более-менее нормально есть. Поэтому я устроился в МТС «учеником слесаря», — а фактически слесарем. Никто меня не учил, никто не наставлял, не показывал, как надо работать. Слесарную работу я познавал сам. Пилил ножовкой металл, обтачивал напильниками и на наждаке, сверлил вручную дрелью и на станке, завертывал-отвертывал гаечными ключами болты и гайки, когда это было надо. Самостоятельно познал я и весь инструмент для слесарных работ, и саму эту работу. Днем в МТС, ночью на службе в истребительном батальоне, — дома я теперь бывал мельком. А между тем в эти весенние майские дни обстановка на близком от нас фронте, в Крыму, складывалась очень плохо. 8 мая немцы на Керченском полуострове перешли в наступление, 14 мая были уже на окраине Керчи, а 20 мая полностью овладели всем Керченским полуостровом. Севастополь пока еще держался, но всем было ясно, что и он скоро падет. Со вторичным разгромом наших войск в Крыму удержать его не представлялось никакой возможности. Блокада города немцами с моря усилилась до предела. Прорвать ее могли только подводные лодки, но это никак не обеспечивало потребность обороняющегося города. 12 июля Севастополь пал. Высвободившиеся немецкие войска, все еще удерживая инициативу, готовы были ринуться на Таманский полуостров. Над Анапой нависла реальная угроза высадки здесь десанта фашистов: широкая, неглубокая бухта с песчаным пляжем у города была идеальным местом для высадки вражеского морского десанта.

Чтобы предотвратить угрозу, надо было срочно что-то предпринимать, и в городе в спешном порядке начались [63] оборонительные работы. По Высокому берегу в районе городского кладбища и маяка оборудовали и заняли огневые позиции две гаубичные батареи. На Якорном мысу, у санатория «Бимлюк» и винзавода «Джемете» — легкая полевая артиллерия и зенитные орудия среднего калибра, могущие вести эффективный огонь и по наземным целям. Вдоль всего пляжа, в 10–15 метрах от уреза воды, в воде

были вбиты колья и на них натянуто проволочное ограждение. На берегу — второй ряд колючей проволоки. А в самом песке пляжа минеры уложили и замаскировали сотни противопехотных мин. Приспосабливались к отражению врага и прочные дома, стоявшие вдоль берега.

Начальник гарнизона своим приказом обязал наш истребительный батальон включиться в строительство оборонных сооружений. Нам было приказано построить три ДОТа по рубежу от маяка на Высоком берегу до городского рынка. К этому времени, а именно с 3 июня, мы были переведены на «Казарменное положение № 1». Это значило, что с этого дня наше пребывание, наша боевая служба в батальоне — круглосуточное, ежедневное. Так что после месяца работы на МТС я просто перестал туда ходить.

Дисциплина в батальоне в связи с этим переломом в нашей службе резко подтянулась. Поскольку батальон теперь являлся настоящей воинской частью, мы перешли на государственное обеспечение. Своей кухни мы не имели, и поэтому нас прикрепили питаться к городской столовой. До войны она работала днем как обычная столовая, а вечером как ресторан. Теперь же мы каждый день строим, повзводно, ходили туда завтракать, обедать и ужинать. Сказать, что кормили сытно, нельзя: каши, каши, галушки, галушки! Но если я, например, во время общего обеда или завтрака не мог прийти сюда поесть, находясь в это время на посту или выполняя какое-то задание, — не беда. Я шел потом в столовую самостоятельно. Заходил, садился за свободный столик, и официантка обслуживала меня, подавая все, что положено. Не надо было предъявлять никаких талонов, удостоверений, подтверждающих то, что я боец истребительного батальона. Таким документом была форма и оружие в [64] моих руках. Глянут официантки — и без разговоров несут еду. В таких случаях я всегда смотрел на рядом сидящих посетителей столовой с гордостью. Я, мол, вот — защитник Родины, и меня кормят бесплатно и безо всякой очереди, а вы кто?

\*\*\*

После падения Севастополя Крым полностью оказался в руках у немцев. Казалось бы, бомбежки Новороссийска и Анапы, через порты которых шло снабжение наших войск в Крыму, потеряли теперь всякий смысл для немцев, но они еще более усилились. Авиация немцев теперь повисла над нами. 2 июля прошла такая бомбежка Анапы, какой мы еще не видели до этого! Не знаю, сколько налетело на нас самолетов, но их было очень много.

Мы, бойцы батальона, все еще располагались в «Ривьере». Выскочили из своего спального корпуса и вместе с связистами-радиолокаторщиками посыпались в траншеи-убежища во дворе.

— Вот они! — кричит Славка, показывая рукой на группу фашистских самолетов, выстраивающихся над Малой бухтой в цепочку. — Сейчас начнут пикировать!

— Раз, два, три... девять, десять! — я считаю самолеты и сбиваюсь, так их много.

— Пикируют! — орет опять Славка. — Бомбы!..

«Ривьера» совсем рядом с портом, поэтому самолеты пикируют и сбрасывают бомбы почти прямо на нас. Земля ходит ходуном. Стенки траншеи обваливаются, засыпая нас. Взрывы слились во что-то единое, страшное своей неестественностью. Ударные волны, вибрируя, давят, рвут тебя и снаружи и изнутри, терзают болью в ушах, в голове, во всем теле.

— А-а-а! — кто-то в соседней траншее не выдержал, сдали нервы, подавлена воля, и он кричит. Кричит неестественным, как бы уже и не человеческим голосом. Это даже не крик, а скорее протяжный громкий стон, выдавленный инстинктом сбережения своей жизни.

Одновременно с бомбежкой порта немцы другой группой самолетов накрыли «бомбовым ковром» аэродром. Освободившись [65] от бомб, пушечно-пулеметным огнем они расстреливают все то, что еще уцелело в земляных капонирах, все то, что еще не пылает, не плавится в жарком огне пожара.

Третья группа самолетов прошла по побережью бухты, начисто подавив зенитные батареи и батареи полевой артиллерии береговой обороны в Джемете и Бимлюке.

В порту горели у осоавиахимовского причала два торпедных катера, пришвартованные борт о борт. На них полный комплект торпед, взрывом которых пристань разнесет в пух и прах! Надо срочно их сбросить в воду! Матросы, сами горя в огне, спешат, освобождая торпеды от креплений, — и вот они наконец в воде. Совсем близко от них, в каких-то тридцати метрах, полыхает огнем катер-сторожевик. А еще дальше грохнул взрывом, развалился и пошел на дно еще один торпедный катер. К счастью, на нем не было торпеды. У спасательной станции, изрешеченное осколками, осело на неглубокое здесь дно двухмачтовое судно «Лесовоз», принадлежащее винзаводу. Его палуба и надстройки, оказавшиеся выше воды, коптят, дышат едким черным дымом. По-видимому, горит запас разлившейся солянки.

На рейде, посреди бухты, разломился пополам и пошел на дно долго стоявший здесь громадный «Эльбрус». Прямым попаданием бомбы взорван огромный по количеству находившегося там боезапаса склад боеприпасов. Склад горит, снаряды рвутся поодиночке или разом по нескольку, осколки разлетаются далеко вокруг.

После случившегося у кого-то из нашего начальства наконец-то сработала голова, и наш батальон переводят из опасной припортовой зоны в санаторий «Мукомолов». Это сразу за МТС. Не так уж далеко мы ушли от порта, но все же!

\* \* \*

24 июля немцы вторично взяли Ростов, — теперь ворота на Кавказ были в их руках. Реальность вторжения фашистов на Кубань мало у кого вызывала сомнения, и вскоре это произошло. Уже в первые дни августа немцы захватили Ставрополь, Армавир, Майкоп. [66]

Мы плохо были информированы о стремительно развивающихся где-то там, за Кубанью, событиях. Радио больше гремело маршами и патриотическими песнями, и совсем мало сообщалось о положении на фронтах.

9 августа посыльный из военкомата принес к нам в батальон повестки — немедленно явиться туда для мобилизации в армию всем, кто рожден в 1924–1925 годах. К моему величайшему огорчению, в это число попали почти все мои друзья и товарищи. Расстаться вот так просто с друзьями я не мог и пошел в военкомат вместе с ними.

— Вы призываетесь в армию, — говорит военком нам, выстроившимся в шеренгу во дворе — Никаких там медицинских и прочих комиссий проходить не будете. Вы служите в истребительном батальоне, значит, уже являетесь бойцами и, в соответствии с этим, вы здоровы, пригодны к дальнейшей службе в армии. Даю на сборы один день! Завтра в 8 утра вы должны быть здесь с вещами!..

Тут же он быстро уходит в дом, — я за ним.

— Товарищ военком! Я тоже вот уже год служу в истребительном батальоне. Вы забираете в армию всех моих друзей и товарищей. Меня — нет. Наверное, потому, что я 1926 года рождения. Я не хочу оставаться один, зачислите и меня в команду призывников добровольцем!

Мне отказали, а ребята 10 августа были отправлены пешком в Краснодар, в крайвоенкомат. 12 августа Краснодар был взят немцами...



В Анапе если не паника, то, по крайней мере, тревожная суета. У горожан уже не было никаких сомнений, что фашисты вот-вот будут и здесь. Войск в городе нет — он брошен, остается на растерзание врагу. В винзаводе большие запасы вина, спирта, виноматериалов. Не оставлять же это добро фрицам в подарок! «Куда его девать?» — «Как это куда? Уничтожить немедленно!» И начали...

Цеха винзавода имеют трубопровод для подачи по нему воды с моря на разные нужды. Небольшая перемонтировка этого трубопровода — и по нему уже течет не морская вода, а вино, сбрасывающееся в море. Но труба настолько мала, что потребуются недели, чтобы перелить все имеющееся, а времени [67] нет! Что делать? Выливать на землю! Выбивают чопы на громадных чанах. Вино течет тугой толстой струей в канализационную канаву. Бьют кувалдами, топорами бочки, штабелями стоящие по территории завода, так и не отправленные в тыл. Вино, коньячный спирт, сам коньяк льются, смешиваются на полу цеха в общую благоухающую массу, речкой текут по земле во дворе, на улицу. Там быстро, под уклон по улице Шевченко до Черноморской, через весь город в порт, в море. Ничего не должно оставаться врагу!

16 августа немцы повторили массированный налет на город, порт и аэродром. В первой волне бомбардировщиков шло 12 «Юнкерсов-88», вслед за ними — два «Хейнкеля-111». Бомбежку прикрывали 12 барражировавших в небе истребителей «Мессершмитт-109». Самолеты месили бомбами все и вся...

\* \* \*

20 августа у нас в батальоне была объявлена тревога. Мы, бойцы, выстроились во дворе санатория в полном боевом и походном снаряжении. Перед строем комиссар Кравченко и командир роты Салашин. Комиссар дал короткую информацию:

— Товарищи! Обстановка сейчас очень сложная и тревожная. Фашисты взяли Краснодар, сейчас бои идут в 60 километрах отсюда между станциями Абинской и Крымской. Завтра фронт может подойти и сюда. Мы, командование батальона, сейчас решаем, как нам быть дальше. Есть предложение — маршем двинуться на станцию Тоннельная и там влиться в любую проходящую в Новороссийск воинскую часть. Но твердого решения по этому поводу пока нет. Будьте в полной боевой готовности и будьте готовы в любую минуту выступить в поход. Разрешаю всем без исключения сходить домой, попрощаться с семьями. В 18.00 быть всем здесь!

Я дома. Бориса, как всегда, нет. Рассказал все маме:

— Мама! Я пришел попрощаться с тобой! Может, сегодня ночью, может, завтра мы уйдем из города. Куда — сами не знаем! Знаем только, что теперь-то мы будем воевать с фашистами! До свидания, мама! [68]

— Сыночек! Родной! — Мама обнимает меня (целоваться у нас в семье не было принято). — Иди! — сквозь слезы говорит она. Голос, губы у нее дрожат. — Иди, воюй! Раз надо — так надо! Пусть хранит тебя Бог! Буду молиться за тебя! А я как-нибудь перебыюсь сама. На Бориса надежды мало.

Она покопалась в ящике комода и дает мне в руки... часы! Мужские, наручные часы с ремешком, «Кировские» часы, как их называли все. Они совсем недавно начали выпускаться Кировским заводом. В бедной жизни народа считалось большим шиком иметь на руке часы, тем более такие, как эти. Я был рад подарку беспредельно...

К 18 часам, как и было приказано, я пришел в расположение батальона. Маматоже пришла со мной. Здесь она была не одна: провожать нас пришли, мне кажется, родные всех бойцов. С наступлением сумерек, когда уже подходил комендантский час, все, наговорившись, наплакавшись вдоволь, стали расходиться по домам.

— В час добрый, сыночек! С Богом! — Мама обняла, перекрестила меня и пошла...

Ночь прошла спокойно. А утром, после завтрака, нас вновь построили и объявили:

— Принято решение — нашему батальону передислоцироваться в село Варваровка. Пойдем туда не общим строем, а, с целью маскировки, поодиночке или группами в два-три, не более, человека. Разойди-и-ись!

Где-то на востоке, за горами в стороне станции Тоннельная, прослушивалась далекая артиллерийская канонада.

Как было приказано, так и сделали. Кто в одиночку, а кому хотелось — группами по два-три человека мы разными улицами, переулками, рассредоточившись, стараясь держаться подальше друг от друга, направились в сторону гор, где в пяти километрах от города был первый на нашем пути поселок — Су-Псех.

Я, конечно же, шел вместе со своим лучшим другом Славой Еременко; к нам примкнул и Леша Черненко. Вот и окраина города. Слева — хлопковый завод, а справа, в ста метрах от шоссе, кирпичный. Высоко в небо вытянулась круглая, [69] сужающаяся кверху, сложенная из желтого кирпича заводская труба. За кирпичным заводом шоссе крутой дугой уходило на восток, чтобы уже под самым Су-Псехом выпрямиться в стрелку и потянуться вверх на

первую, еще совсем невысокую гору из начинающихся здесь предгорий Большого Кавказа.

Чтобы сократить путь и сэкономить время, выйдя за город, мы сошли с дороги и пошли полем, огородами единственного в Анапском районе колхоза-миллионера им. Кирова. Колхозные помидоры некому было убирать: все здоровые мужчины-колхозники-призваны в армию и сейчас где-то воюют, а женщинам было не до помидоров. Мы шли не торопясь. На ходу, придерживая рукой заброшенные на ремень за спину карабины, наклонялись, срывали с уже завялых кустов яркие, тугие, красные, приятно пахнувшие собственной пылью, огородам, землею помидоры и, слегка обтерев их ладонями, с удовольствием ели. По шоссе, в стороне от нас, далеко впереди и сзади топали и другие группки бойцов нашего батальона. В общем, секретность перехода из Анапы в Варваровку нами соблюдалась вполне: тем более что в ту же сторону ехало на подводах и бричках гражданское население, среди которого наши бойцы просто растворились.

— Смотрите, — негромко восклицает Леша, — моршкола горит!

Мы стояли на горе и смотрели сверху на родной город, на черные клубы дыма.

— Жалко моршколу! Зачем это и кто, интересно, поджег ее? — говорю я вслух.

— А что же, ты хотел, чтобы она целехонькой досталась немцам? Захватят город, и расселится их вшивая солдатня в казармах моряков! Нет уж! Пусть лучше сгорит все! Правильно сделали, что подожгли! — высказался Славка. — А подожгли наверняка матросы! Кто же еще?

Как бы там ни было, а мне все равно было жалко и моршколу, и весь наш растерзанный бомбежками, пожарами город, оставленный войсками, брошенный без попытки оборонять, защищать его от подходящего врага. Где они, наши войска? Немцы уже захватили Крымскую, Абинскую, на [70] подходе к Тоннельной и Гостагаевской! А у нас в городе ни одного красноармейца! Возможно, день-два — и здесь будут фрицы. Войдут в Анапу без малейшего риска для своих поганых жизней. Будут жрать виноград, — вон его сколько вокруг! Будут пить выдержанные виноградные вина, запасы которых так до конца и не будут уничтожены, будут купаться в нашем теплом еще море, загорать под нашим солнцем, отдыхать в тенистых аллеях санатория «Ривьера» и парке Курзала. Красная Армия, где ты?! Далеко от нас: под Смоленском, под Киевом, потом под Москвою, под Ростовом наша армия, как это мы знаем по сводкам, дерется, проливает кровь, защищая каждый метр, каждый клочок земли! И если уж отступает, сдает города и

села врагу, то только после того, как уже нечем сдержать его. А здесь у нас что делается? Было обидно за наш город и жалко родных, оставленных там...

Время подошло к полудню. По дороге, по которой мы пришли сюда, движение гражданских лиц почти прекратилось, но зато теперь по ней шли (так же, как и мы, в беспорядке, отдельными группами) последние моряки, оставившие горящую моршколу. Их было немало — сотни две, не меньше. Матросы, весь личный состав моршколы покинул Анапу. Все представляющее какую-то ценность имущество было вывезено парусным бригам «Вега» в Новороссийск несколько дней назад. Учебные шлюпки — шести-, восьми-, двенадцативесельные ялы — были укомплектованы командами из числа матросов моршколы и тоже три дня назад отправлены морем, своим ходом, то есть «на веслах», в Геленджик. Оставшееся малоценное имущество было, как и само здание моршколы, по приказу командования подожжено: этот пожар мы и наблюдали. А всем оставшимся матросам приказали небольшими группами самостоятельно, выбирая кратчайшую дорогу, идти в Новороссийск. Сейчас они были в начале своего пути.

Дорога от Су-Псеха дальше в Варваровку, выписывая по крутому склону горы гигантский зигзаг, выходила на ее голую вершину. Здесь перевал. Никакой растительности, кроме выжженной жарким августовским солнцем до белизны [71] низкорослой травы. Там мы нагнали пятерых наших. Все они в возрасте, идут в сплошь пропотевших на спине и под мышками рубахах, тяжело дышат, сопят.

Над нами не так уж высоко в небе пролетает «Мессершмитт-109». Вроде бы летел мимо в сторону Новороссийска, но...

— Заметил нас, гад! Высмотрел! — все так же кривясь от боли, зло говорит один из бойцов. — Сейчас сделает заход и обстреляет!

Так и вышло, хотя «мессер» сначала пошел в сторону моря, скрылся за Лысой горой, и мы подумали было, что он совсем улетел.

— Вот он! От Су-Псеха заходит! — кричит Леха. — Бежим, братва!

— Куда бежать, дурак? Ложись!

И действительно, куда бежать и зачем? Ни кустика, ни деревца поблизости. Хмеречь (заросли кустарника — диалект), зеленым ковром покрывающая горы, здесь, на перевале, была далеко влево и вправо от дороги. Самолет ревет уже где-то совсем близко за спиной. Мы бросаемся во что-то наподобие кювета у обочины дороги, прижимаемся к горячей, колючей от щебня земле.

— Ту-ту-ту! — бьет по нам «мессер». Пули, взвизгивая на рикошете, громко цокают по бульжнику шоссе. «Мессер», взыв, чуть ли не брюхом прокатившись по нашим спинам, стал резко набирать высоту и мгновенно скрылся в блеклом от яркого солнца небе.

Встали, отряхнулись, прислушались. Самолета не было слышно.

— Последние патроны выпустил по нас! — говорит Славка. — Были бы еще — не отстал бы, гад!

Вот и перевал. Почти на самой вершине горы развилка дорог. Одна уходит влево через Павловскую щель вверх на противоположную от нас, поросшую хмеречью округлую вершину горы, на которой разбросаны редкие домики в широких, просторных, хорошо отсюда просматриваемых дворах поселка Павловка. А вправо, вниз, дорога на Варваровку. По ней мы и пошли. Под гору идти легко: минут 15–20 [72] такой ходьбы, и мы в Варваровке. Между двумя горными хребтами, тянувшимися вдаль берега моря, природа образовала неширокую лощину, известную как «Варваровская щель» — по имени располагающегося здесь небольшого поселка. Укрытие от холодных ветров, обилие солнца, каменистая почва создавали благодатные условия для выращивания винограда, чем и занималось население Варваровки, объединенное в колхоз им. Фрунзе. Жили здесь не бедно. Добрая половина колхозников были по национальности чехи. Откуда они взялись, с каких времен живут здесь, мало уже кто и помнил. Чистоплотные в быту, аккуратные и трудолюбивые в ведении хозяйства, по отзывам анапчан, они были скупы и пренебрежительно относились к русским людям.

Войдя в поселок и пройдя 3–4 двора, увидели у ворот штаба истребительного батальона Долгополова.

— Входите сюда, во двор! Здесь приказано всем нашим собираться, — сказал он, открывая калитку.

Мы вошли в брошенный недавно жителями двор и дом, в котором обосновался штаб нашего батальона. Сразу же за огородом задняя часть двора круто спускалась в овраг. Там уже пылал костер, над которым висел котел. Нас собралось не менее десяти человек. Расселись у костра, стали чистить картошку. Весело болтали, шутили. Настроение у всех было отличное. Великолепно поужинали: съели по куску баранины, по миске картофельного соуса. Наши девчата, оказывается, умеют хорошо приготовить еду!

Утром следующего дня, умывшись, приведя себя в порядок и позавтракав там же, в овраге, где вчера ужинали, мы в безделье слонялись по двору, улице, не зная, чем заняться. Палило солнце; в небе, как всегда, гул

немецких самолетов. Из дверей дома нашего штаба вышел Шурка Кравченко, двоюродный брат нашего комиссара. Стал посреди двора, строгим взглядом командира деловито посмотрел вокруг.

— Ты, ты, ты! — пальцем вытянутой руки ткнул он в сторону сидящих и стоящих бойцов поблизости. — Приготовиться к построению! — приказал он названным. — Личные вещи не брать! С собой только оружие! [73]

— В две шеренги становись! — отдал он строго по-уставному команду, указывая рукой место построения.

Мы, я и Славка, оба попали в число отобранных им 12 человек и по его команде стали в строй.

— На-пра-во! Шагом... марш!

Мы потопали строем со двора через ворота на улицу. Шурка шел рядом. Кем он был сейчас — неизвестно. Со дня ухода из Анапы все перемешалось! Поломалась вся структура нашего батальона. Уже не было взводов, отделений — соответственно и не было командиров. Мы вооруженная, неорганизованная толпа. Вот уже вторые сутки пребывания здесь, в Варваровке, никто нами не занимался.

Мы видели входящими в штаб и выходящими через некоторое время оттуда нашего комиссара Дмитрия Кравченко, бывшего командира роты Салашина, начальника штаба Окуня и еще каких-то деловых, незнакомых нам людей. Что они там делали и делали ли вообще что-либо, мы не знали. Поскольку других командиров среди нас не было, находящиеся сейчас в штабе и были для нас, всех бойцов, авторитетом. Мы чувствовали, что назревает какое-то событие, которое утрясет, уладит все, создаст необходимый порядок.

Натужно воя, чихая и стреляя глушителем, наша бедная полуторка с трудом выползла на перевал. Отсюда до самого города дорога шла под уклон. А вот уже и наша родная Анапа! Остановились. Из кабины показывается Шурка.

— С машины! — командует он.

Мы горохом сыплемся из кузова на мостовую.

— Сеня! — говорит Шурка водителю. — Мы пройдем пешком, а ты езжай до райкома партии и где-то там, на Пушкинской улице, поджидай нас!

— Есть! — Сеня лихо по-флотски козырнул Шурке, вскочил в кабину и умчался.

— Нам приказано, — Шурка наконец-то решил разъяснить цель приезда в город и нашу задачу, — патрулировать центр города, задерживать и

стрелять на месте мародеров, грабящих магазины, склады и все прочее. И кроме этого, — он несколько замялся, — убрать на улицах, закопать трупы!

— Какие еще трупы? Где они? [74]

— Что, мы похоронная команда?

— А мародеров пусть расстреливают НКВД и милиция!

— Давай, командуй назад, в Варваровку, пока мы сами не полегли под бомбами! Вон гудят, летят фрицы бомбить, мать их... Вот они!

Со стороны моря деловито заходила на бомбежку группа «Юнкерсов». Самолеты выстроились как на параде. Ни одного выстрела по ним с земли! Некому стрелять! Город брошен!

— Вuah...ха...ха! — тяжело рвались где-то бомбы. Еще не осела пыль от предыдущей бомбежки, а теперь добавилось еще. Смерд, вонь, гарь, густой запах прокисшего вина! Спирт, вино, сусло были в прошедшие дни выкачаны в море, в канализацию. Что не успели уничтожить — растащено жителями города. На территории винзавода хаос: тут и там валяются битые бочки, рваные шланги, трубы. Цеха разбиты, рухнувшие от бомбежек стены высятся холмами, загроможда проходы. Исковерканный металл, балки, прутья арматуры валялись, торчали вокруг. Кое-где в тенистых местах стояли лужи еще не успевшего до конца испариться разлитого вина. Вокруг густой запах прокисших дрожжей.

В этом хаосе с надеждой найти чудом уцелевшую, не разбитую бочку с вином копались, рылись, шастали по территории несколько человек.

— Прочесать территорию завода и всех, кого увидите, гоните в шею со двора! — приказал Шурка.

— А зачем? — спрашивает у него Володька Ворона. — Вина, спирта, как мы видим, здесь уже нет. А какие остались крохи, пусть люди полакают. Никакое это не воровство и не мародерство!

— Я тебе дам — «полакают»! Ишь добрый какой нашелся! — прикрикнул на него Шурка. — Выполняй, что тебе приказано, и не рассуждай!

Мы разбрелись по двору, ходили по лабиринту совсем темных и полутемных подвалов — хранилищу марочных вин, прошли по сгоревшему пожаром тарному складу, бондарным мастерским. Нашли, задержали и привели к конторе нескольких женщин-«мародеров» и двух дедов. Женщины [75] не столько испуганно, как настороженно смотрели на нас. Деды уже были под хмельком. Поддерживая друг друга, они потопали к воротам, на выход со двора, пытаясь в такт нетвердым сейчас своим шагам петь нечто строевое, патриотическое.

Мы опять на Черноморской улице, идем к центру города. Все чаще и чаще на мостовой, на тротуарах воронки от бомб, все больше и больше разрушенных бомбежками домов. Людей здесь, в центре, не видно. Рядом с техникумом, на перекрестке улиц — завал. Взорвавшаяся недавно крупная бомба образовала на мостовой огромную воронку. В нее свесилась кроной вниз вывернутая с корнем старая акация, а поперек нее лежит рухнувший телеграфный столб. На краю воронки брюхом вверх с растопыренными в стороны прямыми, словно вставленными в туловище вытянутыми ногами лежит разлагающаяся лошадь. Она вся в перепутавших ее проводах с упавшего столба. Мы как могли обошли завал и направились дальше. Вот моя родная улица, а вот и мой двор, дом! Я волнуясь и спрашиваю Шурку:

— Командир! Я в этом дворе живу. Отпусти на минуту, здесь моя мама и брат. Я только повидаюсь с ними и догоню вас!

— Отпусти парня! Пусть с мамой встретится! — поддерживает мою просьбу немолодой боец.

— Иди! — разрешил Шурка. — На Пушкинской нас догонишь!

Я бегом бросился к своему двору. Удивляло то, что по улице и здесь никого почти не было видно. Врываюсь в калитку, но двор оказывается пуст. Наша квартира разрушена, рухнула от взорвавшейся рядом авиабомбы. Груда, гора самана, кирпича, штукатурка вперемешку с торчащими из нее балками, досками, камышом, которым был утеплен потолок. Это все, что осталось от квартиры. Где же мама? Где Борис? Живы ли они?

— Коля, это ты? — слышу я вдруг за спиной.

Этот голос, так неожиданно услышанный, меня испугал. Я резко обернулся. У колодца, посреди двора, стояла соседка по нашему двору тетя Нюся. [76]

— Вот видишь, что осталось от вашей квартиры? — говорит она мне с грустью и сочувствием в голосе.

— Мама... мама где моя? — спрашиваю я, боясь услышать страшное.

— Ната жива! И Борис жив! Мы все были в траншее при этой бомбежке. Если бы они тогда не вышли из квартиры по тревоге, то...

Я облегченно вздохнул. Жалко было, конечно, нашу квартиру, вещи, но главное — мама и Борис были живы!

Я вернулся к своим, — они стояли и курили на Пушкинской улице у райкома партии. На этой улице был еще больший хаос, чем на Черноморской. Посреди дороги, начиная от углового дома, — цепочка воронок от взорвавшихся небольших (килограммов по 25) авиабомб. Так же свисают со столбов перекрученные взрывами в спирали телеграфные



провода, деревья в Пушкинском сквере иссечены осколками. Вонь, пыль, гарь! На тротуаре лежат трупы убитых при бомбежке люди и.

— Пошли в аптеку! — говорит Шурка. — Там должны быть резиновые перчатки!

Аптека была совсем рядом. Расположенная в самом центре главной улицы города — Пушкинской, она стояла углом к Тираспольской улице. Красивейший дом старинной постройки с широкими, во всю стену на тротуар, стеклянными окнами-витринами под маркизами. Вдоль всей стены, несколько отступя от нее, была укреплена металлическая труба-поручень, предохраняющая стекло витрин от случайных ударов прохожих. В витринах громадные, из тонкого стекла колбы, реторты, наполненные то ярко-красным, то пронзительно-синим, а то — лимонно-желтым растворами. Подсвеченные вечером электролампами, они играли цветовой гаммой. В то наивное время нам было приятно любоваться и восхищаться красотой цвета аптекарских растворов. Сейчас же здесь все разбито, разлито по мозаике пола, растолчено, хрустит под ногами. Как будто и бомба сюда не попала, и рядом нет воронок от них, а внутри погром! Кому нужно было все это бить, крушить? Зачем?..

Мы прошли в провизорскую, в склад, осмотрели все, но [77] резиновых перчаток нигде не нашли. В общем, с уборкой трупов на улицах ничего не получилось.

— Ну, перчаток нет. Перетаскаем без них убитых куда-нибудь в воронки от бомб, а закапывать чем? Лопат-то тоже нет! — говорит Андрей Коробов.

К этому времени в небе, как всегда со стороны моря, нарастает гул летящих самолетов. Мы грузимся в машину и, прыгая, вихляя по булыжнику мостовой, побыстрее катим вон из города, чтобы не быть накрытыми бомбами. Уже когда мы пересекли улицу Вагонную, за нашими спинами послышался вой несущихся вниз, на город, и взрывы упавших где-то в центре фашистских бомб.

\* \* \*

Немцы хлынули на Кубань, на Северный Кавказ. В Краснодаре, в крайкомпартии, помимо всех прочих необходимых в сложившейся крайне критической ситуации дел, произошло экстренное совещание узкого круга лиц из числа партийного аппарата, на котором было принято решение в срочном порядке создать на территории края для борьбы с оккупантами (а в



И. К. Гуляков, командир 3-го Анапского партизанского отряда

том, что они вот-вот оккупируют край, не было ни у кого никакого сомнения) партизанские соединения.

В числе участвующих в совещании были: 1-й секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев, секретарь А. И. Родионов и А. А. Егоров, а также начальник краевого управления НКВД Тимошенко К. А. Было решено создать на территории всего края семь партизанских соединений — «кустов»: Анапский куст, Новороссийский, Геленджикский и т.д.

Руководство и координация действий этих «кустов» возлагались на главный штаб. Начальником штаба тут же был назначен П. И. Селезнев. А на должность командира решили назначить опытного, хорошо грамотного в военном отношении командира Красной Армии, для чего просить командование фронтом выделить срочно такого человека.

В это время во фронтовой обстановке был полный хаос. Полки, батальоны, отдельные части армии на грани паники, [78] не получая каких-



П. А. Фролов, командир 1-го Анапского партизанского отряда

либо приказов на боевые действия от куда-то пропавшего командования, самостоятельно, по собственной инициативе, отбиваясь от наседавшего врага, устремились по пыльным дорогам Кубани к спасительным, по их мнению, Кавказским горам. В такой обстановке найти кого-либо из высшего командования и просить выделить командира для командования партизанскими соединениями не было никакой возможности. И в будущем такого командира у краснодарских партизан не было. Начальником же штаба Анапского куста был назначен А. А. Егоров. И он, не теряя времени на размышления и поиски командира, сразу же из Краснодара отбыл в Анапский

куст. Вот 24 августа в Варваровке я его и увидел впервые. Он был среди членов комиссии, как я уже об этом рассказывал, отбиривших благонадежных в партизанский отряд.

В течение последних дней августа был в спешном порядке сформирован окончательно весь Анапский куст партизанского движения. В него входили:

#### 1. Анапский отряд № 1

Основной состав отряда — работники и жители совхоза им. Молотова и Джемета Анапского района. Командир отряда: Кузьма Григорьевич

Приходько — директор совхоза. Комиссар: Павел Акимович Фролов — первый секретарь райкома партии г. Анапа. Место базирования: леса ст. Раевской.



М. Н. Терещенко — командир 2-го Анапского партизанского отряда

## 2. Анапский отряд № 2

Основной состав отряда: работники и жители г. Анапа (рабочие винзавода, милиция, рыбаки, стройконтора, заготзерно, порт, личный состав истребительного батальона). Командир отряда: М. Н. Терещенко. С 1941 г. 3-й секретарь райкома ВКП(б) в г. Анапа. Комиссар: Д. А. Кравченко, директор винзавода. Место базирования: Лобанова щель.

## 3. Анапский отряд № 3.

Основной состав: работники НКВД, милиция, некоторые бойцы истребительного батальона. Командир отряда: Булавенко, начальник НКВД города. Комиссар: А. М. Салашин, милиционер. Место базирования: Новогирская щель.

4. Отряд темрюкских партизан. [79]

5. Отряд варениковских партизан.

6. Отряд камышеватских партизан.

7. Отряд щербиновских партизан.

Всего 7 отрядов. Численность около 400 человек.

Вот таков был по своей структуре Анапский куст.

\*\*\*

24 августа 1942 года, третий день нашего пребывания в Варваровке, начался с суеты, которая не улеглась и к вечеру. Уже с утра к нам во двор шли и шли люди. Шумной толпой ввалились рыбаки рыбколхоза им. Сталина во главе со своим председателем, сразу же за ними — рабочие рыбцехов. Появились работники уголовного розыска, НКВД, милиции города. Уже к обеду пришла большая группа рабочих и служащих винзавода. А потом потянулись в одиночку, парами и группками разные люди с разных организаций и учреждений города. Тут и стройконтора, заготзерно, водосвет, горсовет и райисполком. Пришло более двухсот человек, не меньше! Мы, личный состав истребительного батальона, просто растворились, потерялись среди них. Шум, гомон...



И. Г. Приходько, командир 1-го Анапского партизанского отряда

На крыльце показался связной и по списку стал поочередно, по одному вызывать собравшихся в штаб. Очередники шли туда, минут через 5–6 выходили, молчали, а на вопросы: «Зачем вызывали? Что там говорят?» — не отвечали. Некоторые (по выражению лица видно) были довольны, загадочно улыбались. Другие — сумрачные, расстроенные. Но хотя они все молчали, ясно было, что там с каждым вызванным о чем-то говорят, беседуют. Связной выкликнул мою

фамилию. Я поднялся, пошел в дом, для приличия стукнул пару раз в дверь:

— Разрешите войти?

— Входи! — послышался голос нашего комиссара — дяди Мити Кравченко. — Входи, Коляша!

В маленькой комнате стоял посреди тоже маленький стол. За ним вокруг, кто на лавке, кто на табуретках, сидела группа людей.

У торца стола строгий, с жестким лицом начальник НКВД Булавенко. Рядом секретарь райкома партии Терещенко. Потом командир роты нашего истребительного батальона [80] Салашин, начальник штаба батальона Окунь. С другого торца стола секретарь крайкома партии Егоров. По левую руку от него комиссар батальона Кравченко и дальше по столу еще какой-то незнакомый мне командир в форме войск НКВД.



А. А. Салашин, комиссар 3-го Анапского партизанского отряда

Это и была комиссия, беседовавшая с каждым из нас с глазу на глаз. Все молча, внимательно смотрят на меня. Маленькая пауза — и следуют вопросы: фамилия, имя, отчество; происхождение, чем занимался до сего времени; кто родители и где они сейчас, — и много разных других вопросов.

Я стал рассказывать о себе, о нашей семье. Присутствующие внимательно слушали. Когда я кончил, Салашин вдруг сказал:

— Я знал его отца! Он погиб полгода назад, спасая народное добро!

— А я знаю всю его семью! — перебил его дядя Митя Кравченко. — Николай, — он кивнул на меня, — дружил с моим племянником. Неразлучные были сорванцы!

— Не будем отвлекаться! — пресек его красноречие Булавенко. —  
Время у нас ограничено. Ну, как решили? Берем его?

— Я его беру к себе! Вижу, паренек здоров, настроен боевито. Будет из  
него хороший боец, — сказал Терещенко.

— Никто не против? — опять ко всем обратился Булавенко.

— Нет! — бегло и быстро, один за другим отвечали присутствующие.

— Итак, Коляша, — приветливо улыбается мне комиссар, — мы  
принимаем тебя в создаваемый нами партизанский отряд. Как ты на это  
смотришь? Желаеть быть в таком отряде?

— Желаяю и хочу быть! — твердо ответил я.

— Молодец! Так и держать! — Дядя Митя одобрительно стукнул  
кулаком по столу.

— Иди! И о том, о чем здесь был разговор, о том, что слышал, —  
никому ни звука! — подвел итог Булавенко.

Я вышел. Почти сразу же за мной был вызван для беседы Славка. Он  
тоже был принят в партизанский отряд. Мы с [81] ним сверх всякого предела  
были переполнены чувством радости и гордости за доверие к нам; прямо-  
таки горели желанием, чтобы все утряслось, организовалось, чтобы  
побыстрее увидеть фашистов, стрелять, бить, уничтожать их!

Итак, наш истребительный батальон ликвидирован, он больше не  
существует. Сегодня на его основе создан партизанский отряд для боевых  
действий в тылу врага, который вот-вот придет сюда. Ясно, что в него, в  
отряд, будут зачислены и пришедшие сюда люди из города. Иначе зачем им  
всем сейчас здесь быть?

К концу дня, часа в четыре, из штаба наконец-то вышло все начальство.  
Утомленные долгим сидением за столом, они разминались, потирали руки,  
улыбались, довольные проделанной ими большой работой, перебрасывались  
ничего не значащими фразами.

Оставив всех, на середину двора вышел начальник штаба Окунь.

— Общее построение! — объявил он громко, почти криком. — Ста-а-  
нови-ись! — И вытянутой рукой показал место строя.

— Живо, живо! В две шеренги! — добавил он уже не по-уставному,  
скороговоркой.

Все засуетились, задвигались, толкая друг друга. Через минуту мы  
стояли в строю. Затихли, ожидая услышать нечто интересное для себя. И  
услышали...

— Внимание! — начал Окунь. — Сейчас я прочту фамилии товарищей, которые должны выйти из строя вот сюда! — он показал место у сарая, ближе к дому, где штаб. — А остальным пока оставаться на месте.

Все вызываемые выходили и, перейдя на противоположную сторону двора, без команды, сами по себе, становились в новый строй. Услышав свою фамилию, я заспешил туда же, за мной Славка...

Окунь продолжал читать список фамилий — наш строй увеличивался и увеличивался. Всего нас оказалось сотни полторы. Посреди двора остались невызванные: их тоже человек сорок — не меньше!

— Вы можете разойтись и заниматься своими делами! — Окунь, полуобернувшись, сказал это нам. Затем не торопясь [82] сложил списки наших фамилий в папку, сунул ее под мышку. Снял с переносицы свои огромные очки, протер стекла носовым платком и, надев их вновь, смущенно и раздраженно, как будто перед ним стояли в чем-то виноватые люди, обратился к ним:

— Товарищи! Вы честно выполнили долг перед Родиной! Служили в истребительном батальоне, работали на предприятиях города. Сейчас же необходимость в вас у нас отпала! Можете быть свободными и распоряжайтесь собою как хотите. У вас в городе остались семьи. Идите к ним. Но... — тут Окунь спохватился, — я не советую вам это делать! Фашисты вот-вот войдут в город. Найдутся предатели, которые выдадут вас, как бойцов истребительного батальона, как активистов на работе! Поэтому советую вам идти сейчас же не в город, а лесом, — он махнул рукой, указывая куда, — горами в Новороссийск! Там вас оформят в любую воинскую часть. В Новороссийске, по нашим сведениям, врага еще нет, но поторопитесь.... Идите! — закончил Окунь и, повернувшись, явно чувствуя себя неловко перед так некрасиво брошенными за ненадобностью, из-за недоверия к ним людьми, быстро, словно напакостил, засеменил в сторону.

Действительно, это выглядело гадко! Я не хочу сказать про всех отчисленных, не принятых в отряд, всех я не знаю. А вот бойцов нашего истребительного батальона, моих друзей, товарищей, я знал отлично: хотя бы потому, что почти полтора года войны ходил с ними в одном строю, плечом к плечу. Да и до войны я знал многих. Вот, например, Жора Широцинский. Это здоровый, крепкий парень, комсомольский вожак в нашей школе, активист, вполне авторитетный в глазах молодежи. Когда в истребительном батальоне нас, пацанов, собрали и объединили в один молодежный взвод, командиром этого взвода в течение года был Жора. Он буквально горел патриотизмом! Держал нас в строжайшей дисциплине и, учась сам, учил нас военному

делу, — и небезуспешно. И вот теперь он не принят в отряд. Почему? Куда ему теперь деваться? Его отец, военный хирург, недавно погиб на фронте в Крыму, когда транспортный [83] самолет, в котором он с группой тяжелораненых бойцов пытался вырваться из пылающего Севастополя, был сбит безнаказанно барражировавшими над городом «мессерами». Матери у Жоры давно нет, дом в городе разбомблен. Жора стоял у ворот среди таких же, как и он, «отверженных», опустив голову. Одет он был в полную армейскую форму, вплоть до портупей через плечо. Но подойти и сказать что-то утешительное — что мы не виноваты в происходящем, что мы по-прежнему верим и уважаем его, — было нельзя. Мимо нас прошел Салашин и негромко, только чтобы слышали мы — «отобранные», предупредил:

— К отчисленным не подходить! Никаких разговоров с ними! Никакого контакта!

Мы понимали это как приказ и нарушить его себе не позволили.

Не буду перечислять других наших товарищей, оказавшихся в таком же положении, как Жора. Было обидно за ребят! Они были уже лишними здесь, никому не нужными. Понимая это, да и что им оставалось делать? — они, не прощаясь с нами, покинули двор.

Поздно вечером, когда уже никого из посторонних, не принятых, во дворе не было, нас, оставшихся, построили еще раз. Перед строем стоял Терещенко. Он прочел нам свежую сводку Информбюро о положении на фронте, коротко высказался, призывая к стойкости в предстоящих в ближайшие дни боях с фашистами. Затем нас по заранее составленным спискам разбили на две равные группы, примерно по 65–70 человек в каждой.

Так были сформированы два партизанских отряда: отряд № 2 и отряд № 3.

Командиром отряда № 2 был назначен секретарь Анапского райкома партии Терещенко, комиссаром — директор Анапского винзавода, он же комиссар истребительного батальона, теперь уже бывшего, Кравченко. Начальник штаба — Окунь. В отряде № 3 командир — начальник НКВД города Анапа Булавенко. Комиссар — бывший командир роты истребительного батальона — Салашин. Славка и я, к нашей обоюдной радости, оказались в одном отряде — № 2. [84]

В полной темноте весь личный состав отряда № 3 был построен прямо на улице. Подана команда — и вот они пошли дальше в горы, в сторону Сукковской щели. После трех дней суеты, сутолоки от большого присутствия людей вдруг стало как-то просторно, тихо. Ночь прошла спокойно, хотя

наши командиры проявляли полнейшую беспечность! В конце концов мы, как воинская часть, должны были обеспечивать охрану самих себя, тем более что находились мы уже по сути дела в прифронтовой полосе, и врага ожидать здесь можно было в любую минуту. На ночь не было выставлено никакой охраны! Единственный часовой у ворот двора, удобно усевшись на теплую, нагретую днем солнцем завалину хаты, крепко спал, прижав к себе обеими руками и коленями ног карабин, а наше начальство, плотно (и не без чарки коллекционного сухого вина из подвалов Су-Псеха) поужинав свежей бараниной, сладко похрапывало в хозяйском доме.

На следующий день, перед завтраком, весь отряд был построен во дворе. После переключки командир Терещенко приказал по одному входить в штаб. Одним из первых вошел я.

— Получай зарплату! — грубо произнес Окунь, сидящий за столом, протягивая мне толстую пачку денег.

— Почему так много денег? — спрашиваю я Окуня.

— А они, что, для тебя лишние? — отвечает он вопросом. — Иди, не задерживай следующих!

Никаких там ведомостей, росписей! Взял деньги и пошел! Вслед за мной вышел от Окуня и Славка. Он так же, как и я, с недоумением смотрел на пачку денег в своей руке. Сели, посчитали. И у него и у меня было по 450 рублей. Колоссальная сумма! Такой же рядовой боец-красноармеец в обычной воинской части получал 9 рублей в месяц; этих денег хватало только на дешевое курево — махорку, поэтому и выплату называли «махорочной». Даже зарплата моей мамы была 110, — а мне выдали 450 рублей!

— Какая же это зарплата? Здесь что-то не то! — говорит Славка. — Для зарплаты это слишком много.

Так же, как и нам, это непонятно и остальным. Все недоумевают. [85] Позже становится известно, что вчера вечером Шурка Кравченко и с ним несколько рыбаков привезли из города два мешка, под завязку наполненных деньгами. Кто говорит, что в Госбанк попала авиабомба, здание рухнуло, а деньги разбросало по всему кварталу Пушкинской улицы: бери, не хочу! А кто говорит, что Шурка с ребятами подорвали гранатой сейф в сберкассе и нагребли оттуда эти два мешка денег. Кто знает, где правда? Но, как бы там ни было, деньги, такую огромную сумму, некуда было девать, и командование решило раздать нам их в виде зарплаты. Впрочем, надо сказать, что попытки купить на эти деньги в поселке хотя бы молоко и хлеб



не удались. Одни грубили, а иные даже не хотели и говорить с нами, а, услышав просьбу продать нам молока, молча поворачивались и уходили.

— Ждут не дождутся, наверное, немцев, заразы! — зло плевался Витька.

\* \* \*

Утром следующего дня, еще до обеда, группами по 5–10 человек наши бойцы, теперь уже партизаны, уходили дальше в горы, в том же направлении, куда вчера ушел отряд Булавенко: по дороге в щель Сукко. А после обеда мы погрузили на подводу все кухонное хозяйство, и оно было отправлено туда же. Вместе с кухней ушли и наши девчата.

К концу дня ушли с очередной группкой партизан командир Терещенко, комиссар Кравченко и начальник штаба Окунь. Нас осталось человек 10–12, не больше. Старшим нашей группы был назначен Андрей Коробов, еще только недавно бывший начальником Анапского порта. С нами был и его сын Виктор, мой друг и товарищ по занятиям военно-морским делом в ОСОАВИАХИМе. Утром следующего дня откуда-то появился Шабельник и передал приказ командира следовать в Сукковскую щель на перевалочную базу отряда.

— Я вас поведу! — сказал он.

Мы мигом собрались и пошли. Шабельник — житель Варваровки, председатель колхоза. Всю местность, от самой Анапы и по побережью до Новороссийска, горы и леса до станицы Натухаевской и поселка Верхнебаканский, он исходил [86] пешком и знал ее безукоризненно. Это был толковый, умный, рассудительный мужик — такой для отряда был не лишним. Позже его семья — мать и жена, оставшиеся в Варваровке, были выданы предателями оккупантам и расстреляны румынами как семья коммуниста, партизана, председателя колхоза.

Шабельник вел нас быстро, марш-броском, по пыльной, выжженной горной дороге. Солнце палило, серая, бархатная пыль перетертой глины и мергеля покрывала нас с головы до ног. Небо гудело. Фашистские самолеты шли и шли над нами эшелонами, редко в одиночку, куда-то в сторону Новороссийска. Вчера их летело больше, чем позавчера, а сегодня еще больше, чем вчера. Наших самолетов не видно и не слышно. Когда к нам приближается низколетящий «Мессершмидт», мы быстро прячемся в придорожной хмеречи.

Вот прошли щель с речкой Шенгири. Она только называется речкой — ей она бывает только весной, в половодье. А сейчас, в сушь, от нее остался жалкий ручеек, который можно не просто перепрыгнуть, а и перешагнуть.

Дорога круто идет вверх, на гору, изогнувшуюся своим хребтом в сторону видного уже отсюда моря. Мы останавливаемся, переводя дух после долгого подъема, любуясь синевой родного моря.

Слева, километрах в пяти, хорошо просматривается с высоты панорама широкого полуострова и на конце его, в море, остров Большой Уйриш. Отчетливо видны маяк на острове, домики рыбцеха, причал.

— Смотрите! Вот он, «Фабрициус»! — восклицает Славка.

В южной стороне острова, выбросившись на прибрежные скалы, стоит с креном на левый борт искромсанный фашистскими авиабомбами канонерка «Фабрициус».

— Досталось бедолаге! — с горечью, кивая на разбитый корабль, говорит, ни к кому не обращаясь, Ланжинский.

Потом мы проходим Сукковскую щель, — на самом деле это лощина, узко начинающаяся в лесу, в горах, километрах в 3–4 от моря. Все более и более расширяясь, она выходит к [87] берегу широким, не менее четырехсот метров ширины, устьем. Вдоль всей ее длины протекает берущая свое начало от родников в горах речка Сукко. Скорее, это даже не речка, а крупный ручей — сейчас, в жару, он уже почти совсем пересох. Он даже и не впадает в море, хотя и течет по лощине. В двухстах шагах от берега уходит под землю, под прибрежную гальку, и где-то там рассасывается в морской воде. По названию речки эта лощина и называется Сукковской щелью. Во всю ее ширину по обеим сторонам раскинулись красиво, в шахматном порядке посаженные кусты — колхозный виноградник. Дальше в горы, на плодородной, наносной почве — богатые огороды жителей. Там же притулившийся двумя рядами дворов и домов к проходящей здесь дороге поселок Сукко. Хатки маленькие, неказистые, саманные. В центре поселка один-единственный каменный дом — школа; рядом сельсовет и убогий магазин.

Шабельник идет, не оглядываясь, быстро, торопится, словно впереди его ждет нечто приятное. Мы тоже, утомленные переходом, молчим, торопимся, смотрим больше себе под ноги. С боков подступают горы, поросшие пока еще не лесом, но густой, буйной хмеречью. Дорога, поскольку по ней ездят редко, от случая к случаю, поросла травой, бурьяном и еле обозначается. Кустарник отдельными островками подступает, охватывает ее.

— Стой! Кто идет? — раздается вдруг неожиданно впереди, совсем близко от нас.

Шабельник стал. Стали и мы. Из высокого бурьяна у дороги в рост подымается шофер нашего Анапского винзавода Алексей Тимофеев. Он, также как и мы, принят в партизанский отряд. Мы его все знаем. Знает и он нас, но тем не менее, до смешного изобразив грозный вид, строго, опять же грозным голосом спрашивает, как будто видит нас первый раз в жизни:

— Кто такие? Куда идете?

Карабин угрожающе направлен на нас, палец руки на спусковом крючке. Такой сдуру и выстрелит! Фуражка у Алексея надвинута на брови, в нее за ремешок, выше козырька, натыкана трава. Надо понимать так, что это сделано [88] для маскировки. Какая наивность! Какая глупость в поведении!

— погоди! Не выдергивайся, сейчас все скажу! — Шабельник, оставив нас, подошел к Тимофееву и стал ему что-то объяснять.

Мы стояли и, посмеиваясь, ждали результата. Было ясно, что там, дальше на дороге или у дороги, расположились партизаны. Здесь их командир выставил пост, задачей которого было останавливать и не пропускать дальше никого постороннего. Тимофеев и выполнял эту задачу. Да, он задержал нас, — ну, а дальше что? Окажись мы действительно врагами, мы убили бы его и продолжали идти дальше. Разве так охраняются подступы к отряду? Часовой затаился в кустах у самой дороги! А потом, остановив нас окриком, выставился во весь рост! А если бы на нашем месте были немцы? Что, он бы тоже так действовал? Глупее и не придумаешь! Я, мальчишка, и то понимал абсурдность действий часового!

— Если уж и надо было выставить охрану, то это следовало сделать так, — высказал я свое мнение вслух всем. — Пост выставить не на самой дороге, а в стороне от нее. Вон там, повыше, в хмеречи! И не одного часового, а не менее двух. В случае появления врага или подозрительных лиц не выходить на дорогу и угрожать им карабином, а быстро, без промедления одному отправиться в расположение отряда, доложить командиру о происшествии, второму же, оставшемуся на посту, продолжать скрытно вести наблюдение. А то натыкал травы в фуражку и...

— Ты правильно рассуждаешь, Николай! — выслушав, вполне серьезно поддержал меня Каруна. — Не знаем еще мы, как надо нам воевать!

— И не умеем! — поддержал его Коробов-отец. — Ничего. Учиться будем!

— Пошли! — махнул рукой Шабельник.

Мы заторопились за ним. В стороне от дороги, метрах в 20–30, на поляне, среди высокого кустарника и редких, низкорослых деревьев, стояла натянутая на колья огромная брезентовая палатка. Вертикальные стены, в

них окна в виде клапанов, покатаая на четыре стороны крыша. Она имела [89] форму дома, а не обычной палатки, какие мы привыкли видеть на рисунках в книгах. И вместительность оказалась внушительная: человек на пятьдесят. Это была перевалочная база нашего отряда. Оказывается, из Варваровки все приходили и все привозили сначала сюда, а потом уже дальше в горы. Людей на момент нашего прихода тут было полным-полно! Палатка завалена разным имуществом, продовольствием. Здесь мешки с мукой, ящики с макаронами, вермишелью, разные крупы в кулях, сахар, сухофрукты, табак, вино в бочках и т.п.

Комендантом этой перевалочной базы, начхозом командиром отряда был назначен Аншаков — отец моего хорошего товарища по школе. Коменданта базы все называли Батей, — и я с этого момента тоже стал его так называть. Батя заботился о том, чтобы все были накормлены, назначал людей на посты для охраны всего своего хозяйства, распорядился отгрузкой имущества и продуктов на основную базу отряда куда-то еще дальше в лес, в горы, и направлял туда же группами партизан. Как-то быстро и незаметно подошел вечер, и сразу же навалилась непроглядная темень. Я попался под руку Бате, и он тут же назначил меня на пост. Сам лично отвел подальше от палатки в темноту ночи и приказал:

— Сиди здесь, слушай внимательно и смотри в оба! Если что — стреляй! И не спать! Когда надо будет — сменим!

Ушел. Я привалился спиной к упругим веткам куста кизила, вытянул вперед ноги, положил на них карабин и... весь внимание! Тишина, только сверчки тюрлюкают. Все небо в тучах, поэтому темень — хоть глаз выколи! Мне хотелось спать, но я крепился, мотал, дергал головой, чтобы разогнать сон. Страх одиночества в темноте ночи никакого не было. Чего бояться или опасаться? Фронт еще неизвестно где! Во всяком случае, немцы сейчас здесь не могут быть. А кроме них кто сюда сунется и зачем? Даже если предположить, что какой-то диверсант захочет что-либо разведать о нас — партизанах, то ему незачем это делать ночью. Он и днем может сидеть где-то рядом в кустах и переписывать, пересчитывать всех и вся. А так, не диверсант, не вражеский [90] разведчик, а просто случайный бродяга сейчас здесь не появится. Все здоровые, крепкие в армии, а хилые, немощные на печках по домам! — так я рассуждал сам с собою.

Тьма была такая, что я не мог различать стрелки на циферблате своих часов и не знал, который уже час. Про меня явно забыли, и никто так и не сменил меня до рассвета. А с рассветом я, продрогший от утренней прохлады, пошел в палатку. Нашел Батю:

— Что же вы так и не подменили меня на посту?

Батя сначала вроде бы растерялся, застыдился и не сразу ответил мне.

— А зачем тебя было подменять? — наконец нашелся он. — Привыкай стоять на посту без смены всю ночь! Это тебе не регулярная армия! Это только там стоят по 2 часа! Мы — партизаны! Понял? — Он многозначительно посмотрел на меня, подняв для убедительности указательный палец перед моим лицом.

У кого-то я выпросил кусок хлеба, пожевал, запил холодной водой. В углу палатки, подальше от входа, откуда тянуло утренним холодком, нашел удобное местечко на двух под завязку наполненных чем-то мешках и улегся спать. Спал я долго. Сквозь сон слышал какую-то возню, шумные разговоры, команды. А когда уже в полдень проснулся, было тихо. С удивлением я огляделся. В палатке никого нет, пусто. Нет партизан, нет штабеля продуктов, кучи барахла. Снаружи, у входа, сидели, курили Батя с сыном Сашкой, Славка, Женька Гончаров.

— А где все остальные? — спрашиваю их.

— Проспал ты! Все ушли на базу. Продукты и нужные вещи отгрузили на подводы, унесли с собой! — говорит Батя.

— Ну, а нам что делать?

— Как что? Сидеть и ждать команды! Пришлют лошадей — отгрузим все оставшееся. Палатку свернем и сами смотаемся отсюда.

— Тишина-то какая, — говорит Славка. — Сегодня и самолетов что-то не слышно. Вроде бы и войны уже нет.

Действительно, вокруг было тихо. Не слышно гула летящих [91] самолетов, далекой артиллерийской канонады. Где же фронт?

— Может, немцы уже в Анапе? — говорю я всем. — Может, они уже и в Су-Псехе, в Варваровке?

— Может быть! — отвечает с какой-то злостью в голосе Батя. — Может, они вот сейчас будут здесь! — с еще большим раздражением сказал он и сплюнул. — А мы сидим, как истуканы... Будем рыть яму! — сказал он вдруг, поднимаясь. — Пошли, пошли! Нечего сидеть, бездельничать!

— Какую еще яму? Зачем?

Батя входит в палатку, мы за ним.

— Здесь будем копать! Вот лопаты! — показывает он нам под стенку палатки. — Выкопаем, сложим туда вот это имущество!

Он подошел к мешкам, на которых я спал. Отбросил в сторону пустые рогожные кули. Там было что-то прикрыто. Мы увидели сваленные прямо на землю, навалом, охотничьи ружья, казачьи сабли, кинжалы.

— Коля! Это же то оружие, что было у нас, в ОСОАВИАХИМе! — говорит мне удивленный Славка. — Вот куда оно попало! Это же надо! Но тут не все! Здесь только часть того, что было там!

— Да, здесь не все! — вижу и я. — Но зачем было все это тащить сюда? Не воевать же нам саблями, кинжалами и охотничьими ружьями?

— Просто начальство не знало, куда деть, вот и приперли сюда! — говорит Батя. — Это добро надо не в лес везти, а в музей! Это же историческая ценность! Припрятали бы где-то в городе до лучших времен! Кому оно нужно здесь? Никому! Тащить его дальше в горы — дурость! Давайте, ребятки, закопаем его! Не оставлять же немцам!

Мы долбили каменистую землю, понимая, что наша забота — «мартышкин труд». Ну закопаем, а дальше? Оно же все пропадет в земле, поржавеет!

Яма готова. Мы выстлали ее валявшимися у нас под ногами рогожными кулями, сложили туда все оружие, прикрыли (для очистки собственной совести) опять же кулем и закопали. [92]

— Пропали царские подарки казакам! — говорит Батя, утаптывая ногами землю. — Пропали подарки Александра Васильевича Суворова и атамана Платова!

Солнце уже настолько припекало, что мы прячемся в тень. Все пятеро лежим снаружи под стенкой палатки, лениво разговариваем, курим. По щели вверх, прямо против нас, метрах в ста, по дороге идет группа матросов: человек шесть, с ними девушка. Она тоже во флотской форме, — видимо, санитарка. Нас они не видят, мы ведь в кустарнике! Идут быстро, бодро, громко о чем-то говорят, жестикулируют, не беспокоясь о собственной безопасности. Видимо, они твердо уверены в том, что враг сейчас не может быть здесь.

— Побегу к ним, поговорю, спрошу, что они знают, видели, слышали о фронте! — Я пытаюсь встать.

— Лежи! Не демаскируйся! — удерживает меня Батя. — Ничего они тебе не скажут! Видите, они как ошалелые!

— Но все же хоть что-то знают! — поддерживает меня Женька. — Идут они из города!

— Лежите, помалкивайте и не высовывайтесь! — недовольно приказывает Батя. Видно, он имел какие-то свои собственные соображения на этот счет.

Позже подъезжает телега, на ней сидят ездовой дядя Гриша Смаглюк и Алексей Кравченко. Лошадь устала, тяжело дышит, мокрая. Она то опускает,

отдыхая, голову, то резко вскидывает ее вверх, хлещет по своим бокам хвостом, отгоняя зудящих, осатаневших от запаха лошадиного пота оводов.

— Ну, как дела, хлопцы? — бодро спрашивает нас Алексей, слезая с подводы.

— Все нормально! — отвечает Батя. — Все уже вывезено, унесено. Осталась сама палатка да вот какой-то ящик и два мешка со свеклой. Ты, Леня, напомни там командиру, пусть распорядится побыстрее убраться нам отсюда. А то мы досидимся, пока фрицы не придут и не прихлопнут нас здесь не за понюх табака!

— Мешки и ящик я заберу сейчас с собой! А за палаткой приеду, наверное, завтра! Сейчас забрать не могу! Мне надо [93] еще кой-куда съездить! Давайте, хлопцы, кидайте концентрат и ящик на подводу!

Мы выносим из палатки мешки и совсем небольшой, легкий ящик. Он из гладких, струганых, плотно подогнанных друг к другу досок, маркирован под трафарет какими-то непонятными цифрами. Все это мы укладываем на подводу.

— Паняй! — приказывает ездовому Алексей. — А ты и ты, — указывает он на меня и Женьку, — идете со мной! Ну, бувайте! — кивнул он оставшимся Бате, Шурке и Славке.

Я был рад концу безделья у палатки. Не знаю, что там будет у меня впереди, но, во всяком случае, я буду что-то делать! Огорчало только то, что я разлучился со Славкой, что сейчас рядом со мною идет не он, а мало знакомый мне Женька Гончаров. Он не был мне ни товарищем, ни тем более другом. Я просто знал его, еще до войны, по школе. Знал, как говорится, «в лицо» и не более того. Он на год-полтора старше меня, с начала войны судьба свела нас сначала в истребительном батальоне и вот теперь здесь.

Дорога петляла, шла все дальше и выше в гору. Временами была настолько крута, что приходилось, забросив карабины на ремень за спину, обеими руками, плечом упираться в задок подводы, помогать лошади преодолеть тяжелый для нее подъем. Всю дорогу мы, конечно же, не ехали, а шли позади. Алексей тоже шел пешком, балагурил, шутил, подтрунивал над нами. Он был слегка навеселе, от него попахивало вином. Выехали на плоскую вершину длиннейшего хребта горы, тянувшегося куда-то в сторону далекого отсюда побережья. Здесь дорога раздваивается: влево она идет узкая, сплошь бурьяном заросшая. По ней, видно было, никто давно уже не ездил. А та, что вправо, — более-менее широкая, езженная, серпантинном уходящая вниз, в чащу леса.

На развилке вкопан тесаный, заостренный кверху столб метровой высоты. Он потемнел от времени, написанную на нем цифру уже не разобрать.

— Стой, Грицько! — кричит дяде Грише Алексей. — Разгружайте подводу! — это он уже приказывает мне и Женьке. Мы вываливаем в траву мешки и осторожно опускаем ящик.

— Несите это хозяйство за мной! — Алексей сходит с дороги [94] и продирается в глубь кустарника. Мы с Женькой несём ящик за ним. Несколько шагов — и Алексей останавливается.

— Ставьте ящик и волочите сюда мешки! — распоряжается он и усаживается на ящик; достает из кармана папиросы, закуривает.

Один за другим мы перетаскиваем с дороги сюда оба мешка.

— Слушайте сюда, хлопчики! — говорит Алексей. — До завтра вы будете здесь! Сидите и охраняйте это имущество. Никуда не уходите! Ночью, как и положено, спать по одному, по очереди! Один дежурит — другой спит! Ясно?

— Ясно!

— Завтра к обеду я подъеду и заберу вас! На дорогу не выходите! — добавил он. — Разговаривайте шепотом, и не дай бог палить костер ночью! В общем, вы меня поняли. Сидеть — и ни звука! Ну, пока!

— Пока! Приезжайте поскорее!

— Приеду. Ждите завтра!

Алексей докурил папиросу, поплевал на окурочок, растер, вдавил его в землю и пошел на дорогу. Мы слышали, как, застучав колесами, поскрипывая несмазанным ходом, подвода покатила вниз.

Посидели, покурили и мы. Я смотрел на ящик. Интересно, что в нем?

— Женька! Давай посмотрим, что в ящике?

— Давай!

Мы осторожно, двумя финками поддели крышку и вскрыли его. Внутри он был разделен перегородками на четыре отделения, в каждом из них лежал завернутый в промасленную бумагу небольшой сверток. Развернули, посмотрели: какой-то нимб с делениями, стрелка, винты, маховичок...

— Да это же прицел к ротному миномету! — говорю я Женьке. — Мы в истребительном батальоне изучали его устройство!

В остальных отделениях ящика тоже такие же прицелы.

— Что это новые прицелы к ротным минометам — нам [95] ясно! — подводит итог осмотру ящика Женька. — Но только мне не ясно — на кой хрен это барахло тащат в отряд? Минометов у нас нет! Значит, и прицелы не



нужны! Рассчитывать на то, что в отряде появится трофейный миномет, — так опять же он будет уже с прицелом! К тому же миномет будет немецкий, а эти прицелы наши, отечественные! Не нужны они нам сейчас, не нужны будут и когда-то потом! На жопу ставить их себе и стрелять, что ли?

Доводы Женьки были убедительными, и я был вполне с ним согласен.

— С этими прицелами то же самое, — сказал я, — что с саблями казаков и охотничьими ружьями! Что-то ненужное по чьей-то дурости тащили в лес и сейчас закопали в землю!

Мы ломаем ветки и строим шалаш. Он у нас получился маленьким, низеньким. Сидеть в нем нельзя, а лежать вытянувшись вполне можно и двоим. Когда все было готово, мы вышли из хмеречи на дорогу и удостоверились, что наше присутствие здесь обнаружить невозможно. Все скрыто густой листвой.

Потом до вечера мы валялись на траве у своего шалашика, курили, тихонько болтали. Все бы ничего, да вот хотелось есть и пить! Особенно пить! Получилось так, что мы без еды и без воды весь день!

— С едой, ладно уж, потерпим, а вот без воды плохо! — говорит Женька.

Мы продолжали ждать Алексея Кравченко весь следующий день. Женька принес котелок с водой из долины, и я наконец-то напился. Солнце давно уже провалилось в горы, быстро смеркалось, потянуло холодком. Кругом, рядом и далеко дальше ни звука. Я остался один...

Наступила ночь. Луна еще не взошла. Небо черное, как и лес вокруг. Подкрадывается страх. Карабин крепко держу в руках, палец на спусковом крючке. В голову лезут нехорошие мысли. Я решаю, что лучше, что можно придумать, — это провести ночь на дереве, и залезаю на раскидистый дуб. Вдруг... Что это? Вроде бы слышались слабые голоса людей. Затаившись, я поворачиваю голову и смотрю в сторону дороги, идущей ко мне на гору со стороны Сукковской щели. [96] Да, действительно, слышатся голоса людей — и с каждым мигом все ближе и ближе. Кто-то идет вверх по дороге, сюда, причем не один-два человека, а целая группа. Уже слышится и шум идущих. Шум, который производят усталые люди, поднимающиеся по крутой, каменистой горной дороге. Слышатся голоса женщин. Наконец они уже настолько близко, что можно различать отдельные слова. Разговор шумный, общий. Все говорят, перебивая друг друга и нисколько не заботясь о том, чтобы их никто не слышал. Вышла из-за тучи луна, и — вот они, уже совсем близко. Я различаю сначала силуэты на дороге, а затем ясно вижу, что это моряки, среди них девушки.

Они остановились прямо подо мною перевести дух. Громко говорят, перебивают друг друга. Ругаются, сыпят матюками. Непонятно, чего больше — нормальных разговорных слов или мата. Все взвинчены, злы, по их репликам чувствуется — они в панике.

— Старшина! Старшина, мать твою в душу... Куда нас завел? Надо было идти через Раевскую на Волчьи ворота! На кой... мы прем в горы?

— Заткни свое хайло м...! Старшина правильно ведет!

И вдруг в этом шуме, перебранке негромкий, но властный командирский голос:

— Ша! Трофимчук, ни звука! Не баламутить людей! Мы курс держим правильный! Отдыха не будет! Завтра к концу дня должны быть в Новороссийске. И мы там будем! Пошли!

И матросы притихли, покорились командирской воле. Пошли толпою, — их было не менее 12–15 человек. Все произошло довольно-таки быстро. Я понял, что это матросы, отбившиеся от какой-то воинской части и спешащие сейчас выйти к Новороссийску, к своим. Я был рад видеть и слышать их, не смущали меня и матюки. На короткий миг я не был в одиночестве — рядом были свои! В порыве радости мне хотелось окликнуть их, спрыгнуть к ним, но я вовремя сдержался, затаившись. Вдруг кто-то пальнет сдуру, с испугу в меня, если я вдруг подам голос? [97]

Легли в шалаше рядом. Оба на спинах, вытянувшись. Иначе и не поместились бы. Карабины заряжены, патроны в патронниках, затворы поставлены на боевой взвод, но на предохранителях. Они, карабины, рядом, вдоль тела, под рукой. Вокруг ни звука. Тишина. Лес и все живое в нем устали задень, угомонились, затихли. Уснули и мы. Я просыпаюсь с чувством неясной тревоги. Сон как рукой сняло! Лежу все так же на спине, как и заснул с вечера. Правая рука держит шейку карабина, палец на спусковом крючке. Смотрю себе в ноги, на выход из шалаша. Пока спали, вошла луна, и было не по-ночному светло.

Проснулся, заерзал Женька. Приподнимается на четвереньках, задницей вперед ползет из шалаша наружу. Я лежу, смотрю. Женька встает на ноги, отошел немного, расстегнул брюки, мочится. Я вижу все отчетливо. Вот он повернулся ко мне, застегивает ширинку и... в два прыжка бросается в шалаш! Снаружи, сзади шалаша, что-то ухнуло, тяжело прыгнуло на шалаш, он рухнул, заваливает нас ветвями. Я пулей вскакиваю, сбрасываю с себя ветки, мгновенно предохранитель на затворе карабина снят. Рядом со мной уже Женька. Все вокруг залито ярким светом луны. Никого нет! Никого не видим! Только вниз по склону горы от нас кто-то быстро-быстро уходит! Мы

не видим его, мы слышим топот ног и треск ломаемых сучьев кустарника! Несколько секунд — и полная тишина!

Приходим в себя.

— Что случилось? Почему ты прыгнул в шалаш? Ты кого-то увидел? Кто это был? Почему он прыгнул на шалаш, завалил его на нас и убежал? Что ему надо было? Как он узнал, что мы здесь? — я засыпал Женьку вопросами.

— Кто прыгнул? Кто завалил шалаш? — в свою очередь Женька спрашивал, тупо глядя на меня.

Ответа на свои вопросы мы не находили друг у друга. Сели. Успокоились. Настороженно прислушивались, оглядывались вокруг. Но все тихо. Как будто минутами назад ничего не было, не произошло. Карабины в руках, наготове.

— Давай вместе, не торопясь, без суеты продумаем все, что произошло! — говорю Женьке. [98]

— Давай!

— Первый вопрос: кто это мог быть? Свой или чужой.

— Это был кто-то чужой! — говорит Женька. — Своему нечего бояться или там таиться, потихоньку подкрадываться. Когда я оправился, повернулся, застегивая штаны, я увидел за шалашом какую-то фигуру. Стоит, смотрит на меня и не двигается. Я бросился в шалаш за карабином, а он... Если бы это был свой, он шел бы к нам открыто, мы услышали бы его. А этот подкрадывался!

— Но откуда этот чужой, пусть не свой, мог знать, что мы здесь? Он, что, случайно на нас наткнулся? Нет, не случайно! Если бы случайно, то, мы уже сказали, он шел бы шумно, открыто. И случайному прохожему нечего ночью идти, продирается через кусты куда-то! Он шел бы по дороге! Дорога ночью пустая, и нечего бояться идти по ней!

— Итак, что же получается? Кто-то, явно чужой, выследил нас днем каким-то образом, дождался ночи, когда мы уснем, и тихонько, чтобы мы не слышали, подкрался к шалашу. Теперь вопрос:

— Зачем? Что ему нужно было?

И еще вопрос:

— Почему он стоял открыто, во весь рост за шалашом? Он же мог присесть, и я бы его не увидел, когда повернулся и хотел идти к шалашу!

— Да-а-а-а! Ничего понять нельзя!

Мы думали, ломали головы, спорили, но никакого объяснения не находили. Случилось это около четырех часов. До рассвета, до утра мы уже и не думали спать. Не до сна было теперь!

Женька второй раз пошел за водой. До рассвета я пробыл на дереве и к утру чувствовал себя уже отдохнувшим. Единственное, что создавало дискомфорт, — это голод и опять подступившая жажда. Томительно шло время, мне надоело смотреть на часы и ждать, но я все же надеялся, что Женька вернется и принесет воду и что-либо поесть. К тому же должен же, в конце концов, приехать Алексей Кравченко! Но сколько я ни ждал, ни того, ни другого не было.

«Подожду до 12 часов, — решил я. — Если к этому времени [99] никто не придет, пойду в отряд сам!». Надо сказать, что, еще когда я был в палатке в Сукковской щели, я слышал от партизан, что они уходят дальше в горы на следующую перевалочную базу, в Широкую щель. Дорога туда одна. Если по ней идти, то, пройдя Сухой Лиман, дальше, километрах в трех-четыре, будет эта самая Широкая щель. Вот туда я и двину!

Опять смотрю на часы, мысленно тороплю ход стрелок, жду, когда они покажут двенадцать часов. Вот время наконец подошло. Я собрал привядшие ветки нашего разрушенного шалаша и охапками разнес их подальше, разбросал по кустам, убрав все признаки нашего пребывания здесь. Наломал свежих веток и заменил те, уже с пожухлыми листьями, что на мешках со свеклой и ящике с прицелами. Отошел в сторону и придирчиво посмотрел: нет, даже если кто и будет проходить здесь, почти рядом с мешками, он не увидит их. Карабин на ремень за плечо, стволом вниз по-охотничьи, чтобы не цеплять им за ветки кустов, — и я, продираясь сквозь хмеречь, выхожу на дорогу, на перекресток. Вот вправо пошла вниз, извиваясь змеей, дорога на Сухой Лиман. По ней мне и топать.

Но что это? — я остановился, замер, прислушался. Чей-то негромкий голос... Вот опять, ближе... Со стороны Сукко кто-то идет по дороге сюда!

«Немцы!» — мелькнуло у меня в голове. Карабин быстро с ремня в руки, два прыжка в густую, высокую траву под можжевельник! Я затаился, внимательно слушаю, смотрю на дорогу.

Так и есть! Вот они! По дороге, тревожно озираясь по сторонам, поднимаются два немца. Справа, рядом с дорогой, по косогору идет еще один, а еще правее него, как будто еще... — идут цепью! Разведка... Я плотнее вдавливаюсь под куст. Вот они какие, фрицы! Вот я и увидел живых немцев!

Немцы, негромко перебрасываясь фразами, подходили к развилке дорог. Двое, те, что идут по дороге, прошли мимо меня и остановились у столба-указателя, переводя дух после долгого подъема в гору. Осмотрелись, прислушались. Один, [100] расслабившись, стал закуривать, а второй подошел к столбу, что-то сказал и, засмеявшись, помочился на столб. Они были настолько близко от меня, что слышался исходивший от них какой-то чужой, не наш, тяжелый дух. Распаренные ходьбой, жарой, с расстегнутыми до пояса френчами, с закатанными до локтей рукавами, с автоматами на животах, они стояли, отдыхали и тихо говорили о чем-то. Почти такие же, гады, как и на карикатурах в газетах... Каски, широкие голенища сапог, у каждого на ремне сумка с гранатами... Противогаз в металлической гофрированной коробке...

Пострелять их можно запросто! Был бы еще кто со мной рядом!..

Последние немцы, оправившись, теперь уже бодро зашагали вниз по дороге на Сухой Лиман, догоняя ушедших вперед своих. Вот их уже и не видно и не слышно...Что мне делать? Идти по дороге к своим, как это я решил, уже не могу. Немцы ведь в Сухом Лимане! Придется пока еще сидеть здесь, повременить с уходом. Я поднялся с земли и пошел к мешкам.

Стой! Надо подобрать окурок фрица — приду к своим, покажу. А то еще не поверят, что видел немцев. Я вернулся на дорогу, поднял окурок сигареты, завернул его в клочок газеты и положил в карман. Немец лопух — тоже мне, разведчик! Покурил и бросил окурок на землю! Дураку известно, что в таком случае окурок надо было уничтожить, прикопать в землю!

В желудке было туго, во рту пересохло. Я лежал, положив голову на свеклу, и бессмысленно смотрел в небо. Но недолго: опять послышался говор... Я перебираюсь ближе к дороге, смотрю... Теперь уже в гору, ко мне, со стороны Сухого Лимана шли фрицы. Без опаски, гурьбой, все вместе! Раз... два, три... их всего шестеро. Да, это разведка. Прошли, просмотрели дорогу до Сухого Лимана и спокойно возвращаются назад. Бояться им нечего. Никого они не встретили, никаких войск здесь нет. Идут свободно, болтают, смеются... Надо идти к своим! Не идти, а бежать! Надо срочно доложить, что у нас под носом уже немцы! Вот и причина у меня есть уйти, бросить свеклу и прицелы! Меня даже похвалит [101] командир за сведения о немцах! Вон они, остановились на дороге, курят! И недалеко до них: шагов 50–60. Если выстрелить — не промахнусь, я же стреляю метко! Меня всегда хвалят за стрельбу!

Я становлюсь на колени, удобно укладываю карабин в рогатульку ветки куста, сбрасываю предохранитель, прицеливаюсь... Выбираю самого

крепкого... Он и стоит удобно для меня, лицом ко мне... Чуть ниже мушку... Я плотно прижимаюсь щекой к прикладу, затаиваю дыхание и плавно нажимаю на спусковой крючок. «Бах!» Фриц крутнулся волчком, вскинул руки вверх и грохнулся, покатился под откос с дороги.

Убил!.. Я убил фрица!.. Убил фашиста!

Какой-то миг я неподвижен, растерянно смотрю на дорогу, на немцев, тоже растерявшихся от неожиданного выстрела. Вдруг они как-то разом падают и остервенело, еще не совсем поняв, откуда был выстрел, строчат во все стороны. Я отпрянул назад и во весь рост, не таясь (фрицы все равно меня не видят) помчался по дороге в Сухой Лиман. Поворот, еще поворот дороги — и вот рядом тропинка в кустах! Наверно, по ней можно быстрее спуститься. Я бегу, по ногам больно хлещут ветки. Локтем прикрываю лицо, берегу глаза. Остановился, слушаю... Никто меня не преследует. Успокаиваюсь, иду шагом: побоятся фрицы бежать за мной!

Дорога рядом, вильнув еще раз, полого сходит с горы из леса в широкую и ровную, как стол, долину. Почти совсем успокоившись, я иду по ней к попадающимся впереди домикам.

Это и есть Сухой Лиман, определяю я. Два дома, колодец с «журавлем». Я ускоряю шаг до предела. У дома, который ближе к колодцу, люди. Не обращая на них внимания, я бросаюсь к бадье: она стоит на срубе колодца и полна водою. Хватаю, припадаю к ней ртом и, обливаясь, захлебываясь, частыми глотками жадно пью. Не хватает воздуха, отрываюсь от ведра, передыхиваю и пью снова... Наконец я чувствую, что больше пить просто уже некуда, оставляю бадью, поворачиваюсь. На меня без любопытства, с тупым равнодушием смотрят живущие в этих домах молодая женщина и [102] две совсем пожилые. Рядом с ними куча детей разного возраста. Поодаль на неказистой, грубо сколоченной из сучковатых жердей и вбитых в землю «козлом» кольев скамье, сидит древний, немощный дед. Сивой бородой он оперся на руки, держащие клюку, и так же, как и все остальные, пристально смотрит на меня.

— Здравствуйте! — говорю я. — Это Сухой Лиман?

— Здесь только что были немцы! — говорит вместо ответа та, что моложе. — Баяна вот убили! — Она кивком головы показала на собаку, с вывалившимся языком лежащую на земле за спиной у деда. — Это ты стрелял там, на горе? — Теперь она, полуобернувшись, кивнула на гору, с которой я только что сошел.

— Да, я!

— А-а! — Женщина как бы удовлетворенно кивнула еще раз головой и замолчала.

Жажда моя была утолена, но теперь до рези в животе хотелось есть. Мне даже стало как-то дурно. «Попросить что-либо поесть?» — мелькнуло в голове. Но как просить у таких? Они сами еле-еле живы! Нет, просить ничего не буду — стыдно. Не так уж много идти к своим, потерплю!

Все это я думал, утешая сам себя, уже когда шагал дальше. Выпитая вода приободрила меня, мысль о том, что я вот-вот дойду к своим и наемся там вдоволь, придавала силы, и я даже повеселел. Полчаса ходьбы — и я спускаюсь по дороге, очень круто ведущей вниз, в узкую, сплошь заросшую хмеречью лощину.

«Наверно это и есть Широкая щель!» — думаю я. Так оно и оказалось. Я прошел еще немного — и вот щель уже не щель, а громадная, широкая, красивейшая поляна! В середине, ближе к крутой, густо поросшей грабом горе, — большущий просторный двор, обнесенный забором в две жерди на кольях. Забор явно не от людей, а только для того, чтобы не ушел скот со двора. В углу длинный коровник, легкий навес с кормушками и свинарник, колодец со срубом и воротом. В противоположной стороне двора деревянный дом, вместительная шестигранная беседка, красиво обшитая досками с кружевной резьбой. Это было подсобное хозяйство [103] Анапского винзавода. Наш комиссар, Дмитрий Алексеевич Кравченко, — директор Анапского винзавода, стало быть, все это хозяйство, так сказать, «его». Здесь они с командиром Терещенко и обосновали временно вторую перевалочную базу нашего отряда. Уже отсюда все необходимое для отряда, как и сами партизаны, отправлялось непосредственно на основную базу в Лобанову щель.

Двор полон партизан. Видно было, что только вот-вот прошел обед. Все сытые, разбрелись по территории кто куда и занимались чем только заблагорассудится. Ближе к воротам, у которых я стою, — летняя кухня. На длинном столе рядом — ворох грязной посуды. Я вижу повариху тетю Женю Кравченко, еще каких-то женщин у печи. А вот увидела, спешит ко мне Катя:

— Коля! Откуда ты? Где ты был все это время? У тебя вид какой-то вымученный? Что с тобой?

Катя держит мою руку, радостно улыбается, сыплет вопросы один за другим. В это время я вижу комиссара Кравченко.

— Подожди, Катя! — говорю я. — Сейчас буду рассказывать комиссару, ты и узнаешь все! Пошли к нему!

Комиссар уже увидел меня:

— Коляша, сынок! Ты откуда?

На меня вдруг накатила, словно прорвало что-то внутри, горечь, обида, и я стал торопливо рассказывать ему все. Как бросил меня и Женьку в лесу его брат Алексей, как мы мучились жаждой, как ушел и скрылся неизвестно куда Женька. Рассказал о том, что видел немцев — вот, пожалуйста, окурок фрицевский! Рассказал, как стрелял и убил одного фашиста.

— Я уже трое суток ничего не ел! Вы все про меня забыли! Что же, мне еще надо было сидеть там и ждать, когда еще раз немцы придут и пристрелят? Сколько же можно сидеть там без толку? Вот я и ушел! Ушел и все! Никому не нужна эта дурацкая свекла! Кто ее там найдет и заберет? — Я высказался, выдохся.

— Ну, ну, успокойся! Чего кипятишься? Ничего же с тобой не случилось? — сочувственно говорит комиссар, похлопывая [104] меня по плечу. — Пришел, ну и молодец! А сейчас... женщины! — он повернулся к поварихам. — Накормите от души хлопчика!

Комиссар ушел. Катя усадила меня за стол, суетилась, бегала от стола к печке, подносила еду. Передо мною на столе большая миска великолепного крестьянского борща! Рядом, на второе, тарелка с мясным, картофельным соусом! Кусок свежего, белого, пышного хлеба домашней выпечки! И завершают этот натюрморт две маленькие, 250-граммовые бутылочки с виноградным сусликом. На их этикетках так и написано: «Суслик виноградный», Анапский винзавод.

Вот это обед! Аромат какой! Кто там, в книгах, утверждал, что голодный человек должен есть маленькими порциями? Ерунда все это! Я пыхтел, сопел, уплетая за обе щеки. После такого обеда я даже как-то опьянел и встал из-за стола пошатываясь.

Время шло к вечеру. Я наговорился с Катей, побродил по двору, поболтал с товарищами. Никто не видел Женьку Гончарова. Здесь он не показывался, и куда он пропал — не известно никому. За домом слышалась редкая, негромкая пальба. Стреляли, видно, из пистолета. Балуется кто? Пойду посмотрю!

Там и вправду баловались. Командир Терещенко и комиссар от безделья стреляли из своих пистолетов «ТТ», стараясь попасть в старый сук на стволе могучего, росшего высоко вверх красавца граба.

«Патронов много у них, некуда девать? Тратят попусту!» — подумал я, присев на пень рядом с Лешкой Черненко. Мы сидели и наблюдали за стрельбой, убивая время.



Терещенко то и дело бросал на меня какие-то странные взгляды. Каждый раз, глядя на меня, он хмурился, как будто собирался что-то сказать неприятное, учинить разнос. И учинил! Закончив стрелять, он вытащил из кармана своего неизменного серого пиджака горсть патронов, набил ими опустевшую обойму, вложил ее в пистолет, а пистолет в кобуру и с грозным видом подошел ко мне.

— Ты почему бросил пост? — исподлобья глядя мне в [105] глаза, зло бросил он мне в лицо нелепое обвинение. — Ты нарушил устав! Ты понимаешь, что я должен сейчас сделать с тобой?

Он распалялся все более и более.

— Никакого поста я не бросал! Никто не ставил меня на пост! — Я сначала опешил от такого неожиданного поворота событий, но тут же обида опять захлестнула меня, и я тоже понес... — Не был я ни на каком посту! Кравченко бросил нас в лесу с мешками со свеклой и приказал ждать его! Трое суток я ждал и не дождался! Вот и пришел сюда!

— Ты еще и оправдываешься? Я тебе покажу! — Терещенко уже почти топал ногами. — Марш сейчас же на свой пост и сиди там, пока не сменят! Марш!

— Вы не правы! Все равно вы не правы! — Я почти кричал. Обида выдавила из глаз слезы. Хотелось еще что-то бросить в злое лицо Терещенко, но... Тут потянул меня за рукав Лешка.

— Иди, Коля, иди! — успокаивал он меня.

Я, злой от обиды на несправедливость командира, повернулся и пошел к воротам. Лешка шел рядом.

— Это комиссар наклепал на тебя командиру! — говорит на ходу Лешка. — Я слышал! Он сказал, что тебя и Женьку Алексей Кравченко поставил на пост на Сухом Лимане, а вы разбежались с поста!

Я вышел за ворота сам не свой. Меня давила обида, несправедливость. Все во мне бушевало, кипело.

«А что командир? Почему я, собственно, злюсь на него? — вдруг подумал я. — Он же прав! В его глазах я часовой, самовольно бросивший пост! Так ему доложили обо мне. Он и психанул! А кто доложил, кто наклеветал на меня? Комиссар! — сам себе ответил я. — То, что Лешка слышал его доклад обо мне командиру, — это одно доказательство, а второе само собой разумеющееся... В конечном счете во всей этой истории виноват Алексей Кравченко, который оставил в лесу по пьянке и забыл нас. Я рассказал об этом комиссару. Но не будет же он выставлять в поганом свете

перед командиром своего родного брата. Вот и выкручивался... Наврал, что Алексей якобы поставил на пост на горе, и так далее... [106]

Подлец! — думал я о комиссаре. — Лицемер! «Коляша, сынок!» А сам грязь лил на меня, спасая брата».

Я быстро шел по дороге. Гнев, по мере того как в своих рассуждениях я осознавал происшедшее, проходил. Но все равно было горько — очень горько и обидно на душе. С каждой минутой темнело все больше и больше. Не прошел я и километра, как стало темно — хоть глаз выколи! Дорогу я уже не видел, а угадывал, глядя вверх (небо было чуть-чуть светлее окружающей меня сплошной черноты леса). По небу я кое-как и ориентировался. Я почти успокоился, но обида все же волнами нет-нет да и перекатывалась в душе. Ведь я думал, что меня будут хвалить, поздравлять за то, что я первым в отряде убил фашиста! Это же правда! Никто в отряде из партизан еще даже не видел живых немцев, а я уже убил одного! Открыл счет убитым врагам! А меня вместо благодарности еще и обвинили в преступлении — видите ли, я бросил пост! Как не стыдно комиссару? Рекомендацию мне дал для вступления в комсомол, своим племянником считал, называл сынком, а тут вдруг так подло наклеветал! Ишь ты, пост бросил! На меня нахлынула очередная, но уже слабая волна обиды и горечи. Что же они сами не выставили посты у себя в Широкой щели? Дурака там валяют, бездельничают, забавляются стрельбой из пистолетов, а об охране и не подумали! Если бы те шесть фрицев-разведчиков не остановились в Сухом Лимане, а пошли дальше, они и пришли бы к вам в Широкую щель так же, как и я пришел, никем не остановленный. И запросто перестреляли бы всех из автоматов!

От быстрой ходьбы я совсем запыхался. Опять, как и днем, схожу на тропу, чтобы не петлять по дороге и сократить путь. Все так же вокруг густая темень. Иду буквально на ощупь, вытягиваю вперед руки, ловлю в темноте ветки кустов, отвожу их от лица в стороны. Руки у меня свободны, карабин висит на ремне на шее. Наконец взошла луна, и после непроглядной тьмы стало неправдоподобно светло. Вот и вершина, перевал, развилка дорог, и столб, у которого мочился фриц. Я присел на корточки, прислушался, потом сошел [107] с тропы. Осторожно, тихо, пригнувшись и держа карабин наготове, я пробираюсь кустами к месту, где лежат мешки. Вот и они: лежат, прикрытые ветками и травой. Рядом ящик с прицелами. Никто здесь не был, никто ничего не трогал. Это как-то сразу успокаивает меня — лезть на дерево и проводить там, в ветвях, остаток ночи я и не думаю. Сажусь на землю, она теплая со дня, спиной приваливаюсь к мешкам, а ноги вытягиваю, положив

на них карабин. Достают из кармана кисет с табаком, газету, кресало. Свертывают сигарку, высекают огонь. Искры из-под кремня пучком ярких огненных стрел сыплются на трут. Он загорается, и я прикуриваю. Никакого страха! Во мне какое-то возбуждение, но потом сон берет свое. Укладываюсь рядом с мешками, обнимаю карабин и засыпаю.

Утром я выхожу к дороге — там никого нет. Я вернулся к мешкам и, не зная, что делать, чем заняться, опять прилег.

«Сколько же мне еще быть здесь? — спрашиваю сам себя. — Но теперь хоть знают, что я здесь! Теперь уже не забудут про меня, как забыл Алексей Кравченко!»



Катя Соловьянова

Вот опять застрекотала сорока у дороги. Ишь, как трещит, наверняка кто-то идет! Я встаю, карабин на изготовку, тихо выхожу к дороге. Так и есть, кто-то идет в гору, сюда. Да это же Катя Соловьянова!

— Катя, сюда! — радостно кричу я ей.

Она подходит, уставшая. В одной руке котелок с водой, другая держит закинутый за спину мешок.

— Ну, вот! Нашла я тебя! Так боялась, что не найду!

— Тебя, что, послали ко мне?

— Нет! Никто не знает, что я пошла к тебе! Я самовольно! Подумала, что опять будешь голодным, вот и пошла!

Она вытащила из мешка четыре вяленых кефали и полбулки круглого домашнего хлеба. Его выпекали женщины нашего отряда где-то в лесу у берега моря.

— Давай поедим! Я тоже еще не завтракала! Вот и воду принесла из колодца на Сухом Лимане!

— Катя! Тебе же нагорит за то, что ты самовольно, без разрешения ушла? [108]

— Ну и пусть нагорит! Я не хочу, чтобы ты был голодным!

Надо сказать, что еще в Варваровке командование проинструктировало, как надо нам вести себя в лесу, в отряде. Мы были предупреждены, что, если кто отлучится из расположения отряда самовольно на время более часа, это будет расценено как дезертирство и виновный подлежит расстрелу. Там, в инструкции, было еще и много других пунктов. Ну, например, такой: как вести себя, если в лесу встретился случайно с каким-либо военным, явно нашим, советским военнослужащим, будь то какой командир или даже генерал. На их вопрос: «Кто такой и куда идешь?» отвечать: «Иду, выполняю

задание!»), — и ни слова больше. Пусть тебя бьют, пытаются, режут, стреляют, ты не должен говорить ни слова более этого! Так инструктировал нас Окунь.

— Ну, ты, Катя, даешь! Получишь ты от командира, если узнает!

Мы вместе с аппетитом уплетали соленую, подвяленную кефаль с вкусным хлебом.

— Катя! Ты видела или слышала, как меня распекал Терещенко?

— Не видела и не слышала! И это хорошо! Я бы и командиру, и комиссару высказала все, что думаю о них! Лешка Черненко все видел и рассказал мне.

Уйдя из отряда самовольно, она поступила опрометчиво, но благородно по отношению ко мне. Я это понимал и был ей благодарен. А Катя несколько не боялась за последствия, смотрела на меня и улыбалась.

Мы быстро покончили с завтраком, попили воду из котелка.

— Мешок с хлебом я оставлю тебе! — говорит Катя. — А котелок заберу. Это Лешкин котелок!

Она быстро собралась, и я пошел проводить ее к дороге. Там она вдруг крепко обняла меня, отпрянула, смутилась и побежала вниз по тропе вдоль дороги.

— Катя, спасибо! Спасибо, что приходила! Будь осторожна! — кричал я ей вслед. [109]

Мне было теперь совсем хорошо. Я не голоден, а главное — и не одинок! Хотя сейчас рядом со мною никого не было, мысль о Кате буквально приподнимала меня.

В безделье я лежал, сидел, бродил, всматривался с горы, с развилки во все уходящие отсюда дороги. Никого не видно и не слышно. И опять я, как и несколько дней назад в Варваровке, задавал себе вопрос: «Где фронт?» Судя по тому, что я видел немцев-разведчиков, мы уже на оккупированной врагом территории. Но почему же не было никакой стрельбы? Неужели наши войска продолжают драпать дальше на Кавказ, бросая без боев один за другим населенные пункты врагу? Или, может, я видел вовсе не разведчиков, а это были заброшенные в наш тыл немцы-диверсанты? Странно все как-то! Нет никакой стрельбы. Вот только в сторону Новороссийска прогремит канонада — и опять на время тихо. Да с утра сегодня слышалась какая-то яростная перестрелка где-то в районе Су-Псеха или Ашхаданка. Без сомнения, там был жаркий скоротечный бой. Стычка, и не более того. Во всяком случае, это не фронт. А здесь тишина! Тишина и неизвестность! — так я рассуждал и думал.

После полудня начинается чудовищная гроза. Никогда мне не приходилось видеть и слышать подобного! Я стоял... А что же мне еще делать? Сидеть на земле, в воде? Мне было известно, что во время грозы нельзя держать карабин стволом вверх, на ремне: молния может ударить в металл. Я снял карабин с плеча, перевернул его в руках вниз стволом и уперся им в носок ботинка. Так и вода не попадет в ствол, и безопасно от грозы. К моменту, когда она закончилась, я, промокший насквозь, сел на ящик с прицелами и задумался. Опять начало подкатываться раздражение.

Ну чего я здесь сижу? Зачем? Это же никакой не пост! Никого я не охраняю! Сижу, мокну, жду не знаю чего из-за чьей-то прихоти! Один полупьяный идиот бросил и забыл меня здесь, а второй — командир — решил на мне показать свою принципиальность! Только и всего? Нет! Надо быть дураком, чтобы сидеть здесь и ждать у моря погоды! Уверен, что там, в отряде, и командир, и комиссар давно уже забыли и не думают снимать меня отсюда! Сейчас вот встану и пойду! [110] Пойду к ним, буду ругаться, и пусть что хотят, то и делают со мною!

Я встал, застегивая на пуговицы фуфайку. Карабин на ремень за плечо, в левой руке мешок с куском хлеба, что принесла Катя. Выйдя на развилку, я пошел вниз по дороге на Сухой Лиман. Тропа раскисла от дождя, и я прыгал по гладким плитам скал. «Еще пара поворотов, и я в Сухом Лимане!» — подумал я и вдруг...

— Стой!

Передо мною трое, вышедшие неожиданно из-за поворота мне навстречу. В плащ-палатках, головы в капюшонах, сапоги, на груди из-под одежды выпирают автоматы.

«Немцы!» — моментально мелькнуло в голове. Рывком я срываю с плеча карабин.

— Тихо! — Стоящий справа тычет в меня автомат. Средний поднимает руку, сбрасывает капюшон с головы — дождя-то нет! — и я, к своей радости, вижу на нем нашу советскую форменную флотскую командирскую фуражку. Я даже вздыхаю с облегчением и тут же забрасываю свой карабин назад, на ремень, за плечо. Наши моряки, матросы!

— Куда идешь? Документы!

Сразу успокоившись, с достоинством, я отвечаю так, как нас инструктировали:

— Иду, выполняю срочное задание!

— Документы! — требует старший из них, тот, который посередине.

А какие у меня документы? Они все у меня в бумажнике, а он в вещмешке у Славки.

— Документов, кроме комсомольского билета, нет с собой! — Я лезу рукой под фуфайку, расстегиваю на рубахе карман, извлекаю комсомольский билет.

Командир смотрит, листает его и возвращает мне. Он в секундном замешательстве, не знает, как поступить дальше.

— Патроны к карабину есть? — спрашивает он, кивнув головой на мой карабин.

Чувствуя что-то недоброе, я отвечаю:

— Пять патронов в магазинной коробке!

— И это все? [111]

— Да, все! — вру я. У меня же под фуфайкой на поясе патронташ, а в нем 60 патронов! Полный боекомплект!

Командир опять на секунду задумался, стоит, качаясь вперед-назад.

«Да он же пьян!» — с удивлением смотрю я на него.

— Ну, ладно! — совладав с равновесием, принял решение командир. — Оставь карабин и иди, выполняй свое задание!

— Да вы что! — искренне изумляюсь я. — Карабин я вам не отдам! И не задерживайте меня! Вы срываете выполнение срочного задания!

— Молчать! — рявкнул командир. — Коваленко, заведи у него карабин! — приказывает он рядом стоящему матросу. Матрос тянет руку, берется за ствол моего карабина.

— Снимай, браток! — как-то вежливо говорит он мне.

— Не отдам! — почти кричу я, дергаю плечом, вырываю карабин из руки матроса.

— Товарищ капитан-лейтенант, не дае вин карабынове! — виновато похляцки «кажет» матрос командиру.

Тот тупо смотрит на меня в упор, глаза в глаза, и спокойно говорит:

— Не даешь карабин, вместе с ним пойдешь со мной.

— Не имеете права! Вы срываете задание! — опять пытаюсь вразумить его я.

— Ты пойдешь со мною! С карабином! Рядом! Марш!

Мы стали подниматься по дороге вверх, на перевал к развилке, откуда я только что спустился. Не прошли и ста метров, как командир скомандовал:

— Стой! Отдых!

Он подошел к буку у края дороги, прислонился плечом к его толстому, шершавому стволу и замер, опустив голову.

Я с матросами за его спиной в трех-четыре шагах. Один из них — тот, который Коваленко, вижу, достает из кармана что-то завернутое в клок газеты. Она, промокшая, расплзается у него в руках. Матрос обрывает мокрые клочья, развертывает. Там два ястычка подвяленной лобаньей икры. Вкуснейшая и дорогая вещь! Деликатес!

Я из своего мешка извлекаю хлеб. Он тоже размок, раскис. [112] Обламываю его до сухого, ломаю пополам и молча даю кусок матросу. Он берет и тут же угощает меня икрой. Стоим, жуем.

— Командир кто? Куда он нас ведет? — тихо спрашиваю я матроса.

— Капитан-лейтенант Долженко, — также тихо ответил матрос Коваленко и осекся, стушевался...

Я обернулся. На матроса из-под лба грозно смотрел мутными глазами капитан-лейтенант.

— Идем бить гадов! — Командир теперь смотрел на меня. — Фашистов! — добавил он. — Пошли!

Не спеша мы поднимаемся в гору. Слышим негромкие голоса. Из-за очередного поворота дороги показалась группа матросов. Их человек 8–10, у некоторых в руках винтовки, другие совершенно безоружные. Поравнявшись с ними, капитан-лейтенант приказывает:

— Стой! Кругом! За мной марш!

Матросы молча, не прекословя, попарно поворачиваются и следуют за нами. Навстречу спускается по дороге подвода. На ней сидит, правя лошадьми, матрос. Он везет что-то прикрытое куском брезента.

— Стой! — это капитан-лейтенант.

Лошади стали.

— Что везешь?

— Фураж! Корм лошадям! — отвечает ездовой-матрос.

— Гм! — замялся командир. — Оружие есть? Гранаты есть?

— А как же! Есть, вот, винтовка! — Матрос, не выпуская вожжей из рук, вытаскивает из-под брезента винтовку. К ней пристегнут подсумок с патронами. — А гранат вот только три: лимонка и две РГД!

Оттуда же, из-под брезента, он достает гранаты.

— Возьми винтовку! — приказывает капитан-лейтенант стоящему рядом безоружному матросу. — А ты, — он кивает мне, — забери гранаты!

Я беру из рук ездowego одну задругой гранаты и, не сообразив сразу, куда их деть, сую в мешок. [113]

— С запалами осторожно! — говорит мне матрос-ездовой и передает их мне.

Куда их уложить? Я расстегиваю фуфайку и кладу их в карман рубахи на груди — туда, где комсомольский билет.

— Езжай! — командует ездovому командир. — Все остальные за мной!

Мы продолжаем идти в гору. Вот опять навстречу матросы, на этот раз много — человек двадцать. Тоже кто с оружием, кто с пустыми руками. Звучит приказ капитана-лейтенанта, и все, развернувшись, следуют за нами. Командир угрюм, насуплен. Хмель вроде бы уже выходит из него, но запах, винный перегар, разит. А вот сразу три подводы спускаются нам навстречу. Происходит та же картина, что и при встрече с первой. Командир забирает у ездovых винтовки и отдает их безоружным матросам. Я наполняю свой мешок гранатами. Они в мешке навалом. Мне уже тяжело нести, — так их много. Запалами к гранатам набиты уже все мои карманы. Это очень опасно! Теранется запал об запал от моего нечаянного, неосторожного движения — и взрыв, и конец мне! Но нет ни времени, ни возможности разложить их как-то аккуратно, безопасно: капитан-лейтенант торопит, не дает остановиться.

Матросы в одиночку, парами и группами встречаются нам еще и еще. Все они поворачивают и следуют за нами. Встретилась нам еще одна подвода: на ней ящики с патронами и винтовками. Ее капитан-лейтенант в тыл не пропустил, как предыдущие, а приказал развернуться и тоже ехать за ним. Винтовки были розданы матросам.

Таким образом, когда мы поднялись на перевал к развилке дорог, нас было уже много. Сотни полторы матросов, 4 подводы с боеприпасами. Но, что удивительно, ни одного командира, кроме капитан-лейтенанта!

Обстановка для меня стала проясняться, увязываясь в нечто целое и понятное. Из разговоров, обрывков фраз рядом идущих матросов, матюков и хмельного бормотания капитан-лейтенанта я понял, что нахожусь среди матросов батальона морской пехоты. Их командир, задержавший меня, — это капитан-лейтенант Долженко. Батальон вот-вот, [114] совсем недавно, где-то здесь, недалеко, имел бой с немцами. Фашисты их расколошматили, и матросы в панике разбежались по лесу в горах. Иначе почему они в большинстве без оружия? Бежали так, что бросали оружие? Мне это было непонятным. Сейчас они все уходили (не знаю, по приказу или без такового) по дороге на Сухой Лиман. Встреченные нами подводы — обоз батальона — уходили туда же.

Капитан-лейтенант Долженко с двумя матросами — своей охраной, задержавший меня, шел навстречу отступающим или просто уходящим от немцев, разворачивал всех на 180 градусов и приказывал следовать за ним, вооружая их тем оружием, которое случайно оказалось во встречных



подводах обоза. Непонятно было, как мог Долженко оказаться раньше всех в Сухом Лимане? А ведь он шел оттуда, — все матросы на дороге оказались ему встреченными, и, разворачивая их, сейчас он вел всех назад — туда, откуда они уходили.

Меня Долженко не отпускал от себя ни на шаг, и, идя рядом, я невольно слышал его хмельное бормотанье. Матюкаясь, он грозил немцам:

— Я вам сейчас расквашу сопатку! Я вам, гады, заделаю оверкиль! Покажу земную ось!

Каким образом он покажет немцам земную ось, почему именно ее, как он это сделает — ведомо было только ему, Долженко, который вел матросов в бой. Находясь «под градусом», распаясь от собственных угроз немцам, комбат готов был вцепиться фашистам в глотку сейчас же!

Мы прошли развилку дорог на перевале и стали спускаться по дороге в Сукковскую щель. Как я понял, там были немцы.

Опять пошел дождь. Но не тот страшный ливень, что был два часа назад, а уже осенний, мелкий и холодный. Мы стояли, отдыхая, и смотрели на приближающуюся еще одну из обоза батальона подводу.

— Стой!

Подвода стала. На ней высоким бугром высилось что-то прикрытое новенькой армейской плащ-палаткой. [115]

— Что везешь?

— Оружие есть? Гранаты?

— Нет, ничего нет такого! Отдал матросам!

— Езжай в тыл! Нет, стой! — Комбат посмотрел на меня. — Возьми себе плащ-палатку с подводы!

Я, промокший насквозь, стоял и не верил тому, что слышал. Мне... палатку?

— Да, да! Возьми!

Я шагнул к подводе, ухватил край плащ-палатки и потянул на себя.

— Ой! Кто тянет плащ-палатку? Не смейте! Я же промокну! — раздался вдруг из-под нее слезливый девичий голос.

Я остановился в нерешительности.

— Там девушка! Она намокнет! — поворачиваюсь я к комбату.

— Я приказал тебе взять плащ-палатку или нет?! — заорал он на меня.

Мне ничего не оставалось делать, как вновь шагнуть к подводе и стянуть плащ-палатку.

В барахле на подводе поднялась и села хныкающая девушка-санитарка в флотской форме.

— Трогай! — приказал капитан-лейтенант ездovому.

Мы продолжали спускаться с горы. Эта подвода была последней. После нее нам никто уже не встречался, и у меня не было возможности на ходу как следует надеть плащ-палатку на себя. Руки были заняты собственным карабином и тяжелым мешком с гранатами. Кое-как я набросил ее себе на шею и плечи, подвязав под подбородком шнурком. В таком виде она не спасала от дождя, бесполезно висела за спиной и волочилась хвостом по земле. Но все равно, моей радости не было предела. Ни у кого нет плащ-палаток в отряде, только у командира и комиссара! И у меня теперь!

Постой! — меня вдруг словно кольнуло что-то. Чего ты радуешься? Ты в батальоне морской пехоты. Ты мечтал об этом — и вот так удачно все получилось! Сегодня-завтра получишь флотскую форму — вот позавидуют друзья, когда увидят меня в форме! Но мы сейчас идем в бой и... в этом [116] бою меня могут убить. Конечно, в партизанском отряде тоже могут убить, — я же шел воевать, а не играть в войну! Но как быть с отрядом? Я туда не вернусь, и меня будут считать дезертиром. Если я сейчас погибну в бою, никто из наших об этом и не узнает! Все будут знать только, что я сбежал из отряда, что я дезертир! Нет, так нельзя! Здесь, в батальоне, мне оставаться нельзя. После анализа сложившейся обстановки я принимаю решение: поскольку комбат по-хорошему не отпускает меня в отряд — буду бежать отсюда!

Мы продолжали спускаться по дороге в Сукко. Впереди комбат со своей охраной и рядом я, а следом за нами беспорядочной толпой идут полувооруженные, не организованные в боевой порядок матросы. Они понимали бессмысленность затеи комбата, понимали и видели, что он ведет их на явную, глупую смерть. Но послушаться приказа командира они не решались и покорно шли за ним. Оглядываясь, я видел их хмурые лица; некоторые что-то тихо говорили рядом идущим товарищам, бросая недовольные взгляды в спину комбата. Вдруг впереди на дороге показался одинокий всадник, неторопливо поднимающийся нам навстречу. Это оказался начальник штаба батальона, который после короткого разговора с неистовавшим, потрясающим кулаком хмельным капитан-лейтенантом заставил всех повернуть назад.

Матросы оживились, повеселели, развернулись и так же в беспорядке, как шли сюда, двинулись назад, в гору, на перевал. Теперь мы оказались в конце этой беспорядочной колонны. Оба офицера шагали рядом и больше смотрели себе под ноги, чем по сторонам. В этом месте был крутой подъем в гору. Самый раз уйти! Я прибавил шагу и постепенно все больше и больше

уходил от них вперед. Обогнал одну группу матросов, вторую, третью... Никто не обращал на меня внимания: все были заняты разговорами между собою, а кто шел в одиночку — тот своими мыслями. На перевал, к перекрестку дорог, я вышел первым. Теперь быстрее вниз. Никто меня не видит, и мой бег ни у кого не вызовет подозрения. Вот и моя тропинка! По ней я быстро буду в Сухом Лимане. [117]

Я лечу бегом по тропе под гору. Быстро темнеет. Я страшно устал — ведь за спиной полмешка гранат.

— Стой! Кто идет? Пароль! — Впереди, в пяти шагах, я различаю силуэт матроса-часового.

— Свои! Выполняю боевое задание! — Я продолжаю идти.

— Стой, мать твою! Стрелять буду! — Часовой клацает затвором винтовки.

— Обожди, не шуми! — раздается рядом второй голос. — Я посмотрю, кто здесь!

Откуда-то из темноты ко мне подходит рослый матрос: он приближается почти вплотную, смотрит в лицо.

— Ты кто такой, пацан? Откуда?

— Я выполняю срочное задание капитан-лейтенанта Долженко! Не задерживайте меня! — («Врать, так врать» — решил я.) — Комбат и начальник штаба будут здесь через 20 минут. Вам нагорит, если задержите меня!

— Сидоренко,пусти его! Топай, пацан! — Матрос подтолкнул меня в спину.

— Товарищ старшина! — робкий растерянный голос часового. — Как же так? Он не знает пароля!

— Ша, Сидоренко! Пусть идет!

Я мигом проскальзываю мимо часового, ныряя в черноту ночи.

Пока я дошел до следующего перевала и спустился в Широкую щель, выбился из сил окончательно. Но, несмотря на усталость, я доволен, что так удачно выпутался из неприятной истории. Рад я и тому, что имею теперь новенькую плащ-палатку, что иду в отряд не с пустыми руками, а несущу в мешке гранаты! Их же в отряде ни у кого нет! Неужели и на этот раз командир выругает меня? Нет! На этот раз я не позволю ему топтать на меня ногами!

Я прошел всю дорогу, до самого двора подсобного хозяйства — и никого не встретил. Опять не выставлены часовые. Что они там думают — командир и комиссар? Ну и вояки! Я беспрепятственно захожу во двор, в дом.

В первой комнате прямо на полу спят или просто сидят и курят партизаны. [118] Их немного, человек двадцать. На мой вопрос они говорят, что командир и комиссар в соседней комнате. Я без стука вваливаюсь туда и вижу все наше командование: командира Терещенко, комиссара Кравченко, командира 3-го отряда Булавенко и его комиссара Салашина, кого-то еще. Среди них самый большой начальник — командир соединения партизанских отрядов Анапского куста Егоров, прибывший из Краснодара. У всех на лицах уважение и даже подбострастие к нему.

Я делаю шаг к столу и небрежно бросаю мешок на него. Ухватив снизу за углы, поднимаю и высыпаю из него гранаты: они с грохотом вываливаются, раскатываются по столу, некоторые падают на пол.

— Что ты делаешь? С ума сошел? — Окунь испуганно вскочил и отпрянул от стола.

— Ты что? Что, Коляша? — нервно вскрикивает комиссар.

— Не бойтесь! Они без запалов! Не взорвутся! Запалы... вот! — Я извлекаю из всех своих карманов запалы к гранатам и складываю кучкой на столе.

— Принес вот вам гранаты! А с горы ушел! — уже вызывающе говорю им всем. — До каких же пор я буду там сидеть? Пока немцы придут и прихлопают меня?

Я выпалил все, что у меня накипело и что случилось со мной:

— Держите меня на горе охранять два мешка никому не нужной свеклы, а сами сидите и не выставили здесь у себя охрану! Немцы ведь уже под боком! В любое время могут быть здесь! Перестреляют всех, как...!

Все сидят явно ошарашенные — и моим внезапным появлением, и высказанными упреками.

Поднимается с места комиссар:

— Успокойся, Коля! Ты правильно сделал, что пришел! Мы хотели только что послать за тобой!

Это он явно врал. Никто и не думал обо мне, и я это прекрасно понимал.

— Иди, обсушись, отдыхай! — Он подталкивал меня в плечо, выпроваживая из комнаты. [119]

— Обождите! — Я повернулся и опять подошел к столу. — Возьму себе пару гранат!

На секунду я задумался: какие выбрать? Беру три «РГД» (одну я решил подарить Славке) и одну «лимонку». Присутствующие молчали, никто не возражал.

Я вышел в соседнюю комнату, достал из оставленного мне Славкой мешка заботливо выстиранное и выглаженное мамой белье и переоделся. Примостившись у стенки, подальше от двери, я завернулся в плащ-палатку и заснул крепким сном.

\* \* \*

На следующий день, ближе к полудню, по дороге из Сухого Лимана к нам, в Широкую щель, и через нее на берег моря повалила всем своим личным составом, с обозом и разными другими службами, выходящая из окружения морская пехота под командованием подполковника Соколовского. К ним влился и батальон моряков капитан-лейтенанта Долженко, из которого я вчера драпанул. Немцы висели у них, что называется, «на хвосте». Преследовали, шли сзади, не теряя из вида, но по каким-то своим соображениям не навязывали им бой. У подполковника Соколовского была рация, он связался по ней с командованием и получил приказ вывести матросов к берегу моря в районе мыса Малый Утраш. Ночью туда должны были подойти катера-охотники и вывезти всех в Геленджик. Надо было как-то оторваться от немцев и провести эвакуацию организованно, быстро, скрытно, чтобы враги не догадались об этом и не приняли бы контрмеры, поэтому подполковник договорился с нашим командованием, чтобы партизаны задержали немцев, прикрывая отход матросов к морю. На этот момент нас, партизан, было в Широкой щели примерно человек сорок.

Единственная дорога из долины Сухого Лимана через небольшой горный перевал шла в Широкую щель. Здесь смыкались крутые склоны двух почти параллельно идущих друг к другу от моря гор, причем один из склонов в этом месте был совершенно голым. На нем не росло ни одного даже мелкого, жалкого кустика. А второй хотя и был покрыт хмеречью, [120] но настолько редкой, что вся гора снизу от дороги и до самой вершины просматривалась насквозь. Узкая, скалистая дорога, неизвестно кем пробитая, оголенная временем от покрывавшего ее тонкого слоя почвы до самого своего каменного основания, круто падала вниз. Метров двести — очень крутой спуск, затем поворот вправо — и вот уже дно лощины: это и есть начало Широкой щели. Сюда нас и привел командир Терещенко.

— Здесь будете держать оборону любой ценой до завтрашнего утра. А если потребует, то и дольше! — сказал он. — Вы не должны дать возможность фашистам прорваться к морю и сорвать организованный уход матросов! Любой из вас, запаниковавший и тем более самовольно

оставивший этот рубеж, будет немедленно расстрелян как дезертир! Командиром вашей группы назначаю товарища Дегтярева. Слушаться его безоговорочно! Я с комиссаром буду находиться в домике подсобного хозяйства. Связь с нами через связных! Товарищ Дегтярев, выйдите из строя! Задача вам ясна?

— Так точно, ясно! — гаркнул вышедший из строя Дегтярев.

— Ну что же, выполняйте ее, командуйте людьми! — Терещенко, прихватив двух бойцов, ушел.

Мимо нас, приветствуя, дружески улыбаясь, отпуская порой какую-нибудь шутку, подначку, проходили группы матросов, но все реже и реже. Наконец, часа через полтора, спустился с перевала и подошел к нам последний отряд моряков. Это был арьергард, который уходил и прикрывал отход всех ушедших ранее. Их было человек до тридцати, и все сплошь с автоматами, на ремнях гранаты. В общем, вид под настроение — боевой, суровый, серьезный.

— Где немцы? — спрашиваем мы их. — Не слышно, не видно?

— Не немцы, а румыны! — отвечают матросы. — Вот-вот будут здесь! Сейчас они на Сухом Лимане: топают за нами, а в бой не ввязываются. Боятся нас трогать эти мамалыжники-румыны! Вы, братва, поосторожней, могут сыпануть вам на головы с горы! Счастливо оставаться, братушки!

[121]

Матросы ушли.

Дегтярев расположил нас полукругом по голому склону горы. «Как только появятся фашисты, стреляйте, мать их... в душу!» — приказал он. На этом и кончилось в нем все командирское.

Ничего более глупого и не придумаешь! Скат горы совершенно голый, ни дерева, ни кустика на нем. Он настолько крут, что ни сидеть, ни лежать было невозможно. Так, прилепились, кто как мог: и к тому же боком к дороге, по которой ожидался приход противника.

— Давай, устраивайся со мной рядом, сынок! Вместе будем палить по фашистам! — говорит мне Алексей Кравченко, кое-как умащиваясь на узком, небольшом выступе скалистой почвы.

— Да они нас с ходу всех переколошматят! Мы и рыпнуться не успеем! — возмущался я безграмотностью выбранного места для засады. — Дядя Леня, вы что, не соображаете, в каком мы положении? Немцы на дороге будут скрыты от нас зарослями. Как нам в них стрелять? А мы на голом месте, как на ладони для них! Перестреляют они нас безо всякого, запросто!

— Ничего, там видно будет! — неуверенно, понимая мою правоту, проворчал Алексей. — Ты... ты не паникуй заранее!

— Ума не хватает у Дегтярева сообразить, что надо выставить впереди, на перевале, дозор? Кто нас предупредит о приближении фашистов, если нет дозора? — с возмущением продолжаю я.

Кравченко смотрит на меня не так с удивлением, как больше с раздражением и с издевательской усмешкой отвечает:

— Вы посмотрите на него! Ты умнее Дегтярева, да? У него, что, головы нет на плечах? Он, по-твоему, лопух, ничего не соображает? Да?

— Не знаю, какой он, но я бы выставил впереди дозор, а засаду расположил не здесь, на виду, а вон там, в зарослях хмеречи, на обрывчике у поворота дороги! И нас было бы не видно, и оттуда удобно в упор расстреливать фрицев! А человек [122] десять наших я бы оставил у самого перевала в засаде. Когда немцы спустятся вниз, к нам, к повороту дороги в щель, и мы откроем огонь по ним — группа на перевале окажется у них в тылу и не даст фашистам выйти из этого мешка!

— Ну, ты даешь, стратег! Придется попросить Митьку-брательника, чтобы он уговорил Терещенко назначить тебя начальником штаба отряда вместо Окуня! — засмеялся Алексей. — Ты пойми, голова твоя садовая, что нам здесь вообще ничего не надо будет делать! Не нужна ни засада, ни твои дозоры!

— Это почему же? Матросы надеются на нас! Они верят, что мы их прикроем!

— Правильно! Но фашисты до завтрашнего дня сюда не сунутся! Дело идет к вечеру, к ночи, а ночами они не воюют! Вот тебе и вся математика! Вот тебе и оборона, и засада, и дозор! Дегтярев знает и понимает это. Будем здесь сидеть и травить баланду до утра, а там видно будет, что дальше делать.

К нашему счастью, вторая половина дня, вечер и ночь прошли спокойно. Враги не появлялись: видно, и вправду трусили идти в ночь в горы.

С наступлением темноты мы все, не ожидая на то команды или разрешения Дегтярева, спустились вниз к дороге и там в кустах беспечно прикорнули до утра.

Утром Дегтярев послал Алексея, Ворону и меня высмотреть, где фашисты. Открыто, прямо по дороге, мы поднялись на перевал, а оттуда быстро зашагали хмеречью, редким здесь лесом в сторону Сухого Лимана. Дорога пустынна, и мы шли быстро и бодро. Полчаса на марш-бросок — и

вот мы в долине Сухого Лимана. Вдруг: «Стой! Тихо! Садись!» — это Алексей, присев под куст, вполголоса бросил нам команду.

— Смотрите! — Он говорит уже совсем тихо, почти шепотом, показывая рукой из-за куста на дорогу:

— Румыны! Румынский пост!

И правда, ниже нас, совсем близко на дороге, мы видим двух солдат-румын. Они удобно сидят прямо на земле, беззаботно [123] болтают, но тем не менее время от времени бросают беспокойные взгляды на дорогу, идущую из Широкой щели, откуда мы пришли. Перед ними маленький костерок.

— Давайте двигаться дальше, к хозяйству лесника, посмотрим — много их там? — шепчет нам Алексей.

Мы осторожно, крадучись, согнувшись, быстро проскальзываем по склону горы дальше от поста, ближе к уже знакомым нам домикам лесника и рабочих леспромхоза. Очередной бросок — и мы у цели. Метрах в ста от нас колодец с журавлем, дома, огороды, сарай. Все как на ладони. Много солдат-румын, лошади. Сколько солдат, столько и коней! Кавалерийская часть, не иначе. Несколько подвод с высокими кибитками на них, что-то вроде фургонов. Таких у нас, в России, не бывает. Кругом солдаты, все в движении, все что-то делают. У колодца же дымит походная полевая кухня. Солдат-повар стоит высоко у котла с откинутой крышкой, оттуда валит пар. А вот за домом еще две подводы. На одной что-то прикрыто брезентом, с другой, такой же, он сброшен.

— Минометы! Ротные минометы на подводах! — говорю я Алексею.

— Вижу!

— Около сотни солдат! — определяет Ворона. — Вот бы сейчас сюда весь наш отряд! Дали бы проср... им под завязку!

— Да! — соглашается Алексей. — Самый раз сейчас долбануть их! Правильно говорили вчера матросы: немцев нет, одни румыны. В ночь расположились здесь, следовать за моряками в Широкую щель побоялись. А сегодня двинут: позавтракают и пойдут. Нам, братцы, больше здесь делать нечего — пора докладывать командованию. Потопали побыстрее назад!

Не тронув часовых-румын, чтобы не обнаружить себя, мы вернулись назад тем же путем. Засада была уже снята, потому что моряки ночью все до одного благополучно были вывезены катерами. Теперь и отряду надо было побыстрее уходить дальше в горы, в лес, на свою основную базу — в Лобанову щель. Большая часть партизан уже ушла, командир оставил только Дегтярева с десятком бойцов: дожидаться нас [124] и подобрать все еще оставшееся здесь имущество. Мы погрузили на подводы оставшиеся в доме



продукты, разное барахло. На одну подводку вкатили большую дубовую бочку, литров на 100, с коньяком. На другую покидали мешки с мукой, два ящика с макаронами, маленькую чугунную походную печку и всякое другое — и тронулись в путь.

Пройдя мимо мыса Малый Утриш, мы едва успели снова углубиться в заросли леса и укрыться, как над нами, совсем невысоко, пронеслась немецкая «рама» — разведчик-корректировщик «Фокке-Вульф 189». Летящий вдоль берега в сторону Новороссийска самолет пролетел так низко, что через плексиглас передней части его фюзеляжа отчетливо просматривались головы пилотов.

Мы переваливаем еще через один крутой скалистый холм, и вот она — Лобанова щель! Начинаясь где-то далеко в горах, она дугой, гигантским серпом, вначале совсем узкая, а затем все более расширяясь и делаясь пологой, выходила к морю. Вообще если правильно говорить, то она называлась не «Лобанова», а «Топольная щель». Когда-то давно здесь, в ее устье, росло очень много тополей, отсюда и название. Но потом, тоже еще в дореволюционные времена, все земли вокруг прибрал к рукам богатый лесопромышленник Лобанов, построивший здесь дачу. С тех пор щель и стала называться «Лобанова». После революции здесь разместился пограничный кордон, а в тридцатые годы на месте кордона обосновалась погранза застава. Были построены казарма для красноармейцев, столовая, пекарня, баня, всю территорию заставы огородили высоким каменным забором — благо камней здесь было более чем достаточно.

В этом месте мы столкнулись с группой матросов. Их было человек двенадцать, среди них две девушки во флотской форме. Матросы сидели, привалившись к стволам тополей, отдыхая.

— В горы идете? Партизаны? — дружелюбно спрашивает нас сидящий рядом с девушками главстаршина.

— Да, в горы, партизаны, — отвечает остановившийся Дегтярев, несмотря на то что Терещенко строго-настрого [125] наказывал не раскрывать себя. Хотя, конечно, сейчас глупо отрицать то, что мы партизаны. Вся наша одежда, оружие говорили об этом. Кто еще, спрашивается, сейчас может ходить здесь в гражданской одежде и вооруженный, кроме партизан?

— А вы, братухи, чего здесь пришвартовались? — Алексей показывал свое знание морского жаргона — перед самой войной он отслужил свой срок на флоте. — Вы что, вчера не в кильватер Соколовскому шли?

— Нет, мы сами по себе. А Соколовского не догнали! — включился в разговор сидевший спиной к стволу дерева мичман. — Мы с 464-й батареи. Может, слышали о такой?

— Слышали. Это та, что под Витязево стоит?

— Стояла. Теперь уже не стоит. Мы последние с нее...

О корабельной батарее мы знали, еще когда были в истребительном батальоне, — это была одна из двух береговых батарей Анапского сектора (553-я была на механической тяге). Она состояла из 102-мм орудий, снятых с выскочившего на скалистую подводную отмель Суджукской косы старого эсминца «Шаумян».

— Ну, и что же у вас там случилось? Почему вы здесь? — спрашивает Дегтярев. Широков расставив ноги, скрестив в локтях руки и опираясь ими о ствол карабина, он с интересом вглядывался в моряков.

— Что произошло? — повторяет вопрос Дегтярева мичман сразу каким-то возмущенным и одновременно обиженным голосом. — Расколошматили нас фрицы!..

— Но и мы им надавали по мордам! — вызывающе, словно оправдываясь, добавляет главстаршина. — Дорого им обошлась наша батарея!

— Да вы толком расскажите, что у вас там было! — спокойно, с сочувствием, видя нервозность матросов, спрашивает Шерстюков. Он усаживается, мостится на округлом валуне рядом с мичманом, достает табакерку, кресало — сейчас будет вертеть сигарку. — Мы толком и не знаем, где немцы, как, когда они вошли в Анапу, где наши войска, где фронт?  
[126]

— Немцы вот-вот будут здесь, а где сейчас фронт — хрен его знает! Наверное, где-то под Новороссийском уже! — отвечает главстаршина.

— Что же вы здесь расселись, как у тещи в гостях? Сидите спокойно, вроде и войны для вас нет!

— Фрицев мы не боимся. Уже цапались с ними! Сунутся сюда — положим их сколько получится, — и в лес! Вот он, рядом! — говорит бравого вида матрос, сидящий рядом с девушками.

— Отдохнем еще с полчаса и потопаем по бережку в Новороссийск! — добавляет мичман.

— Да что все же произошло у вас на батарее? — не унимается Шерстюков.

— Все было просто! — начал рассказ мичман. — 27 августа наш пост наблюдателей-корректировщиков доложил, что по дороге из Варениковской

на Гостагаевскую проскочили немецкие разведчики-мотоциклисты, а вскоре за ними показалась мотомехколонна немцев: автомашины, танки, бронетранспортеры... В Гостагаевской наших войск не было, и немцы, пройдя станицу без каких-либо помех для себя, вышли на дорогу в Анапу. Это совсем близко от наблюдательного поста. Последовал сигнал на батарею, и мы шквалом снарядов накрыли колонну врага. Как доложили нам с поста, наворотили мы там много: горели автомашины, побитые танки. Немцы в панике развернулись назад и скрылись в балке. Каким-то образом они обнаружили наших наблюдателей и, забросав горку минами от минометов, бросили не менее взвода солдат на пост. Нашей братве ничего не оставалось, как вызвать огонь на себя. Трижды немцы атаковали, и трижды мы отгоняли их от своих огнем. Потом до роты фашистов прорвалось к нашей батарее. Мы их, конечно же, ждали и встретили как подобает: огнем двух ручных пулеметов и гранатами. Заставили отойти в поле, в кукурузу, и там опять накрыли их снарядами. Но было ясно, что долго продержаться мы не сможем, — помощи ждать было неоткуда. Фашисты все больше и больше наседали и к вечеру приблизились к батарее на 150–200 метров. Наши орудия вели огонь прямой наводкой, отбивая одну атаку за другой. Когда [127] израсходовали весь боезапас к орудиям, мы взорвали все орудия, приборы управления огнем, кубрики батареи. Командир батареи лейтенант Белохвостов оставил на огневой позиции заслон — человек 30 матросов, а остальным оставшимся в живых приказал пробиваться к ст. Благовещенской (там держали оборону флотяки Темрюкской военно-морской базы) или в сторону Анапы. Вот мы и здесь. Что с лейтенантом — не знаем. Живой ли, пробился ли в Благовещенскую?

Мичман умолк.

— Да-а, дела-а! — нарушил молчание Шерстюков. Он давил, ввертывал в землю, гасил остаток выкуренной сигарки.

— Ну, что, братцы? Идите, бейте фашистов! — сказал Дегтярев, выпрямляясь, закидывая карабин на ремень за спину. — Счастливо вам! Может, еще свидимся, земля — она круглая!

— Счастливо и вам! — мичман тоже поднялся и серьезно посмотрел на каждого из нас, как бы стараясь запомнить наши лица. Глянул на меня — улыбнулся:

— И ты, пацан, значит, в партизаны? Не захотел с мамкой дома сидеть?

— Он у нас молодец! Мы еще, можно сказать, и не видели немцев, а он уже успел одного уложить из карабина! — Дегтярев добродушно улыбался.

— Смотрите! Да он и прямо герой у вас! — очень красивая девушка-морячка приятно улыбалась, глядя на меня.

Я, как всегда в таких случаях, покраснел до ушей, не находя, что сказать в ответ.

— Оставайся с нами, герой! — прицепилась теперь и вторая девушка. — Что, не хочешь быть моряком?

Все — и матросы, и наши — оживились, заговорили, посыпались шуточки в адрес девушек. А я все смотрел на автомат сидящего рядом главстаршины. Наконец, видя, что вот сейчас мы расстанемся с моряками, я решился:

— Товарищ главстаршина, подарите мне свой автомат! А я дам вам свой карабин! К нему у меня много патронов, [128] 60 штук! — Я старался убедить моряка, что он в этой сделке не проиграет.

— Нет, браток! — моряк серьезно посмотрел на меня. — Не могу я тебе отдать автомат! Я еще много им должен уложить в землю фашистской сволочи! Карабин мне твой не с руки! Буду воевать по-крупному, дайте мне только побыстрее схлестнуться с врагами! — Лицо главстаршины было твердым, решительным.

Удаляясь от моря, лишь поздно ночью мы добираемся до цели и сгружаем все с повод прямо на дорогу. Бочку, мешки, ящики, узлы... Подводы тут же разворачиваются и уезжают куда-то. Дегтярев послал Лешку вниз, в отряд, сказать о нашем прибытии, и из щели к нам на дорогу поднимаются партизаны. Сразу шум, возгласы приветствия, гвалт. Среди пришедших я вдруг слышу голос Славки.

— Славка! — ору я. — Славка, ты где?

— Коля! Ты здесь? Ты пришел? — Славка тискает меня в объятиях. Мы оба смеемся, опять обнимаемся, безмерно обрадованные встрече.

— А ты знаешь, Славка, я мог бы с матросами уйти морем на катерах в Геленджик! Меня один капитан-лейтенант забирал с собой! Если бы не ты — ушел бы с ними. Жалко было растеряться с тобой!.. Ну да ладно, потом все расскажу!

Все вместе, мы без труда стаскиваем вниз мешки с сахаром и мукой. Сложнее было с бочкой: ее ни в коем случае нельзя было катить вниз. Тяжелая, она понеслась бы по скату тяжелым снарядом, ломая кустарник и давя все, что попадет на ее пути. Пришлось еще на дороге развернуть ее торцом вперед и так, волоком, тащить, не давая ей возможности развернуться и покатиться. В конце концов мы справились и с этой работой.

— Завтра утром всем подняться на дорогу и оттуда, спускаясь вниз, убрать все следы нашей работы: выправить кустарник, унести сломанные ветки, выровнять, разгрести щебенку... В общем, полная маскировка на местности! — отдал Дегтярев свой последний приказ. — А сейчас всем спать... [129]

В лесной глуши, в беспорядочном нагромождении гор, изрезанных бесчисленными щелями, прищелками, промоинами, ложбинами, обрывами и тому подобными рельефными выкрутасами, начиналась наша Лобанова щель, где и располагалась база партизанского отряда. В мокрое время [130] года, осенью и ранней весной, когда идут долгие, обильные дожди, с ближайших склонов гор бесчисленными ручейками стекает вода. Сразу создается грозный, мощный селевой поток, с бешеной скоростью мчащийся вниз по щели, сметая все попавшее ему на пути. Но так будет потом, в период дождей, а сейчас воды нет ни капли. Только в зарослях кизила, переплетенных в одно непролазное целое, бьют ключи, образуя маленький ручеек. Шагов через десять мы сделали запруду, и вода накапливается в небольшую, размером не более чем в домашнее корыто, лужицу. Здесь расположилась кухня отряда. Но «кухня» — это слишком громко сказано: просто лежат два более-менее ровных, одинаковых по размеру обломка скалы и на них поставлен котел. Обыкновенный, круглый, черный от копоти, литров на двадцать. Под ним костер. Тетя Женя — повариха, жена комиссара, готовит нам всем еду, ей помогает в работе еще одна партизанка. Никто из нас в отряде не имел собственных котелков, ложек: об этом перед уходом в лес не подумали, не позаботились. Поэтому ели не все сразу, а по мере освобождения полутора десятков мелких металлических мисок, которые всегда были при кухне. Те, кто успел раньше прийти, — едят, а другие стоят у них над душой, ждут миски и ложки.

Кормили не сытно, не вдоволь, хотя из чего готовить было. Обычное меню было такое: на завтрак — кусок сала, пайка хлеба, чай с сахаром; в обед — суп-галушки, иногда борщ или картофельный соус с мясом, пайка хлеба. Не было у нас на обед «первого», «второго», «третьего»: котел-то — один! Ну, и на ужин кусок рыбы, макарон, чай.

Я никогда не старался захватить первым пустую, свободную миску, а ждал, когда поедят почти все. Из-за этого мне обычно доставались только остатки еды, неполные порции, поэтому я никогда не наедался и постоянно ходил с чувством голода.

Воду для приготовления еды, чая, мойки посуды и всяких других нужд по кухне тетя Женя черпала кружкой из лужицы родника рядом с котлом.

Почерпает немного — и воды нет, — все выбрала. Ждет, когда вода опять заполнит ямку. Еще несколько шагов — и ручеек прячется, пропадает в [131] расщелинах скал. В общем, если пройти всю щель «от» и «до», от моря и до нашей базы, воды попить негде. Мало было, не хватало воды! Попить вдоволь, умыться как следует — и то никак не получалось.

Склон горы, противоположный тому, по которому проходит дорога, тоже довольно крут, градусов в 45. На нем, как раз напротив кухни, примерно в тридцати шагах, большой, широкий выступ в виде террасы. В сторону кухни он обрывист, а другая его сторона плавно поднимается и переходит в общий подъем горы. Здесь, на террасе, вбиты колышки и на них натянута шестиместная туристическая палатка — мы все называем ее «штабной палаткой». Там разместился не только начальник штаба Окунь с молоденькой секретаршей Дусей Маркиной, но и сам командир отряда Терещенко и комиссар Кравченко со своей женой.

Снаружи все три стенки палатки, за исключением четвертой, где вход, завалены вещами партизан: узлы-вендоры), вещмешки, котомки и даже чемоданы.

Еще в начале войны кто-то и зачем-то принес из ОСВОДа к нам, в истребительный батальон, легководолазный костюм. А из батальона этот костюм какой-то олух припер в Варваровку, а потом и сюда — в отряд. Спрашивается: зачем в горах, в лесу водолазный костюм? Его бросили под стенку штабной палатки в общую кучу вещей партизан, там он и валялся. Наконец-то какая-то умная голова и ему нашла применение, хотя и не по прямому назначению. У костюма по самый пах обрезали «ноги», и с этого момента они стали уже не «ноги», а две удобные емкости для переноски воды на дальние расстояния. Каждое утро 3–4 партизана посылались с этими «ногами» по щели за 5 километров, на погранзаставу. Там они наполняли их чистой, холодной водой из колодца и несли в отряд. Вода была только для кухни! Конечно, это не удовольствие — таскать таким образом воду, но где еще взять ее чистую?

Там же, на брошенной погранзаставе, четверо наших женщин, воспользовавшись тем, что ни немцы, ни румыны пока еще почему-то не появлялись здесь, начали выпекать в солдатской пекарне хлеб для отряда. И небезуспешно! Они [132] не только снабжали нас вкуснейшим хлебом, но и сушили из него же сухари в запас. Те партизаны, которые приходили сюда за водой, каждый раз брали у них пару мешков готового хлеба.

Не знаю точно где, но где-то рядом с заставой, в горах, командованием отряда были оставлены трое партизан смотреть, ухаживать, пасти маленькое

стадо коров. Все партизаны-пастухи — бывшие милиционеры из нашего города. Периодически к ним приходили партизаны: забивали одну из коров, свеживали ее и порубленную на куски тушу, кожу несли в отряд. Таким образом мы снабжались мясом.

Если стоять рядом со штабной палаткой и смотреть вниз на кухню, то справа шагах в двадцати был наш «продовольственный склад». Собственно, никакого склада нет. Нет ни палатки, ни большого емкого шалаша, ни легкого навеса от дождя. Склад — это условное название. Продукты, продовольственный запас свален просто на землю, в какое-то подобие штабеля. Тонкий дерн с пожухлой травой, покрывающий скалистую почву склона горы, — и на нем навалом продукты, без какой-либо подстилки, не прикрытые сверху даже для маскировки ветками кустов. Здесь 40 мешков муки высшего сорта, макароны и вермишель в коробках, мешки с сахаром-песком, сухофрукты, сало, махорка и еще что-то.

«Что было бы со всем этим, что осталось от всего этого, если бы сейчас пошли дожди? — думал я, глядя на эту «свалку» продуктов. — Неужели ни командир, ни комиссар не подумали о том, что все пропадет, если хлынет дождь?»

Ниже склада, в десятке шагов, на дне сухого русла ручья беспорядочно лежали бочки со спиртным: литров на 50–60 каждая. Меня они совершенно не интересовали, но я слышал, что в бочках коньяк и крепленое вино. Зачем оно нужно было в отряде — я не мог понять! Партизаны буквально липли к бочкам, и многие ежедневно бывали под хмельком.

— Приказываю к бочкам и близко не подходить! — объявлял Терещенко почти каждый день. — Иначе я выставлю там пост! [133]

Пост он так никогда и не выставил, а мужики, игнорируя его приказ, продолжали липнуть к бочкам. Как только подкатится вечер, стемнеет — все уже у бочек. Сидят на них, рядом, курят, травят что-нибудь. Не проходит и полчаса, как языки у всех развязываются вовсю: ясно, что уже хлебнули. Вроде и все чопы на бочках целые, никто не стучал, не сверлил, не долбил, а тем не менее все уже «на газу». И так каждый вечер.

Больше ничего, кроме всего этого, у нас на базе нет. Ничего не построено, не выкопано, не сооружено. Командир на этот счет не отдавал пока никакого приказа, а сами бойцы не проявляли никакой инициативы. Единственным исключением стало то, что один пожилой уже партизан Гапний по собственной инициативе соорудил нечто похожее на миниатюрную печь для выпечки хлеба. Она была настолько мала, что в ней за один раз можно было выпечь только две буханки. Ему эта работа была как

забава, но муки было более чем достаточно и командование даже поощряло его работу. Хлеб получался несколько не хуже того, что выпекали в настоящей пекарне наши женщины на погранзаставе. Прошло несколько дней, и помимо хлеба Гаппий насушил в этой же печи мешок прекрасных сухарей.

Такова была вся наша «база».

Теперь о людях, о личном составе. Всего в отряде было 64 человека. Структура отряда была такова: во главе отряда — командир М. Н. Терещенко, при нем, как и это положено, — комиссар Д. А. Кравченко. Им подчинен штаб — начальник Окунь и писарь штаба Дуся Маркина. Все бойцы-партизаны распределены в двух стрелковых взводах, во взводе разведки и хозчасти. Командиром 1-го взвода назначен Дегтярев, командиром 2-го взвода — Каруна. В обоих взводах по 18 человек. Взводом разведки командовал Александр Кравченко, в его подчинении 12 человек. И, наконец, хозчасть — 12 человек. Командир хозяйственной части — Аншаков (Батя). Сюда вошли повар отряда Е. Кравченко, кухрабочая Свиридова, пекарь Гаппий, «мастер на все руки» Шерстюков, трое пастухов, пасущих стадо коров, четверо [134] женщин, выпекавших хлеб на погранзаставе, среди них жена пекаря Гаппия и их 18-летняя дочь. Алексей Кравченко (его звали «Дон») был на особом положении, подчиняясь только непосредственно командиру и комиссару. Он выполнял какие-то секретные задания и поручения и сам себя именовал «порученец по особо важным делам».

Командир отряда Митрофан Никифорович Терещенко не был коренным анапчанином. Родился и рос он на одном из донских хуторов в семье бедного крестьянина. В Гражданскую он воевал в знаменитой Конной армии Буденного, был рядовым конником, но вскоре за сообразительность и бесстрашие в боях командование назначило его командиром взвода. Однажды он отличился: прорвался со своим взводом в тыл врага и захватил там белогвардейский штаб. За эту успешную операцию, проявленную личную храбрость и находчивость Терещенко был приказом Реввоенсовета награжден самой высокой тогда наградой — орденом Красного Знамени. К началу войны он был уже секретарем анапского райкома ВКП(б), а с подходом фронта к городу, когда были созданы три партизанских отряда Анапского куста, Митрофан Никифорович приказом командира анапского соединения партизанских отрядов (секретаря крайкома Егорова) был назначен командиром отряда № 2.

Комиссар Дмитрий Алексеевич Кравченко, в отличие от Терещенко, был коренным жителем Анапы. Многочисленный «клан Кравченко» был



широко известен, а с его сыном [135] Николаем, как я уже рассказывал, мы вместе росли и были большими друзьями, пока он не погиб в истребительном батальоне...

\* \* \*

Первая неделя сентября. Прошедшее лето было долгим и жарким, — да и сейчас еще солнце палило вовсю. Пекло так, что середину дня мы предпочитали отсиживаться поглубже в щели, в густой тени зарослей хмеречи. Но осень помаленьку начинала брать свое. Внизу, в сумраке и прохладе, куда не пробивались палящие лучи солнца, листва все еще сочная, зеленая, а по склонам гор она уже жухла, желтела, начинала осыпаться.

Мы в полном бездействии. Каждый предоставлен самому себе. Нам приказано молчать, т.е. говорить можно о чем хочешь и сколько хочешь, но только тихо, не громко. И не дай бог, чтоб кто-то крикнул!

— Всем затаиться, притихнуть! Вроде здесь, в лесу, ни нас, ни кого другого нет! Из расположения не отлучаться ни на шаг! — таков приказ Терещенко. Сам он совершенно не бывал среди нас. Весь день в палатке, как и комиссар.

«Что они там делают? Чем занимаются?» — искренне удивляюсь я.

Спали мы как попало, кому как вздумается и где кто хочет. Мы со Славкой облюбовали неглубокую промоину недалеко от палатки: она доверху наполнена занесенными сюда ветром прелыми листьями прошлых лет и сверху совсем еще свежими. Мы стелили мою плащ-палатку, бухались, не раздеваясь, на нее, и спали, как на мягкой перине. Надо сказать, что не только мы — никто из партизан на ночь не раздевался. Кто как ходил днем — так вечером завалился на бок и спит. Куда там раздеваться, если над тобой, по тебе шуршит, ползает, летает что-то. Какая-то живность настойчиво, непременно хочет влезть тебе в ухо, в нос! Не было команд ни «Отбой!» на сон, ни «Подъем!» утром. Кто когда хотел, тогда и ложился спать. Утром вставали тоже только исключительно по собственному желанию.

Из-за недостатка воды кое-как умывались у ручья (а некоторые, [136] как я заметил, не делали этого вообще), и все спешили к кухне получить и съесть свой завтрак. Потом весь день ничего не делали, маялись от скуки. Надо было в обязательном порядке построить крышу-навес над нашим «продовольственным складом», чтобы сберечь продукты на случай дождя, и над кухней тоже. Не лишними были бы и шалаши, где нам всем в непогоду можно было бы пересидеть. Да мало ли еще чего придумаешь! Но

командиры молчали, не приказывали, а сами бойцы ленились и бездействовали.

— Лафа! Как в туристическом лагере! Кормят терпимо, никакой работы, спать вдоволь! Дышим чистым, горным воздухом! — иронизирует Славка.

— Вот только море далеко, купаться негде и кино не показывают! — добавляю я. — А в общем-то, санаторий «Лесной приют отчаянных»!

Как-то к вечеру в отряд пришел секретарь крайкома Егоров. Его сопровождали Алексей Кравченко, Петраш и Шабельник. Вид у всех был усталый, измученный. Видно, много им пришлось пройти по горам. Егоров сразу же нырнул в штабную палатку, а я подошел к Алексею. Человек только что пришел, он где-то был, — а значит, что-то видел, слышал какие-нибудь новости. Тем более, что ходил он с таким большим для нас начальником, как Егоров.

— Дядь Леш! — спрашиваю я. — Какие новости, откуда вы притопали, что слышно о немцах, где они, где фронт?

Сидя на толстом поваленном стволе бука, Алексей долго молчал, а потом наконец изрек:

— Ты, Коляша, сегодня утром слушал сводку Информбюро?

— Слушал.

— Ну, так что же ты спрашиваешь о фронте? Ты лучше меня сейчас знаешь, где он! Протопали мы сегодня много с Егоровым! Разные у нас были дела. Все, что нужно было сделать, — постарались, сделали! Об этом не нужно говорить! А кроме всего этого, прошли по всем «точкам» — проверили их сохранность. Там все в порядке — не тронуты, маскировка не нарушена.

Надо объяснить, что когда наши отряды формировались, [137] в наличии была только одна походная рация. Булавенко, используя «право сильного» (он был начальник НКВД!), забрал рацию в свой отряд № 3, располагающийся в называемой по имени горного хребта Новогирской щели. По ней слушали сводки Информбюро о положении на фронте.

Каждый день в 10 часов утра мы посылали своего связного к ним за этой самой сводкой, и через час-полтора он приносил ее отпечатанной на пишущей машинке. Партизаны собирались у штабной палатки, и комиссар зачитывал ее вслух всем. В отряд Булавенко за сводкой ходил назначенный командиром постоянный связной Лешка Черненко. Когда продовольствие для нашего отряда завозилось сюда, на нашу базу, одновременно с этим особо доверенными лицами (старший Алексей Кравченко) часть продуктов и боеприпасов надежно пряталась в тайниках, разбросанных по всей округе в

горах. Это был «НЗ» — неприкосновенный запас для всяких непредвиденных, тяжелых для отряда, случаев. Таких тайников было оборудовано семь. «Семь точек» — так с чьей-то легкой руки стали их называть. О том, что они есть, знали все в отряде, это не было секретом. Но никто, кроме доверенных лиц, не знал, где они находятся. Я не попал в число этих «доверенных» и поэтому, естественно, тоже не знал ни одну из них.

Вот сейчас Алексей и говорил мне, что они с Егоровым прошли по всем этим «точкам» и убедились в их сохранности.

— Вы как-то поближе к начальству, чем мы, — так скажите, что слышно, скоро мы начнем бить фрицев? — спрашивает Славка Алексея.

— Сидим, вылеживаемся! Уже бока болят! Надоело киснуть без дела! Шли воевать, а сами попрятались, как мыши в норы! Даже громко говорить запретили! — высказал и я свое возмущение.

— Эй, вы, хлопчики! Да вы что? Бунт на корабле? — Алексей удивленно смотрел на нас. — Не верите своему командиру? Вы это бросьте! Наше дело придет! Дайте только [138] осмотреться, прицениться, приняхаться! Так что в дальнейшем не болтайте чего не надо!

Наиболее вероятными направлениями, по которым к нам на базу мог кто-то прийти, будь то противник или же просто какой-то случайный бродяга, — это сверху с дороги по крутому спуску через заросли хмеречи и по самой щели, со стороны моря. Так считало наше командование, — и сообразуясь с этим были назначены постоянные, круглосуточные посты. Пост № 1 был вверху у дороги, а пост № 2 вниз по щели, шагов 200 от кухни. Ночью на каждом из них находилось по три человека, днем по два. Задача обоих постов была одинакова: если кто-то идет один, если идут двое, трое и даже небольшая группа — задержать, не пустить в распоряжение нашей базы, доложить о задержании командованию. Если же идет много людей или, тем более, противник, то один из постовых бежит доложить командиру о них, а второй открывает огонь, задерживая этим самым врагов на какое-то время. Выставлялся еще один пост (№ 3) — справа от базы, в сотне шагов от штабной палатки. Но с этой стороны была такая глухомань, что появление оттуда кого-то вообще не мыслилось. Этот пост выставлялся только ночью, для очистки совести командования. Вот такова была постоянная охрана подступов к нашей базе.

Сегодня в ночь в караул на пост № 2 были назначены дед Гаппий, Катя и я. Начальник караула на эти сутки — Шурка Кравченко. После ужина, в семь вечера, он и привел нас на пост.

— Часовому не спать, быть бдительным, зорко смотреть, чутко прислушиваться, не болтать с товарищами! — наставлял нас прописным истинам Шурка. — Менять друг друга будете сами. У тебя, Николай, есть часы, передайте их по смене и не переставайте лишнее время! Все должно быть по-честному! В семь утра вас сменяют! Инструкцию по посту знаете?

— Знаем!

— Вот в случае чего и будете действовать по ней!

Шурка ушел. Как обычно в таких случаях, мы зарядили карабины и поставили их на предохранители. Уселись так, [139] чтобы щель просматривалась подальше, хотя и понимали, что еще немного — и наступит такая темнота, что дальше своего носа ничего не увидишь.

Тихий, теплый вечер располагал к разговору, и хотя дедушка Гаппий больше молчал, мы с Катей не могли наговориться! Наконец-то после стольких дней мы вместе, и впервые так близко друг к другу. Несколько дней назад Катя приносила еду мне на гору, где я стерег дурацкую свеклу. Но тогда у нас с ней не было времени говорить о чем-либо. Катя была в «самоволке» и спешила вернуться в отряд. Сейчас же у нас целая ночь впереди! Мы вдвоем! Никто нам не мешает, никто нас не слушает!

Дедушка Гаппий, понимая наше состояние, деликатно отошел подальше, примостился под скалой у поворота русла ручья — оттуда ему удобно вести наблюдение.

— Вы тут говорите, милуйтесь, целуйтесь, а когда захотите спать — ложитесь и спите до утра. Я один и за себя, и за вас отсижу, понаблюдаю.

— Так вы же не выдержите не спать всю ночь! До утра ого-го еще сколько времени! — говорю я ему.

— И вообще, почему это вы должны за нас дежурить? — добавляет и Катя.

Дед Гаппий отлично понимает, видит, что и мне, и Кате очень по душе его решение. Он успокаивает нас:

— Не сомневайтесь, я не усну! У меня все равно бессонница ночами: в коленях крутит — спасу нет! К непогоде, наверное!

Из-за гор, на востоке, выплыла огромная, вся в пятнах и ломаных разводах, яркая луна и покатила колесом по Новогирскому хребту. Все стало черно-белым, контрастным. Мы с Катей сидели рядом, совсем-совсем близко друг к другу. Вспоминали, говорили о нашей лучшей в городе школе, о добрых, милых и строгих, нелюбимых и несправедливых учителях. О потерявшихся сейчас где-то друзьях, товарищах, подругах, о школьных

событиях, проказах. Мы лежали, прижавшись друг к другу. Было уже за полночь.

— Коля, давай спать! Уже скоро рассвет! — Катя еще плотнее прижимается ко мне. [140]

Сверху, с вершин гор, процеживаясь сквозь хаос леса, ползла предрассветная прохлада. Нам, укрытым плащ-палаткой, она была нипочем. Мы уснули.

\* \* \*

После завтрака мы бесцельно слонялись со Славкой по базе, не зная, чем заняться, куда себя деть. Со стороны командования не было никаких распоряжений или приказов, — каждый предоставлен самому себе. Некоторые, убивая время, сходились, сидели, лежали, без конца смолитли махорку, вяло спорили, доказывая друг другу, где сейчас должен быть фронт. Сводки Информбюро, которые нам читали каждый день, были туманными, непонятными. Что делалось на Северном, Центральном фронтах, было еще более-менее понятно. А что касается положения у нас, на Кавказе, — это или обходилось молчанием, или же о таком говорилось как-то неопределенно, в общих чертах. Мы не знали, где сейчас у нас, на юге, фронт, где враги.

— Леха! Ты за сводкой идешь?

— Да!

— И мы с тобой! — Я и Славка догоняем Лешку Черненко, идущего в отряд Булавенко за сводкой Информбюро. За столь короткое время нашего пребывания здесь в Новогирскую щель уже успели протоптать тропу: местами по мягкой осыпи грунта, а местами по слежавшимся годами листьям обильной здесь растительности. Эта тропа круто ведет нас к перевалу Новогирского хребта.

— Все! — говорит Леха, когда мы поднялись наверх. — Дальше я иду один. Вам нельзя!

— Это почему же? — спрашиваем мы удивленно.

— Вы не должны знать дорогу в отряд Булавенко. Поэтому я и не могу вести вас туда!

— Чепуха какая-то! — говорю я. — А если что случится и мне надо будет, скажем, срочно передать донесение, сообщение в их отряд! Как же я это быстро выполню, если не знаю дороги туда!

— Такой приказ! — отвечает Лешка.

— Приказ так приказ! — говорит Славка. — Иди, Леха, а мы тебя здесь подождем! [141]

Десятка два шагов — и он, спускаясь вниз, скрылся из глаз.

— Вот дают командиры! — продолжил разговор Славка, укладываясь удобно под стволом старого вяза. — Это называется «конспирация». Усек?

— Может, и правда так надо! — неуверенно говорю я.

— Чепуха все это! Если никому из нас не верить, не доверять, то зачем же создали наши отряды? — горячится Славка. — И вообще, до каких пор мы будем сидеть, ничего не делать?

Он еще что-то хотел сказать, но подавил в себе внезапную вспышку и умолк.

— Брось, Славка! — говорю я, — Все наладится, не переживай!

Мы закуриваем и час сидим, ожидая Лешку. Вот, наконец, и он.

— Что так долго?

— Да пока приняли сводку, отпечатали на машинке! Вот она! — Лешка вытащил из-за пазухи лист бумаги.

«...На Северном Кавказе... в предгорьях... бои местного значения», — жадно читали мы, стараясь в конце концов выяснить обстановку на нашем, Южном фронте. Но и на этот раз все было туманным.

В бездействии, как вчера и позавчера, прошел день. Наверное, так будет и завтра, и послезавтра... Уже к вечеру я забеспокоился: где Катя? Наше расположение небольшое, здесь все на виду. Я поднялся в гору на пост у дороги, потом сходил вниз по щели на пост № 2, но там Кати тоже нет. Как в воду канула! Кое-кого я спрашивал, но ее никто не видел. Обращаться к всегда хмурому Терещенко я не решался, а к комиссару — и подавно: он опять начнет подначивать: «Что, потерял кралю? Скучаешь без нее?» — и тому подобное.

«Подожду до утра. Если и утром не увижу — спрошу командира!» — решил я.

Вот и утро! Встали, более-менее привели себя в порядок после сна, дождались завтрака. Сегодня на завтрак каша: пшенная с салом. Не знаю, как кому, а мне нравится! Кружка горячего, сладкого чая бодрит, приводит в хорошее настроение. [142] Только я собрался идти в палатку к командиру узнавать о Кате, как оттуда выходят он, Егоров, комиссар, начштаба и писарь Дуся Маркина.

— Товарищи! — обращается ко всем комиссар. — Просим подойти сюда! Всем, всем без исключения! Повара, вы тоже! Бросайте свои чашки-ложки и сюда! Александр, — это он к Шурке Кравченко, — пошли кого-нибудь на посты! Пусть останутся там по одному часовому, а остальные немедленно сюда!

— Есть! — по-флотски берет «под козырек» Шурка и посылает на посты подвернувшегося под руку Витьку Коробова. Тот помчался бегом.

— Интересно! — толкая меня в бок, говорит тихо Славка. — Сейчас что-то будет!

Партизаны, поплотнее сгрудившись у палатки, рассаживались на земле. Как всегда в таких случаях, рядом закурили, задышали, с интересом ждали — что же будет дальше? Тихо переговаривались, выжидающе посматривали на начальство.

— Ну вот, теперь все! — говорит комиссар, ожидая, когда рассядутся прибежавшие с постов, запыхавшиеся часовые.

— Товарищи! Командование отряда решило провести общее собрание! Многим надоело бездействие! Вы горите желанием быстрее бить, уничтожать фашистов! — Комиссар выглядел эффектно. Нарочито к данному моменту аккуратно и даже безукоризненно одетый во все чистое, с гладко выбритым, строгим, волевым лицом, он стоял перед сидящими — стройный, энергичный. Каждую произнесенную фразу он подкреплял резкими жестами руки.

— Поверьте мне, мы будем бить эту сволочь! Еще немного терпения, и мы начнем активные действия! А пока сейчас нам необходимо решить некоторые неотложные вопросы, и я внесу ясность в сложившуюся обстановку. Первый вопрос — это нам всем надо немедленно, прямо сейчас, принять присягу! Не можем мы начинать никаких действий, не поклявшись в верности Родине, партизанскому долгу, друг другу! Вы, находясь здесь, в лесу, в тяжелый для Родины час, уже этим самым доказали свою верность ей и желание [143] бить врага! Но этого мало! Надо принять присягу, закрепить ее священные слова личной подписью! Текст присяги мы отпечатали на машинке. Сейчас она будет роздана каждому из вас! Вы внимательно прочтете, подпишете и сдадите нам! Предупреждаю: если кто не желает подписывать, он этим самым вычеркивает себя из списка партизан нашего отряда. Может сейчас встать, сдать оружие и идти на все четыре стороны. Так что подумайте, товарищи! Кто не хочет быть в отряде, лучше пусть сразу скажет об этом и уходит. Потом, с принятием присяги, это непозволительно будет сделать никому! Итак: есть желающие покинуть отряд? — Комиссар умолк, ждал, не торопясь оглядывая почти каждого сидящего партизана. — Нет? Я рад, что желающих отказаться от борьбы среди нас не оказалось! Дуся! Вручи товарищам присягу!

Дуся только этого и ждала. У нее в руках заранее приготовленная стопка листков. Она ходит между сидящими и дает их каждому. Вот и у меня она в руках. Читаю:

«Я... (здесь следует вписать свою фамилию), преисполненный высоким чувством ответственности за судьбу своей Родины, своего народа... вступаю добровольно в партизанский отряд, чтобы... не щадя своей жизни... крови... беспощадно уничтожать врага... Быть дисциплинированным... храбрым... выполнять приказы командиров... Если же окажусь трусом... нарушу эту присягу... изменником и предателем... пусть покарает меня, мою семью, родственников... суровый закон военного времени, всеобщее презрение... Смерть немецким оккупантам! Партизан...».

Я вписываю свою фамилию вверху, в начале текста, а в конце ставлю подпись.

— В кино показывают, — тихо говорит мне Славка, — партизаны присягу принимают торжественно, все стоят в строю, читают слова присяги хором, а мы...

Лицо его даже как-то скривилось и в обиде, и в усмешке одновременно. Долго ли прочитать и расписаться? Дуся сразу же после раздачи начинает собирать листки с текстом присяги. Вот, наконец, собраны все. Она бегло осматривает всех, садится на свое место, пересчитывает. [144]

— Все сдали? — спрашивает ее комиссар.

— Все, Дмитрий Алексеевич, я пересчитала!

— Ну вот и хорошо! Поздравляю вас, товарищи, с принятием присяги! Теперь мы по закону настоящие партизаны! С этим вопросом покончено. Теперь переходим к следующему: нам надо дать имя своему отряду! Без имени и отряд не отряд! Какие будут предложения по этому вопросу? Кто какое предлагает название?

Все сидят, молчат. Никто ничего не предлагает. Фантазии не хватает придумать название?

— Ну смелее, смелее, товарищи! — подстегивает комиссар. — Я вот вам помогу. Когда наши войска освободили Керчь, Феодосию и дошли до Джанкоя, то командование фронтом узнало, что в период оккупации немцами Крыма на Керченском полуострове действовали два партизанских отряда из числа местных жителей. Один из них имел название «Смерть фашистам!», а второй — «Смерть оккупантам!» Как-то надобно и нам назвать свой отряд! Предлагайте, товарищи!

Все сидят, молчат. Смелый не находится. Продолжается некрасивая, неловкая пауза, и я не выдерживаю, встаю:



— Предлагаю имя нашему отряду: «За Советскую Родину!»

— Хорошо придумал! Молодец, Коляша! — комиссар одобрительно посмотрел на меня.

— Хорошо! — подтвердил впервые заговоривший командир Терещенко. — Только длинновато. Я бы назвал короче: «За Родину!».

— Отлично! — Комиссар был доволен. — Итак, товарищи партизаны, наш юный партизан Овсянников дал имя нашему отряду. С поправкой командира оно еще лучше, удобнее! Проголосуем! Кто за то, чтобы наш партизанский отряд № 2 в дальнейшем назывался «За Родину»?

Руки подняли все.

— Единогласно! Принято! — подвел итог комиссар и сел рядом с Егоровым.

— Ну как? — горделиво спрашиваю я Славку.

Он хлопает ладонью меня по плечу, улыбается: [145]

— Ты даешь!

Поднялся с места командир Терещенко.

— Товарищи!

Он поднял правую руку, как бы призывая к тишине, хотя и без этого все — само внимание!

— Я хочу сказать пару слов об обстановке, в которой мы находимся. Армия оккупантов, вторгшихся через Ростов на Северный Кавказ, где-то уже под Моздоком и Грозным, а правый ее фланг завяз в Новороссийске. Там сейчас идут тяжелые бои. Иногда вы сами слышите оттуда артиллерийскую канонаду. Пока что наши войска не пустили немцев на побережье моря. Чем это дальше кончится — посмотрим. Новороссийск отсюда недалеко. Мы фактически находимся в прифронтовой полосе, насыщенной располагающимися в населенных пунктах войсками фашистов, и пока бездействуем. Наша задача: выждать еще какое-то время, чтобы мы оказались в глубоком тылу у врага. Вот тогда и развернемся! Бить оккупантов будем беспощадно, не давать ему никакого покоя! А пока, возможно, еще несколько дней, мы должны вести себя так, как и до этого: тихо, не кричать, громко не разговаривать! Затаимся, вроде нас здесь и нет! Никаких костров! Ни ночью, ни днем! Обеды готовить кухне только на слабом огне, без дыма! Из отряда никому без приказа, моего или комиссара, не отлучаться. Отсутствие кого-либо из вас 5–10 минут будет расцениваться как дезертирство. Такой нарушитель будет немедленно расстрелян!

Далее. В течение двух-трех дней, и не более, всем без исключения заменить свою обувь на постолы. Мы бьем коров, и для изготовления

постолов у нас есть достаточно сырой кожи. Необходимость переоблачения в постолы я объясняю тем, что нам предстоят, по-видимому, большие переходы, а в постолах гораздо легче идти. Да и шуму меньше при ходьбе, меньше и тише хруст веток под ногами. С сегодняшнего дня, буквально после этого собрания, не мешкая приступить к строительству землянок. Под личную ответственность командиров взводов товарищей Каруны и Дегтярева пока соорудить две большие землянки из расчета разместить [146] в них по взводу в каждой! Дожди, непогода у нас на носу, и эта работа не терпит отлагательств. Усилить бдительность на постах. Никакого благодушия! Мы не у тещи в гостях! Враг хитер и коварен! Не думаю, что у него разведка не на высоте! Всегда, в любое время можно ожидать скрытного появления его лазутчиков! В заключение хочу сказать, что для того, чтобы в ближайшее время начинать какие-то боевые действия, необходимо осмотреться, увидеть и понять, что предпринимает враг на оккупированной территории, какой устанавливает режим. Для этой цели мы будем прощупывать местность, посылать наших разведчиков. Вчера отправили с такой целью в Анапу Катю Соловьянову. Ей приказано: пройти без оружия в город, побыть там два-три дня — читать и запоминать все приказы, распоряжения и все прочие объявления немецкой комендатуры, полиции итак далее. Узнать время комендантского часа, фамилии предателей и все то, чем и как живет сейчас город. Мы ждем ее возвращения дня через четыре.

— Вот где твоя Катя! Нашлась! — тихо шепчет мне Славка.

— Какие у кого будут вопросы, товарищи? Задавайте! — Командир умолк, стоял, выжидающе посматривая на партизан.

— У меня вопрос! — с места поднялся Свиридов. — Вот мы создали отряд, дали ему название, приняли присягу и готовимся к боевым действиям. А самого нужного, самого необходимого, самого главного у нас нет! — Он вдруг чуть согнулся, гримаса боли исказила его лицо. Все знали, что Свиридова мучает язва желудка. Переборов боль, он продолжил:

— Нету нас в отряде врача, нет санитарок, нет никаких лекарств! Вот-вот пойдут холода, будут среди нас больные: простудные и разные другие. А лечить их будет некому и нечем!

— А если ранят кого? — Это, не вставая с места, перебил Свиридова Рындин. — Раненые обязательно будут, а перевязать раны нечем! Ни у кого нет бинтов! Йода нет! Как нам тогда? [147]

Это уже были упреки командиру и комиссару. Терещенко встал, нисколько не смущаясь, глянул на говоривших хмуро, из-под лба:

— Будет врач и будут медикаменты! Есть у нас хороший товарищ. Он живет с семьей в Сукко, не успел вовремя собраться и уйти с нами в лес. Он нас ждет. Мы, — Терещенко повел руками на Егорова, комиссара, Окуня, — посоветовались и решили сегодня же ночью послать группу партизан за ним! Так что не волнуйтесь, медицина у нас будет!

— Тогда это совсем другое дело! — успокоились Рындин и Свиридов.

Поднялся не особенно словоохотливый начальник штаба Окунь. Он не выступал, а просто списком уточнил, кто, где, в каком подразделении находится. Я и Славка — рядовые 1-го взвода. Наш командир — Дегтярев.

Собрание затянулось. Решалось еще множество мелких вопросов по хозяйственной части и всяким прочим по нашей жизни и пребыванию здесь, в лесу. Под конец комиссар объявил всем:

— В любом разговоре между собой, нигде и никогда впредь, не называть меня по имени, отчеству или фамилии! Забудьте это! Моя кличка теперь: «Белый». Так и зовите!

— Приступайте копать землянки! До обеда еще два часа! — приказал командир. — После обеда продолжите!

Засидевшиеся партизаны кряхтели, поднимались с земли, потягивались, зевали.

— 1-й взвод, ко мне! 2-й взвод, ко мне! — командуют Дегтярев и Каруна.

Они стоят там, где намечено копать землянки. Это совсем рядом со штабной палаткой, метров 6–8. Здесь поперек ската горы за годы, десятилетия, а может, и сотню лет промыто потоками дождевой воды нечто похожее на короткий, но широкий и глубокий овраг. Одна его сторона — та, что ближе к палатке, — крутая, почти отвесная. В ней наши командиры и решили выдолбить землянки.

— Работайте, копайте! — приказывает Дегтярев. — Здесь будет наша землянка, а вот здесь — 2-го взвода. [148]

Он отмерил шагами и обозначил камнями размеры будущего сооружения.

— А чем работать-то? Где лопаты? Чем копать? — Ворона с ухмылкой смотрел на него.

— Да тут не лопаты нужны, а кирки и ломы! — пробасил Коробов-отец. — Лопатами ничего не сделаешь! Грунт — сплошная скала! Тут не копать, а долбить, ковырять его надо! А то и взрывать!

Сейчас только выявилось вопиющее недоразумение — у нас в отряде нет никакого инструмента. Ни лопат, ни кирок, ломов! Нет и топоров. Один-

единственный — на кухне у тети Жени. Партизаны гудят, психуют. Куда начальство глядело, когда шли в лес? Ни лопат, ни топоров! Идти в лес и не взять с собой топор — это же надо!

— Есть лопаты, подождите! — говорит Шерстюков и бежит вниз, к продовольственному складу. Он копается там среди ящиков и мешков и наконец с довольным, улыбающимся лицом идет к нам. В руках у него две лопаты. Одна со сломанным, коротким черенком, другая более-менее ничего.

— И вот этим мы должны ковырять скалу? — опять ехидно спрашивает Дегтярева Ворона.

Дегтярев пробует копать. Лопата в грунт не лезет.

Забегая вперед, могу сказать, что землянки мы так и не выкопали. Находились охотники, которые только ради того, чтобы убить время, ковыряли, долбили грунт, но их хватило не на многое в этой тяжелой работе. В дальнейшем все плюнули на эту затею, а командиры смолчали.

После обеда Шабельник по приказу командира повел группу партизан в разведку. Надо было осмотреть местность: свободна ли она от оккупантов, не выставлены ими какие-либо посты, заставы? Одним словом, проверить подступы к нашему отряду. На обратном пути им было приказано принести в отряд очередную тушу забитой для кухни коровы, кожу для изготовления постолов и пресную воду. Пошло человек двенадцать, но как я ни просил Шабельника взять меня и Славку с собой — не взял. Выслушав, он в упор, пристально посмотрел на меня, изрек: [149]

— Сиди, отдыхай, — и пошел.

Я крепко обиделся на него!

Поздно вечером, когда на нас уже накатился первый сон, они вернулись, нигде не встретив и не увидев фашистов. Обстановка была странной. Немцы никак не проявляли себя ни в горах, ни на побережье моря.

— Боятся они идти в лес и горы — не иначе! — говорит Пузырев. — Это для нас даже хорошо!

— А на берегу почему их нет? — спрашивает его Свиридов. — Они не понимают, по-твоему, что наши в любое время могут подойти сюда катерами и высадиться у них в тылу? Здесь что-то не то! Скорее всего, немцы просто еще не подтянули свои тыловые войска!

— Не беспокойся, Пузырев, скоро они будут здесь! Кончится наш курорт, не дадут они нам покоя! — вставил свое соображение и Ворона.

— А мы и не курортничать пришли сюда! И покой нам не нужен! Не они нас, а мы их, сволочей, будем гонять, бить здесь, в этом лесу! — зло высказывается Коробов-отец.

Сегодня я встал рано. Выспался, хотя вчерашний разговор с разведкой Шабельника был поздним. Дождался завтрака, съел свою порцию галушек, попросил у тети Жени добавки, а от чая отказался. Бросил полученный к завтраку кусок сахара в рот и пошел к Шерстюкову (это бывший начальник рыбцеха — ныне рядовой 1-го взвода), — просить сделать мне постолы. Приказ командира надо выполнять!

Расположившись за штабной палаткой на небольшой полянке, Георгий Васильевич принялся за дело. Там его уже окружила толпа партизан. Установилась очередь, но дело продвигалось быстро. Материала для изготовления постолов у Шерстюкова было достаточно.

Шерстюков мне нравился, это был неунывающий, вежливый и обходительный человек. Мой отец еще задолго до войны был с ним в приятельских отношениях, они работали вместе в рыбцехе. Бывало, он заходил со своей женой к нам в гости.

Шерстюков увидел меня. [150]

— Давай, сынок, я тебе сделаю постолы без очереди в знак нашей дружбы! Ставь ногу сюда!

Добродушно перекидываясь шутками-прибаутками с партизанами, он вмиг обул меня.

Изготавливались постолы довольно просто и быстро. Сырая кожа кладется на землю шерстью вниз. Ставишь на нее ногу, взмах ножа вокруг — и вот уже вырезан кусок овальной формы, грубо напоминающий контур стопы. Затем по периметру этого куска, через 3–4 см, протыкается узкая лента-ремешок, вырезанная из этой же кожи. Если затянуть и завязать узел на пальцах ноги, этот ремешок образует на ноге что-то вроде лодочки или кавказских чувяк. Если походить или просто побыть в них час-два, кожа подсыхает окончательно, навсегда приобретая форму ноги. Ходить в них действительно легко и бесшумно по сравнению с ботинками. Но они имеют и свои недостатки — со временем волос вытирается, а кожа, особенно в сушь, пересыхает, теряя свою эластичность. Постолы делаются будто деревянными, негнушимися, на подошве появляются протертые дыры с открытыми краями. И если ноги не обмотаны толстым слоем портянок, то на ногах быстро появляются кровавые мозоли. Но об этом я узнал, почувствовав на себе, потом, а пока я был доволен.

Вообще эта неприхотливая, почти ничего не стоящая самодельная обувь до войны была повсеместно распространена на Кубани в сельской местности. А в военные годы — тем более. Где было можно приобрести людям настоящую обувь?

Поблагодарив Шерстюкова за постолы, я постоял, с интересом наблюдая за его ловкой, быстрой работой, посмеялся вместе со всеми его бесконечным шуткам и пошел бесцельно бродить по базе. В беспорядочно сваленных под стенкой штабной палатки личных вещах партизан я нашел свой новый солдатский вещмешок и сунул туда пока ненужные теперь ботинки. Подошел, нашел свой «сидор» и стал в нем быстро, быстро копаться, что-то выкладывая туда из карманов, и Витька Коробов. [151]

— Ты что так спешишь? Собираешься куда? — спросил я его.

— Да, собираюсь! Пахану и мне Терещенко приказал смотаться за палаткой в Сукко!

— За какой еще палаткой?

— Да за той, что была на нашей перевалочной базе в Сукковской щели! Оттуда все, что там было, вывезли, а палатку бросили. Вот Терещенко и приказал нам сейчас съездить, притаранить ее сюда!

— Как это съездить? На чем?

— Мы пойдем к пастухам, что пасут наше стадо, у них есть лошадь и подвода. На ней и поедем!

— Слушай, Витька! Скажи, чтоб он и меня взял! Надоело здесь торчать!

— Не возьмет! — твердо заявил Виктор. — С нами же еще идут Сашка, Аншак (так мы звали Шурку Аншакова) и Батя. Нас четверо, да тяжелая палатка! Нет, лошадь не потянет!

Витька справился со своим мешком, бросил его в общую кучу вещей и бегом пустился вниз к кухне, где его ждали отец и сын Аншаковы.

«Не везет мне! — думал я. — Кого-то посылают туда или сюда, а я да Славка киснем здесь без дела. Только и дела, что через каждые сутки назначают в караул, на посты. Скука! Да и Катя еще не вернулась из города. Между прочим, сколько это уже дней, как она ушла? Завтра четвертый день...»

Сразу после обеда прибежала на базу дочь Гаппия — Надя. Бледная, зареванная, какая-то вся растрепанная, она сидела у печи рядом с отцом. Только что загрузив печь новой порцией хлеба для сушки сухарей, тот сидел тоже растерянный, молчал, гладил ладонью спину дочери, губы у него от волнения подрагивали. Доложили командиру. Терещенко с комиссаром подошли:

— Что случилось, Надя? Почему ты здесь?

Надя сквозь слезы рассказала, что вот только что, часа три назад, на погранзаставу ворвались румыны.

— Нас, женщин, и меня, и маму, и всех остальных заперли в конюшне. Что-то там взорвали, жгли — дыма было [152] много, ломали. Мы ничего не видели, только слышали. «Беги к отцу, дочка! — сказала мама. — Нам все равно всем пропадать, так хоть ты спасайся!»

Женщины посадили меня к окну под крышей конюшни, я еле-еле пролезла — узкое оно. Я так боялась, что не помню, как перелезла через забор — и в лес...

— А остальные что ж, через окно? — спросил неуверенно комиссар.

— Не могли они это сделать! Окно узкое, я тоньше всех их — и то еле-еле!

— Ну и что дальше? Ты прямо сюда к нам?

— Нет! Я побежала в гору, присела в хмеречи, плакала и смотрела, ждала, что будет с мамой!

— Много было румын?

— Да как сказать? Двадцать-тридцать солдат! Две подводы у них, верхом двое, — наверное, офицеры, все кричали, командовали! Потом ушли, а маму и всех увели!

— Куда они направились, в сторону Новороссийска?

— Нет, в Широкую щель!

— Досиделись! Что, нельзя было этого ожидать? — говорит Славка. — Давно надо было уходить бабам оттуда!

— Они не могли самовольно уйти! Ждали приказа Терещенко! А он как будто не мог додуматься сам, что румыны или немцы могут быть там в любое время! — возмутился я.

Этим «ЧП» неприятности для нашего отряда не ограничились, теперь они посыпались одно за другим. К вечеру на базу сам не свой прибежал Витька Коробов.

— Витька, что с тобой? — спрашиваю я.

— Отца убили! — Он проскочил мимо меня, в палатку к командиру. Минута — и оттуда быстро вышли все: командир, комиссар, Окунь, Виктор.

Терещенко что-то приказывает Алексею Кравченко. Тот поднимает по тревоге взвод разведки, и они быстро уходят в гору, на дорогу. С ними и Витька.

\*\*\*

...Произошло следующее. Как уже говорилось, утром Терещенко приказал Андрею Коробову взять с собой трех партизан и отправиться в Сукковскую щель за оставленной [153] там, в лесу, нашей палаткой. Палатка

была нам крайне необходима: она была большая, вместительная. В ней мог укрыться от непогоды весь наш отряд. Что ни говори — нужная вещь!

Коробов взял с собой сына Витьку и партизан Аншаковых. Пешком они прошли Лобанову щель до моря, благополучно миновали Малый Утриш, вошли в Широкую щель и там — к пастухам. Взяли у них лошадь, подводку (палатка была большая, тяжелая, в руках не унести) — и не торопясь поехали дальше через Сухой Лиман. Все было спокойно, врагов не видно и не слышно, а до цели было уже недалеко. Дорога на спуске в Сукковскую щель скалистая, размытая дождями. Подвода тарыхтит, прыгает по камням, и ехать в ней не доставляет удовольствия. Аншаковы и Витька, жалея уставшую лошадь, слезли с подводы и шли, несколько поотстав, сзади. Отец Витьки правил вожжами один. Вдруг на последнем повороте дороги в долину из-за густого, высокого кустарника на опушке леса появилась группа румынских солдат, человек 12–15. Встретились они, что называется, «нос к носу». Витька с Аншаковым на дороге и Андрей Коробов на подводе растерялись, замерли; то же самое и румыны. Первым опомнился румынский капрал.

— Партизаны! — заорал он в испуге, бросил гранату и дал очередь из автомата. Тут же все солдаты бросились наутек, а Виктор, Батя и Сашка — к подводе. Лошадь дергалась в предсмертных судорогах, Андрей Коробов откинулся навзничь. Никаких признаков жизни, мертв! Они стащили его на землю, Виктор забрал все, что было в карманах отца, и затем убитого отнесли подальше от дороги в лес.

— Мотай в отряд, доложи! — приказал Батя Витьке. — А мы здесь побудем, подождем!

По приказу Терещенко Виктор провел партизан к погибшему отцу. Командир распорядился похоронить его там, на месте...

Так погиб Андрей Коробов, до ухода в партизаны — начальник Анапского морского порта. Это была первая жертва нашего отряда «За Родину!», если не считать четверых захваченных румынами женщин на пограничной заставе. В их [154] числе была жена Андрея Коробова — мать Витьки. Теперь Виктор остался один. Он ненамного переживет своего отца. Через два месяца мой друг по школе, по улице, товарищ по истребительному батальону и партизанскому отряду Виктор будет после изуверских пыток расстрелян в застенках гестапо в Анапе. Но об этом потом...

\*\*\*

Поздно вечером, умышленно в ночь, командир послал Шурку Кравченко с тремя партизанами в село Сукко. Их задачей было тихо



пробраться к дому ждавшего наших проводников фельдшера Полищука, погрузиться с припасенными им медикаментами и вместе с ним, его женой и четырнадцатилетним сыном вернуться на базу отряда.

Шурка с партизанами вернулся уже поздно утром. Семьи Полищук с ним не было. Чуть раньше вся семья фельдшера и он сам по доносу какого-то предателя были выданы румынам и расстреляны там же, в Сукко.

Мы остались без надежды на то, что у нас будет квалифицированный медик с запасом необходимых медикаментов и перевязочного материала. Это была не одна плохая весть, которую принес Шурка. Вторая не менее неприятная: сбежали, дезертировали наши пастухи.

— Никого нет! — рассказывал он. — Часа в два ночи мы возвращались из Сукко, зашли к ним, чтобы отдохнуть и покемарить до рассвета. Их никого не было. Лежат, жуют две коровы неподалеку, а пастухов нет! Осмотрели хибару, где они жили, — никаких личных вещей! Значит, собирались не торопясь и ушли насовсем. Драпанули к немцам, сволочи! Выдадут они теперь всех нас, предатели! Хорошо, если попрячутся по своим домам в Анапе и не будут носа показывать! А если пойдут к фрицам с повинной?

Мне ни разу не пришлось бывать у этих самых пастухов. Я не видел их, не знал их имен и фамилий, только слышал, что все трое — милиционеры из города.

Терещенко с комиссаром вполне понимали серьезность случившегося. Расспросив, выслушав Шурку, они посоветовались и срочно выслали туда же еще одну группу партизан.

— Подойдите скрытно, понаблюдайте со стороны! Побудьте [155] там до конца дня — может, кто из пастухов вернется, подойдет! — наказывали они Шабельнику, назначенному старшим группы. — Вечером, если ничего не произойдет, забивайте одну корову и возвращайтесь!

Может показаться странным: зачем было вообще держать коров, пасти их где-то на стороне, а не в самом отряде? Да затем, что сюда, к нам в горы, их невозможно было пригнать! Коровы просто не смогли бы пройти по бездорожью, по скалам на базу! И пастись здесь им было негде. Запас мяса себе мы тоже не могли создать, так как у нас не было соли для засолки мяса и никакой емкости для этой же цели. Вот и забивали коров там, где они паслись, причем только тогда, когда мясо требовалось, и ни в коем случае не впрок. В отряд носили только уже готовые, разделанные туши.

Выслушали очередную сводку Информбюро, принесенную Лешкой из отряда Булавенко. Все так же неопределенно: «За последние дни особенно

широкий размах приняли бои в районе северо-западнее Новороссийска... Борьба идет за каждый рубеж... Немцы понесли крупные потери, но они продолжают вводить в бой резервы и достигли подавляющего превосходства в силах. После длительного и напряженного боя наши части вынуждены были отойти на новые позиции...»

Подходит Алексей Кравченко, с ним человек шесть партизан.

— Пошли со мной, Коляша!

— А куда?

— Пошли, пошли!

Я подхватил свой карабин и вслед за ним. Мне хоть куда — лишь бы идти!

Начали подъем в гору. Гора крутая, мы перехватываем ветки кустарника руками одну за другой и подтягиваемся с их помощью вверх. Если бы не они, карабкаться было бы совсем тяжело. Иногда, где особенно круто, приходилось двигаться и на четвереньках. Остановившись, мы передохнули.

— Давай, давай! — подгоняет Алексей. — Еще один бросок — и мы на дороге!

Да, дорога где-то уже недалеко, там, вверху. Еще усилие [156] — и мы на ней, прямо у поста. В зарослях сидят наши дозорные-часовые — Володька Ворона и Роза Дегтярева.

Дальше мы двигаемся по дороге, ведущей в сторону Абрау-Дюрсо. Все тихо. Пройдя с полкилометра, мы сели покурить, отдохнуть. Некоторые еще не отдышались после подъема в гору: поснимали кепки, фуражки, расстегнули рубахи, вытирая пот. Глядя на них, я удивился. Ну сколько мы прошли? Подумаешь — поднялись в гору! Мне это просто в удовольствие, а они запыхались, перепотели все и чуть ли не стонут от усталости! Вон, Пузырев совсем раскис, Леонов дышит как рыба, полным ртом, аж сипит что-то у него в груди! Тоже мне... в партизаны пошли! А если мы разобьем какой отряд немцев здесь и придется преследовать их, тогда как? Немцы будут драпать, а мы сидеть, смотреть им вслед и отдыхать?

Я еще не допускал такой мысли, что не немцам, а нам придется драпать от них. А по горам ходить мне действительно было не так уж тяжело. Сказывались и моя молодость, и, конечно же, физическая закалка, полученная в занятиях при ОСОАВИАХИМе. Военизированные маршброски с оружием и полной боевой выкладкой по 10–12, а то и 15 километров, шлюпочные походы на веслах в море, наконец, плавание до изнурения — все это дало свои результаты!

Все сидели, отдыхали. Кто привалился к кусту, кто блаженно вытянулся на спине, подставив лицо, голую грудь из-под расстегнутой рубахи теплему солнцу.

— Да-а! — произнес Пузырев. — Баб наших румыны похватили на заставе, пастухи сбежали! Не к добру все это!

— Хорошего в этом мало! — поддержал разговор Ланжинский. — Что ни говорите, а я твердо убежден — немцы уже знают о нас. О нашем отряде, базе. Разве дело только в этих трех предателях-милиционерах и женщинах? Да о том, что здесь созданы два партизанских отряда, знают очень многие. Мы не имеем самого мизерного шанса на то, что немцам о нас ничего не известно!

— Ну и что из этого? — перебивает его Алексей. — Ну, допустим, предателей у нас нет, никто ничего немцам не донес! [157] Мы же не будем все время ховаться в лесу! Будем действовать, нападать, завяжутся бои! Мы сами откроемся, покажем им — немцам, что мы есть! И пусть фрицы нас боятся, а не мы их!

Мне неинтересно было слушать этот бесполезный разговор, я отошел в сторону, перешел дорогу и стал спускаться по пологому склону, противоположному нашему, в незнакомую щель. Пройдя самую малость, я остановился в удивлении: все вокруг было усыпано немецкими листовками. Они покрыли землю, позастревали в густых ветках кустов. Одни совсем свежие — бумага чистая, белая и, казалось, даже еще пахла типографской краской. Другие слегка выгорели на солнце, блеклые. Третьи совсем пожелтевшие, побывавшие под дождем.

Эти, рассуждал я, немцы разбросали с самолета уже давно. Так давно, что бумага уже успела пожелтеть. Не менее месяца назад, а то и более! А фронт в то время был еще ого-го-го как далеко отсюда! Зачем им было бросать их здесь? Для кого? Кто их подберет и прочтет? Если подумать, что летчик сыпанул их здесь случайно, то почему же листовки сыпались сюда и потом, и не один раз, — это видно по бумаге? Никакого объяснения действиям немцем я придумать не мог. Решив показать их Алексею, я стал подбирать листовки с земли, снимать с кустов. Чего только не было в них! Разные по цвету бумаги: белые, зеленые, голубые, по размеру и форме: маленькие квадратные, узкие прямоугольные. Содержание же в них было простое:

«Штык в землю! — это пароль. Как увидишь немецкого солдата — кричи пароль и показывай листовку! Тебе дадут буханку хлеба, сало. Сохранят жизнь».

Другая:

«Штык в землю! Спрячь листовку от командира и комиссара, береги ее. Покажешь любому немецкому солдату — он возьмет тебя в плен. Немецкое командование даст борщ, хлеб и отправит домой к мамке!»

Еще:

«Бросай винтовку, кончай войну! Убей командира и жида-комиссара! Сдавайся в плен!» [158]

Текст в листовках примитивный, какой-то малограмотный. По нему видно, что на наших красноармейцев они смотрят как на темных, тупых, недалеких в своем развитии людей.

Некоторые листовки были с рисунками-карикатурами, текст — нечто подобное стихам. Вроде:

*Бей жида-политрука.*

*Морда просит кирпича!*

Под этим нарисована голова военного с лицом еврейского типа, в фуражке с огромной звездой на ней, и рядом с головою большущий кулак.

Еще была такая: карикатурно изображены Ленин и Сталин. Ленин сидит на пеньке, в руках у него с растянутыми вовсю мехами гармонь-двухрядка. Перед ним выплясывает вприсядку Сталин. Одет Сталин в какую-то древнерусскую, крестьянскую, времен крепостного права одежду. Рубаха-косоворотка в крупный горошек навывпуск, подпоясанная веревкой, полосатые штаны, заправленные в грубые высокие сапоги. Огромные, массивные усы, торчащие уши, высокий чуб. Внизу текст не то по-русски, но то по-хохлацки:

*Ленин грае на гармошке,*

*Сталин пляше гопака,*

*Проиграли всю Рассею*

*Два Советских дурака!*

Таких листовок и подобных им было много. Собрав целую пачку, я понес показать их Алексею.

— Вот, — говорю, — там за дорогой весь лес усыпан ими! Посмотрите, какую гадость пишут и рисуют немцы!

Я ожидал, что Алексей, посмотрев и прочитав хотя бы часть из них, будет возмущаться, плевать, ругаться, но, к моему удивлению, ничего

такого не было. Он, не читая и не просматривая листовки, положил всю пачку перед собой на землю и равнодушно, с полным безразличием, вытащил из кармана спички и поджег их.

— А чего их читать? — глядя на огонь, спокойно сказал [159] Алексей. — И так ясно, какую гадость пишут и рисуют фашисты! А собирать эту пакость, Коляша, больше не надо.

Партизаны сидели, молчали, смотрели на догорающие листовки.

Где-то далеко, со стороны Абрау-Дюрсо, нет-нет и раздавались какие-то непонятные взрывы. Сначала мы не обращали на них внимания. Ну, гремит и гремит где-то! На то и война! Но потом, через какое-то время, нас это насторожило — взрывы-то приближаются к нам! Прослушивалась даже какая-то закономерность в их грохоте. Минут десять полной тишины — и потом взрыв, еще малость — и опять взрыв. И все ближе, ближе к нам. Вот уже совсем недалеко! Изредка после каждого взрыва слышалась редкая винтовочная и автоматная стрельба короткими очередями.

— Все ясно, как божий день! — говорит Алексей. — Это немцы или румыны! Двигаются по дороге из Абрау-Дюрсо к морю, прочесывают огнем лес и горы. Скоро будут здесь!

И действительно, стрельба все ближе и ближе. В перерывах между ней уже громко прослушивался скрип несмазанных колес подводы. Вот скрип оборвался. Сразу же, слабо: — «Пах!... Вию-у-у... Гра-ха-ха!» Опять слабо: — «Пах!... Вию-у-у.. Гра-ха-ха!» Треск автоматов, стрельба винтовок.

— Взрывы-то — это мины рвутся! Минометом бросают мины! — говорю я. — Ротный миномет! Такой, какой у нас в истребительном батальоне был!

— Да, это так! — соглашается со мной Ланжинский. — Карательный отряд фашистов прочесывает лес и горы вдоль дороги к побережью. Идут пешком, миномет установлен у них на подводе. Периодически они останавливаются и простреливают местность вокруг! Вот и вся математика! — подытожил он свое обоснование стрельбы фашистов.

— Через 15–20 минут они будут здесь! Быстрее в отряд! — скомандовал Алексей.

Мы быстро, насколько это позволяла делать крутизна горы, устремились вниз, к себе на базу. Скрип телеги был слышен уже прямо над нами. Только мы успели спрыгнуть к кухне, как телега наверху на дороге стала и сразу же: «Пах!... Вию-у-у... Гра-ха-ха!» [160]

Мины тонко выли, визжали и взрывались одна за другой на территории нашего расположения. Нет, здесь падала и рвалась не одна мина,

выпущенная для профилактики, наугад, для очистки совести и подавления собственного страха фрицами. Взрывы слились в сплошной грохот! Разом застрочили и автоматы. Хлестко били, внося свой вклад в хаос стрельбы, винтовки. Над нами проносились осколки мин, звонко шлепались, рикошетируя от скал. Сверху на нас сыпались срезанные ими мелкие ветки кустов и кора деревьев, визжали уносящиеся куда-то, никого и ничего не задев, рои пуль.

Мы распластались на самом дне сухого русла ручья у кухни, более-менее прикрытые малонадежным обрывчиком от пуль со стороны дороги вверху, где сейчас были немцы.

Рядом со мной лежит тетя Женя. Лежит вниз лицом, голову и затылок прикрыла ладошками.

— Господи! Что ж то будет? Господи, пронеси! Сохрани и пронеси! Избавь... — путалась она в испуге в собственных словах. Сзади в мои ноги уперся головою Пузырев, сбоку от него пытается вдавить в узкую расщелину скалы свои грузные тела Матвей Рындин. Его рыхлое, мордатое лицо, сейчас бледное, с вытаращенными глазами, искажено страхом.

Прямо на нас сверху падает Ворона, а вслед за ним Розка Дегтярева. Они с поста у дороги. Ворона быстро-быстро распластался между камнями, безуспешно пытаясь втереться в скалистое дно русла.

— Братцы! — панически всхлипывает он. — Немцев там тьма! Пропали мы! Сейчас они будут спускаться!

— Чего реवेशь, чего паникуешь?! Бегом к командиру и доложи все, что видел! Ну! — Ланжинский лягнул Ворону ногой в ягодицу. — Ты был на посту, ты обязан доложить! Бегом!

«Грах-ха-ха!» Совсем рядом с нами почти одновременно рвутся две мины. В нас больно швыряет камнями, острым щебнем, присыпает землей.  
[161]

— Не пойду! — Ворона старается еще плотнее вдавиться в землю. — Где я буду его искать? Гад буду — не пойду!

— Я тебя сейчас... мать твою!.. — Ланжинский свирепеет, хватает карабин, клацает затвором. — Беги, паскудник, застрелю!

Ворона испуганно, ошалело смотрит на него, потом вскакивает. «А-а!» — дико орет он и, забыв свое оружие, обхватив руками голову, будто стараясь прикрыть ее от осколков мин и пуль, прыжками, зигзагами мчится вверх, туда, где наша штабная палатка.

Мины вдруг перестали рваться, но автоматы и винтовки не успокаивались.

— Сейчас немцы начнут спускаться! — Пузырев приподнялся и испуганно вглядывается вверх. Потом смолкла и автоматная стрельба.

— Кха... кха... кха! — кашляет Пузырев. Он перегнулся, держится одной рукой за грудь, а второй прикрывает рот, пытаясь приглушить кашель. Я решаю, что это у него от страха.

— Ты что долбо...? Прекрати кашлять! — злобно рычит на Пузырева вполголоса Рындин. — Немцы рядом, а он раскашлялся, идиот!

Пузырев виновато смотрит на Рындина овечьими глазами, прижимает скомканную кепку в руке ко рту, душа новый, зарождающийся приступ кашля в груди.

Заскрипела вверху подвода. По звуку определяем — удаляется.

— Уходят немцы! — говорит Сашка Аншан. — Отстрелялись!

Сверху со стороны штабной палатки к нам сваливается Славка.

— Живые? — спрашивает. — Никого не убило, не ранило?

— Нет! А там, у штаба, тоже все в порядке?

— Да, порядок! Пострадавших нет! Только палатку продырявило в нескольких местах осколками мин!

— А командир и комиссар где были во время обстрела? [162]

— Не знаю! Но сейчас они уже там, у палатки! Целые и невредимые! Вон они, стоят, о чем-то толкуют!

Мы уже не лежим, не прячемся. Сидим, курим, рассуждаем о только что случившемся.

Рындин полностью оправился от страха и принял свой обычный, вжившийся в него за долгие годы сидения в начальствующем кресле снисходительно-покровительственный тон в разговоре и внешний вид. С лица сошла пугающая неестественной белизной бледность. Обвислые щеки, двойной подбородок в толстых складках, короткая шея побагровела.

— Кхам! Кхам! — заговорил он. — Вот вам и подарок предателей немцам! Вы обратили внимание, как все произошло? — Он выжидающе посмотрел на нас и, не услышав ничего в ответ на свой вопрос, разъяснил: — Карательный отряд немцев, а это не вызывает никакого сомнения, двигался по дороге от Абрау-Дюрсо к морю. На всем протяжении своего пути он изредка бросал одну-две мины по ходу по сторонам и продолжал движение. Так было, пока он не подошел к нам. Здесь же немцы, точно зная наше расположение, остановились и капитально начали обрабатывать нас всех минами и автоматнo-винтовочным огнем.

— Может, это случайно? — перебивает его Славка.

— Нет! Это не случайно? — Рындин продолжал: — Они явно знают место нашей базы! Вот, послушайте — немцы после нас уже и не останавливаются, и не стреляют больше! Пошли и пошли спокойно к морю, как бы выполнив свою задачу.

Да, действительно, после обстрела нас дальше, к морю, немцы уже шли без стрельбы.

— Да чего же они тогда, если знали, что мы здесь, не спустились сюда и не навязали нам бой? — вступаю я в спор.

— Этого объяснить не могу, но мне кажется, что они пока не захотели рисковать. Наверно, решили еще подсобрать какие сведения о нас. А сейчас дали просто понять, что они знают о нас, и попутно решили чуть попугать! Вот тут-то и возникает вопрос: откуда немцы знают наше расположение? Ответ один: привести сюда и показать нашу базу им [163] могли только предатели! Не исключено, что это сделали наши милиционеры-пастухи, а может, и кто другой.

— Да-а, — вздыхает Шерстюков. — скоро кончится наш курорт! Пойдут дела!

— Для того мы и шли сюда! — Славка возмущается упадническим тоном разговора. — Я даже хочу, чтобы немцы побыстрее там шевелились, чтобы скорее нам с ними стукнуться!

— И я тоже! — поддакиваю я Славке.

— Меня вот интересует только такой вопрос, — обращается Шерстюков к Рындину, — вы, Матвей Иванович, очень убедительно истолковали действия немцев по отношению к нам. Я с вашими доводами согласен на все сто! Считаю, что и наше командование не глупее нас с вами. Не сомневаюсь, что и они трезво оценили реальную обстановку. Так почему же они не предприняли никаких ответных действий против карателей? Почему нам не было приказано занять оборону и дать отпор немцам, если бы они сунулись сюда? А это ведь могло произойти!

— Можно было броситься хотя бы одним взводом по щели вниз и где-то там на дороге сделать засаду карателям! — совсем расхрабрился Славка. — Дорога к морю одна, и немцы только по ней бы и шли!

— Ну ничего, ничего, товарищи! Война еще долгая впереди, время у нас есть повоевать! — говорит Рындин. Поняв, какой оборот принимает затеянный им разговор, он быстро уводит его в сторону...

\* \* \*



Я и Славка назначены в наряд, на пост № 2. Третья с нами — девушка Милка Ковзал. По возрасту она года на два-три старше и меня, и Славки. Единственное, что о ней знаю, — это то, что до войны она работала учетчицей в конторе «Заготзерно» на Кубанской улице в городе. С началом войны она, также как и мы, была в истребительном батальоне, в санитарной дружине.

После случившегося сегодня днем сознание того, что немцы знают теперь наше месторасположение, заставило нас нести службу на посту со всей серьезностью. Мы внимательно [164] вслушивались в ночь, тараща глаза на привычный уже пейзаж. Спали по очереди. Утром пост проверил начальник караула Леонов.

— Продолжайте внимательно наблюдать! — приказал он нам. — Днем оно еще опасней, чем ночью! Всем известно, что немцы действуют только днем!

Он ушел и увел с собой Милку. Так было положено: днем на посту оставлял и всегда двоих.

В 8 часов Славка сбегал на кухню, позавтракал там сам и принес мне в миске пшеничную кашу с мелкими кусочками поджаренного сала и чай в кружке. Недалеко от поста, в зарослях кустарника, из-под скалы сочилась вода, и я пошел туда, чтобы умыться. Другой воды близко не было, но и этой было настолько мало, что мне пришлось просто мочить ладони и протирать ими лицо. Только одна видимость, что умылся!

После моего завтрака Славка собрался снести посуду на кухню, как вдруг...

— Тихо! — толкаю его в бок. — Слышишь?!

Мы замерли, всматриваясь по щели вниз. Оттуда слышался приближающийся к нам легкий говор и шум, производимый идущими без какой-либо опаски или осторожности людьми.

— Кто-то идет сюда! — шепчет Славка. — Люди... Русские!

Да, действительно, в приближающемся говоре уже стали различаться отдельные русские слова. Еще немного — и мы увидели идущих к нам по щели. Вел группу бравого вида, крепко сложенный моряк с автоматом «ППШ» на груди. У всех остальных, идущих за ним, у кого в руках, у кого за спиной на ремне, — карабины.

Нам следовало выполнить свой долг часовых, и Славка бросается в отряд доложить командиру, а я продолжаю наблюдение.

Естественно, что за какую-то минуту из отряда еще никто не пришел сюда, а матросы уже подходили ко мне. Мне ничего не оставалось делать,

как выйти из своего укрытия им навстречу и «грозно», как это только может мальчишка [165] в моем возрасте, направив на них свой карабин, приказать им:

— Стой! Стоять на месте!

На какой-то миг моряки от неожиданности опешили, явно удивленные моим внезапным появлением здесь, в такой глухомани. Затем старший (тот, что с автоматом) обрадованно засмеялся и сказал:

— Здоров, братишка! Ты что нас пугаешь? Свои мы, свои!

— Всем — садись! Не разговаривать! — приказал я.

— Тю! Ты що — дурный? Кому ты приказуешь? Да я тэбя зараз як вражу по срацы! — психанул рослый матрос и шагнул ко мне, явно намереваясь незамедлительно выполнить свою угрозу.

— Ша, братухи, спокойно! Это свои! Все выяснится. Выполним приказ часового!

Старший с улыбкой, приветливо посмотрел на меня:

— Садитесь все, как приказано! Отдохнем пока!

Все молча сели, а я стоял все с так же направленным на них карабином. В тот момент я по молодости был, конечно же, наивен в своих действиях, и, окажись эти пятеро врагами, они без труда для себя прихлопнули бы меня.

А вот и наши! Я увидел бегущих ко мне комиссара, карнача Леонова, Славку и еще двух партизан. Подойдя и быстро сориентировавшись в обстановке, комиссар спросил:

— Кто из вас старший?

— Я! — поднялся тот самый матрос, о котором я и подумал, что он старший. — Главстаршина Виктор Головахин! — назвал он себя.

По косогору быстро спускалась, торопилась еще группа партизан. С ними командир Терещенко. Он с ходу приказал партизанам забрать у матросов оружие.

— Возвращайтесь в расположение и унесите оружие матросов! — это он Леонову. — А вы, — теперь он обратился ко мне и Славке, — отойдите и продолжайте выполнять свои обязанности на посту!

Леонов и прибывшие с ним партизаны потопали в отряд. [166] Мне и Славке было интересно послушать, о чем будет разговор с матросами, и мы с неохотой отошли в сторону.

Разговор командира и комиссара с моряками был долгим. Со стороны было видно, что главстаршина в чем-то убедил их. Те слушали его и в свою очередь тоже доказывали матросам что-то. Затем оба они встали и громко, настолько, что мы со Славкой слышали, сказали:

— До окончательного выяснения вопроса вам придется какое-то время быть здесь. Питанием вы будете обеспечены!

Нам же было приказано, кроме выполнения обязанностей на посту, присматривать за матросами и не разрешать им никуда отлучаться. После этого командир и комиссар ушли.

\* \* \*

Два дня матросы жили здесь, на посту. Вели они себя спокойно, не ропща против такого неожиданного для них «ареста». Регулярно, три раза в день, им приносили еду, приходили комиссар и командир. Я быстро перезнакомился с матросами и особенно сошелся с главстаршиной Виктором. Он рассказал мне, что они попали в окружение, шли в сторону Новороссийска с надеждой перейти там фронт и вот случайно встретили здесь нас. Уверенности в том, что они сумеют благополучно перейти линию фронта, у них не было, и поэтому они были рады встрече с партизанами и просили Терещенко принять их в отряд.

Матросы были здоровые, боевые, обстрелянные парни. Некоторые участвовали в боях за Севастополь, высаживались десантом в Керчи. А то, что матросы-севастопольцы [167] все без исключения герои, — это мы знали и смотрели на них с большим уважением. Двое из них были русские, а тот, что высокий, худощавый, с добродушным лицом, — украинец. Говорил он по-украински, и поэтому его сразу же все стали звать «хохол». Еще один в противоположность «хохлу» — небольшого роста, черноволосый, малоразговорчивый красавец был евреем. Пятый, главстаршина Виктор Головахин, русский, но родился, вырос, жил на Украине, в Донбассе. Что ни говори — ребята все крепкие, боевые, смелые. Они были просто счастливой находкой для нашего отряда, и меня удивляла канитель, затеянная с ними командиром и комиссаром. Я никак не оправдывал многодневную изоляцию моряков и многократные «беседы» с ними наших командиров. Спрашивается: в матросах, что, подозревались переодетые фашистские лазутчики, и поэтому надо было много с ними говорить, чтобы разоблачить, поймать на каком-то случайном слове или неосторожной фразе? Ерунда все это, матросы были сразу же видны насквозь! Да и зачем немцам было тянуть резину, засылать к нам в отряд каких-то шпионов, причем сразу пятерых! Они и так уже много знали о нас, в этом мы убедились на днях.

К счастью, на третий день этот унижительный для них «карантин» был снят. Матросам было возвращено оружие, снята охрана, и им было разрешено войти в расположение отряда. Короче — они были приняты в

партизаны. Пришли Терещенко, Кравченко, Окунь, и с ними впервые за все прошедшие дни пожаловал к матросам «сам» Егоров.

Еще одна очередная, на этот раз короткая, беседа с моряками и:

— Вы зачислены в партизанский отряд! Поздравляю! — Егоров пожимал стоящим перед ним матросам руки. — Пройдете за нами к штабу. Там примете присягу!

Через два-три дня матросы полностью освоились в отряде. Нам шестерым: мне, Славке, Лешке, матросу-«хохлу», Голубову и Виктору Головахину (он — старший) командир приказал прочесать местность вокруг. Пройти до Сукковской щели, осмотреть со стороны само селение Сукко, не входя туда, дорогу на Большой Утриш, Сухой Лиман, выйти [168] к берегу моря в районе Водопада. Задача — проверить: контролируется ли вся эта округа фашистами, установлены ли ими где гарнизоны, заставы, какие-либо посты или что-то подобное. Продуктов (хлеб, сало, сахар) мы взяли с собой из расчета на два дня.

У Виктора автомат, Лешка с ручным пулеметом «Брно», у всех остальных карабины. Кроме карабинов у меня и Славке по гранате «РГД-33».

Мы бодро, цепочкой шагаем за Виктором. Быстро прошли щель, перевалили через гору и поднимаемся по крутому подъему на хребет очень высокой горы, известной как Петров бугор. Я беспредельно рад этой вылазке из отряда, да и Славка тоже. Вдохновляло уже то, что мы делаем что-то нужное.

Жарко. За спиной сопит Лешка. Ему сейчас тяжелее, чем кому-либо из нас: у него пулемет, а он в два ряда тяжелее, чем карабин. Хотя Лешка и крепко сбитый парень, на два года старше меня, но все равно нести на себе пулемет, карабкаться по горам, продираться временами сквозь густую, цепкую хмеречь — не большое удовольствие! Пулемет новый, трофейный, чехословацкий, военного завода «Брно». Это тот самый, который мы в прошедшую зиму, поздними вечерами, в казарме истребительного батальона изучали, разбирали до последней детальки и вновь собирали. Разборку и сборку доводили до автоматизма, умышленно в полной темноте. Командир взвода гасил свечку и заставлял проделывать все это, причем на скорость, засекая по часам время.

Там же, в истребительном батальоне, Лешка по своей доброй воле и стал пулеметчиком и с тех пор с пулеметом не расставался. Быть пулеметчиком ему нравилось.

Чем ниже после Петрова бугра мы спускаемся, тем гуще лес. Высокие кроны деревьев смыкаются вверху в сплошной шатер. Сухой Лиман остается у нас где-то слева.

— Обратным ходом пройдем через него! — говорит Виктор. — Проверим и, если там будут фрицы, пощупаем их!

— А Терещенко разрешил обнаруживать себя и стрелять по немцам? — спрашиваем мы его. [169]

— Разрешил! А фрицев чего жалеть? На то они и фашисты, чтобы их стрелять! — зло говорит Виктор. — Для этого я и взял с собой Лешку с пулеметом, побольше при случае положить в землю гадов!

«Здорово! — радуюсь я. — Вот это командир! Одно слово — моряк!»

Я восхищен Виктором. Идем мы, можно сказать, в открытую. Правда, не кричим, не говорим громко, не ломаем сухие ветки ногами: в общем, соблюдаем разумную осторожность, но не боязнь. Да и чего опасаться? Немцев не видно и не слышно! Что им делать в лесу? Если у них возникнет желание расправиться с нами, уничтожить нас, то солдаты будут прочесывать весь этот район, идя цепью, стреляя по подозрительным местам. Шуму будет много! А раз его нет, то и немцев нет, — значит, можно идти смело.

Мы вышли на давно заброшенную, заросшую бурьяном, дорогу из долины Сукко в сторону Новороссийска. По ней подошли к развалине на перевале, где я совсем недавно охранял свеклу в мешках. Интересно, лежат мешки все там же, как я их оставил, или кто уже подобрал?

Стали спускаться по виляющей дороге к недалекой уже долине.

— Вот здесь я убил немца-разведчика! Вот на этом самом месте он и свалился.

Виктор останавливается, оборачивается и удивленно смотрит на меня:

— Как это убил? Когда?

Я рассказываю, как было. Все стоят, слушают.

— Ну ты даешь, братишка! — Виктор выслушал и одобрительно покачал головой.

— Ты гарный хлопец! — похвалил меня и матрос-«хохол».

\* \* \*

— Взяли ход! — скомандовал главстаршина. — Топаем дальше!

Дорога ужасна! Ливневые дожди местами совершенно размыли и снесли с нее грунт. Осталось гладкое, скалистое ложе, там, где особенно круто, ступеньками спускавшееся [170] вниз. Куда там автомашине, здесь и

лошадь без помощи людей не вытянет подводу в гору. Да и вниз тоже — не придерживать за колеса, не оттягивать задок — сразу же загремит туда, в обрыв.

Мы почти уже спустились в долину, осталось пройти самую малость. Где-то здесь произошла роковая, неожиданная для Коробова-старшего встреча с румынами.

«И надо же было так случиться! — думаю я на ходу. — Жаль Витьку Коробова: вдруг ни с того ни с сего потерять так по-глупому отца. А разве по-умному убивают? — сразу же спрашиваю я сам себя. — Нет, наперед все не предусмотритишь! Мой отец тоже погиб нежданно, в ревушем штормовом море. А что, если... Вот мы сейчас идем в открытую, той же дорогой, что и Коробов ехал... покажись вон из-за того поворота тоже...»

Мои рассуждения вдруг прервало громкое ржание лошади впереди. Совсем близко!

— Ша! — Виктор махнул нам рукой, и мы все разом прижались к кустам, замерли.

— Лошадь ржет! — тихо говорю я.

Виктор оборачивается, смотрит на меня и ухмыляется:

— Как это ты догадался? А я подумал, петух кукарекает!

— У колодца лошади! Тут совсем недалеко колодец у дороги! — прислушиваясь и всматриваясь вперед, высказывается Славка.

— Сейчас узнаем, что к чему там! Пошли, братва! — командует Виктор. — Только тихо!

Мы теперь уже не по дороге, а вдоль нее, по хмеречи крадемся вперед. Оружие в руках наготове.

Лес поредел, мы приблизились к его опушке. Вот он, колодец! Перед нами на широкой, ровной поляне деревянный сруб колодца с «журавлем».

— Румыны!

У колодца крытый по-цыгански фургон — румынская каруца. Лошади выпряжены. Четыре солдата в еще не привычной для наших глаз грязно-желтой форме. Расположились, как у себя дома на хуторе! Как будто для них и войны нет! Один солдат сидит прямо на земле, прислонясь спиной [171] к колесу брички. Он снял френч, нательную рубаху и негромко напевает что-то грустное, выискивает вшей, бьет их. Другой, напоив лошадей, навешивает на их морды торбы с овсом. Еще двое возятся, перебирая что-то в ящике задка фургона.

— Ложись! — шепчет нам всем Виктор. — Сейчас мы их прикончим! Лешка! Ты туда! — рукой показывает Лешке, куда ему передвинуться. — А

вы, — это он Голубову и матросу-»хохлу», — влево, вон до той коряги! Я стреляю первым! Зря не палить!

Мы рассредоточиваемся, охватываем румын дугой. До них совсем близко!

— Те, что у задка подвод, — мои! — шепчет мне и Славке Виктор. — Вы того, что у колеса!

Приложившись к карабинам, мы целимся, ожидая сигнала Виктора. Суровое лицо, сдвинутая на затылок бескозырка, упавший на лоб русский чуб, из широко распахнутого бушлата рябит гордость моряка — полосатый тельник. «Красавец матрос! Как на плакате!» — мелькает у меня в голове. Виктор медленно поднимает автомат. И вдруг... шум... «Гав! Гав!» — по дороге из леса выбегают две большие лохматые собаки. За ними конники. Румынские кавалеристы! Капрал и офицер впереди, и не менее взвода всадников.

Виктор, да и мы все, приготовившиеся стрелять, замерли. Команда офицера — и солдаты спешиваются. Шумный разговор, возгласы, какие-то команды. Кавалеристы возятся с лошадьми, спешат к колодцу.

«Гав, ррр-ры, гав!» — нас учуяли псы. Сначала одна, а за ней и вторая собака со злобным рычанием и лаем бросаются к кустам, где Лешка.

— Огонь! — уже не таясь орет Виктор и, вскочив на ноги, стоя стреляет из автомата по склонившимся у колодца румынам. — Полундра-а!

«Та-та-та! Бу-бу-бу!» — косит непрерывной очередью солдат пулемет Лешки. Мы тоже открываем огонь.

— А-а! Дракуле-е! — орут мечущиеся в панике, ничего не соображающие румыны.

— Партиза-а-не! — истошно вопит кто-то из них. [172]

— Стай! Стации! — кричит офицер, машет руками. — Напой репед!

— Гранаты, гранаты бросайте! — Виктор ногой бьет меня в бок, продолжая стрелять.

— А-а! Бей кукурузников!

— Славка, гранату! — ору я Славке, как будто сам до этого только что додумался. Тороплюсь, вставляю запал в гранату, кошу глазом на Славку! Тот тоже быстро готовит гранату к броску. Мы бросаем, и гранаты взрываются почти одновременно. Солдаты бегут прочь от колодца, назад, в заросли леса, откуда они минуту назад выехали.

— Напо-ой! Ладрепта, Дракула-а! Стации!

Орут раненые, падают, поднимаются, вновь падают. Мечутся, ржут кони. «Та-та-та!» — строчит пулемет Лехи.

— Полундра-а! Отходи, братвааа! — кричит нам Виктор.

Мы вскакиваем и бежим за ним в гору, в глубь леса. Бежали мы недолго.

— Хватит, шабаш! — остановился и скомандовал Виктор. — Отдыхаем!

Мы запыхались, дышим как рыбы, открытыми ртами, падаем на землю. Виктор, сбросив автомат, стоя на коленях, по-спортивному три раза глубоко вдохнул и выдохнул, выравнивая дыхание.

— Самое главное в профессии партизана — вовремя смяться! — перефразировал он слова известного актера Кторов в фильме «Праздник святого Йоргена». — Вот это мы дали просрать кукурузникам! Ха-ха-ха! Вот это причесали мы их!

— Довго будэ у тих, хто в лэс сховался, тамочи в сраци свербыть! — смеется матрос-«хохол».

\*\*\*

— Но Леха, Леха молодец! — хвалит Виктор Лешку. — Косил руманештов что надо!

— И собак обеих завалил! — поддакивает Голубев. — Если бы не пулемет Лешки, нам там нечего было бы делать!

— А вы, братцы, что? Про свои гранаты забыли? — Виктор укоризненно смотрит на меня и Славку — В такой момент самый раз бросать гранаты! [173]

Мало-помалу мы успокаиваемся. Возбуждение улеглось.

— Давайте похаваем! — предлагает Славка. — Вон как подвело живот! После нашей «прогулки» по свежему воздуху я бы сейчас ого-го сколько съел вкусенького!

Все соглашаются. Против того, чтобы перекусить, возражений нет. Голубев извлекает из вещмешка наш продовольственный запас, режет хлеб, делит сало. Не мешкая, пайки расходятся по нашим рукам, и мы с аппетитом жуем.

— А командир Терещенко поверит нам? Поверит, что мы наваляли столько румын? Чем мы ему докажем все это? — Лешка вроде говорит всем, а сам смотрит выжидательно, ждет ответа от Виктора.

— Поверит! — убежденно говорит тот. — Какой может не поверить, вон нас сколько!

— А нэ поверэ и не нада! Ни для його воюемо! — сердито ворчит матрос-«хохол». — Не для Терещенки!



— Пусть этот бой будет нашей мстью за гибель Андрея Коробова! Так и скажем Терещенко! — добавляет Голубев.

После обеда соленым салом я с удовольствием пью воду из фляги. Она еще не настолько теплая, чтобы быть противной. Дружно все курим, протираем, приводим в порядок оружие.

— Одного диска патронов — как не бывало! Жаль патроны, но что поделаешь! Главное — все они пошли на пользу. Не в небо палил, а в фашистскую сволочь! — Виктор извлекает из сумки запасной диск с патронами, взамен сует туда пустой. — Осталось два диска! Эхе-хе! Где я после буду брать эти патроны? Немецкие-то не подходят к нашему автомату!

Он снял крышку диска и шумно выдувает из него невидимые соринки, выравнивает пальцами патроны в улитке диска. Они — чистенькие, блестящие, ровненько, один за другим выстроились в длинную очередь-спираль.

Я, зная, что в диск вмещается 72 патрона, тем не менее, больше для того, чтобы показать свою эрудицию, спрашиваю Виктора:

— Семьдесят два патрона в улитке, да?

— Нет! — отвечает он. — По инструкции в диск надо вкладывать семьдесят два патрона. Их и вмещается туда [174] столько. А опытные автоматчики снаряжают обычно на три-четыре патрона меньше. Это гарантия того, что в начале стрельбы в приемном окне диска не будет перекоса патрона, попросту сказать — «не заест»!

Покончив с диском, Виктор с шиком, красиво, одним резким ударом, до щелчка, вогнал его в автомат и встал на ноги:

— Ну все, потопали дальше! Окурки и весь прочий мусор прикопать!

Мы идем лесом вдоль лощины в сторону моря с таким расчетом, чтобы пройти село Сукко с южной стороны. Село недалеко. Вот и оно — но что это? В центре села один-единственный большой каменный дом — школа, а во дворе школы и в ближайших к ней дворах полным-полно румын. Автомашины, каруцы, кони, какая-то техника, прикрытая чехлами! Мы лежим, внимательно всматриваясь в суету военных.

— Не иначе как штаб! Точно, здесь штаб крупного румынского отряда! — определяет обстановку Виктор. — Вон, видите, часовые, патрули! Где-то здесь должны быть выставлены и дозоры! Как это мы не напоролись на них? — Он умолк, но все так же пристально всматривался в кишачий солдатский муравейник у штаба. Мы молчим и смотрим туда же.

— Ну, все ясно! Давайте мотать отсюда побыстрее! — Виктор поднимается, отряхивается. — Стрелять нет никакого смысла, лежать и

наблюдать дальше — и подавно! Надо уходить! Не лишним было бы прихватить с собой одного штабного руманешта, но сделать это сейчас, днем, сложно. Оставим этот соблазн на другой раз. Пошли!

Теперь мы идем к Сухому Лиману. Здесь нет ни дорог, ни тропинок. Где-то мы карабкаемся на крутых подъемах в гору, где-то чуть ли не бегом спускаемся в очередную прохладную щель. Ноги сами бегут вниз — так отвесно! Леха пыхтит. Красный, потный. Ему с пулеметом тяжело. На очередной остановке, после отдыха, матрос-«хохол» молча берет у него пулемет, сует ему свой карабин:

— Отдохни, хлопчик! [175]

Леха смотрит на него благодарно и смущенно: вот, мол, виноват, устал...

— Правильно сделал! — говорит Голубев матросу-«хохлу». — Потом, после тебя, понесу пулемет я. Парень совсем ухайдакался!

В Сухом Лимане никого нет: ни немцев, ни румын, ни самих жителей. Но кучи еще не высохшего, почти свежего конского навоза, валявшиеся там и там клоки сена, зола костров и многие другие признаки говорят о том, что враги здесь были совсем недавно. Были и ушли.

— И жителей угнали куда-то! — говорю я. — Здесь жили женщины с детьми, дедушка старенький. Я с ними разговаривал не так давно!

Солнце уже за горами, начало смеркаться. Надо было устраиваться на ночлег. Оставаться в домиках спать мы поостереглись. Отошли подальше в глубь леса и там расположились: нашли более-менее ровную площадку, нагребли под себя побольше листьев и улеглись. Чтобы было теплее, мы со Славкой спали спина к спине, но ночи были уже прохладными и спать на земле был совсем не уютно. Всю ночь вертишься с боку на бок, согревая то один, то другой.

Утром мы потягиваемся, ежимся от утренней свежести. Поглядываем на еще слабо, совсем слабо греющее, выплывающее из-за гор огромное, ярко-оранжевое солнце. Отряхиваемся, приводим себя в порядок. Матрос-«хохол» переобувается. Он чем-то недоволен, матюкается шепотом. У Лехи лицо, опухшее от сна, глаза-щелки совсем заплыли. Перекусили, позавтракали и потом весь день топали, причем в быстром темпе. Со стороны осмотрели погранзаставу в долине Сукко. Там, так же как и в селе Сукко, капитально обосновался румынский гарнизон. Оттуда, обойдя Змеиное озеро, мы спустились щелью и Волчьей тропой подошли к Большому Утришу. Здесь тоже румыны. Зайти к рыбакам, разжиться у них вяленой рыбой, как мы это планировали, не пришлось. Больно было видеть вынужденно выбросившийся

на прибрежные скалы южнее дока огромный, искореженный бомбежками транспорт «Фабрициус».

— Интересно, где сейчас команда с него? — говорю я. [176]

— Как это «где»? — отвечает Голубев. — В Новороссийске! Когда мы были еще в Варваровке, в августе наши приходили сюда за рыбой к рыбакам. Видели и говорили с матросами «Фабрициуса». Их тогда после боя с фашистами и после бомбежек осталось двенадцать человек: капитан и одиннадцать матросов. Жили они на берегу у рыбаков, несли охрану корабля. Все же там было и оружие, и кое-какое имущество. Говорили, что если обстановка сложится опасно, то они по возможности уничтожат на корабле все мало-мальски ценное, а сами уйдут берегом в Новороссийск. Так оно, наверное, и есть!

По территории рыбцеха слонялись без дела румынские солдаты. Без оружия, некоторые полураздетые.

— Как на курорт прибыли, паразиты! Чувствуют себя как дома! — глядя на них, злобно говорит Виктор.

На горячих, прогретых солнцем досках деревянного, на сваях, причала лениво развалились, свесив ноги к воде, солдаты. Поснимали рубахи, голые до пояса, загорают. Один из них удобно расположился прямо на моем любимом месте. Не так уж много времени прошло, как я подолгу сидел здесь так же, как он сейчас, ловил рыбу. Здесь же, у этого причала, я научился плавать. Со своим другом я нырял вниз головой как раз с того самого места, где сейчас сидят эти желтые, вонючие гады румыны!

— Пальнем по ним, а? — спрашиваю я у Виктора, кивая головою в сторону румын на причале.

— Не надо! Нет никакого смысла. Попасть отсюда трудно, а шума ненужного для нас будет много! — отвечает тот.

— Та хоть полякаты йих трохи кулэмэтом! — предлагает матрос-«хохол».

— Нет! — повторяет Виктор. — Мы доложим обо всем командованию и предложим сделать внезапный налет сюда всем отрядом! Ни одного гада не выпустим живым! Так будет вернее!.. Ну, посмотрели и хватит. Потопали! Времени у нас в обрез: надо еще посмотреть дорогу на Малый Утриш, Широкую щель и погранзаставу в Лобановой щели.

Спорым шагом мы двинулись дальше. По очень крутому подъему в гору выкарабкались на вершину длинного хребта [178] горы и, обойдя Утриш, спустились к водопаду. Устали мы настолько, что сил не было даже сразу обмыться.

— Шабаш! Отдыхаем! Здесь и заночуем, дальше не пойдём! — распорядился Виктор.

Отдых был кстати: ноги у нас гудели. Немного отдохнув, мы тщательно вымылись, и это позволило сбросить усталость.

Поднялись мы уже в три часа ночи.

— Хватит, отдохнули! — сказал Виктор. — Нечего вылеживаться! До полного рассвета выйдем на дорогу за Сухим Лиманом. Пока фашисты спят, мы по ней и проскочим до Лобановой щели.

\* \* \*

Впереди метрах в тридцати идет матрос-«хохол», сзади нас прикрывают Славка и Голубев. Виктор, Леха и я в центре этой цепочки. Приказано идти тихо, не разговаривать, внимательно всматриваться и прислушиваться. Мы так и поступаем. Вот впереди подсобное хозяйство винзавода. Матрос-«хохол» машет нам рукой — показывает, чтобы шли еще осторожнее. Мы сбавляем ход, настораживаемся. Он тоже крадется пригнувшись, всматриваясь вперед. Еще несколько шагов — и матрос стал свободно, выпрямился, жестом руки приглашает нас двигаться к нему быстрее. Мы подходим и видим: подсобного хозяйства уже нет. Нет дома лесника, хлева, навеса для скота, сарайчика. Вместо всего этого — обгорелые головешки и кучи золы.

— Руманешты постарались! — говорит подошедший Голубев. — Ни себе, ни нам!

Он разглядывает что-то в траве, ковыряет носком постола.

— А почему ты думаешь, что это сделали румыны? Может, это работа фрицев! — просто так спрашивает его Славка, сам понимая — какая нам разница, кто устроил это пожарище.

— А вот посмотри, окурки-то румынские! Немцы такие сигареты не курят! — Голубев носком ноги выбрасывает из травы на дорожку пустую, мятую пачку из-под сигарет, а затем и окурочек. [179]

Я поднимаю, рассматриваю пачку. Читаю: «Plugar». Что это значит по-русски?

— Ну это как бы по-нашему «Пахарь», что ли, — разъясняет Виктор. — Крестьянские сигареты. Самые дешевые. У них офицеры такие не курят. У тех больше ароматные, пахучие — «Симфония», например. А эти сигареты дешевые. Видишь, даже бумага желтая. Табак слабый, дерьмовый, вот и пропитывают на фабрике никотином бумагу в сигаретах для крепости. Ну,

что же? То, что фашисты спалили все это хозяйство, — на то они и фашисты! Нам здесь делать нечего. Посмотрели и пошли!

Вытягиваясь в цепочку, мы опять идем по дороге к берегу. Уже совсем рассвело, со стороны моря по земле ползет туман. Одежда на нас сразу становится волглой. Сыро, зябко. Прибавляем шаг — и вот он, берег! Море тихое, спокойное. Издали послышался еле уловимый ухом гул самолета. Я верчу на ходу головой, стараюсь определить, откуда он. Гул нарастает, усиливается, переходит в рокот. Самолет летит над морем вдоль берега, в сторону Анапы.

— Наш летит! — говорит Славка. — Везет фрицам в Крыму завтрак!

— «МБР-2»! — уточняю я. — Слышишь, как ревет?

Летающий самолет этой марки всегда можно безошибочно узнать по звуку его двигателя. Никакой другой самолет, любой конструкции не издает такого характерного для него резкого, громкого, с подвыванием звука. Это морской бомбардировщик-разведчик с толкающим двигателем, расположенным задом-наперед, вверху над крылом. Самолет с оглушающим ревом пронесется мимо нас, но мы его не видим. Он где-то там, в утреннему сером небе, выше опустившегося тумана.

Сразу за Малым Утришом, так и не встретив никого, мы сошли с дороги и хмеречью вошли в Лобанову щель. Погранзастана со своим большим двором и постройками осталась у нас справа.

— Остановимся и понаблюдаем! — приказывает Виктор. [180]

Выбираем удобное место, садимся. Отсюда хорошо просматривается все, что на заставе. Она не настолько близко от нас, чтобы опасаться, поэтому мы не таясь говорим и курим. На заставе тихо. Из трубы дома, в котором кухня и пекарня, идет вертикальным столбом дым. По двору ходят по своим нуждам солдаты-румыны. Посреди плаца формируется маленький отряд всадников: они выводят из конюшни уже оседланных лошадей, подправляют, подтягивают сбрую. Из дома показались два офицера, в каком звании — не различить: далековато. Они отдают какие-то наставления, распоряжения, и вот солдаты уже в седлах. Застоявшиеся за ночь кони нетерпеливо ждут выезда, беспокойно топчутся, вертятся на месте.

— Двенадцать! — вслух фиксирует Голубев количество румынских кавалеристов.

Румыны рысью выезжают за ворота, направляются к берегу. На развилке дозор делится на две группы. Одна направляется вдоль берега в сторону Новороссийска, другая в противоположную — в сторону Анапы.

— Патруль! — говорит Виктор. — Ночью, вероятно, побережье не охраняется, а днем патрулируется кавалеристами. Итак, — продолжает он, — наша миссия окончена. Считайте, что приказ командира отряда мы выполнили. То, что нам приказано было выяснить, осмотреть, — мы сделали!

— Даже больше того, что приказано было! — перебил я его. — Вон сколько набили фашистов у колодца!

— Выяснилось, — продолжал Виктор, не слушая меня, — следующее.

Первое. Берег моря на всем его протяжении, во всяком случае от Лобановой щели до Сукковской, ночью, надо полагать, свободен, а днем патрулируется. Второе. Вся округа, которую нам было приказано осмотреть, чиста от врагов, и по ней можно передвигаться, куда тебе надо, и днем, и ночью. Третье. Небольшие гарнизоны вражеских солдат обосновались только на погранзаставах в Сукко и Лобановой щели, а также на Большом Утрише. Четвертое. В селе Сукко, кроме гарнизона в школе, размещается штаб крупного [181] кавалерийского отряда. По-видимому, он и возглавляет все гарнизоны, посты и все прочее. Пятое. В Сухом Лимане, на водопаде никого нет. Дом лесника и подсобное хозяйство в Широкой щели сожжены.

И, наконец, шестое. Нигде нет ни одного немца — немецкого солдата. Только румыны! Немцы в оккупации этой местности не участвуют, доверили это дело румынам.

Вот все, что мы увидели и узнали. Об этом будет доложено командиру отряда.

\* \* \*

После нашего похода по горам мы изрядно притомились, и теперь было приятно спать «по-домашнему». База отряда теперь «наш дом». И что бы там ни было, а здесь мы чувствуем себя именно «как дома». Мы вернулись в середине дня, как раз в обед. Дуся Маркина несла в штабную палатку командиру в котелке и миске еду. За ней туда в палатку нырнул и Виктор — доложить о нашем возвращении и о результате разведки.

— Шо воно у вас за командыр? Не йисты за всимы у кухни, а хавається у палатци, як той вовк у логави! Шо вин за людына! — выражал нам свое недоумение по поводу поведения Терещенко матрос-«хохол».

— Комыссар, так той хоть выходэ, йисты у жинци на кухне, говорэ з людьми, шуткуе. А цый, як у то вэдмидь у берлогэ!

Голубев смеется:

— Ты попал в самую точку! Нелюдимый у нас командир. Я вот иногда смотрю на него и думаю: или он слишком умный, много думает, поэтому и

не выходит к людям на свет из палатки, или... — Голубев не договорил, постеснявшись произнести слово, которое нам всем было понятно и так.

— Не переживайте, — говорит Славка, — сейчас вы увидите командира. Выйдет же он поблагодарить нас за наши успешные действия в разведке!

Мы все пятеро стояли на площадке у палатки, ждали. И... не дождались ни командира, ни благодарности от него. [182]

Из палатки, согнувшись, быстро вышел Виктор. Смущаясь, пряча от нас глаза, он деланно бодрым голосом сказал:

— Ну все, доложил! Пошли, братва, хавать!

— А... что командир? — спрашиваем мы.

— Ничего! Сказал: идите обедать! — И Виктор как бы неопределенно махнул рукой.

— Ха-ха-ха! — издевательски засмеялся матрос-«хохол». — Я вам казав, шо командыр як видмидяка до людэй!

— Хватит, хватит! — перебивает его Виктор. — Обедать и отдыхать!

Тогда же, на кухне, я, выбрав момент, когда тетя Женя, накормив всех, сама сидела и обедала у слабо дымившегося, притушенного огня под котлом, подошел к ней и спросил:

— Тетя Женя! А что, Катя так и не вернулась еще? Ничего о ней не слышно?

Я спрашивал именно ее, потому что тетя Женя знала все! Не было никакого смысла говорить об этом с комиссаром. Он балагур, и прежде, чем ответить на вопрос, вдоволь в свое собственное удовольствие потешится надо мной, обложит подначками, заставит краснеть, что у меня получалось, к сожалению, всегда основательно.

— Нет! Не вернулась Катя из города! — жалостливо ответила мне тетя Женя. — Что и думать, не знаем! Митя мой тоже беспокоится, а Митрофан Никифорович сердится! Не надо было, говорит, посылать девку. Лучше мужиков послали бы! Девки — они и есть девки! А я не думаю так. — Тетя Женя даже всхлипнула и утерла фартуком глаза. — Катя серьезная, умная девочка. Ты, Коля, не переживай, может, все обойдется! Подождем еще!

Все это было вчера. А сейчас мы удобно, мягко уселись и улеглись на ворохе прелых листьев, нанесенных ветрами-сквозняками в небольшую ложбину выше штабной палатки у тропы в гору на Новогирский хребет. Курим, лениво разговариваем. Новостей никаких не знаем, обсуждать нечего. Витька Коробов молчит. На него больно смотреть. Он как-то сразу похудел, лицо осунулось, почернело, — он переживает гибель отца, да и о матери

ничего не знает. Что с [183] ней, где она сейчас и жила вообще? Не менее жалкий вид и у Пузырева. Только если у Витьки это от горя, то у него от страха. Нервно-возбужденный, издерганный, при малейшем постороннем звуке в стороне он дергался, вертел головой, тараша в испуге свои круглые серые глаза.

— Тихо! Что это? — настораживался он, и казалось, что его уши при этом выдвигались в стороны из головы и оттопыривались.

Раньше, в первые дни, когда мы все волею судеб оказались у одного очага в лесу и были мало знакомы, то не замечали постыдных слабостей у малодушных. Теперь же мы присмотрелись, притерлись, и суть каждого высветилась до такой степени, что не заметить ее было никак нельзя. И хорошую, и плохую... После первого обстрела карателями нашей базы сразу стало видно, кто чего стоит. Полулежащий рядом со мной сейчас Матвей Рындин и сидящий напротив настороженный Пузырев и были из числа тех, которым не надо было идти в партизаны...

Неожиданно за нашими спинами, за горой загремели выстрелы, застрочили автоматы. Пузырев, словно в нем внутри была туго свернутая пружина, мгновенно из лежачего положения оказался на коленях. Упираясь обеими руками перед собой в землю, в какой-то нечеловеческой позе он тарашил в испуге глаза, вода головой из стороны в сторону.

— Тихо! — выдыхает он. — Стреляют у Булавенко!

Мы все и без него слышим и понимаем, что в соседнем отряде «ЧП». Там явно разгорался бой.

Автоматная стрельба сливается в одно грохочущее целое. В нее вкраплены редкие, одиночные винтовочные выстрелы. Стрельба все усиливается, смещаясь влево. Вероятно, отряд Булавенко ведет бой с карателями.

— Вот и их немцы щупают! — взволнованно говорит побледневший Рындин. — Нас пощупали, теперь их!

Мы стоим кучкой, все внимание на гору, из-за которой несется к нам грохот пальбы нашего и немецкого оружия.

Я оглянулся назад. Вижу — у штабной палатки стоят и также, как и мы, смотрят вверх, на густо покрытый лесом [184] хребет горной цепи, за которым Новофирская щель, командир, комиссар, Окунь и Дуся Маркина.

— Показались на свет божий! — кивает на них головой Славка.

— Опять ничего не предпринимают. Самый раз послать сейчас хотя бы один взвод на помощь Булавенко! — с досадой говорю я.



— А чего им помогать! Они нам помогли, когда нас обстреливали? Хорошо, что тогда немцы не спустились с дороги и не атаковали нас! Чем бы тогда только все кончилось? — высказывается Пузырев.

Ниже палатки, у продсклада, у кухни — там, где кого застала стрельба, стояли партизаны и с тревогой вслушивались, стараясь понять, что происходит. Рядом со мною Шерстюков. Он сопит, мнетя, топчется и наконец с раздражением в голосе обращается к Каруне:

— Вот ты — командир взвода, какого хрена ты стоишь здесь как пень? Почему не приводишь свой взвод в боевую готовность? Где твои бойцы? Немцы же могут быть здесь в любую минуту! И Дегтярев тоже! Чего вы чухаетесь, чего ждете?

— А я что? Прикажет командир... Терещенко, тогда и... — Каруна отводит глаза в сторону.

— Эх, вы... командиры, и вы и Терещенко! — возмущается Шерстюков. — С вами навоюешь! — Он качает головой, вздыхает: — Там за горой гибнут наши товарищи, им нужна сейчас помощь, вот так! — ребром ладони повел поперек горла. — А мы стоим, слушаем! Тьфу! — Он с сердцем плюнул, вкладывая в плевок свое возмущение, махнул рукой и пошел вниз к палатке.

— Толковый мужик Шерстюков, — говорит Славка громко, чтоб его слышал и Каруна, — понимает обстановку! Вот ему и быть бы командиром!

— Правильно говоришь! — Я солидарен со своим другом Славкой на все сто. — Такому и быть командиром! А то... поназначали!

В этот момент стрельба за горой резко, разом оборвалась. [185] Как кто-то вдруг огромной ладонью прихлопнул всех стреляющих. Звенящая тишина!

— Или всех наших постреляли, или... — говорит Витька.

— Да ты что?! — возмутился Каруна. — Так это и перебили весь отряд за пятнадцать-двадцать минут! А может, наоборот — наши их...

— Ха-ха, запросто наши своими пукалками-винтовками уложили всех карателей-автоматчиков! — скривив лицо гримасой пренебрежения, иронизирует Пузырев. — Слава богу, если кто остался из партизан в живых!

— А чего гадать? — возмущаюсь я. — Леха, ты знаешь тропу в отряд Булавенко, пошли посмотрим, что там! Славка, пойдем с нами!

— Без разрешения Терещенко никто никуда не смеет отлучаться. Ишь, какой прыткий! — пресекает мой порыв Рындин. — Ты что, присягу не принимал? В дезертирах хочешь оказаться?

— Вообще-то Матвей Иванович прав, — спокойно говорит Славка, — самовольно отлучаться с территории базы нельзя!

— Так пошли попросим это самое разрешение у командира! — не унимался я. — Ему тоже необходимо знать, что произошло у Булавенко!

— Стойте! Тихо! — Пузырев напрягся, весь внимание, всматривается в гору, в хмеречь. — Кто-то идет!

Мы видим: действительно по тропе спускаются к нам трое партизан. Впереди женщина. Она сильно хромот, при каждом шаге упирается в землю длинной жердью. За ней следом двое мужчин. Все трое без оружия.

— Гусева! — узнает в женщине Рындин нашего председателя горсовета Анапы. Еще в Варваровке при формировании партизанских отрядов она попала к Булавенко. — Ранена в ногу. Видите, как ей тяжело идти!

— Вот сейчас все и узнаем, какая там у них карусель получилась! — говорит Каруна.

Через минуту они подошли к нам. В одном из попутчиков Гусевой я узнаю милиционера Баранова. Он в милицейской форме, в петлицах гимнастерки по три «кубаря» — [186] старший лейтенант милиции. Левый рукав разорван или разрезан по шву до самого плеча — рука оголена. Локоть и плечо в бинтах. Кровь пропитала повязку, выступила на бинтах ярким пятном. Баранов морщится от боли, бережно поддерживая здоровой рукой левую, раненую. Второго мужика-партизана я не знаю. Он на вид совершенно цел, только бледен; все время что-то шепчет сам себе, кривится от боли и осторожно прикладывает руки к правому боку. Мы стоим прямо на тропе, и они, хотели того или нет, вынуждены были остановиться перед нами. Гусева сразу же присела, вытянула вперед ногу, поглаживает ее. По ее лицу катятся крупные слезы.

— Больно! Ох, как больно! — непрерывно стонет она.

— Что у вас случилось? Немцы напали, да?

— Да, немцы! — сквозь стон и слезы отвечает Гусева.

— Ну и что? Что дальше? Как это все произошло?

Ясного рассказа о случившемся у них в отряде мы от них не получили. Баранов и второй партизан вообще не сказали ни слова, только стояли и кривились от боли. Гусева же была еще в шоке после боя. На наши многочисленные вопросы она отвечала как-то невпопад, бессвязно. И слезы, слезы... Кое-как мы поняли только, что напали немцы-каратели. Подошли они к расположению отряда скрытно, незаметно. Атака была для партизан внезапной. Автоматами и ручными пулеметами немцы без труда для себя подавили огонь партизан, выбили их из базы и рассеяли по лесу. Есть убитые и раненые.

Им троим, раненым, командир Булавенко (они и сами не знают, почему и зачем) приказал уйти в отряд Терещенко, то есть к нам. Вот они и пришли.

— Где Терещенко? — спрашивает Гусева. — Надо доложить ему!

Она тяжело поднимается с земли, помогая себе жердью, и, уже сделав первый шаг, вдруг ошарашивает нас:

— Радист Анатолий Яринов перебежал к немцам! Сломал рацию, прибил Алехина (это был его помощник) и сбежал! [187]

Вот это да! Это, действительно, был удар и для нас!

— Как сбежал? Вот так прямо вскочил при перестрелке и побежал к немцам? Почему его никто не пристрелил вслед? — пытаюсь уточнить я у Гусевой.

Она обернулась, посмотрела на меня как на идиота, ничего не ответила и поковыляла вниз; за ней Баранов и незнакомый мне партизан.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот это подарочек преподнес Яринов немцам! Дорогой, ценный подарок! — говорит Каруна.

— Теперь нам, товарищи, вообще нечего скрываться. Он же, подлец, знает и выдаст немцам все! И в своем, и в нашем отряде всех знает не то что по фамилиям, по имени-отчеству знает каждого! — разволновался красный как рак Рындин.

— И шифры, коды для связи с Большой землей по рации передаст фрицам! — возмущаюсь и я.

— Какое оружие, да что оружие! — сколько патронов у каждого из нас — все будут знать немцы! Продал нас предатель! — сказал Славка.

— Только подумать: Яринов был начальником радиостанции в городе, в приграничной полосе. На эту работу, должность любого кого-нибудь так это не поставят! Он член партии. Наверняка проверен в НКВД пять, десять, сто раз! И вот — на тебе! Кому же тогда еще верить? — Рындин не мог успокоиться. — Сволочь он! Самая настоящая сволочь! Спасает свою шкуру!

— Так отряд Булавенко тю-тю! Теперь наша очередь... Интересно, что предпримет Терещенко? — спрашивает нас всех Витька Коробов.

— Самое верное — это надо нам как можно быстрее уходить отсюда, — говорит Каруна, — завтра-послезавтра каратели будут здесь.

— А как же быть с продуктами, с имуществом? Что, все бросить, оставить немцам? И потом, куда идти? — задаем мы ему вопросы.

Такая дискуссия продолжалась часа два. Мы горячились, задавали друг другу вопросы, спорили, но найти выход из создавшегося серьезного для нашего отряда положения, [188] придумать что-то толковое никто из нас не мог. В конце концов самый легкий выход из такой ситуации — положиться

во всем на начальство. Они командиры — они пусть и думают! На этом мы прекратили споры и стали расходиться по расположению базы — бесцельно, кто куда.

— Да, — сказал Славка на ходу, — Остались мы без рации и без радиста. Теперь и что делается на фронтах, не будем знать.

В последующие два-три дня, несмотря на то что карательный отряд немцев по отношению к нам не проводил никаких действий, мы уже не чувствовали себя так благодушно, как до прошедшего боя отряда Булавенко. Все как-то посерьезнели, чувствуя, что спокойствию приходит конец, что немцы вот-вот нагрянут и к нам..

Нельзя сказать, что командир Терещенко и комиссар бездействовали. Ими то и дело высылались группы партизан по три-четыре человека. Люди уходили, и, выполнив задание, возвращались. Порученец Алексей Кравченко тоже почти не бывал в отряде. Мы и не заметили, как исчез командир Анапского партизанского куста Егоров.

Но если что-то делалось на периферии, за пределами нашей базы, то в самом расположении отряда — ничего! В связи с обострившейся обстановкой не выставлялись дополнительные посты вокруг нашей территории, не были усилены и те, что уже есть. Мы не были приведены в состояние повышенной боеготовности; не было принято абсолютно никаких мер для отражения возможных внезапных атак врага.

— Вот вы послушайте! — выступал, горячился я перед собравшимися, как обычно, у кухни партизанами. — Откуда можно ожидать нападения немцев на нас? Только сверху, с дороги! Сзади, справа они не пройдут, слева по щели есть дорога к нам, но немцы побоятся сунуться по ней. Щель узкая, и они не смогут развернуться против нас в атаку вширь. У них один выход — атаковать сверху, с дороги! На месте командира я бы приказал собрать побольше сухого хвороста и обложить им, вот прямо отсюда, от нас, кусты хмеречи. А как только немцы сунутся вниз, поджечь хворост сразу в [189] нескольких местах. Вы представляете, какое будет пожарище и что будет с фрицами? Дождя давно уже не было, хмеречь сухая, как порох, склон горы крутой — огонь рванется по нему вверх так быстро, что немцы не успеют опомниться, как задохнутся в дыму и сгорят! От пожара они просто не успеют убежать! Скажите, разве я не прав?

— В твоём замысле какое-то зерно есть. Очень может быть, что так и получится, как ты прикидываешь, — говорит серьезный Ланжинский. — Гм, занятно, конечно, но подумай сам: сколько-то там немцев сгорит или просто атака будет сорвана. Ну, а дальше что? После твоего пожара они будут

настолько напуганы, что уйдут восвояси и прекратят вообще нас преследовать? Это абсурд! Назавтра они вновь придут и атакуют нас!

— Ну, а что же тогда делать нам? — обиделся я. — Сидеть и ничего не делать, да?

Вечером, укладываясь спать, мы опять говорили о бое у Булавенко в Новофирской щели. Это событие волновало всех — у многих наших в том отряде были друзья, товарищи, приятели. Что с ними, кто погиб, кто жив?..

\* \* \*

На следующий день после завтрака я впервые за все время основательно помылся нагретой в молочном бидоне на костре водой с мылом. Настроение сразу поднялось. Тут ко мне подошел Виктор Головахин. Сегодняшние сутки он карнач — караульный начальник нашей базы.

— Николай! Иди на пост № 2. Побудешь там часовым вместе с дедом Приходько до вечера! Вечером сменим!

— А что, дед Приходько и ночью был на посту один? — спросил я.

— Нет, второй часовой Салтыков. Но он что-то приболел животом и попросил сменить его с поста! — разъяснил Виктор. — Давай, иди, не мешкай!

— Надо так надо! — я с деланным равнодушием соглашаюсь, хотя в душе — ох как мне не хотелось этого! Сидеть, стоять, ходить, просто находиться на посту — занятие утомительное. Казалось бы, что тут такого? Эти же самые часы, [190] которые мне надлежит пробыть на посту, если, допустим, не буду назначен туда, я со скукой проведу, слоняясь по базе. ан нет!

Карабин на ремень за плечо, и я иду на пост. «А документы, которые я выложил, моясь? — мелькает в голове. — Они всегда у меня в нагрудном кармане. Ладно, не буду возвращаться, сменюсь вечером с поста — заберу из вещмешка!»

Дед Приходько, прислонясь спиной к коряге, пригревшись на солнце, сладко дремал.

— Привет, Степан Егорович! Что, прикемарнул малость?

— А, что?.. Как это?.. — Приходько спросонья испуганно вертел головой, никак сразу не приходя в себя.

— Говорю, прикемарнул ты трохи? — издевался я над стариком.

— Да ты что?! Разве можно? — наконец начинает приходить в себя дед и вдруг совсем другим тоном, голосом, полным возмущения и негодования, говорит:

— Что ты мелешь?! Как это «прикемарнул»? Я что, спал, по-твоему? Да я тебя видел за сто шагов отсюда!

— Ладно, ладно! — успокаиваю я его. — Мне приказали быть с тобой на посту до вечера вместо Салтыкова!

— Ну, тогда садись, будем наблюдать вдвоем! — совсем успокоился дед.

Сидим, посматриваем, курим, говорим мало. Да и о чем говорить? Скучно. Время тянется медленно и нудно.

— Скоро обед, — говорю, зевая, просто так, глядя на часы, — полвторого уже!

В лесу полуденная тишина. Где-где чирикает птица, зуммерит рядом на дереве цикада, жужжит летящий куда-то жук. Поскрипывает что-то вдалеке. Оно вроде бы приближается, что ли? Мысли вялые, ватные... Стоп! — внутри тревожный толчок. Сонливость как рукой сняло! Я приподнимаюсь, прислушиваюсь... «Скри-и-п, скри-и-п», — доносится сверху, с гор, все явственнее и явственнее. Это же подводы скрипят! Так же, как скрипели тогда у карателей, когда они нас обстреливали! Да, точно так же! Значит, это [191] они сейчас идут и едут сюда! Вот уже слышно тарахтенье колес по камням дороги! Точно — это опять карательный отряд немцев! Кроме них, некому сейчас ездить в лесу по дорогам!

— Степан Егорович! — толкаю я деда Приходько. Он опять в дреме. — Кончай спать! Немцы идут!

Дед вздрагивает, хватается за карабин, испуганно и вопросительно смотрит на меня:

— Где немцы? С чего это ты взял?

— Да ты послушай сам! — психую я. — Слышишь, тарахтят и скрипят подводы на дороге? Точно, как в тот раз!

Теперь все было отчетливо слышно. Слабое эхо множило и усиливало шум на дороге вверху.

— Каратели! — почему-то тихо, почти шепотом, словно боясь, что его услышат немцы там наверху, говорит побледневший Приходько. — Ну, сейчас будет дело! Спаси меня господи! — Он, к моему удивлению, быстро-быстро мелко перекрестился.

Подводы наверху. Тишина, ни звука.

— Точно остановились, прямо против отряда! — фиксирую я. — Они уже и без предателей знают наше расположение!

— Сейчас начнется! — опять шепчет дед. — На этот раз они так просто не уйдут — чует мое сердце!

Раздался крик. «Та-та-та-та! Та-та-та-та!» — потом еще короткая очередь, и все вновь смолкло.

— Хана! — говорю я деду и самому себе. — Немцы с нашими часовыми у дороги покончили! Там сегодня на посту были матрос-«хохол» и, по моему, Леонов!

— Приняли смерть ребятки! — все так же шепотом, жалостливо бормочет Приходько. Губы, лицо, да и весь он дрожит, крутит трясущимися руками сигарку.

Наверху, на дороге, в наступившей вновь тишине опять раздался крик. Но это уже был не тот, кричащий болью и ужасом, — не крик даже, а просто громкий до своего естественного предела голос. Слов невозможно разобрать, слишком большое все же было расстояние. Не слышалась, а скорее [192] чувствовалась какая-то убеждающая интонация в голосе. Выкрикивалось во всю силу легких что-то деловое, требовательное.

— Немец кричит, — говорю я деду, — предлагает нам, наверное, выходить и сдаваться. Это обычно так всегда делается. Тот, кто наступает, перед штурмом или атакой всегда советует противнику сдаваться без боя.

Крик наверху прекратился. Опять тревожная тишина. Немцы давали нам время подумать, ждали выхода к ним малодушных, попросту говоря — предателей.

Не дождалось... Как я узнал потом — не вышел никто. Смотрю на часы — ровно 15 минут полной тишины. Потом начинается минометный обстрел. Немцы беглым огнем обрабатывают всю территорию нашей базы. Еще раз подтвердилось, что они знали наше расположение с большой точностью. Начав с правого фланга отряда, они методично клали мины одну к другой, все ближе и ближе к нам. Не знаю, сколько было у немцев минометов, но мин они кидали столько, что взрывы почти слились в один общий грохот, больно бивший в уши. Мины рвут тонкий дерн почвы, крошат ее. Осколки вместе с острым щебнем с визгом разносятся вокруг. Некоторые мины не долетают до земли, и их взрыватели срабатывают в густых кронах высоких деревьев. Вместе с горячими осколками вниз летят сучья, ветки, сыпятся листья. Едкий, желтый с зеленоватым отливом дым пополам с пылью ползет, с каждым взрывом все больше и больше окутывая все вокруг.

Мы с дедом лежим, вжались в камни сухого русла ручья. Со всех сторон рвется и грохочет. Больно ушам, на спину падают комья земли. Волна взрывов перекачивается через нас и сразу же гаснет. Наш пост № 2 был крайней точкой, дальше которой продолжать кидать мины немцы считали, по-видимому, нецелесообразным.

После всего того, что только что было, резко, внезапно наступившая тишина кажется неправдоподобной.

— Дед, а дед! — не поднимая головы, зову я Приходько. — Степан Егорович, ты живой? [193]

Дед молчит, не отвечает. «Не убит ли?» — мелькает в голове, и я быстро поднимаюсь. Никого рядом со мной нет. Но он же лежал вот здесь, совсем близко от меня!

— Степа-ан Его-о-рович! Где ты? — негромко зову я Приходько. Ни звука в ответ. Куда же он делся? Может, убит? Но тогда где же он? Я быстро пробегаю туда-сюда по руслу ручья, осматриваю кустарник вокруг — деда нет.

Все ясно! — наконец делаю вывод я. Приходько сбежал с поста! Но куда сбежал? В отряд или к немцам?

Не знаю, что я предпринял бы в дальнейшем, но в этот момент увидел бегущего ко мне со стороны базы караульного начальника Виктора Головахина.

— Ну, как? Все в порядке? Живы? — спрашивает он, переводя дух.

— Я-то жив, все вроде в порядке, только вот дед пропал.

— Как пропал? Где Приходько? — только сейчас Виктор обратил внимание на то, что со мной рядом нет деда.

— Не знаю! Во время минометного обстрела мы лежали рядом, вот здесь! А потом, когда я поднялся, Приходько уже не было. Все осмотрел уже вокруг — деда нет! Сбежал он от страха, что ли?

— Ну ладно! — торопится Виктор. — Сейчас нет времени разбираться, где он и что с ним. Продолжай наблюдение пока сам и, если... — Виктор не договорил. — Садись! — вдруг приглушенно, с тревогой в голосе произнес он и, приседая сам, резко дернул меня за рукав стеганки вниз. — Немцы, разведка!

Мы, осторожно раздвинув ветки кизила и слегка примяв траву перед собой, видим: по щели к нам приближаются четверо немецких солдат. Они идут не торопясь, останавливаются, прислушиваются, внимательно всматриваются в хмеречь. Двое идут один за другим прямо по руслу ручья, и еще двое по сторонам от них — справа и слева по крутым склонам горы.

— Вот и гости к нам, первые ласточки! — говорит тихо Виктор. Он напряжился, весь как-то собрался, прищуренные глаза недобро блестят. — Сейчас мы их встретим с подарочком! Готовь гранату, Коля! [194]



У меня их две — РГД и «лимонка». Это последние. Быстро достаю из нагрудного кармана запал, вставляю в гранату, оттягиваю рукоятку — ставлю на боевой взвод.

— Смотри и слушай внимательно! Вон у этой расщелины, — показывает Виктор, она шагах в тридцати от нас, — фрицы обязательно сойдутся вместе!

Действительно, здесь щель резко сужалась, справа и слева ее стены были настолько круты, что идущие по склонам вынуждены будут спуститься вниз и какое-то время идти все вместе, кучкой.

— Вот здесь мы их и пришибем! Как только скажу — бросай гранату, а я их с автомата! Усек?

— Понял!

У нас очень удобное положение. Щель там, где сейчас были мы, делает короткий, но крутой изгиб, образуя скалистый невысокий выступ высотой в половину моего роста. Отсюда она отлично просматривается метров на двести вперед. Узкая ее часть, в виде короткой горловины, располагается недалеко, на расстоянии броска гранаты. Сверху наш выступ прикрыт нависшими над руслом длинными ветками раскидистого куста кизила.

Как Виктор сказал, так и получилось. Подходя к горловине, оба немца (и тот, что справа, и тот, что слева) сбегали по откосам вниз, в русло ручья к своим, и теперь шли тесно, все вместе.

Я весь внимание... Сердце в груди колотится так, что его удары я слышу в собственных ушах.

— Так, так, еще чуть-чуть! — шепчет Виктор сквозь зубы, напряженно всматриваясь в приближающихся фашистов. — Бросай!

Пружиной вскакивая и из-за плеча махнув вытянутой рукой так, как когда-то этому учил нас, мальчишек, военрук в школе, я бросаю гранату. Отчетливо услышав щелчок еще в воздухе сработавшего запала гранаты, я прыгаю назад за уступ и хватаю карабин.

— Полу-ундра-а! — орет Виктор и хлещет из автомата. Он выскочил за уступ, стоит открыто во весь рост на широко [195] раставленных, полусогнутых в коленях ногах и орет так, как тогда у колодца в Сукковской щели.

— Полундра-а! — Автомат ходуном ходит в его руках.

Два немца лежат неподвижно, третий, раненный в бедро, бежит, ковыляет, согнувшись, назад по щели. В откинутой в сторону левой руке он держит за ремешок болтающуюся каску — она у него почему-то не на голове. Правую руку немец прижимает к ране на ноге.

Я спешу, тороплюсь, стреляя в него: раз, другой — мимо! Немец скрывается в скалах.

Еще один фриц быстро-быстро, по-собачьи, на четвереньках карабкается по осыпи горы вверх. Щебенка сыплется, тянет его назад, вниз. Неимоверным усилием он выскакивает на твердый грунт и сразу же скрывается в кустарнике. Автоматные очереди Виктора прошли мимо него.

— Ушли двое! — недовольно и зло говорит он. — Вроде бы хорошо все получилось, а вот ушли!

За нашей спиной в стороне отряда послышались беспорядочные винтовочные выстрелы, короткая автоматная очередь — и все смолкло.

— Сиди, наблюдай и не высовывайся! — приказывает мне Виктор. — Немцы на этом не остановятся. Они вот-вот будут здесь! Как только покажутся — бегом в отряд, доложишь!

Он похлопал ладонью по моему плечу и, пригнувшись, быстро побежал по виляющему руслу ручья на базу отряда.

Я сижу, наблюдаю. Пока все тихо. Появляется соблазнительная мысль: «Сейчас побегу, сниму с убитого немца автомат! Вот будет здорово — у меня фрицевский автомат!» Но нельзя: а вдруг тот немец, что скрылся вверху, сидит в кустах и тоже наблюдает? Высунусь, а он и прихлопнет! Опасно! На посту никого не будет; пойдут немцы — кто предупредит командира об их обходе базы с тыла?

А если осторожненько, потихонечку? Я ведь могу поползти по руслу! — желание становилось навязчивым. Если ползти вон до той скалы, то немец вообще меня не увидит, а это половина пути, а там... Меня что-то будто толкает к действию. [196] Подумать только: у меня будет автомат! А может, у убитых и гранаты есть?

Я колебался. Скорее всего я бы в конце концов рискнул овладеть оружием фрицев, слишком уж большой был соблазн. Но тут в стороне отряда опять вдруг началась стрельба. Уже не испуганная, робкая, как несколько минут назад, а сразу перешедшая в сплошную, непрерывную трескотню винтовок, автоматов. Слышались очереди пулемета Лешки.

«Идет бой! Немцы спустились с дороги и атаковали», — сообразил я.

Пять-семь минут — и стрельба валом покатилась вверх, в гору, вправо от базы.

«Уходят наши! — мелькает в голове. — Не выдержали и уходят! А мне что делать? Чего мне сидеть здесь, если отряд ушел? Бежать в расположение и узнать, что там? Но если я брошу пост и побегу, а тут немцы пойдут, что тогда? А кого предупреждать, отряд-то ушел с базы? Но если я буду еще

сидеть здесь, то командир скажет, что я трус и умышленно отсиживался, тогда как отряд вел бой!..»

В голове хаос, я не знаю, что делать и как правильно поступить. И когда в этот момент я увидел далеко по щели идущих сюда немцев, то даже как-то обрадовался. Это была уже не разведка: не менее двух десятков фрицев шли цепью.

«Бегом в отряд, доложить!» — теперь у меня нет никаких сомнений.

Так же, как и Виктор, я бегу, пригнувшись, какое-то время по камням, прыгая со скалы на скалу в русле ручья, затем вверх на косогор, — и вот наша база. Стрельбы здесь больше нет; какая-то тревожная тишина. Ни наших, ни немцев! И только я подумал, что, наверное, все драпанули, как мне навстречу появился Рындин. Он остановился, переводит дух. В руке чемодан, за спиной рюкзак, на шее, на ремне, — карабин. Тесемки патронташа развязались, он сполз с огромного живота и колбасой висит поперек ног у самых колен. Рындин глубоко дышит, смотрит на меня безумными, полными дикого страха глазами. [197]

— Где командир? Немцы по щели обходят нас справа! Надо доложить! — почему-то почти кричу я ему.

Рындин молчит, таращит глаза, подхватывает чемодан и, так ничего мне не ответив, как-то боком, согнувшись под тяжестью вещей, спешит в гору. [198]

Еще две женщины навстречу.

— Где командир или комиссар? — задаю я все тот же вопрос.

— Командир в гору ушел, и комиссар за ним! — и одна из них махнула рукой вверх, туда, где правый фланг нашей базы. Они почти бегом, насколько это им позволяли их вещи, пустились вслед за Рындиным.

\*\*\*

Быстро перебегаю ложбину, где я обычно всегда спал ночью, поднимаюсь по ее скату к штабной палатке. Здесь уже никого нет. Изорванная осколками мин палатка распласталась по земле бесформенной массой. Валяется брошенная пишущая машинка, какое-то барахло и много-много бумаги. Как кто специально ее разбросал вокруг листовками. Я мельком глянул и обомлел — да это же наши партизанские присяги! Как Дуся Маркина и ее начальник Окунь могли вот так просто бросить эти документы? Или они от страха совсем головы потеряли?

А вот убитый! Кто это? Дедушка Гаппий! Он лежит вниз лицом, разбросав руки в стороны рядом со своей печью, его бритая голова вся в

крови. Мина угодила рядом, завалила печь, иссекла осколками деда. Ниже, к кухне, еще двое убитых — я не пойму, не могу узнать, кто это.

Бегом спускаюсь к продскладу. Здесь несколько наших, живых: Саша Аншаков, Батя, Витька Коробов, Каруна, Головахин, еще кто-то. Они стоят, прижавшись к штабелю продуктов, на лицах растерянность. Они просто-таки не знают, что им делать! Командира, комиссара нет. Раненые, а за ними и все остальные еще оставшиеся здесь партизаны беспорядочной толпой кинулись быстрее уходить с базы на Новогирский хребет.

— Немцы по щели обходят нас слева! Сейчас будут здесь! — кричу я им подбегая.

— Давайте уходить, пока не постреляли нас! Чего здесь торчать? — говорит Каруна громко, недовольно, словно ожидая, что ему будут возражать. — Все разбежались, а нам, что, больше всех надо?

Если кто-то и желал поддержать его или, наоборот, возразить, [199] то не успел бы это сделать. Вверху по круче, со стороны дороги, застрочили автоматы, заколыхались кусты, затрещали ветки, и вниз к кухне, к бочкам с вином повалили фрицы. Рассыпавшись по руслу ручья, они, видя нас, открыли бешеный огонь.

Мы попадали, кого где прижало, беспорядочно отстреливаемся.

— Бежи-им, братва-а! — кричит Виктор Головахин. — Отходи-им!

Краем глаза вижу: Каруна, стоя за мешками с мукой, возится с противотанковой гранатой, готовит ее к броску.

«У меня же тоже есть граната!» — мелькает в голове. Не мешкая, я быстро ввертываю запал, рву кольцо и кидаю ее не глядя куда-то в сторону кухни. Бросок Каруны почти совпал с моим. Огромнейший, невероятной силы и грохота взрыв!

— Бежи-и-им! — кричит Каруна и сам открыто, во весь рост, не пригибаясь, бросается в гору. Нас, всех остальных, как ветром подхватило, — вскочили и бегом за ним!

Немцы молчат. Гранаты, особенно противотанковая, сделали свое дело. Я бегу в гору опять мимо палатки. Оглянулся, мельком увидел внизу на кухне перевернутый взрывом гранат котел с так и не съеденным нами в обед борщом. Рядом с ним корчился, как-то неестественно выгибаясь на земле, солдат.

«Борщом его обварило!» — проносится в голове глупая мысль.

С обрыва сыпется вторая волна атакующих немцев. Они тут же открывают огонь нам вслед. Пули густо, кучками, с визгом несутся, заставляя нас падать, вжиматься в землю, пережидать. Выбирая момент, мы

перебегаем от дерева к дереву, уходя все дальше и выше в гору, к вершине хребта. Со мной рядом Саша Аншаков.

— Разрывными пулями стреляют, гады! — возбужденно говорит он.

Да, действительно, некоторые пули, вонзаясь в стволы деревьев, громко и хлестко взрываются, рвут кору и выбивают щепки. Но с каждой секундой, с каждым метром мы все [200] более и более чувствуем себя в безопасности. Огонь немцев начал спадать, теперь они стреляли наугад. Мы уже скрылись в плотной, густой массе леса. Вот и совсем стрельба прекратилась... Остаток пути до вершины мы прошли уже не остерегаясь, спокойно, все вместе.

Перевал. На большой поляне весь наш отряд — или, вернее, все, что осталось от него. Получилось так, что наша небольшая группа подошла с базы последней.

Люди сидят, лежат, кто как примостился на жесткой, каменистой земле. Вид у всех... не боевой. В большинстве люди растеряны, подавлены неожиданно свалившимся событием, в котором каждый почувствовал, что значит быть партизаном. Все вяло разговаривают, курят.

Солнце закатилось в горы, надвигались сумерки.

Откуда-то появился Славка. Подошел, садится рядом, улыбается:

— Ну как, соколики, настрелялись, живые?

При виде его меня словно кто толкнул:

— Славка! — испуганно спрашиваю я его. — Наши вещи, вещмешок?! Там, в барахле, бумажнике документами!

У Славки вещмешка не было, его вещи хранились в моем. Там, в вещмешке, вместе с моими документами был и его паспорт (Славка был на полтора года старше меня и уже имел его).

— Не тушуйся! — отвечает он мне. — Ничего с документами не случится! Я их надежно припрятал. Ни одна собака не найдет!

— Как это припрятал? Где они? Где вещмешок?

— А здесь вот, недалеко! — спокойно говорит Славка. — Когда отходил с базы, я успел прихватить его с собой. Мешок мне мешал. На ходу я его сунул в дупло дерева. Еще и листьев туда побольше натолкал. Никуда он не денется. Потом, как будет время, заберем.

Я успокоился. Если Славка так надежно припрятал вещмешок — чего же еще! Возьмем при случае!

— Вот и нам дали немцы прикурить! — бубнит рядом Ворона. — Сначала раздолбали отряд Булавенко, а теперь и [201] наш. Остались мы без шамовки, все подберут и увезут фрицы с базы!

— Так у нас где-то по лесу есть семь «точек», а там в них харчи! — Славка настроен оптимистично.

— Какая там жратва?! Ты видел? — ерепенится Ворона.

— Не видел, но так говорят!

— Говорят, говорят! Ни хрена там нет, в этих «точках»! Десятка два банок консервов! — Ворона зол, говорит раздраженно.

Спор Славки с Вороной прервал Дегтярев.

— Товарищи! — поднялся он на ноги. — Разрешите мне сказать пару слов. Сейчас не до большой говорильни, но разобраться в том, что у нас произошло, необходимо.

— Говори, говори, Алексей! — слышались голоса.

Партизаны встрепенулись, те, кто лежал, — сели, приготовились слушать. Чье-то твердое слово, рука, которая встряхнула бы всех, были сейчас крайне необходимы. И Дегтярев оказался первым, кто не потерял себя и решился сплотить, возглавить людей.

— Итак! — начал он. — Подведем итоги: немцы напали на нашу базу и выбили нас оттуда. Командир и комиссар с группой партизан в 12 человек оторвались от отряда и ушли неизвестно куда. Мы остались без командования. Нас всех сейчас 32 человека, из которых шестеро раненых. Нам нужен временно командир. Если вы, товарищи, не возражаете, я буду им до тех пор, пока не вернется Терещенко или комиссар Кравченко.

— Не возражаем! Будь командиром! — раздалась единодушные возгласы.

— Раз так, то вот мой первый приказ, — продолжал Дегтярев. — Найти командование. Для этого предлагаю добровольно, парами разойтись вдоль хребта горы и в ту, и в другую сторону от нас и искать. Уже ночь, поэтому далеко не уходить, чтобы не заблудиться в лесу. Да мы здесь и не можем долго быть, надо уходить отсюда. Немцы сейчас от нас не более как в трехстах метрах! В поиске разрешаю негромко кричать, звать командира и комиссара. Фамилии их не называть! Комиссар имеет кличку «Белый» — вот так, по ней и [202] ищите. Время на поиски не более часа, после этого мы уходим. Действуйте, товарищи!

Поднялось несколько человек, разбились на пары и пошли в разные стороны.

С меня еще не сошло возбуждение недавней стычки с немцами. Вот так просто сидеть и ничего не делать я не мог: поднялся и пошел тоже. Тут же меня догоняет Милка Ковзал:

— Можно, я с тобой пойду, Коля?

— Пойдем.

Луна еще не взошла, вокруг крошечная тьма. Боясь заблудиться, мы стараемся идти точно по вершине хребта, не отклоняясь вниз по склонам горы. Через небольшие промежутки времени мы негромко, вполголоса, зовем:

— Белый! Белый, отзовитесь!

Каждый раз ни звука в ответ. Тишина. Так, побродив с полчаса, мы ни с чем и вернулись к своим.

\* \* \*

Только позже мы узнали, что нас слышали! Слышали и не отозвались! Об этом рассказала мне после войны партизанка Роза Дегтярева. В этот злополучный для нас день, когда немцы обрабатывали минами всю территорию нашего расположения, комиссар был ранен осколком мины в ногу. Это было легкое, не вызывающее опасений ранение в правую голень. Осколок слегка рассек мышцу, не задев кость, и Роза тут же обработала рану йодом, наложив повязку. После обстрела базы минами командование карателей бросило вниз с дороги с десятков своих солдат — разведать обстановку. Их встретили плотным огнем наши партизаны, завязался скоротечный бой. Комиссар, считая себя из-за раны небоеспособным, оставил всех и с помощью Розы и двух-трех партизан стал уходить в тыл, в гору, на Новогирский хребет. Командир отряда Терещенко показал свою полную несостоятельность в этой не такой уж сложной ситуации. Они с Окунем и еще несколькими ничего лучшего не придумали, как последовать вдогонку за комиссаром. Фактически он бросил, оставил свой отряд. Люди поспешно хватали свои вещи у завалившейся штабной палатки и бежали в гору. Никто [203] не думал организовать и дать отпор немцам. Скорей, скорей, пока еще они не пошли в атаку, уйти подальше в спасительные горы и лес! Тогда-то я и встретил, когда бежал с поста, запыхавшегося, невменяемого от страха Рындина, а за ним еще двух женщин.

Всего с командиром и комиссаром ушло 14 человек. Они поднялись на хребет и там, укрывшись в густых зарослях можжевельника, уложили раненого комиссара и отдышались.

Нога у комиссара распухла, ему надо было какое-то время отлежаться. Передохнув, Терещенко вместе с партизанами ушел в Новогирскую щель искать отряд Булавенко. Поведение его было более чем странным. Вместо того чтобы разыскивать своих людей, он ищет соседний отряд — тоже потрепанный немцами на днях. При комиссаре остались только Роза и

Василий Чернышев. Им хотелось пить, но воды с собой не было. Особенно мучился жаждой раненый комиссар. Вечером, когда уже стемнело, Чернышев отправился на поиск воды. Комиссар полулежал, привалившись спиной на куст, Роза сидела рядом, когда они слышали наши голоса: «Белый! Белый! Отзовитесь!»

— Давайте откликнемся! — умоляла девушка. — Это же Ковзал зовет!

— Не надо это делать, Роза! Где гарантия того, что их не немцы сейчас ведут?

Комиссар и Роза не откликнулись...

А что немцы? Они, получив отпор, тоже поспешили убраться восвояси, назад, вверх на дорогу...

\* \* \*

— Ну что? Все вернулись из поиска? — Дегтярев стоит, вопрошающе смотрит на сидящих вокруг него партизан.

— Все!

— Товарищи! Мы будем надеяться, что наше командование сделает все, чтобы найти нас, вернуться к нам. Поэтому далеко отсюда уходить нельзя. Но и оставаться вот прямо здесь, на этом месте, тоже опасно. Утром, с рассветом, немцы наверняка придут сюда. Нам, чтобы привести себя в порядок, необходимо на день-два оторваться от них. Приказываю: [204] двинуться маршем вниз в Новогирскую щель. Где-то там мы найдем место нашего временного пребывания. Идти по возможности кучно, не растягиваться. Без шума, и стараться меньше оставлять за собой следов! Ну, пошли! — не по-командирски, а как-то по-домашнему скомандовал Дегтярев. — Встали и пошли!

Все разом заговорили, засуетились, поднялись, повалили беспорядочной толпой за командиром, вниз с горы. Тьма такая, что рядом с собой, впереди я ничего не вижу.

— Ой-ой! Мне больно! Я не могу идти! — слышится слезливо-капризный голос Гусевой справа от меня. — Несите меня! Я ранена, и вы обязаны меня нести! — Она требует, чуть ли не приказывает начальствующим тоном, словно до сих пор председатель горсовета.

Вот кто-то громко, надсадно раскашлялся, кашель эхом понесся куда-то в темноту. Тут же на кашляющего со всех сторон зло зашипели:

— Ты что, м...к, раскашлялся? Выдать нас всех немцам хочешь, подлец, да? Кончай кахикать!



— Братцы, товарищи! — говорит кто-то. — Вы что, совсем совесть потеряли? Подмените нас! Понесите раненых! У меня руки уже совсем пооборвались от носилок! Не могу больше нести!

Раненые на носилках молчат. Закусили губы, держат зубами боль, не дают ей стоном рваться наружу. Чувствовать себя обузой для товарищей им обидно и стыдно.

Спуск с горы длинный и крутой. Местами ноги мои скользят, я падаю на спину и еду вниз, больно натываясь на торчащие камни, какие-то сучья и еще что-то. Обрыв кончился, мое тело прекращает скольжение, останавливается, и тут же кто-то сверху задницей въезжает мне на голову. Тычу туда стволом карабина.

— Эй, ты что дерешься? Больно же!

Я узнаю голос: оказывается, это догнал меня Славка.

— Я приехал! — шутит он.

Мы поднимаемся, отряхиваемся. Ногами чувствуем, что дальше спуск уже пологий.

Минут через тридцать-сорок мы в меру шумной, беспорядочной [205] массой выползли на дно Новогирской щели. Здесь она неширока, мы броском преодолеваем ее и выходим к подножию совсем невысокой, пологой горы. Время идет к утру, уже заметно посветлело.

— Стой! — командует Дегтярев. — Здесь где-то нам и надо будет расположиться. Давайте подберем удобное местечко!

— Дальше! Пошли дальше! — раздались недовольные голоса.

— Опасно здесь останавливаться — немцы близко!

— У нас раненые! Надо унести их подальше! — Кто-то пытался даже этим доводом скрыть свой страх перед возможной встречей утром с карателями и доказать необходимость уходить еще дальше.

— Дальше, уходим дальше! — требовали партизаны.

Дегтярев не стал перечить и лишь махнул рукой, выказывая этим жестом свое подчинение мнению большинства.

Мы с ходу переваливаем небольшой отрог Новогирского хребта и уже совсем засветло оказываемся в очередной неширокой лощине. Рядом со мной пытит под грузом собственного барахла Рындин. Меня это удивляет: как это у него хватает воли и силы тащить на себе в таком переходе помимо оружия еще и чемодан, и туго набитый чем-то рюкзак?

Впереди идут Петраш, Шерстюков, Пузырев. Энергичный, быстрый, всегда куда-то спешащий Петраш идет, бубнит, что-то доказывает Шерстюкову, подкрепляя почти каждое слово резкими жестами руки.

— Сухая щель! — называет Пузырев лощину, которую мы сейчас переходим. — Она тянется к морю и где-то там, недалеко от побережья, сходится в одно с Мокрой щелью. Мокрая щель идет почти параллельно Сухой вот за этой цепочкой гор. Если мы перевалим еще и эту гору, — он показывает рукой на подъем, по которому мы уже поднимаемся, — то за ней и будет она, Мокрая щель!

«Сколько же этих «щелей» здесь? — думаю я. — Сукковская, Лобанова, Новогирская, теперь вот еще Сухая, и за ней Мокрая?»

Я устал, как и все остальные. Мы идем, волоча ноги. Разговоры [206] угасли, слышно только сопение идущих рядом, побряхтывание и редкое покашливание простуженных и заядлых курильщиков. Любопытство перебарывает усталость, я догоняю Пузырева и говорю:

— Ну, что эта щель называется Сухой — понятно. Здесь нет воды, ни ручья, ни родников, наверное, потому она и Сухая. А следующая, вы сказали, называется Мокрой! Почему? Там что, много воды?

— Нет, — разъясняет Пузырев, — там все так же, как и здесь, в Сухой. Не знаю, почему она называется Мокрой! Разве только потому, что у выхода из нее к побережью моря есть колодец. Мне до войны здесь приходилось бывать. Был я и у того колодца!

— А дальше, за Мокрой щелью какая будет?

— Никакая! — говорит Пузырев. — Там уже совсем близко долина Абрау-Дюрсо. Красивейшее место — голубое озеро, виноградники.

«Далеко мы, однако, ушли от родной Анапы», — думаю я.

— Сто-ой! — громко командует впереди Дегтярев. — Пришли! Дальше ни шагу!

Опасаясь, что будут возражения, он непререкаемым тоном добавляет:

— Куда еще дальше идти?! Мы и так драпанули, что ни немцы, ни командир с комиссаром нас не найдут!

Никто не возражал. Если кто и хотел продолжать марш, на это уже не было сил. Всех свалила усталость.

Мы расположились на вершине невысокого отрога хребта, тянущегося на юго-запад, в сторону Абрау-Дюрсо. Он покрыт, как и все горы вокруг, лесом и густо порос хмеречью. Кто как хотел, так и пристроился, примостился под кустами. После утомительного ночного перехода все спят. Никакие дозоры, посты, часовые не выставлены. Все в глубокой усталости, апатии...

Спали мы полдня, но, к счастью, все обошлось. Дегтярев — командир, ему и думать за всех! Он полулежит под кустом, о чем-то толкует с

помощниками. Проходит еще с полчаса, и наконец наш новый командир поднимается, садится и так, сидя, обращается к нам: [207]

— Товарищи! Нам нельзя бездействовать! Лежать и греть брюхо на солнце мы не можем. Я вот тут посоветовался и решил предпринимать следующее. Первое и самое главное — продолжать поиски командира и комиссара. Уходить отсюда до предельной возможности не будем, так как все еще находимся в районе базирования нашего отряда и искать нас командование должно где-то здесь. Мы тоже не будем прекращать поиск.

Далее, сколько дней мы будем здесь — пока неизвестно, но нам уже сейчас необходимы вода и продукты. Все мы хотим есть, а харчей нет! Раненые просят воды. Ее тоже нет! Эти вопросы надо нам решать немедленно! Итак, чтобы не терять время на болтовню, начинаем действовать...

И он начал отдавать приказы. Петраш с группой партизан был послан обойти три «точки», где хранился НЗ продуктов и боеприпасов. Разрешалось одну из них вскрыть, изъять оттуда продовольствие и доставить в отряд. Местонахождение этих «точек» Петраш знал: он входил в число особо доверенных лиц, которые производили закладку в них всего необходимого на всякий непредвиденный случай. Еще четверо были посланы на поиски воды.

Виктор Головахин, Толя Станиславов, Витька Коробов и Ворона отправились на потерянную нами вчера базу в Лобанову щель. Им была поставлена задача узнать, что там сейчас делается, и если немцы еще не успели вывезти оттуда наши продукты, постараться что-либо унести, — вплоть до того, что как-то выкрасть их у немцев! Шанс на успех — один из тысячи, но это все же лучше, чем вообще ничего не делать!

Уже поздно вечером вернулись те, что ходили на поиски воды. Они пришли уставшие, мрачные, подавленные. Сказали, что воды нет, родники высохли. В этом году лето особенно жаркое, затянувшееся. Сентябрь на исходе, а солнце палит, как в июле. За все время дождь прошел только один раз, с месяц назад. Ручьи в щелях, ключи в родниках, редкие здесь, в горах, колодцы — все безнадежно пересохло.

Почти сразу же за ними пришла и группа Петраша. Результат их похода был несколько не лучшим, если не сказать [208] еще худшим. Они рассказали, что побывали на всех трех «точках»: все вскрыты, хранившиеся там продукты и боезапас выбраны.

— Раскурочены недавно, день-два назад, — говорит Петраш, — копка свежая, земля еще не высохла. У «точки», что в Широкой щели, видели окурки немецких сигарет и «бычки» цигарок самосада. Явно чье-то

предательство из наших партизан! Само собой разумеется, что немцы не могли ничего знать о существовании и местонахождении «точек» НЗ. Их привели и показали предатели. Но кто мог это сделать? — Петраш, красный от негодования, больше обычного жестикулировал руками. — Я спрашиваю: кто? Оборудовали «точки», закладывали туда продукты и боезапас особо доверенные лица! Хотел бы я сейчас видеть, посмотреть в глаза этому «особо доверенному»! Я его вот этими руками!.. — Петраш распалился до крайности.

Вторые сутки, как мы без воды и еды. Причем это время прошло бурно, на натянутых нервах. Бой с карателями, марш-бросок по горам. Давал знать о себе голод, а жажда мучила уже и нас, здоровых. А у нас же были раненые! Им вода гораздо более необходима, чем нам!

Из-за жажды ночь прошла беспокойно, тяжело. С вечера я был назначен в караул и отстоял свое положенное время на посту (вернее, отсидел, замаскировавшись в кустах) с 18 до 23 часов. Мы долго не спали со Славкой, лежа на своих фуфайках. Спать не хотелось, а говорить было нечего. Только к утру мы уснули, и проснулись от возбужденного разговора рядом. Оказалось, вернулась группа Виктора Головахина. Они рассказывали, что, выйдя вчера отсюда, быстро и особо не таясь прошли к нашей базе в Лобановой щели. База буквально кишела немцами! Вокруг, как это и положено, немцы выставили усиленные посты, а на самой базе кипела работа! Солдаты тащили вверх на дорогу мешки с мукой, ящики с консервами, выкатывали бочки с вином и коньяком и все прочие продукты. Вверху на дороге, по-видимому, был транспорт, на который они все это и грузили. Носили, тащили, волокли весело, с хохотом, радовались легкой удаче в бою и такой крупной добычей. [209]

Имеющийся на базе запас вещей — рубахи, брюки, онучи — все переворошили, сбросили в общую кучу и подожгли. Это все и увидели наши ребята, когда лежали и наблюдали со стороны. Попробуй раздобыть что-либо в такой ситуации! Но все же раздобыли! Лежали до вечера — спешить все равно было некуда. Немцы работали до самой темноты и унесли все. Больше им здесь делать было нечего, и они убрались восвояси. Когда все затихло, ребята спустились на базу, бродили, шарили в темноте, надеясь найти что-либо из продуктов. И нашли: полнаволочки сахара-песка, несколько кусков сала и сухари в мешке. Те самые сухари, которые сушил здесь, в отряде, из нашего же выпеченного хлеба дед Гаппий. И, наконец, нашли еще и табак-махорку, россыпью в чьем-то вещмешке. Не так уж много продуктов, крохи для всех, но мы были рады и этому! Еще как рады!

После скрупулезной дележки у каждого из нас в руках был кусочек сала величиной с пачку сигарет и по большому сухарю. Раненым выдали по двойной порции того и другого.

Уже пошли третьи сутки, как мы ничего не ели и не пили. Во рту, в горле все пересохло. Язык был, казалось, большим и шершавым. Жевать, глотать сало, сухарь было тяжело, а размочить его во рту не было слюны. Но как бы там ни было — все было съедено одним махом. И вот тут-то соленое сало дало о себе знать! Я не находил себе места: садился, ложился, ходил, пытался жевать листья, мелкие веточки кустарника. Во рту сплошная горечь. Жажда!

Время подошло к полудню, солнце пекло вовсю. В голове шум, стучат молотки, временами перед глазами все начинает плыть. Все лежат вповалку, укрывшись в жиденькой тени кустов. В голове только одна мысль — воды! Где взять воду? Скорее бы вечер, скорее бы ушло солнце, скорее бы ночь! Раненые стонут, просят пить!

Лежащий неподалеку от меня Пузырев вдруг встает и громко, так, что слышат все, обращается к Дегтяреву:

— Я знаю, где есть колодец! Там всегда вода! Дайте мне двух-трех человек и разрешите сходить туда! Думаю, что мы принесем воду! [210]

— Что же ты до сих пор молчал? — спрашивает командир.

— Я не был уверен, что найду колодец, а теперь хорошо подумал, и мне кажется, найду его! — ответил Пузырев. — Во всяком случае попытаюсь найти!

— Кто добровольно пойдет с Пузыревым? Три человека? — не мешкая спросил Дегтярев.

Славка, лежащий рядом, толкнул меня:

— Вставай, Коля, пойдем! Принесут другие — дадут по глотку-два, а сами найдем — вволю напьемся.

Чего тут раздумывать? Мы встаем, говорим Дегтяреву:

— Мы пойдем!

Тут же поднимается Саша Аншаков:

— Я тоже пойду!

— Добро! Собирайтесь и идите! — разрешает командир.

А что собираться? Мы готовы!

— Возьмите вот фляги! — к нам тянутся руки партизан с пустыми флягами. Все они самодельные, из противогазных коробок. Каждый из нас взял по две-три таких фляги, а Пузырев кроме того еще и резиновую ногу от

водолазного костюма. В нее войдет не меньше двух ведер воды. Так мы и пошли. У всех, конечно же, и личное оружие — карабины, патронташи.

До войны в городе была такая организация — «Водосвет», занимавшаяся электрохозяйством и водопроводом. Там Пузырев и работал: вначале техником, а в войну, когда все под метелку были призваны в армию, он стал начальником этой организации. По какой-то причине у него была «бронь», и в армию его не взяли. В 1942 году он добровольно вступил в истребительный батальон, — ну а затем и в партизанский отряд. Доверие к нему со стороны формировавших отряд было полным. Пузырев — член партии и хотя и небольшой, но все же начальник! На внешний вид он неказист. Ростом мал, щуплый и, казалось, большой паникер. В отряде он был рядовым бойцом, — а вот сейчас ведет нас. Солнце палит, воздух жаркий, неподвижный. Идти тяжело. Мы карабкаемся с одной горы на другую. Мучает жажда. Если [211] бы не надежда, что скоро можно будет выпить воды сколько хочешь, мы уже, наверно, и не шли бы. Только это и поддерживало, и вело нас вперед. Мы молчим, всем не до разговора. Трудно ворочать сухим языком в пересохшем рту. Изредка кто-нибудь спросит:

— Далеко еще? Скоро колодец?

Пузырев молчит. Я замечаю, что он стал какой-то растерянный, беспокойный, озирается по сторонам. Заблудился, что ли?

Вдруг Пузырев воскликнул:

— Смотрите! Вон там колодец! Мы правильно идем! Осталось только спуститься с горы и пройти туда, где дорога сворачивает вправо, — там вода, ребята!

Мы воспрянули духом. Гора, по хребту которой мы шли, через пару километров заканчивалась спуском к морю. В этом месте лощина, куда нам надо было сейчас спускаться, довольно широка. Она пересекалась грунтовой дорогой, идущей от побережья моря, которая, вильнув по равнине, уходила дальше, в Сухую щель.

Откуда и сила взялась? Предвкушая через минуту-другую возможность вдоволь напиться, мы бросились за Пузыревым вниз. Кустарник здесь редкий, деревьев вовсе нет, гора почти лысая.

Вот уже крутой спуск плавно переходит в ровную, совершенно голую от растительности, широкую поляну на две лощины. В горячей голове только одна мысль: «Вода! Сейчас будем пить воду!» Скорей, скорей бы! Мы спешим...

— Стой, ложись! Немцы! — громко воскликнул вдруг Сашка, падая на землю.

Мы мигом остановились, присели, с тревогой осматриваемся. Со стороны моря по дороге из-за горы двигается колонной отряд немцев. Впереди двое на лошадях, за ними вперемешку солдаты пешком, подводы, опять солдаты, полевая кухня. По обочине трусят две огромные овчарки. Мы, пока нас не засекли, быстро-быстро, согнувшись, почти на четвереньках бежим назад через поляну до ближайших кустов хмеречи. Там падаем, глубоко дышим. [212]

Немцы тем не менее, протопав еще немного по дороге, сошли с нее, направились к опушке леса у подножья горы, от которой отсюда начиналась Сухая щель.

— К колодцу направились! — говорит с тревогой в голосе Пузырев. — Точно! Прямо к колодцу! Как раз там и вода!

— Все, хана! Напились водички! — тихо, почти шепчет воспаленными губами Славка.

— На часик раньше бы нам прийти! — вздыхает Сашка.

По поведению немцев было видно, что они уже здесь бывали раньше. Установили свою походную кухню, посуетились около, и из ее трубы пошел дым.

Вечерний кофе готовят себе! Вода рядом в достатке. По всему видать, что расположились они тут если и не надолго, то во всяком случае на ночь.

Мы подавлены, морально убиты. Прошагать столько, отдать последние силы, держаться только на сознании того, что доводящая до умопомрачения жажда вот-вот будет утолена, и вдруг, когда вода — вот она, рядом...

— Что будем делать? — обращаюсь я ко всем сразу.

Никто не отвечает. Да и что отвечать? После долгого молчания заговорил Пузырев:

— Это каратели. Они знают, что у нас нет воды, и умышленно пришли к колодцу, чтобы жажда заставила партизан выйти из леса.

— Какие там каратели?! — не соглашаюсь я, — Просто проходящая берегом из Новороссийска в Анапу воинская часть! Остановились на отдых.

— Может, и так, — говорит Славка. — Но тогда почему у них собаки? Обычно у карателей собаки!

— Как бы там ни было, а надо сидеть и ждать, — высказывает свои соображения Саша, — уйдут фрицы — мы и возьмем воду! Нас послали за водой, надеются, ждут! Мы не можем уходить отсюда без воды!

Долго молчим, думаем.

— Нет! — наконец твердо говорит Пузырев. — Сколько здесь немцы будут сидеть у воды — мы не знаем. Нам надо возвращаться в отряд! Может,

командир примет решение сделать бросок к озеру Абрау-Дюрсо и там напоить людей, [213] пока еще есть хоть сколько сил! А здесь — темное дело! Вставайте и пошли!

Мы пошли. С полдороги начало быстро темнеть. Шли мы все медленнее и медленнее, силы окончательно покидали нас. Голод не ощущался, но жажда!.. Воды! Хоть чуть-чуть, глоточек воды! Туманилось сознание. Карабин за плечом страшно тяжел, он гнул и гнул меня вниз. Рука тянется к нему сбросить его с себя. Вяло проплывает в голове приказ: «Бросать нельзя!» Туман, сплошной туман в сознании... Я с трудом передвигаю ноги, держусь и тянусь за ветки кустарника. В глазах все плывет, но вот стало чуточку легче, туман уходит.

Стало прохладнее, и мы пошли несколько быстрее. Пузырев вел уверенно, и вскоре, перейдя одну из многочисленных на нашем пути ложбин, мы оказались у горы, на склоне которой, не более как метрах в двухстах отсюда, были партизаны, ожидавшие нас.

Еще одно усилие, еще один, не такой уж крутой подъем...

Почему мы не слышим оклик часового, не видим его? Почему нет никакой охраны отряда? Может, часовой заснул где-то в зарослях? Мы проходим дальше и видим, что не только поста, вообще никого здесь нет! Может, мы заблудились и пришли не туда, куда надо? Нет, вот здесь я и Славка лежали, вот моя стеганка: как я оставил ее, так она и лежит под деревом. А вот и Славкина фуфайка, одеяло Сашки. Но где же люди? Ничего не понятно!

— Ушли все! — говорит Пузырев. — Не дождалось нас и ушли!

Кто где стоял, там и свалился. Сознание опять притупилось, помутилось. Полуобморочное состояние. Не знаю, сколько это продолжалось. Через некоторое время мне чуточку полегчало, и я начинаю соображать: что-то надо делать. Нужна вода — иначе пропадем! Потом будем думать обо всем остальном!

Толкаю Славку:

— Славка, Славка, вставай! Пойдем к воде! Мы достанем, возьмем воду, вот увидишь! [214]

Славка зашевелился, сел, и я придвинулся к нему:

— Славка, пойдем вдвоем назад, к колодцу! Будем сидеть и ждать, пока немцы не уйдут! Все равно же они должны уйти! Мы подождем! Лежать здесь бесполезно. Умрем без воды! Пойдем, Славка, я очень тебя прошу!



Славка поднялся... Мы сбросили с себя лишние фляги, оставили по две. Карабины на ремень — и пошли. Пузырев и Сашка лежат, ни звука от них. Слышали ли они, как я убеждал Славку, — не знаю.

На этот раз мы идем не по хребту горы к морю, не с горы на гору, как нас вел Пузырев. Спустившись вниз, в Мокрую щель, мы пошли прямо по грунтовой дороге, идущей туда же, к морю, где колодец. Этот путь был намного короче. Пузырев днем не повел нас так потому, что боялся встречи с немцами на ней. В данном случае он был прав: днем ходить по дорогам опасно. Сейчас же, ночью, встречи с врагом исключались полностью, и идти было намного короче и легче.

На часах около четырех часов, скоро рассвет. Пройдя с километр, мы решили отдохнуть. Сошли с дороги, сползли в глубокое, скалистое, пересохшее русло ручья, извиляющееся вдоль нее. Мы присели, и я почувствовал, что подо мной мокро. Вода где-то рядом!

— Да здесь прямо грязь! Не мокрая земля, а жидкая грязь! — голос Славки дрожит от радостного волнения.

Мы воспрянули духом, быстро идем, спотыкаемся об острые комки дна русла, то и дело наклоняемся, щупаем у себя под ногами. Продираемся сквозь густой кустарник, не обращая внимания на колющие, хлещущие нас ветки. Через десяток шагов я уперся в такое переплетение веток, что пришлось согнувшись, чуть ли не на четвереньках пролезать сквозь них. Еще шаг, второй — и я плюхнулся ногой прямо в воду. «Вода-а!»

Не раздумывая, мы бросаемся на землю, окунаем лица по самые уши в воду и пьем, пьем! В рот вместе с водой попадает что-то копошащееся, живое, песок, перепрелые листья, но мы пьем! Переводя дух, выплевываем изо рта жучков-плавунцов, еще что-то, сейчас для нас совсем не противное, и пьем снова. Наконец мы напились до предела. [215]

Дальше и больше пить некуда. Затошнило, замутило, в желудке ходуном заходило — началась долгая рвота. Нас выворачивало наизнанку...

Сидели, молчали. С каждой минутой в голове все более и более прояснялось. Утолив жажду, теперь мы уже спокойно стали осматриваться. Начало светать. Оказалось, что в этом месте, где мы сейчас, из-под скалы струилась вода. В промытом ею небольшом углублении она накапливалась лужицей, из которой, переливаясь через край, уходила сразу же вновь в землю. Чудо, что мы нашли эту лужицу. Почему, когда мы сошли с дороги отдохнуть, мы угодили точно в русло ручья? Сели бы мы на пять-десять шагов раньше или дальше этого места — и не нашли бы воду!

Мы сидели и отдыхали до полного рассвета, потом спокойно умылись и впервые за три дня разулись и вымыли ноги.

— Теперь бы плотно позавтракать — совсем хорошо было бы! — мечтает Славка.

Дождавшись, когда наша лужица вновь наполнится водой и очистится от поднятой нами мути, мы пригоршнями полностью залили свои фляги. Потом встали, собрались, выпили еще по глотку воды «в запас» и поднялись на дорогу.

— Живые там Пузырев и Сашка? — задает вопрос и мне, и самому себе Славка. — Пойдем побыстрее, надо и их отхаживать!

Назад к своим товарищам мы пришли быстро. Было уже совсем светло, и ориентироваться в лесу не составляло труда. В каком положении мы их оставили, когда уходили, — в таком они были и сейчас. Мы растормошили, подняли их: «Есть вода! Пейте, сколько хотите!»

Пузырев и Сашка, не раздумывая, не спрашивая, откуда вода, с жадностью, буквально за секунды, осушили по фляге. В запасе у нас было еще 2 фляги воды. Теперь другие заботы. Голод! Есть хотелось до дурноты! Нас качало от слабости, кружилась голова, дрожали ноги, подташнивало. Надо было серьезно осмыслить свое положение. Посидев и поразмышляв о том, почему все не дождалось, бросили нас и [216] ушли, мы ни к чему в этих размышлениях не пришли. Решили, что время должно показать само, что к чему.

— Давайте пока осмотримся, — говорит Пузырев — Сколько следов осталось после ухода наших! Просто так, не дождавшись нас с водой, они не могли уйти. Значит, что-то заставило их это сделать. Немцы, наверняка немцы опять напали! Сюда отряд уже не вернется. Ничего нам не остается делать, как идти, догонять их по следам!

Мы видим очень много признаков поспешного, возможно, даже панического бегства или ухода наших партизан. Вот брошенное кем-то свернутое в скатку байковое одеяло, вот валяется пустая фляга, рассыпаны патроны...

— Может, нам не стоит уходить отсюда, — говорит Саша, — Дегтярев должен прислать кого-нибудь за нами!

— Жди, придет! — с иронией отвечает ему Славка. — Не видишь, что ли, — они драпали отсюда, не помня себя от страха!

Вдруг слева от нас раздался негромкий свист, и в кустах мелькнула какая-то фигура. Вскинув карабин, Славка чуть было не выстрелил... Из кустов вышел, улыбаясь, Батя:

— Вот я вас и нашел!

Мы вновь сидим, Батя рассказывает. Когда мы ушли за водой, до 5 часов дня ничего нового не было: все так, как и до нашего ухода. Никто ничего не делал, все были как бы в ожидании чего-то. Дегтярев опять посылал несколько человек побродить окрест, поискать встречи с командованием отряда. Время шло к вечеру, и на подъем в гору со стороны дороги в щели был выставлен пост. Первым заступил на него сам Батя. Через некоторое время он услышал легкий, подозрительный шум. Кто-то тихо, крадучись поднимался в гору. Немцы! Бежать в отряд и докладывать было уже поздно. Батя выстрелил в мелькнувшего в кустах фрица и бросился по склону вниз, в сторону от расположения наших. Немцы за ним! С ходу спрыгнув с небольшого обрыва в густую хмеречь и зацепившись при этом ремнем карабина за какой-то сук, увильнув от пуль автоматных очередей, он благополучно оторвался от преследователей. [217]

Партизаны же, услышав выстрел Бати, сразу сорвались с места и стали поспешно уходить, слабо отстреливаясь. Немцы преследовать их не стали, время шло к ночи. Вяло постреляв еще, больше для острастки, они вернулись вниз с горы на дорогу в лощину.

Батя пошел догонять отряд, но те так быстро бежали, что, пройдя немного, он потерял их следы в уже наступавших сумерках и решил дальше в ночь не идти, а дожидаться нас с водой. Так и случилось. Тут же Батя сходил ненадолго в заросли хмеречи и вернулся с утерянным вчера карабином, а затем удобно уселся на землю, раскрыл свой вещмешок, достал оттуда несколько сухарей и раздал их нам. Он оказался запасливым мужиком. Сухари были очень кстати, и мы, голодные, не жевали их, а, наслаждаясь, сосали, прихлебывая из фляг воду, стараясь продлить это удовольствие, боясь потерять хоть крошку!

Итак, нас теперь пятеро. Мы были рады встрече с Батей. Как-никак он один из командиров нашего отряда!

Для Пузырева встреча с ним была приятной уже хотя бы потому, что с появлением его он — Батя, как бы автоматически становился старшим нашей группы, и с Пузырева снимался непосильный для него груз старшего. Сашка — тот просто был рад встрече с отцом. Одним словом, мы считали, что нам всем повезло хоть в этом. Когда с едою было покончено, мы стали совещаться, что делать дальше. Настроение было не из приятных. В течение этих прошедших дней мы оказались брошенными дважды. В первый раз нас бросило и ушло все наше командование, но тогда нас оставалось еще много — 32 человека. Вчера нас опять бросили, и теперь, включая Батю, нас

было пятеро. Что нам делать, какие предпринимать действия? Все это надо сейчас же решать. Мы были не в туристическом походе в мирное время. Кругом были враги, которые активно, энергично начали прочесывать всю округу карательными отрядами. Мы были без продуктов, вода может попадаться нам только случайно, время от времени. Воевать впятером против многочисленного врага в таких вот сложившихся обстоятельствах, неблагоприятных для нас, пока было глупо, бесполезно, но мы не [218] хотели отказываться от борьбы, горели желанием уничтожить ненавистного врага. Потерпев в эти дни поражение от него, мы тем не менее уже обстрелялись.

Батя предложил каждому высказать свое мнение о наших дальнейших действиях. Это и было тут же сделано. Обобщив высказанное всеми, решили — надо немедленно, не мешкая, идти, догонять, искать наших товарищей; идти по их следу, пока это будет возможно. Мы поднялись и пошли. Следов было более чем достаточно: вот брошенная кем-то кепка, а дальше фуфайка. Пройдя еще немного, мы нашли рюкзак Рындина. Несмотря на наше осложнившееся положение, не способствующее приятному настроению, рассмеялись мы от души! Видно, нести дальше ценные для него вещи Рындин не мог и был вынужден бросить их. Как я уже писал выше, во время боя с карателями Рындин не стрелял в наседавшего врага, а спасал свой рюкзак, убегая подальше от боя в гору и заодно прихватив в руки чемодан с таким же ненужным барахлом, как в рюкзаке. И вот этот скупой человек бросил его! Видно, здорово припекло! Мы распотрошили рюкзак, пересмотрели вещи, плюнули и пошли дальше. Шли по хребту, удаляющемуся от моря на восток. Следы все еще хорошо просматривались на местах мягкой почвы. Конечно же, если бы шли один-два человека, то следа могло и не быть, но тут шла толпа: неорганизованная, уходящая в панике. Вот и еще что-то лежит, — да это же сумка с магазинами, снаряженными патронами к американским автоматам! Ну, если уж бросать, терять патроны к автомату, расстреляв которые — выбрасывай автомат, так как где еще возьмешь патроны к нему... Да, здесь была больше чем паника. А дальше, у куста кизила, еще что-то белеет. Подошли, видим: это подушечная наволочка с сахаром-песком, тот самый сахар, который Виктор Головахин с товарищами еще позавчера с таким трудом выкрал у немцев и который не был роздан всем, а оставлен как НЗ на самый критический момент. Тоже брошена! Картина не ухода, а панического бегства наших партизан была нам теперь более чем ясна. [219]

Батя тут же разделил кружкой сахар на всех нас и сказал:

— Неизвестно, когда мы достанем себе продуктов и достанем ли их вообще, поэтому каждый из вас, получив свою долю, распорядись ею сам — или сразу съешь, или эконошь на свое усмотрение.

Так мы и шли весь день. Следы то хорошо были видны, то совсем пропадали, и мы уже не надеялись их найти, то вдруг вновь были хорошо видны. Идти было нелегко: ни дорог, ни тропинок! Шли напролом лесом, пробиваясь через густые заросли кустарника. Солнце все так же палило, трещали вокруг без умолку цикады, но уже становилось все прохладнее и прохладнее.

Справа, слева, сзади, где-то еще беспрерывно раздавались автоматные очереди — каратели прочесывали местность словно густым гребешком, поэтому шагать надо было осторожно — не напороться бы на них! Временами мы проходили места, сплошь усеянные вражескими листовками, разбрасываемыми с самолетов, которые ежедневно пролетали над лесом. В листовках были карикатуры на руководителей нашего государства, глупо, не совсем в рифму, составленные стихи, призывы сдаваться в плен. Не один раз мы наталкивались на места привалов карателей, только что оставленные ими. Кругом в таких местах валялись порошковые консервные банки, пачки от сигарет, обрывки немецких газет, иногда еще тлеющие угольки костров. К вечеру, в который уже раз потеряв и вновь найдя следы наших, мы забрались в густые заросли орешника и там расположились на ночлег. В итоге за день мы прошли не более пятнадцати километров. Никакой охраны для себя мы на ночь не выставляли. Необходимости в этом не было: немцы ночью по лесу не бродят, а гражданских лиц в такой глуши и подавно нет. Ночь проходила спокойно, только иногда наш сон тревожил треск валежника и хрюканье, — это проходили мимо своими дорогами на ночные пастбища дикие кабаны. Невдалеке плакали шакалы.

Утром, с восходом солнца, когда уже можно было вновь видеть следы, наскоро перекусив сахаром и допив остатки воды, мы двинулись дальше в путь. Хребет горы, по которому [220] мы шли, перешел в спуск, и мы оказались в ложбине, дугою уходящей вначале на север, а затем круто сворачивающей на запад, опять к морю. Следы все еще просматривались, и нам ничего не оставалось, как идти дальше, теперь уже назад, к морю, хотя и другим путем. Каратели с наступлением дня вновь занялись прочесыванием гор и леса. Стрельба то приближалась к нам, то удалялась. Неожиданно слева от нас, совсем недалеко, послышался выкрик команды на немецком языке. Ему ответили поочередно сразу несколько голосов, как бы по цепочке, и

затрещали автоматы. Теперь стрельба приближалась к нам — пули секли по кустарнику, взвизгивали у нас над головой.

Это было очередное, повторяющееся ежедневно прочесывание карателями гор и леса. Охватив цепью южный, более-менее пологий склон Новогирского хребта, самую узкую в этом месте лощину, они дугой, точно гигантским тралом, процеживали лес, двигаясь на запад, к морю. Левый фланг их цепи захватывал склон соседнего, идущего параллельно Новогирскому хребта горы, где сейчас проходили мы. Цепь карателей не была видна, но легко определялась по трескотне автоматов вдоль всей линии немцев. Стреляли они короткими очередями, энергично и быстро продвигаясь вперед. Нам со Славкой поздно было думать, куда бежать. Мы бросились здесь же, где и стояли, под ствол давно свалившегося, изъеденного временем трухлявого граба. Откинув валежник и слежавшиеся толстым слоем полусгнившие листья, мы втиснулись под них, пусть и не настолько, чтобы нас совершенно не было видно. Не видно спереди, со стороны приближающихся немцев, — а стоит им перешагнуть через граб, как мы будем на виду. Но что-либо другое сейчас невозможно было придумать, оставалось надеяться лишь на какую-то счастливую случайность, которая спасет нас.

Вот и фрицы! Идут настороженные, быстро вертят головами, озираясь вокруг. Их цепь редкая. Они уже устали, распарились. Мундиры расстегнуты до пояса, рукава закатаны, каски сдвинуты на затылок. На наше счастье, мы видим, что цепь карателей коснется нас лишь самым краем, своим левым [221] флангом. Прямо на нас идут двое, левее их никого нет. Если бы мы сейчас лежали метров на пятнадцать-двадцать правее, каратели вообще прошли бы мимо, не заметив нас.

— Стреляем разом! — шепчет мне Славка. — Ты в левого, я — в правого! И бежим к Бате!

Флажок предохранителя на затворе карабина зафиксирован в боевом положении, я прицеливаюсь...

Фриц, полуобернувшись, что-то крикнул своему соседу, крайнему в цепи, в которого целит Славка, — и вдруг увидел меня! Растерянно, с открытым ртом, оборвав себя на полуслове, он какой-то миг смотрит на меня. Сотая доля секунды — и, опомнившись, он дает длинную очередь. Тут же стреляю и я. Очередь карателя прошла по грабу, вышибив из него густую коричневую пыль-труху, в сантиметрах от наших голов.

— Бежим! — кричит Славка. Он тоже уложил своего фрица. Вскочив, бросается вправо, не оглядываясь на меня, туда, в лощину, где должны быть

Батя с Сашкой и Пузырев. Я за ним. Успеваю увидеть: «мой» фриц лежит неподвижно, Славкин — судорожно дергается...

Соединившись с остальными, с час мы шли наугад. Следы ушедших партизан больше не просматривались на каменистой почве. Вдруг далеко впереди вспыхнула и сейчас же резко усилилась, переходя в сплошной грохот, стрельба автоматов. Эхо выстрелов далеко разносилось по лощине.

— Каратели опять обнаружили и напали на наших, — сказал Батя, остановившись и прислушиваясь.

Еще некоторое время — и стрельба затихла. Что там стало с нашими? Хорошего ожидать нельзя было: что могла сделать группа в двадцать — двадцать пять партизан?

— Перекур! — объявил, останавливаясь, Батя. Он освободился от лямок вещмешка, бросил его под куст, на него карабин. Снял фуражку, ладонью обтер пот с лысины, шеи, расстегнул ворот рубахи. Мы молча расположились рядом: свернули сигарки, выбили огонь кресалом, закурили. Славка начал перематывать распустившиеся портянки, Пузырев вытянулся на спине, подложив под затылок фуфайку. Худой, тощий, он имел какой-то загнанный вид, глубоко и [222] часто дыша. Переходы, которые мы совершали, были явно не для него.

Отдохнув, посидев немного, мы двинулись дальше. Стрельбы больше не слышно, — видимо, немцы убралась восвояси. Мы набрели на небольшой ключ в зарослях под скалой — это было кстати. Вдоволь напились, умылись, наполнили в запас фляги. Вот, наконец, и место недавнего боя. Стреляные гильзы, иссеченные ветки кустарника, рваная кора деревьев — от взрывов гранат. Воздух еще хранил запах пороха, тола. Вокруг ни звука, только трещат неумолкаемые цикады.

Пройдя немного, мы увидели брошенный под кустом темно-синий рюкзак. Как его только немцы не заметили? Он был полон сухарями — это те самые сухари, которые, как и сахар в наволочке, наши ребята выкрали у немцев в Лобановой щели. С сухарями Батя поступил так же, как и с сахаром, разделив их на нас пятерых. Теперь у нас были сахар, сухари, вода во флягах, — на первое время не так уж и плохо. Надо было решать, что делать дальше, ставить себе новую задачу. Углубившись в чашу кустарника, мы решили основательно отдохнуть, посоветоваться. Рассуждать долго было ни к чему. Город наш в фашистской оккупации, возвращаться домой нельзя: неминуемо кто-то из знавших нас выдаст нас немцам. А поскольку мы считали, что наш отряд окончательно разбит и рассеян, и мы никого не нашли и не встретили, то решили сейчас же пойти на юго-восток к поселку

винсовхоза Абрау-Дюрсо. Затем мы должны были свернуть к Волчьим воротам и, пробравшись в Цемесскую долину, где-то там выяснить обстановку, определить, где фронт, и попытаться перейти его. Перейдя фронт, мы решили просить командование первой же попавшейся на нашем пути советской воинской части зачислить нас к себе — и продолжать воевать в регулярных войсках. Кроме того, мы решили, что если по пути мы случайно встретимся с партизанами (безразлично, каких отрядов), то вольемся к ним, оставив цель перехода фронта. Решив так, мы пошли.

Теперь мы шли ночью, а днем отлеживались и отсыпались в чаще леса, — так было безопаснее. К концу вторых суток [223] перехода, уже на подходе к Абрау-Дюрсо, мы напоролась на немецкую заставу, но, отстреливаясь, удачно ушли от преследования.

Днем все чаще и чаще наблюдалось скопление немецких и румынских войск по дорогам и начавшим встречаться на нашем пути небольшим хуторам в горах.

Еще два-три раза наткнувшись на немецкие посты, мы поняли, что идти дальше — значит идти в лапы врага. Начинались подступы к Новороссийску. Там и был, по-видимому, фронт: оттуда отчетливо слышалась артиллерийская стрельба. На подступах к городу, на узком участке местности, прижатой горами к морю, все вокруг было заполнено вражескими войсками. Незамеченными пройти через них, через занятый ими город, а затем как-то переходить фронт было безнадежно...

Днем все так же палит солнце, жарко. Еда все та же — сухари и сахар. В лесу ни ягод кизила, ни яблоч-дичков или лесных груш: в этом году все сгорело еще ранней весной и жарким летом. Мы повернули назад и пошли теперь уже к родному городу, планируя идти от Анапы к станции Тоннельной, где-то там перейти железную дорогу и уйти дальше, в горы, в леса к станции Неберджаевской. Опять пересекли поперек Мокрую, Сухую, Новогирскую, Лобанову щели. Оставив слева село Сукко, обошли поселок Павловка, перевалили через Козел и спустились на невысокие Су-Псехские горы.

К рассвету одного из дней мы вышли к Анапе. Отойдя подальше от дороги, мы стали выбирать безопасное место, чтобы укрыться до вечера, и набрали на брошенный ток. Недавно здесь молотили подсолнух, и после обмолота все было тщательно, под метелку убрано, но в одном месте мы нашли немного притоптанных в пыль семечек. Их мы стали собирать поштучно, веять, очищать от пыли. Набрали пригоршни три, которые честно разделили на всех поровну и сырыми, вместе с лузгой, не разжевывая съели.



Мы не могли удержаться от желания рассмотреть свой родной город. Рискую быть увиденными кем-то со стороны, мы вышли на голую от кустов поляну, уселись на землю и [224] смотрели на Анапу. Тяжело и больно было смотреть на брошенный без боя, отданный на поругание врагу, растерзанный дом. Я видел рваные раны города. Большая его часть, особенно центр и район, прилегающий к порту, были разрушены бомбежками. Подорванные казармы и учебные корпуса моршколы чернели копотью пожарищ. В развалинах красивейшее здание города — курортная поликлиника, построенная в каком-то затейливом стиле архитектуры еще задолго до революции. С сорванной крышей и зияющими пустотой окнами стоит на набережной опаленная огнем гостиница «2-я пятилетка». Рядом исковерканная взрывами бомб гостиница «Джиника». В порту тоже со всей своей неистовостью погулял пожар. Просматривался задымленный, полуразрушенный Клуб водников. У пристани обгорелые, побитые рыбацкие шхуны. По берегу, вдоль пляжа, много выброшенных еще весной прошедшими штормами судов гражданского флота. Посредине бухты из воды торчат верхушки мачт потопленного при бомбежке еще в июле громадного транспорта «Эльбрус», груженного бочками с коллекционными винами, вывезенными им из Крыма, из подвалов «Массандры» и частично догруженного здесь, в Анапе, отборным вином анапского и джеметинского винзаводов. С грустью, с болью в сердце насмотревшись на истерзанный город и опасаясь быть замеченными, мы ушли с поляны и провели в томительном бездействии весь день в густых зарослях хмеречи. Вечером Батя еще долго не давал нам приказ двигаться дальше: долго лежал молча и о чем-то думал.

Вокруг стояла осенняя, какая-то успокаивающая тишина. Вдруг со стороны моря загудело, загрохотало, и оттуда потянулись огненные трассы летящих снарядов. Их полет хорошо был виден в уже наступившей ночной темноте. Это подошли морем наши военные корабли и своей артиллерией обстреливали город. Нам с высоты хорошо было видно, как снаряды сыпались в районе порта, на набережной, в центральной части города, но особенно много их падало в поселке Джемет, откуда начала огрызаться немецкая береговая оборона. Вперемежку со стрельбой орудий крупного [225] калибра, с кораблей, — и в ответ им с берега неслись огненные трассы автоматической, малокалиберной артиллерии. Досмотрев до конца эту бессмысленную артиллерийскую дуэль, мы стали собираться в дальнейший путь.

— Стоило ли командованию посылать наши корабли сюда, к Анапе, и беспорядочно, бесприцельно бросать сотни снарядов по городу? — говорит Славка. — У нас так много снарядов, что их девать некуда? Толку же от этого обстрела никакого — пшик!

— И какая надобность убивать своих же, жителей города? — рассуждал вслух я. — Ну, где-то в городе есть и немцы. Но их-то мало, и они наверняка при этом обстреле сидели в каких-то укрытиях! А где спрятаться, например, моей маме, моему брату? И другим людям, их соседям?

— Бей своих, чтоб чужие боялись! — высказался Батя старой поговоркой.

Обстрел города кораблями, который мы наблюдали, был не случайным, не единичным. В последующее время это повторялось не один раз. Корабли подходили ночами и стреляли. Потом мне пришлось не только видеть это своими глазами, но и побывать под разрывами этих снарядов.

\* \* \*

Спустившись с гор, оставляя слева соседствующую с городом станицу Анапскую, а справа поселок Гайкодзор, мы подошли к станице Раевской. Побродили по огородам окраинных дворов, пытаюсь найти что-нибудь съедобное из овощей, но ничего в темноте не нашли и опять вошли в лес. Идти было легко, так как ярко светила луна. Неожиданно мы наткнулись на стоянку партизан. В небольшой ложбине глубоко в зарослях валялось несколько фуфак-ватников, еще какие-то ненужные вещи. Я подобрал вполне исправный пистолет-ракетницу, но ракет к ней рядом не было, и я тут же без сожаления ее выбросил. Обнаружение стоянки отряда партизан нас обрадовало. Мы еще раньше знали, что был организован отряд раевских партизан, и теперь убедились, что он действительно есть и находится где-то здесь, в этих лесах. Значит, у нас есть надежда их встретить.

Как выяснилось впоследствии, много лет спустя, надеялись [226] мы зря, потому что в тот момент отряд раевских партизан уже не существовал. Он был разбит, рассеян карателями, а оставшиеся в живых партизаны, кто как мог, пробрались и скрылись в лесах Темной Гостагайки. А пока мы, выйдя из леса, броском проскочили голое поле и подошли к автодороге Анапа — Тоннельная, которую нам необходимо было перейти. Сделать это было непросто: по дороге с включенными фарами, не соблюдая светомаскировку, почти непрерывным потоком шли автоколонны немцев. В то время в Новороссийске шли жестокие бои, которые пожирали массу

боеприпасов и живой силы. Немцы доставляли все это морем из Крыма в Анапский порт, а отсюда, по этому самому шоссе, — в Новороссийск.

Кустарника вблизи дороги не было, мы укрылись в оросительной канаве, на нашу удачу оказавшейся без воды, и по ней скрытно подобралась метров до тридцати к дороге. Помимо движения автомашин с грузами по ней сновали туда и назад бронетранспортеры — дорога патрулировалась. Сидеть в канаве нам пришлось долго. Во второй половине ночи, ближе к рассвету, движение наконец пошло на убыль: машины проскакивали уже одиночками. Дальше выждать не было никакого смысла, и мы все разом, броском проскочили дорогу, успели добежать до ближайших под горою кустов и скрылись в них.

За остаток ночи, после того как еще дальше углубились в лес, мы отдохнули, подремали и на этот раз уже днем пошли по горам на восток, в сторону железной дороги Краснодар — Новороссийск. К этому моменту я почувствовал, что приболел. Недоедание, плохая, грязная вода для питья, сон на уже холодной земле — все это, наверное, и сказалось на мне. К счастью, болезнь не развилась дальше: вскоре температура пошла на убыль, в голове посветлело, я почувствовал себя бодрее, и все вошло в норму.

На одной из пологих вершин горы, в лесу, проходя, мы увидели подбитый грузовик — отечественный «ГАЗ-АА», «полуторку». Горою, до верху, до крыши кабины, его кузов был загружен книгами, часть из них высыпалась на землю. Страстно любя книги, я не мог удержаться, подошел к машине [227] и начал их подбирать. Мое внимание привлек «Овод» Войнич. Эту книгу я читал месяца два назад в перерывах между бомбежками, когда с товарищами, бессменно, четверо суток подряд, круглосуточно охранял городскую радиостанцию. Тогда я увидел ее на столе у радиста, Анатолия Яринова.

— Возьми! Возьми, Коля, и внимательно прочти! Ты узнаешь судьбу горячо любящего свою Родину патриота, отдавшего жизнь ради идеи освобождения ее от врагов! — так, давая мне читать, сказал владелец этой прекрасной книги. — С таких героев нам всем надо брать пример стойкости, самопожертвования в борьбе за свободу Родины!

Я еще не знал, что Анатолий Яринов в это время уже подобострастно, ревностно работал у немцев в анапском гестапо агентом и консультантом по ликвидации партизанского движения в Анапском районе. Перебежав к карателям, он передал им шифры радиосвязи с Большой Землей, списки личного состава обоих наших партизанских отрядов, сведения о вооружении

и многое другое. Как радист, он много знал. За такую щедрость с его стороны немцы простили ему партийность, сохранили ненадолго жизнь...

Не прошли мы и сотни шагов по слабо протоптанной тропе в каменистой почве горы, как слева, в редком кустарнике, увидели наспех сложенный небольшой штабель ящичков с патронами, прикрытый наломанными ветками с уже пожухлыми листьями. Все ящички были одинаковые, стандартные, маркированные. Некоторые были вскрыты, и из них высыпались патроны. Пересмотрев их, мы увидели, что все они к револьверу системы «наган», и нам ни к чему. Наганов у нас нет, а к карабинам у каждого был вполне достаточный запас.

Из-за ближайших деревьев за штабелем тянуло трупным запахом. Мы пошли посмотреть, что там, и увидели ужасную картину. Кругом, куда ни кинешь взгляд, под деревьями, кустами и просто на открытом месте, в одиночку, парами, а то и по трое-четверо, лежали трупы наших матросов. Кто в бушлатах, кто раздет до «рябчика»... Все в бинтах. Высохшая кровь порыжелая, лица у всех черные, как уголь. Они [228] уже были в стадии полного разложения. Солнце, устоявшаяся дневная жара быстро делали свое дело. Мы стояли, смотрели...

— Все они раненые были. Здесь их оставили товарищи, возможно, временно, а тут... враги! Расстреляли их всех немцы! Посмотрите — здесь нет никакого признака прошедшего боя! Их, беспомощных, просто расстреляли! — толковал нам Батя.

Тяжелый, густой смрад не позволял нам долго стоять. «Пошли!» — скомандовал Батя, и мы поторопились за ним.

В полдень мы подошли к узкой лощине, по дну которой тянулся одной улицей небольшой поселок. Противоположной от нас окраиной он скрывался за густо поросшие лесом отрогами гор, бараньими лбами спускавшиеся один за другим в лощину. Некоторое время мы наблюдали с горы — есть ли в поселке немцы? Не видно было не только их, но и жителей. Батя приказал мне пройти в крайние дома и выпросить у жителей что-либо поесть.

Сняв с себя все снаряжение и оружие, я спустился с горы и вошел в улицу поселка. В одном их дворов я увидел хозяйку, женщину среднего возраста. На печи стоял большой чугунок, и в нем варился ароматный борщ. Такой борщ, какой могут варить только женщины на Кубани. Заправленный в конце варки старым толченым салом, он имеет не сравнимый ни с чем, особый вкус. Запах борща разносился по всему двору, и я, уже долгое время полуголодный, забывший, что такое нормальная еда, был просто одурманен его запахом.

— Добрый день, тетя! — здороваюсь я. — Дайте, или продайте, если можете, что-нибудь покушать!

— Чого я тобі дам, хлопчик! Борщ ще не готов! А кромэ борща е тилько хлиб та солэни огирки. Давай я тэбэ сховаю у сараи, а колы борщ поспие, нагодую! Тилько тэбэ трэба сховати або тикать швыдче отсель! Бо у нас, тамочки через дви хаты, живэ злодэй — староста и полицаи при ем. Цэ нэ люды, а люти звэри! — рассказывала хозяйка.

— Большое вам спасибо, тетя! Но поесть ваш борщ я не [229] смогу. Меня ждут товарищи в лесу! Дайте, пожалуйста, мне хлеба, и я пойду!

Женщина заторопилась, сбегала в дом, вынесла какую-то тряпицу и круглую буханку хлеба, потом огурцы, увязала все это в узел и отдала мне.

— Иды, иды, хлопчик! Я бачу — вы партизаны! Дай вам бог здоровья! Нэ трэба мины нияких грошив! Мий сын, Пэтро, тож в Радяньской армьи! Абось его тож хтось голоднаго покормиэ! — прослезилась она. — Иды с богом, сынок!

— А что, у вас здесь немцы не бывают?

— Як нэ бувають? Бувають! Прийдут, попьанствують у старосты и уезжают. Позавчера к нам в хутор зайшов якись матрос. Мабудь окружэнец. Тот, як и ты, просив поисты. Дюжэ худый и слабый був матрос. Так его староста спиймав и посадыв к соби у пидвал. Потом послал своего свояка-полицая кудысь, и тот вчора приихав з нимцами. Были матроса дюже, забрали потим и уйихалы. Старосте ахвицыр руку пожав за матроса. Вон вин ходэ у огороде! Глянь! В синэй рубахе с бородой! — показала она мне мужика, шедшего в огород слопатой.

— Тикай, хлопче, швыдче! — беспокоилась добрая жена.

Я вышел со двора и быстро пошел в лес. На опушке сидел с карабином в руках Славка.

— Ты что здесь делаешь? — спросил я.

— Жду тебя! Если бы на тебя напали полицаи, я бы постарался спасти! Для этого сижу, наблюдаю!

У меня быстро созрел план.

— Дай мне твой карабин и жди меня здесь, — сказал я, бросая ему узел с едой, и бегом направился назад. Сейчас я бежал не улицей, а задми дворов, к огороду старосты. Это было совсем близко. И вот он — в синей рубахе, с бородою, стоит в своем огороде, прикуривает от кресала самокрутку. Рядом воткнутая в землю лопата. Я быстро укладываю карабин в развилку веток ореха. До старосты недалеко, метров 40, не более. Нет, я не промахнусь! Я

уже достаточно настроился в своей жизни! Сейчас я всажу в тебя пулю, подлый предатель! За матроса! За наших советских людей! [230]

Почему-то я хочу видеть его морду, поэтому кричу: «Эй!» Он испуганно оборачивается. Я стреляю. Стреляю в подлую рожу!

Староста, взмахнув руками, падает навзничь. Спокойно, но быстро, так же огородами, я иду назад за околицу. Во дворе стоит добрая хозяйка, а на опушке, на том же месте, в кустах меня ждет Славка...

Весь день Батя водил нас, как мне казалось, беспорядочно, с горы на гору по крутым осыпям или непролазной чаще густого кустарника. Он как будто что-то искал. Я совершенно потерял ориентировку, хотя понимал, что мы кружим невдалеке от станции Тоннельной. Был уже поздний вечер, и мы шли узкой тропой один за другим, цепочкой. Первым, конечно же, Батя, за ним Славка, дальше я и позади совсем выбившийся из сил Пузырев.

— Стой! Кто такие? — вдруг раздалось впереди.

— А вы кто такие? — слышу голос Бати в ответ. Мы стали. Я ничего не мог различить в темноте.

— Куда идете? Кто такие? — требовательно и настойчиво продолжал спрашивать нас девичий голос.

— Куда мы идем — это наше дело! Я же вас не спрашиваю, куда вы идете! — ответил Батя.

— Что будем делать с ними, Андрей? — слышен уже другой голос, но опять девичий.

Минутная тишина. Наверное, там, впереди нас, совещались.

— Пусть идут! Раз у них есть своя дорога — пусть идут! — уже громко, с расчетом на то, чтобы слышали мы, высказался мужской басок.

— Идите! — как-то недружелюбно и настороженно приказал нам тот же девичий голос.

Мы пошли. Я так и не увидел говоривших с нами.

— Это были партизаны! Мы дураки и идиоты! — громко высказываюсь я, когда Батя объявляет привал и мы располагаемся на ночлег. — Ходим, ходим, ищем партизан, никак не находим, а тут они сами к нам пришли! А мы и растерялись! Мы самые настоящие идиоты!.. [231]

В стороне города Новороссийска гремела канонада. Отчетливо слышались почти бесконечные очереди крупнокалиберных пулеметов, тяжело и глухо рвались тяжелые снаряды. Вот и фронт! Совсем недалеко!

Солнце только-только еще показалось из-за гор, а мы уже вышли к железной дороге: как потом оказалось, между станицей Тоннельной и поселком Горный. Короткая лощинка раздвигала невысокие здесь горы и

выходила в широкую долину, которая тянулась на многие километры на восток.

Прямо под нами у дороги, друг против друга, два отдельно расположенных двора с небольшими огородами, два дома. В огороде одного из них копается девушка.

— Николай! Иди к девушке, попроси у нее что-либо поесть и расспроси хорошенько, где фронт, и вообще, что слышно в народе, — приказал мне Батя.

По проходящему рядом с железной дорогой шоссе уже с раннего утра двигались воинские части немцев, поэтому я двигался скрытно, стараясь не показываться из кустарника. Добравшись до цели, я поздоровался с девушкой и попросил продать нам какую-нибудь еду. Девушка ушла в дом и тут же вышла, передав мне сверток с хлебом и традиционными уже для нас солеными огурцами.

— Извини! Другого у меня ничего нет! — сказала она.

Мы чувствовали взаимное расположение друг к другу: может быть, сказывалась наша молодость? И я, еще раз осмотревшись и не видя вокруг никого и ничего опасного для себя, пошел на откровенность:

— Скажи, где сейчас фронт? Ты что-нибудь знаешь об этом? Нам надо перейти фронт к своим, и как можно быстрее!

— Быстро не получится! Да вы просто не перейдете фронт, потому что вы его не догоните! Он уже под Сочи!

— Не может этого быть! Ты слышишь артиллерию? Что же это за стрельба, если фронт не там?

— Ха, стрельба! — видя мое недоверие к ее словам, рассердилась она. — Это стрельба в Новороссийске. В цемзаводах окружен немцами батальон моряков! Там идет последний [232] бой. Вот тебе и артиллерия, и пулеметы, и минометы! А фронт — тю-тю!

Это была неприятная весть, и я, быстро поблагодарив девушку за еду, поспешил к своим доложить.

Выслушав меня, Батя, подумав, сказал:

— Если фронт уже под Сочи, мы туда не дойдем!

Действительно, наши вид и состояние были ужасны. Исхудавшие, голодные — сухари и сахар уже съедены. Немытые, завшивленные, давно не стриженные, заросшие. У Бати и Пузырева отросли усы и бороды. Одежда местами изорвана. Но что внешность! Мы были физически истощены.

— Поэтому я окончательно, твердо решил отделиться с сыном от вас и идти своей дорогой! — продолжил Батя.

Пузырев тут же заявил, что он пойдет в поселок Нижнебаканский. Мы находились от него километрах в семи-восьми. Там, в поселке, проживала его родная сестра, и он решил устроиться у нее.

Мы со Славкой стали думать и рассуждать вслух.

— Возвращаться мне в Анапу нет никакого смысла. Там у меня никого нет! — сказал Славка.

Его отец с работниками горисполкома эвакуировался в Сочи еще задолго до оккупации города немцами, а мать со Славкиной сестрой Тамаркой должна была уехать в станицу Красноармейскую, где у нее было много родственников.

Что с моей мамой и братом Борисом, живы ли они, где они сейчас, — я не знал. Да и опасно было нам идти в Анапу. Очень многие знали, что мы служили в истребительном батальоне и ушли в партизаны.

— Давай, Коля, пробираться вместе к моим родным, в Красноармейскую, — предложил Славка. — Придем туда, мама, родственники помогут нам устроиться на первое время. А как поживем, посмотримся — будем искать и обязательно найдем местных партизан. Недалеко от станицы протекают Кубань, Протока, там плавни, в которых должны быть партизаны! Если что, так мы можем оттуда в Краснодар махнуть! Город большой, найдем подпольщиков и будем с ними заниматься диверсиями. [233]

Это предложение показалось мне убедительным, честным по отношению к принятой нами партизанской присяге, и я согласился без колебаний. Тем более что мне и Славке очень уж не хотелось расставаться друг с другом.

Таким образом, наша маленькая группа, потеряв следы и надежду отыскать оставшихся в живых товарищей-партизан нашего отряда, не сумев найти контакт и влиться в какой-либо другой партизанский отряд, считая невозможным в дальнейшем продвигаться к линии фронта из-за ее удаленности, решила самоликвидироваться. Это было ошибкой. Как выяснилось уже потом, девушка из домика у железной дороги информировала нас неправильно. Она пользовалась недостоверным слухом, а мы так легко поверили ей! В Новороссийске действительно шли бои в цементных заводах, — но не с отдельным батальоном моряков, там был фронт. Значит, перейдя железную дорогу и продолжая идти лесом в горах еще километров двадцать строго на юго-восток, оставляя справа за Маркхотским перевалом Новороссийск, мы примерно у поселка Неберджаевский могли бы сделать попытку перейти линию фронта. А мы



этого не сделали! Вместо этого мы решили выйти из леса и идти в дальнейшем на свой страх и риск, кто куда.

По предложению Бати, вырыв яму в осыпавшемся щебне под нависающей скалой, мы закопали оружие. Перед этим мы обильно смазали карабины оружейным маслом из имеющихся у каждого из нас масленок и тщательно завернули их вместе с патронами в порванное на ленты байковое одеяло. Посидев еще с полчаса молча вместе, мы со Славкой (чего тянуть резину?) первыми встали и стали прощаться.

— Мы идем в Красноармейскую, Пузырев в Нижнебаканскую к сестре, а вы куда, Батя, пойдете с Шуркой? — спросил я напоследок.

— Идите, идите! Мы найдем себе дорогу! — опять грубовато ответил Батя. Видно, он тяготился нашим присутствием и рад был побыстрее избавиться от нас. Уже в третий раз за прошедший месяц нас бросали командиры. Было горько и обидно. [234]

Быстро и легко, теперь уже без оружия, мы со Славкой спустились с горы, перешли железнодорожное полотно (здесь оно проходило по невысокой насыпи) и открыто, не таясь, вышли на дорогу. Намеченный нами путь был длинным: пройти надо было очень много километров. Фронт недалеко, все вокруг было густо насыщено немецкими и румынскими воинскими частями. В прифронтной полосе идти долгое время рискованно, небезопасно, но выбора у нас не было. Надо идти — и мы шли. Пошли мы в сторону крупнейшей станции на Кубани — Крымской (теперь это город Крымск). Идя по дороге, мы чувствовали себя странно и неуютно. Еще бы! Только-только нас преследовали враги, мы уходили от них, скрывались, схватывались в мелких, жестоких стычках, а теперь эти самые враги проходят, проезжают мимо нас. Вот они, рядом! Мы слышим их свободную от командных выкриков речь, мы чувствуем их запах — незнакомый, чуждый нам, непривычный, тяжелый. Чувствуем то едкий, терпкий дым от дешевых румынских сигарет, то сладковато-пряный, мягкий от дорогих немецких сигар. Немцы, румыны группами, строем, пешком, на подводах, автомашинах, мотоциклах проходят, проезжают, проносятся мимо нас в обе стороны, но больше в сторону Новороссийска. Вот навстречу мимо нас идет румынский обоз. Лошади наши, русские. Прежде чем попасть сюда, на Кубань, румыны прошли Украину, Крым, Ростовскую область, и им было где набрать лошадей. А вот подводы не наши, это «фурманки» — так почему-то их называли. Они с высокими дугами, обтянутые брезентом. Ни дать ни взять — цыганские кибитки на колесах! На каждом передке два-три солдата.

Едут, насвистывают, тянут голосом заунывные, грустные мелодии. Везут, видно, боеприпасы, продовольствие, фураж. Мы уступаем им дорогу.

Проходит колонна солдат-румын. Форма какая-то, на наш взгляд, несуразная, цвет ее темно-желтый. На голове не то пилотки, не то фуражки из сукна, с мягким козырьком. Шинели в виде пальто, с двумя рядами пуговиц впереди, на ногах желтые обмотки и ботинки. Все вооружены длинными [235] винтовками, автоматов нет. Общий вид их какой-то подавленный, заспанный.

Обгоняя нас, проносятся две немецкие автомашины. Широкие, с крытым брезентом верхом, на полугусеничном ходу, камуфлированные коричнево-желтой краской. Под брезентом поперек кузова — сиденья в несколько рядов. На них раненые немцы в бинтах: на двух машинах их человек шестьдесят, не меньше. Туда и сюда проносятся еще много разных по форме и размеру, собранных со всей Европы автомашин. Бросается в глаза, что многие из них имеют высоко выдвинутые штыри телескопических радиоантенн, а впереди, на бампере, в стороны от фар — выкрашенные в белый цвет шарики на металлических стержнях: габариты, облегчающие въезд автомашин в узкие проходы.

Впережку с автомашинами едут и немецкие обозники. У этих добротные, емкие, сбитые из досок подводы. Предусмотрен максимум удобств для ездового: ступеньки, чтобы по ним взойти и сесть на обтянутое кожей полумягкое сиденье со спинкой-перекладной. Сзади стеклянные габаритные фонари-отражатели. Впереди у сиденья ездового ручка ручного тормоза колес и рядом гильза, в которой торчит вверх длинейший кнут. По бортам ремнями аккуратно укреплены лопата и кирка. Подводы, так же как и автомашины, выкрашены разводами и пятнами — для маскировки. Впряжены в них такие же громоздкие, как и подводы, крупные лошади-тяжеловозы. У многих ездовых в зубах длинные, изогнутые вниз, свисающие изо рта курительные трубки, горящий табак в которых, чтобы не высыпался, прикрыт металлической крышкой-сеткой. Эти едут не торопясь, как в поле за картошкой. Прносятся запыленные, по-видимому, связные — на мотоциклах с колясками и пулеметами впереди. Вот промчался мимо какой-то фриц-офицер на легком, одиночном мотоцикле.

А вот опять нам навстречу шагает рота румын. Эти одеты по-щегольски, с претензией на шик, в подогнанных мундирах. На головах не пилотки, а огромные береты, сдвинутые на ухо и свисающие до самого плеча. Как они только держатся на голове? На ногах не обмотки, а краги и добротные [236] коричневые ботинки с шипами на подошвах. У некоторых на плече

аксельбанты, много разных значков. Видно, какой-то привилегированный род войск. Эти идут весело, бодро, слышится смех, шумные восклицания. Ничего, идите, идите! Еще 20 километров — и вы будете в Новороссийске. Там наши моряки быстро собьют с вас спесь, сволочи!

Проходят по дороге и гражданские, наши советские люди. Больше женщины пожилого возраста с кошелками, узлами на плечах, с ними дети. Мы сходим с дороги за кювет, потому что навстречу нам идет колонна военной техники немцев. Мощные автомашины с орудиями на прицепе, размалеванные краской бронетранспортеры, два-три танка, машины, набитые солдатней в кузовах. На всей технике этой колонны нарисованы знаки — прыгающая пантера. По-видимому, это отличительный знак воинской части. Вот так мы и идем среди врагов. На нас мало кто обращает внимание. Им не до нас!

У развилок дорог, на перекрестках, стоят солдаты полевой жандармерии. В касках, в серых от пыли плащах с крылаткой на спине, с огромными металлическими бляхами от плеча до плеча на массивных цепях, свисающих с шеи на грудь. На бляхах выделялся тисненый орел, держащий свастику в когтях, и какая-то надпись по периметру. Рядом с жандармами стоят такие же серые, тяжелые, запыленные мотоциклы. Фрицы зло, подозрительно пронизывали взглядом каждого проходящего русского. Некоторых по каким-то им одним известным причинам они останавливали, требовали предъявить документы, что-то расспрашивали.

Идти по дороге было все же рискованно. В любой момент нас могут остановить, задержать, и хорошо для нас это кончиться не могло. Но надо было рисковать, и мы так и шли, внутренне напрягшись, ожидая окрика, относящегося к нам. И дождались...

Это случилось у станицы Нижнебаканская, через которую мы должны были пройти в сторону Крымской. Если по дороге шло много войск, то станица была просто запружена ими. Здесь были одни немцы, румын не было видно. Была середина дня, обеденное время. Дымились во дворах или [237] просто у заборов домов на улице походные кухни. Солдаты-повара в белых колпаках и нарукавниках, возвышаясь над стоящими в очереди, красные, потные от горячих котлов, разливали черпаками пищу в подставляемые солдатами плоские, впервые нами увиденные котелки. Стоял густой дух вареного гороха в супе, жирно блестели куски свинины в картошке, накладываемой поварами на второе в крышки котелков.

На обочине дороги, в кюветах, под заборами, на самой дороге — везде полным-полно сидящих, обедающих солдат.

— Вот бы сейчас сюда пару наших самолетов с бомбами! Много они здесь навалили бы фрицев! — тихо говорю я Славке, обходя сидящих немцев.

Неожиданно для себя мы попали в самую гущу фрицев, но поворачивать назад уже было нельзя, и мы продолжали идти, стараясь казаться непринужденными. Некоторые солдаты пообедали, разделись до пояса, греясь под лучами уже осеннего, но еще теплого солнца, курили, громко говорили между собою. Другие разулись и сушили носки, не стесняясь искали в своем белье вшей и били их. Некоторые обращались к нам, спрашивая что-то на своем языке, но мы делали вид, что не слышим их, продолжали быстро идти. Нервы были натянуты до предела.

Вдруг сзади нас громкий голос чисто по-русски, без какого-либо акцента, произнес:

— Эй! Инженеры! Стойте!

Я, продолжая идти, чуть-чуть, незаметно обернулся и увидел позади стоящего посреди шоссе высокого немца в полной армейской форме. Он смотрел на нас, и его приказ был явно обращен к нам.

— Не поворачивайся! Может, отстанет! — шепчет мне Славка.

— Инженеры! Стоять на месте! — уже более громко и твердо крикнул фриц.

Нам ничего не оставалось, как остановиться и повернуться к нему.

— Куда идете? Кто такие? — спросил он, подходя. [238]

Надо сказать, что еще до выхода из леса на дорогу, предвидя, что рано или поздно нам придется отвечать на вопросы о том, кто мы такие и куда идем, мы со Славкой сочинили легенду о себе и договорились между собою при любых обстоятельствах на допросах рассказывать только ее. Она, легенда, была такова: мы оба родом из станицы Красноармейской, там и сейчас живут наши родители. За год до оккупации мы бросили школу и пошли на заработки в Новороссийск. Трудно было найти какую-либо работу, и в конце концов мы устроились грузчиками на цемзавод «Пролетарий». Работали до подхода фронта, пока не закрылся завод. Жили в общежитии. Сейчас, потеряв при бомбежке свои личные вещи с документами и все заработанные деньги, мы возвращаемся домой к родителям. Вот и все!

Это было лучшее, что мы могли придумать. Кто сможет отрицать или проверять, правда ли, что мы работали на цемзаводе? Никто! Там сейчас идут жестокие бои. Кому охота будет проверять, действительно ли наши родители живут там, где мы говорим? Думаем — никому! Вот эту нашу легенду мы и рассказали впервые остановившему нас немцу. Он выслушал нас с иронической гримасой на лице и сказал:

— Вы все врете! Вы из леса! Или сбежали из лагеря!

— Какой там лагерь еще? Из какого леса? Мы работали в Новороссийске и идем домой! Наши мамы там, дома, очень волнуются за нас! — затараторили мы.

— Вы врете! — повторил немец. — Посмотрите на себя — вы же в полувоенной форме! Противогазные сумки на вас! Одеяло в скатке! Как только вас до сих пор не задержала полевая жандармерия?

Сидящие рядом на дороге солдаты не понимали нашего разговора, не знали языка, но с любопытством смотрели и переговаривались между собою, показывая на нас друг другу.

— Ну, вот что, хватит болтать! Идите к вашим мамам, они вас заждались! — неожиданно для нас закончил немец. — Идите и впредь не попадайтесь немцам!

И уже в спину нам: [239]

— А от военных вещей поспешите избавиться!

Все произошло так быстро, что мы и не осознали по-настоящему всю опасность, угрожавшую нам только что. Рассуждать о случившемся и удивляться поведению немца мы начали, пройдя уже квартала два по все той же дороге, главной улице станицы. Здесь, ближе к окраине, немцев не было.

Кто же это был? Кто говорил с нами? Это немец, он в полной военной форме! Но тогда почему он так отлично говорит по-русски? И почему напоследок он сказал нам: «Идите и не попадайтесь немцам!» Если это был русский, предатель Родины, служащий в немецкой армии, то почему он в таком случае не задержал нас? Такие сволочи любят выслуживаться, и, задержав нас, он был бы рад благодарности, полученной от немцев. Тогда, если не немец и не предатель и при этом русский, то он наш советский разведчик, надевший армейскую форму врага? Тоже нет, поскольку если он был разведчиком, то не устроил бы этот спектакль на дороге в окружении солдат, привлекая их внимание к себе и к нам слишком уж громким разговором!

Сколько мы ни рассуждали со Славкой, ничего не могли понять. Ну и не надо! Главное — мы легко отделались и теперь, свернув в переулок и выйдя к огороду ближайшего дома, укрылись в тень бузины, сели передохнуть.

— Мы и вправду пентюхи! — говорит Славка. — Зачем мы тащим на себе эти военные вещи? Надо послушаться совета этого «немца» и выбросить все лишнее!

Так мы и сделали: выбросили противогазные сумки с флягами в них, вещмешок. Одеяло в скатке пока оставили. «Выменяем на харчи!» — сказал

я. Табак-махорку из вещмешка мы пересыпали себе в карманы. Думали: куда деть ножи-финки? Выбрасывать было жаль, дорога впереди еще длинная, мало ли что? Мы спрятали их в чехлах сзади за спиной, на поясах с внутренней стороны брюк, и договорились, что если придется пускать в дело ножи, то сигналом будет движение руки кого-либо из нас за спину.

Голод давал о себе знать, и мы, передохнув, теперь уже [240] налегке, поднялись и пошли в ближайшие дворы просить у жителей что-либо поесть.

Редко где увидишь во дворе мужчину. Война подобрала молодых, а пожилые, по каким-либо причинам оставшиеся еще дома, старались не показываться на глаза. Только и видишь женщин, детей!

Мы все еще не привыкли просить вот так, просто, поесть. Было стыдно, но, перебарывая себя (куда денешься!), просишь. Язык не поворачивался сказать: «Дайте поесть, тетя!» Чтобы хоть чуть-чуть сгладить неловкость и не было так стыдно, я обычно говорил так:

— Тетя! Продайте, пожалуйста, нам что-нибудь поесть!

Потом нам со Славкой, а позже и мне одному еще много пришлось просить, и надо сказать, что очень многие в то тяжелое время делились последним куском хлеба с просящими, совершенно незнакомыми людьми! Но были и сволочи — такие за кусок хлеба, за «кочан» кукурузы старались содрать с тебя все, вплоть до грязной, вшивой рубахи, не брезгуя этим.

В одном из дворов за наше байковое одеяло хозяйка согласилась накормить нас: подала в мисках борщ с куском курятины каждому, а закусить поставила арбузный мед — бекмез, и еще дала по чашке отвара. Наелись мы плотно, сытно, хорошо. Поблагодарили хозяйку, оставили ей свое одеяло и ушли.

— Если вот так, только за вещи нам будут давать поесть, то в следующий раз придется отдавать штаны, — шутил Славка, — лишнего у нас больше ничего нет!

Идя по станице, мы видели много расклеенных, написанных от руки печатными буквами или отпечатанных типографским способом приказов немецкого коменданта. На стенах домов, на заборах, на столбах, — везде приказы. Содержание почти одинаковое во всех: всем вновь прибывающим в станицу являться к коменданту и атаману для регистрации. Без разрешения коменданта никого не пускать к себе на ночлег. Хождение по улицам разрешается только с 6 часов утра и до 6 часов вечера. Было там и много разных предупреждений [241] и распоряжений. А за нарушение, невыполнение приказа наказание одно — расстрел!

Время шло к вечеру, до комендантского часа оставалось еще полтора часа, и надо было думать о ночлеге. Мы стали заходить во дворы и проситься пустить нас на ночь, но все боялись, и никто не пускал нас к себе в дом. На нашу просьбу о ночлеге люди отвечали одинаково: «Без разрешения коменданта мы не пустим. Ночью возможны облавы, проверки. За нарушение приказа и нас, и вас расстреляют. Идите от греха, с богом!»

Нам ничего не оставалось, как поспешить в оставшееся до 6 часов время уйти из станицы. Вскоре наступили сумерки, затем стало совсем темно и холодно. Мы решили перейти железную дорогу недалеко от станции и, углубившись в лес, пробить там до утра, пусть даже без сна. На голой, холодной, скалистой земле, под кустом уже не заснешь! Переходя через рельсы, мы увидели в стороне от станции, в тупике дороги маленький кирпичный домик. В таких домиках обычно жили и выполняли свои обязанности стрелочники, путевые обходчики.

— Слава! Давай зайдем к железнодорожнику и попросимся у него в домике переспать до утра! Он нам не откажет!

— Давай зайдем! — согласился Славка. — Железнодорожники всегда были за нас, за Советскую власть, за революцию. И в книгах об этом много написано, и в кино часто показывают. Он нас не выдаст!

Мы подошли к домику, стукнули в дверь и вошли, здороваясь. Одна комнатка, одно завешенное куском грязного брезента окно для светомаскировки. Небольшой стол, на нем стоит ярко светящая самодельная карбидная лампа из тыквы и консервной банки с впаянным в нее пустым винтовочным патроном, кирзовая сумка с истертыми боками. Рядом с нею бутылка с самогоном, стаканы, куски хлеба, лук. За столом двое. Один в форме железнодорожника, другой, одетый по-граждански, полицай. На рукаве повязка с надписью «полицай» и красной печатью — орел со свастикой под ней. На коленях у полицая немецкий автомат. [242]

— Чого трэба? — глядя пьяными глазами на нас, спросил железнодорожник. — Чого шукаетэ?

Мы поняли, что влипли капитально и отступать некуда.

— Мы хотели у вас погреться, переночевать. Идем издалека, из Новороссийска! — начал Славка.

— Почему не ночуетэ у станыцы? — перебил его полицай, тяжело ворочая языком от перепития.

— Нас никто не пустил без разрешения коменданта, — продолжал Славка. — А комендатура не работает, поздно уже!

— Стэпан! — обратился железнодорожник к полицаю, зло посмотрев на нас. — Воны брэшуть! Воны из лису, партызаны! Мабудь развэдчыкы! Йих трэба задэржаты! — сказал он, вылезая из-за стола.

— Я мыгом сходу за гасподыном хвельхвебэлем, а ты туточки посторожуй и их! — Он плеснул из стакана самогон в рот, нюхнул хлеб.

— У-у, гамсэлы проклятии! — замахнулся на меня, проходя мимо, железнодорожник. — Сичас вы все скажэтэ гасподыну хвельхвебэлю! Сторожи добрэ, Степан! Мать их!.. — И он вышел в темноту.

— Сидайтэ на лавку! — приказал нам полицаи, начав икать. Голова у него от перепоя уже не держалась на шее, падала на грудь, и он каждый раз, потряхивая ею, тяжело дышал.

Я увидел, что рука Славки потянулась за спину, и все понял.

— Закурить можно? — спросил я полицаю.

— А што у тэбэ есть? Самосад чи цыгарэты?

— Махорка у меня. Солдатская махорка! Могу тебе дать! — говорю, вытаскивая не спеша полную пригоршню ее из кармана.

— Д...авай! — икнув, сказал полицаи.

Я поднялся, чувствуя за своей спиной, как подобрался Славка, и, протягивая руку с махоркой вперед полицаю, шагнул к нему. Короткий бросок рукой — и вся махорка летит ему в глаза! [243]

— А-а-а! — завопил полицаи. Бросив автомат, он схватился за глаза. Молнией снизу-вверх, в горло, мелькнула финка в руке Славки, и крик захлебнулся.

Я успеваю схватить автомат, оттянуть затвор; Славка шапкой полицаю гасит лампу. Мы бросаемся к двери, но поздно. За дверью топот, разговор, голос железнодорожника:

— Туточки воны! Туточки!

Дверь распаивается, — на пороге силуэты двух немцев: один за другим. Даю длинную очередь из автомата, не целясь, прямо в дверной проем, — немцы валятся один на другого! Быстро, прямо по ним, мы выскакиваем наружу, за дверь.

— Партизаны! — кричит железнодорожник, оставшийся в живых и удирающий теперь в темноту, в сторону станции. — Партизаны!

— Ушел, гад!

Шум, поднятый нами, его крики были услышаны, кругом поднялась стрельба осветительными ракетами. Мы не знали, что на ночь станция и прилегающая к ней территория, на которой размещались железнодорожные пути, оцеплялась постами. И вот теперь они ракетами осветили все вокруг.



Времени раздумывать у нас не было. Мы бежим в сторону гор, леса: то падаем, то снова бежим. С ближайшего поста нас заметили, и в нашу сторону летят трассы пуль. Слева, с соседнего поста, наперерез, бегут трое солдат. Они совсем уже близко.

Перед нами опрокинутая с рельс дрезина. Приостановились, переводя дух.

— Сейчас я их гранатой! — говорит Славка, — И бежим, была не была!

«Откуда у него граната?» — успел подумать я. Вижу, как он взмахнул рукой и бросил гранату в совсем уже близко подбежавших немцев. Двое завалились, третий пытается встать. Мы выскакиваем из-за дрезины, я даю очередь из автомата почти в упор по всем трем. Бежим, и вот он лес — наше спасение! [244]

С ходу, не останавливаясь, задыхаясь от быстрого бега, мы поднялись на невысокую вершину горы и там попадали на землю, совершенно обессилив. Отсюда, с горы, была видна почти вся территория станции. Никакой погони за нами не было. Стрельба начала затихать, только изредка выстреливались постами одна-две осветительные ракеты. Вышла луна, стало светло. Меня всего била нервная дрожь. Тряслись ноги, руки, все тело. Я посмотрел на Славку, — а он тоже весь трясется.

— А ты здорово... ему махорку... в глаза! — говорит Славка каким-то незнакомым для меня дрожащим голосом, заикаясь. — А потом... с автомата! А? Ха-ха-ха!

— А ты... финачомега... полиция! Ха-ха-ха! А потом... гранатой... тех трех! Ха-ха-ха! — смеялся я уже в истерике.

— Дед, железнодорожник, сволочь... кричал... «партиза-аны! партиза-аны!» — это Славка. — Ха-ха-ха!

Мы хохотали во весь голос, катались по земле, держась за животы. Текли слезы по лицу, а мы хохотали безудержно, не способные остановиться. Уже ничего не говорили, а посмотрев друг на друга, опять заливались хохотом. Вдруг Славка остановился, перегнулся в поясе, схватился за ветку куста, на секунду затих, и... его вырвало. Это был конец нашей истерики. Мы присели на землю. Наступила слабость, разбитость. Было ощущение какой-то пустоты внутри, подавленность. Только посидев так, молча, некоторое время, мы начали окончательно приходиться в себя.

— А... откуда у тебя граната, Слава? Где ты ее взял? — спросил я тихо.

— Когда гасил шапкой лампу, в сумке на столе увидел гранату, успел выхватить ее, — ответил он так же тихо.

— Она нас здорово выручила! Если бы не она... — сказал я. — Ты, Слава, мировой парень! Слушай, давай не идти сейчас в Красноармейскую! Туда мы всегда успеем. Может, там и нет в плавнях партизан? Что нам тогда делать? Идти в Краснодар и искать подпольщиков? Тоже темное дело! Давай это оставим для себя как запасной вариант. Лучше будет, если мы еще раз попытаемся перейти фронт к нашим! [245]

Ты же слышал, в станице говорят, что фронт совсем близко в горах, у какой-то станицы Неберджаевской. Километров десять отсюда. Это совсем недалеко! Вон как слышно артиллерию! Слава, мы же комсомольцы и не должны уходить от борьбы с врагом! — говорю я.

— Что ты меня уговариваешь! Я сам хотел тебе это еще вчера сказать! Давай сейчас, пока ночь, пойдем к станице. Утром попросим у кого-нибудь поесть и двинем к фронту. А если опять будет неудача, то тогда — что поделаешь, махнем в Красноармейскую!

Так мы и решили. Сделали большой крюк, обходя станцию, перешли железную дорогу и шоссе, оставляя станицу справа от себя, и вышли на ее юго-западную окраину. Потом дремали, дрожали от холода, дожидаясь утра и восхода теплого солнца.

Утром Славка пошел раздобывать еду. Пока он ходил, я внимательно, теперь уже в спокойной обстановке, осмотрел так неожиданно и удачно приобретенный автомат. Это был знакомый мне немецкий пистолет-пулемет «МП-38» фирмы «Ерма». Устройство, правила разборки и сборки его мы изучали еще зимой 41-го года в истребительном батальоне. Правда, стрелять из него тогда не пришлось — не было патронов к нему. Он имел прямой сменяемый магазин на 32 патрона, откидной металлический приклад. Вот только ручка взвода затвора была расположена как-то не с руки — с левой стороны.

Я протер, почистил его, посчитал оставшиеся патроны в магазине. Их осталось восемь штук. Это мало, но во всяком случае лучше, чем ничего не иметь.

Слава сходил удачно и быстро вернулся, принесся полбуханки хлеба, вареной картошки в мундирах, кусочек сала и несколько яблок.

— Тетка попалась добрая! — сказал он. — Все плакала и причитала, пока собирала мне продукты. Муж ее в армии, где-то воюет, а сын, чуть старше меня, как она говорит, где-то тоже, наверное, скитается. Как уехал еще в прошлом году в Краснодар учиться, так с тех пор нет от него никакой [246] весточки. «Можэ, його вжэ и нэма вжывых? А можэ, вин ось так, якты, ходэ и просэ гдэсь йисты?» — плакала она.

Позавтракав, мы двинулись лесом, горами на юг. Шли напрямую, не обходя еще невысокие здесь горы, перебираясь хмеречью через глубокие лощины. Солнце поднялось уже высоко, пригрело, и нас потянуло на сон. Это и не удивительно: в прошедшую ночь нам было не до сна. В середине дня, укрывшись подальше в чаще леса и удобно устроившись там, мы поспали часа два и, проснувшись, пошли бодрее. Немцев пока не было видно, но изредка в той стороне, куда мы шли, возникала стрельба. Фронт был, по нашим соображениям, уже совсем недалеко. Это нас подбадривало, хотя в душе возникали тревожные сомнения: сможем ли мы перейти его?

Мы прошли еще километра два, и вдруг справа, почти рядом с нами, послышались громкие команды на немецком языке, и тут же загрохотали орудия крупного калибра. Попадав на землю, мы начали осторожно осматриваться, не высываясь из кустарника. Недалеко, на большой поляне, оказались немецкие артиллерийские позиции. Открыто, не вкопанные в землю, стояли несколько дальнобойных орудий, наполовину прикрытые сверху маскировочной сеткой. Немцы-артиллеристы без суеты вели частый огонь из этих орудий.

Мы слишком увлеклись, потеряли осторожность, — и наше счастье, что не напоролась на эту батарею. Теперь уже не торопясь, внимательно осматриваясь и прислушиваясь, мы сдали несколько влево и опять забрались подальше в густую хмеречь. Дальше мы решили не идти, а ждать вечера, темноты. По всему видно было, что передовая где-то уже близко. Отчетливо было слышно стрельбу пулеметов, уханье долбивших землю снарядов, хлесткие взрывы мин. Только дождавшись полной темноты, мы стали осторожно спускаться с горы в лощину, которая, быстро сужаясь, извиваясь, вела куда-то на юго-запад. Примерно туда нам и надо было. Шли мы медленно, осторожно, ориентируясь по еле заметной в темноте тропке вдоль сухого русла ручья. Потом из-за гор показалась луна, и двигаться стало легче. [247]

Неожиданно я каким-то «шестым чувством» почувствовал кого-то впереди. К тому же там что-то звякнуло. Момент — и мы в два прыжка оказались у левой стенки обрыва. Там оказались вырытые прямо в стене небольшие пещерки-землянки, и в одну из них мы юркнули, притаившись и выглядывая в дверь. Чувство не обмануло меня: из темноты на тропе показалась группа немцев — человек пять-шесть. Они медленно шли и тихо перебрасывались фразами. Поравнявшись с нами, немцы свернули с тропы и направились прямо к нам. Мы замерли. Бежать было невозможно.

«Влипли!» — подумал я.

Солдаты останавливаются совсем рядом с нами, не более как в трех метрах. Старший что-то сказал и сам, вместе со всеми остальными, вошел в дверь землянки, находящейся рядом с нашей. Наверное, та была более просторной, а они бывали здесь раньше и знали это. Шедший сзади солдат неожиданно остановился, повернулся и, сделав два шага к нам, стал у нашей двери, расстегнул штаны и начал мочиться чуть ли не на нас. Он постоял еще минуту, прислушиваясь, и пошел к своим, но в землянку не зашел. Оттуда послышался приказ, и он остался у входа снаружи. Мы затаились, прижавшись друг к другу. Немец стоял так близко, что мы чувствовали запах гуталина от его сапог.

В землянке у немцев чиркнула зажигалка, блеснуло пламя, потянуло дымом от сигарет. Слышался негромкий разговор, кто-то засмеялся. Покурив, немцы опять вышли на тропу, один из них выстрелил вверх из ракетницы зеленой ракетой, и они пошли дальше в тыл. По-видимому, это был условный сигнал, что все вокруг тихо и спокойно. Только тогда мы поднялись и, обняв друг друга за плечи, стояли некоторое время, вглядываясь в темноту.

— Надо идти! — шепчет Славка. — Пока тихо, надо идти!

Мы быстро идем дальше. Лощина еще более сузилась, и расстояние между склонами составляющих ее гор теперь не более ста метров. Слева мы слышим говор немцев и бросаемся с тропы вправо. Оттуда до неправдоподобности близко к нам вдруг открывает огонь пулемет. Трассы его пуль несутся прямо туда, куда мы, согнувшись, петляя, перебежками [248] от куста к кусту, бежим от скалы к скале. В небо взвилась осветительная ракета. Мы падаем на острые камни сухого русла ручья и, когда ракета уже догорает, видим впереди себя проволочное ограждение.

— Там наши! — радостно и громко шепчу я Славке в ухо.

— Бежим!

Несколько шагов — и мы падаем уже рядом с проволокой ограждения. Всполошившиеся фрицы успокоились, стрельба смолкла. Опять темень и настораживающая тишина; со стороны наших тоже ни ракет, ни выстрелов.

Мы потихоньку пробуем оторвать проволоку, но ничего не получается, она прибита добротнo. Пробуем сорвать проволоку второго ряда — безрезультатно. Обидно до слез! Ведь наши уже рядом, осталось пробежать, может быть, пятьдесят-сто метров!

— Давай подальше, там проволока должна провисать, мы подыдем ее! — шепчет Славка.

Поползли. Дальше невысокий, но крутой обрыв. Я подсадил Славку, он благополучно вскарабкался наверх и подал руку. Держась за нее, я подтягиваюсь. И вот когда я был почти наверху, автомат, который я только что забросил на ремень за спину, освободив себе руки, зацепился за проволоку. Славка, не зная этого, приподнявшись на коленях, резко дергает меня вверх, проволока натягивается, звенит, и мы оба катимся, падаем с обрыва вниз. Посыпались камни. Немцы услышали, и... началось! В нашу сторону летят осветительные ракеты, становится светло, как днем. Слева и справа со склонов гор, образующих лощину, ударили крупнокалиберные пулеметы из ДЗОТов. Эти два ДЗОТа перекрывали кинжальным огнем вход в лощину. Немцы нас еще не видят и весь свой огонь сосредоточили за проволоку, на нейтральную полосу. Там море огня! Наверно, они считали, что кто-то уже ушел за проволоку, и не жалели патроны. Всполошились они не на шутку, — надо немедленно уходить! Мы вскочили и при кратком затемнении после вспышек ракет, низко пригибаясь, устремились тем же путем, каким только что пробирались сюда, — назад в тыл, в темноту. [249]

Вокруг нас проносились огненные трассы пуль. Нервы наши не выдержали, и мы бежали уже не таясь, в открытую, лишь бы подальше от этого ада. Вспышка осветительной ракеты совсем рядом, нас заметили...

В ярком свете мы видим нескольких бегущих к нам фрицев. Они не стреляют, хотят взять живыми! Один вырвался вперед — и вот он совсем близко, что-то кричит нам. В грохоте слов не разобрать. С ходу я даю по нему очередь из автомата, солдат падает. патронов в магазине больше нет, я бросаю ненужный теперь автомат и прыгаю в какую-то расщелину, за мной Славка. Мы выскакиваем на косогор и по нему скатываемся куда-то вниз. Немцы отстали. Наверху мы слышим их автоматные очереди, но стреляют уже не в нас. С минуту мы лежим, переводя дух, потом выскакиваем и снова быстрее, быстрее, подальше от передовой. Постепенно стрельба сзади стала затихать и, наконец, прекратилась совсем.

Теперь мы пошли уже шагом, стараясь держаться северного направления. К тому времени, когда у нас за спиной и справа начало бледнеть небо, мы были уже далеко от линии фронта. Спокойно продумав все наши действия при попытке перейти передовую, мы сделали вывод, что действовали правильно. Просто нам не сопутствовала удача!

— А может, наоборот, нам повезло! — говорит Славка. — Может, за колючей проволокой было минное поле, и мы подорвались бы на нем!

— Это правильно! — согласился я, хотя в душе осталось чувство неудовлетворенности.

Мы слишком устали. Сколько уже дней бродим по лесу в горах, сколько нами уже перенесено невзгод! Едим всухомятку от случая к случаю, все время голодные или полуголодные. Да что еда — воду пьем не всегда чистую и не вдоволь! Завшивели, грязные. Забыли, когда мылись. Тело зудит от грязи и вшей, ноги потертые. Спим большей частью днем, когда греет солнце. Ночью уже холодно, и спать на голой, каменистой земле невозможно. Сон под крышей дома, в мягкой, чистой постели, в тепле — это воспоминание о чем-то далеком... [250]

После двухчасового отдыха мы пошли назад к шоссе, к железной дороге, откуда вчера начали свой путь к линии фронта. К вечеру, усталые, измотанные длинным переходом, мы подошли к каким-то домам и, не заметив ничего опасного и подозрительного для себя, вошли в первый же двор.

Во дворе мальчишка, немного моложе нас.

— Как тебя звать, пацан? — спросили мы его.

— Петр! — ответил он, с интересом поглядывая на нас.

— А как ваш хутор называется?

— Цэ ни хутор, а поселок Горный!

Вот это да! Мы со Славкой посмотрели друг на друга. Значит, мы пришли туда, откуда начинали свой путь, выйдя из леса.

— Скажи, Петр! У вас немцы здесь есть?

— Нэма! Тильки у дорози, у соши живут два полица. Та румыны-обозники вже дня тры, як живут у тих полицаев! А так нэма никого!

В калитку во двор вошла женщина.

— Вот и мамо моя — Катэрина Сергеевна!

— Здравствуйте, Екатерина Сергеевна!

— А вы вже знаетэ, як менэ зовуть! — с доброй улыбкой сказала хозяйка. — Цэ мобудь Петро вже успил доложить вам! Ну, здравствуйте!

— Нам далеко идти. Можно у вас отдохнуть? — начал я не совсем смело.

— И переночевать? — бодро добавил Славка.

Хозяйка внимательно и серьезно осмотрела каждого из нас в отдельности, немного подумала и сказала:

— Што же, отдыхайтэ! Божэ ж мий! На кого ж вы похожи! Грязни, рвани!., идить у сарай и скидывайтэ всэ! А я мыгом буду грэть воду! — засуетилась она. — А вы из сараю нэ выходьтэ, щоб вас никто не бачив! А то люды всякы бувають! Пэтро, нэси йим щось батькино одэться, нэ будут же воны голи сидэть у сараи!

Переодевшись в одежду, не совсем подходящую нам размерами, свою мы отдали хозяйке, а пока она стирала, кипятила ее, помылись от души! К вечеру наша одежда была [251] выстирана и высушена. За столом хозяйка спросила, кто мы такие и куда идем, и мы начали рассказывать свою легенду. Нам было стыдно ей врать, мы сбились, смутились, она поняла нас и сказала:

— Сейчас люды нэходють без дила. Можэ, горэ и заставляя итьти, можэ, яки нужни дела! Идить, хлопчики, куда вам надо, я нэ буду спрашувать вас. Тильки я бачу, шо вы з лису прийшлы! Ну и добрэ! Помогай вам бог!

Мы вышли из хаты. Было темно, тихо, только на юго-западе, все там же, в Новороссийске, била артиллерия.

— Ты чего ерзал за столом, что ты хотел сказать? — спросил я вышедшего с нами во двор Петьку.

— Хотив, да не сказав. Боявся мамки! — ответил он. — Я бачу, шо вы партызани, и хочу идты з вами! Я тож хочу воеваты з нимцами!

— Ты, Петро, угадал. Мы партизаны, но взять тебя с собою не можем. А партизанить ты можешь и здесь. Правда, одному это делать несподручно. У тебя есть хороший друг, которому ты мог бы доверять все, как самому себе?

— Е, Витька Марченко!

— Вот и партизань с ним! Делайте все, что только может навредить немцам и румынам. На станции подсыпайте песок в буксы колес вагонов, разбивайте из рогаток фонари стрелок и семафоров. Если увидите где телефонный кабель, — вырезайте из него куски подлиннее.

— А я вже хотив им врэдить, та ще ни успел! Хотив положить на рельсы тормозни башмаки, щоб вагоны сошли з рельс! — лукаво улыбнулся Петька.

— Какие еще башмаки? Где они у тебя? — разом встрепенулись мы со Славкой.

— Я йих прынес сдороги и сховав ось тут, у сараи!

Петька пошел к сараю, повозился там и вынес эти самые тормозные башмаки. Мы их увидели впервые, но сразу поняли, что к чему. Башмак — это толстая металлическая полоса шириною по размеру рельса и длиною с полметра. Боковые кромки полосы загнуты книзу, чтоб она не съехала с рельса. Сверху, ближе к одному из концов полосы, намертво приварен такой же металлический выступ 15–20 сантиметров [252] высоты, сзади выступа — ручка для переноски. Вот и все нехитрое его устройство.

— А если их установить сразу два, на оба рельса... — глядя на башмаки, задумчиво рассуждал Славка, — и постараться упереть их концы в стык

рельс, а в стык вставить вот этот топор для упора, — Слава показал на валявшийся здесь же, у станы сарая, ржавый топор без топорща, — то...

Мы отлично поняли друг друга.

— Петька, ты мировой парень! Мы у тебя забираем башмаки и топор!

— А як же я? — обиделся он. — Вы самы будэтэ робыць?

— Сами, Петька! Ты не обижайся на нас! Вы с Витькой еще что-нибудь придумаете!

Мытые, чистые, сытые, мы впервые за много-много дней наших скитаний крепко заснули под крышей, на мягкой, теплой соломе. Но не надолго: поднялись мы в два часа, задолго до рассвета, и, прихватив башмаки и топор, тихо вышли со двора. Огибая соседей с восточной стороны, мы быстро направились к железной дороге, благополучно перешли шоссе и — вот она, железная дорога!

Ночью движение по ней было не меньшим, чем днем, а может, даже и большим. Поезда шли поочередно: проходит состав из Тоннельной в сторону Крымской, и тут же после него идет поезд из Нижне-Баканской в сторону Новороссийска, и так далее. Железная дорога охранялась постами только на станциях и разъездах: видно, потому, что никаких диверсий на дороге до сего времени не было. К тому же рядом с железной дорогой, параллельно ей, в этом районе шла шоссейная дорога Новороссийск — Краснодар, а по ней почти непрерывно шли, двигались к фронту войска. Железная дорога проходила по высокой насыпи, то врезаясь в крутые склоны гор, то огибая их, и выходила здесь на открытую местность, чтобы через километр-два вновь уйти в горы. На всем своем протяжении она шла если не среди леса, то, во всяком случае, среди высокого, густого кустарника. Поэтому подойти к ней незамеченным было совсем не трудно, тем более ночью. Лежа у самой дороги в кустах, мы наблюдали проходящий мимо в Нижнебаканскую эшелон. Поезд был [253] без огней, за исключением самого паровоза, у которого впереди тускло светили по бокам две фары. Свет от них был настолько слаб, что машинист, наверно, далее 10–15 метров вперед ничего не увидит в темноте. Скорее всего, они светили для того, чтобы было видно сам паровоз.

После прохода последнего вагона мы быстро вскочили и побежали к ближайшему стыку рельс. Вот он! Пытаемся всунуть лезвие топора в стык: он входит, но слабо — щель узкая. Бежим к следующему стыку — здесь она шире! Топор хорошо вошел и сел на планки, скрепляющие болтами и гайками рельсы. Мы устанавливаем тормозной башмак с упором в топор, а



на другой рельс башмак ставим без какого-либо упора. Надеемся, что он и так выполнит предназначенную ему роль.

Теперь мы бросаемся прочь с дороги, но не уходим, решив дождаться шума приближающегося поезда. Мы-то установили башмаки с расчетом, что поезд будет идти на фронт, в сторону Тоннельной, а если он будет с противоположной стороны, то придется разворачивать их в другую сторону!

Прошло совсем немного времени, и послышался, наконец, шум идущего эшелона. Да, он идет в Тоннельную, мы установили все правильно, можно уходить. Быстро поднимаемся в гору. Быстрее, быстрее от дороги! Шум поезда все ближе, ближе... Вот уже совсем под нами, и вдруг... Грохот, скрежет, лязг буферов вагонов!

— Что-то случилось! — радуюсь я. — Если даже и не сошел поезд с рельс, то все равно панику наделали!

— Почему не сошел? Должен сойти с рельс! — обижается Славка.

И тут началось... Как всегда при панике, беспорядочная стрельба, крики, осветительные ракеты!

— Жаль, что мы не видим, не знаем, что мы наделали. Даже обидно! Старались ведь! — ворчит Славка.

Продираться кустарником в темноте нам не хотелось, мы жалели свою одежду. Вместо этого, отойдя от места нашей диверсии с километр, мы спустились с гор вниз, опять на железную дорогу, и пошли по ней. Встреча с немцами на [254] дороге ночью исключалась: пешком они не пойдут, а патрульную дрезину мы услышим заранее и успеем скрыться с дороги. Шли мы быстро и к утру благополучно подошли к Нижне-Баканской. И сколько мы шли по железной дороге, движения поездов по ней не было. Значит, дорога на некоторое время выведена из строя! Сознание того, что это сделали мы, воодушевляло нас.

Мы сошли с насыпи дороги, проскочили шоссе и задами дворов вошли в одну из улиц станицы. Теперь мы шли медленно, не торопясь, — тянули время, чтобы улицы побольше наполнились людьми. Подходя к главной улице, по которой еще совсем недавно проходили, мы неожиданно наткнулись на едущего на велосипеде полиция с автоматом на груди.

Подъехав к нам, он остановился, спросив:

— Кто такие?

Нам ничего не оставалось, как сделать смиренный вид и начать рассказывать свою легенду.

Поверил он нам или нет — не знаю, но сказал, выслушав:

— Вы хотите идти через Крымскую. Так вот — вы не пройдете через нее. В ней много немецких войск, на улицах много постов. Всех, не имеющих пропусков на хождение, задерживают. Я вам советую сейчас пойти к атаману станицы, он вам оформит пропуску немца-коменданта. Идите! Через два квартала, справа, кирпичный дом у дороги — там комендант и атаман! — сказав это, он поехал своей дорогой.

Мы сошли с дороги, сели на скамейку у калитки какого-то дома и стали думать, как нам поступить в данной обстановке. Соблазн получить пропуск был большой. Но надо рисковать, хотя вот так, запросто, идти в комендатуру боязно. Поколебавшись, мы решили пойти к комендатуре и присмотреться к обстановке со стороны, на месте разобравшись что к чему, — а потом уже решать, идти ли к атаману.

Вот и комендатура. Кирпичной кладки дом старой постройки, на стене дома, у калитки во двор, вывеска на фанерном щите: «Немецкий комендант» и ниже: «Атаман». Вход со двора. Мы входим в калитку. К дому пристройка с [255] большой открытой верандой, с крутыми деревянными ступеньками на нее. У ступенек очередь на прием к атаману: человек 20, не менее. Все женщины среднего и пожилого возраста, некоторые с детьми. Среди них два-три старика. Подойдя, мы заняли очередь, стали прислушиваться к разговору и кое-что осторожно спрашивать, выясняя обстановку. Оказалось, что получить пропуск совсем не сложно — достаточно иметь наш советский паспорт! Свои документы для населения немцы еще не успели придумать и ввести в действие, поэтому документом, удостоверяющим личность, продолжал быть советский паспорт. Не имеющих паспортов мужчин немцы сразу же задерживали и отправляли в концлагерь, считая, что они бывшие военнослужащие и сбежали из лагеря.

Все без исключения стоящие в очереди женщины желали получить пропуска: в основном в Крымскую и Краснодар, где были лагеря военнопленных. Там они надеялись разыскать среди пленных своих мужей, братьев и если посчастливится, то вызволить их оттуда. Рассказывали, что случаи таких вызволений были, и очень часто. Немцы, понимая, что война для них безнадежно затянулась, на победу уже трудно рассчитывать и боясь озлобленности населения к ним, позволяли себе делать такие красивые жесты — разрешать женам забирать своих мужей домой из лагеря.

Женщины имели при себе кошелки с продуктами или «сидоры» — мешки с ляжками для крепления их на спине. Получив пропуск, они тут же, не мешкая, отправлялись в путь пешком. К полудню подошла наша очередь,

и мы, решив действовать напористо, нахрапом, смело вошли в кабинет атамана.

Кабинет — это сказано громко. Небольшая, более чем скромно обставленная комната. Старый канцелярский стол с наклеенным сверху зеленым сукном — грязным, основательно вытертым, местами в больших чернильных пятнах. На нем ученическая чернильница-непроливайка, пресс-папье, туго набитая бумагами папка, большая раскрытая амбарная книга для регистрации приходящих просителей и с краю зачем-то лежат конторские счета. На подоконнике [256] боком стоит пишущая машинка с наваленной на ней горой бумагой в свертках, в папках и просто так, листами. За столом стоит сам атаман. Ничего необычного в нем нет: среднего роста, несколько худощав, с виду крепок, хотя возраст, видимо, перевалил уже за пятьдесят. А вот лицо его — выразительное, запоминающееся. Черные, строгие глаза под такими же черными густыми, круто нависающими бровями. Небольшие прямые усы, переходящие книзу в также черную, без проседи, несмотря на возраст, аккуратную, ухоженную бороду. Голова голая, выбрита, блестит словно отполированная. Не дав ему и рта раскрыть, мы пошли в атаку.

— Мы не можем дальше так идти домой! Полицаи проходу не дают! — врем мы. — Требуют документы, пропуск, а у нас их нет! Откуда у нас документы, если они пропали при бомбежке в Новороссийске! Раз задержали полицаи в Горном — отпустили. Второй раз здесь, в Нижнебаканке... в конце концов, могут и не отпустить! Немцам могут передать! Нет, дальше мы не пойдем: давайте нам пропуск, без пропуска мы не выйдем отсюда! На то вы и здесь, чтобы давать пропуска!..

Вот такую мы закатили атаману истерику. Он сначала даже растерялся, смотрел на нас тупо, ошалелыми глазами, затем спохватился, посмотрел уже твердо и... захохотал!

— Ну и ловкачи, стервецы! Ну и пройдохи! — говорил он между смехом. — Это же надо! Хотели меня придавить, припугнуть! Ну, вы даете жизни, братцы-кубанцы. Я тоже могу вас вообще не выпустить отсюда! У вас же на мордах написано, что вы из леса! Кстати, это не ваших рук дело у железнодорожного разъезда Горного? Нет? Ну, хорошо, что нет! Хватит валять дурака! — Он с силой стукнул ладонью по столу. — Давайте теперь говорить по делу! — прекратив смеяться, он перешел на деловой тон. — Итак, как я понял вас, вы не из лесу! — с едва уловимой иронией произнес он. — А идете из Новороссийска, и у вас никаких документов нет. Идти вам далеко, в станицу Красноармейскую, где живут и ждут вас мамы. Так вас понял, да?

— Да! — ответили мы. [257]

Атаман вдруг замолчал, сел за свой стол, уставился на нас и так сидел молча, о чем-то раздумывая. Затем уже тихим голосом, спокойно, он разъяснил нам:

— Пропуск я вам выпишу, но печать на нем должен поставить комендант. У него сейчас обед. Придет в 2 часа, и я ему вас представлю. Да! Вид у вас не плохой, только заросшие сильно. — Он вновь осмотрел нас с ног до головы. — Вот что! Пока сейчас обед, сходите в парикмахерскую и подстригитесь! Деньги у вас есть на стрижку? — спросил он. — А то я вам дам!

— Есть! — говорю я.

В кармане у меня как-то сохранилась тридцатка еще с Варваровки, с момента, когда формировали партизанский отряд.

— Ну, тогда идите и в 2 часа чтобы были здесь, как штык! — сказал атаман.

Мы вышли. Парикмахерская была на этой же улице, почти рядом. Входим. Тут все, как и положено в захудалой сельской парикмахерской, только вот на лицевой стене прямо против входа пришпилен кнопками портрет Гитлера, по-видимому, вырезанный из немецкого журнала. Тут же в креслах сидели и болтали, скучая, два молодых парикмахера. Они смеялись, что-то рассказывая друг другу.

Подавляя в себе чувство неприязни к ним, мы спросили:

— Подстригать будете?

— По червонцу с носа советскими деньгами или по одной немецкой марке, — ответил один из них.

— Уже, значит, не нашими деньгами, а советскими, — с презрением сказал им Славка. — Быстро вы перестроились!

— Но-но! Потише, ты, а то комендант — вот он, рядом! — вскочил с кресла один из них. — Вы кто такие?

Я дергаю сзади незаметно Славку, вру:

— Мы сами только что от коменданта. Он нас сюда послал.

— Так что заткнитесь, не кипятитесь, — добавляет Слава, спокойно и деловито усаживаясь на стуле. — Стриги «под польку»! [258]

Парикмахеры примолкли и принялись за работу.

После стрижки мы, чтобы убить время, пошли к пруду в центре станицы. Посидели там, и точно в два часа вновь были у атамана в кабинете. Посмотрев на нас, он с удовлетворением сказал:

— Вот теперь вы совсем молодцы, братцы-кубанцы! Сейчас пойдем к коменданту, пропуск я вам уже вот написал. Только ты, — посмотрел он на меня, — застегни на верхнюю пуговицу рубаху, спрячь флотский «рябчик», если тебе его жаль выбросить! Зачем дразнить немца?!

Вместе мы вышли в коридор. Атаман с бумагой в руке зашел к коменданту, почти сразу же открылась дверь, и нам предложили войти в кабинет.

Здесь был строгий, деловой комфорт в сочетании с безупречной аккуратностью и чистотой. Комендант, обер-лейтенант, стоял за столом, опершись на него ладонями, и пристально смотрел на нас, остановившимися посреди комнаты, напротив. Кроме него, никого не было. Атаман, угодливо положив на стол выписанный им пропуск, свободно, чувствуя себя здесь своим, сел поодаль от стола на стул.

— Кто ви ест? — первый вопрос коменданта нам. — Куда ви идет?

Акцент у него был ужасным. Он с трудом выговаривал наши русские слова, но тем не менее разговор шел без переводчика.

Мы коротко излагаем ему свою легенду и просим выдать нам пропуск.

— Как твой намэ, фамилий? — ткнул он пальцем в мою сторону.

— Николай Александров! — вру я.

— Твой фамилий! — палец в сторону Славки.

— Владислав Еременко! — честно ответил он, не сообразив сразу соврать.

— Ти ест поляк! — Лицо коменданта исказилось злобой. — Шайзе, грязни поляк!

— Русский я! — говорит Славка.

— Русский он! — поддакиваю я. — Мы родились и живем [259] в одном дворе. Я знаю его папу и маму! — затараторил я, стараясь сбить немца с толку.

— Молчат! — крикнул он. — Вла...дис...лав польски намэ, имя! Ти поляк!

Непонятно, почему он был так зол на поляков? Почему одно только имя Владислав привело его в бешенство?

— Они наши хлопцы, кубанцы, господин комендант! Я их хорошо допросил! — спокойным голосом, мягко разрядил обстановку атаман.

Волна гнева прокатилась, пошла на убыль, комендант успокоился.

— Такой гросс, большой... нет... длинный пропуски никс дать! Я давать пропуск до комендант Крымск! Он давать вайтэр дальше! — Немец порвал бумажку атамана, взял чистый листок, написал что-то на нем все так же,

стоя, и поставил печать. Затем он вытащил из кармана красивый портсигар, оттуда сигарету, в руке что-то ярко блеснуло, раздался щелчок, и он прикурил от автоматической зажигалки. Очень эффектно это у него получилось! Как у циркача! Я даже слегка улыбнулся. Заметив это, комендант, довольный произведенным им впечатлением, протянул мне через стол пропуск, сказал:

— Ауф видерзейн! Пошелъ к мамочка!

Уже когда мы сходили с веранды во двор, вышедший от коменданта атаман сказал нам вслед:

— Ну, вот вы и с пропуском, хлопцы! Топайте дальше, братцы-кубанцы!

Отойдя подальше от комендатуры и успокоившись, мы достали бумагу-пропуск и стали ее внимательно рассматривать. Написано было, конечно же, по-немецки, — три-четыре предложения. Внизу под текстом красная печать — орел со свастикой в лапах.

Прочитать мелкий, ужасный почерк коменданта мы не могли, перевести на русский тем более.

— Может, он там написал, чтобы нас задержали, а не пропускали дальше? — сказал Славка.

— Может быть! — ответил я. — Но он мог это сделать и сам, здесь!  
[260]

— Во всяком случае, мы можем теперь открыто идти до Крымской, не боясь проверки документов полицияными. И с этим пропуском мы можем проситься ночевать в любой дом. Уже это одно, и то хорошо.

Мы пытались объяснить себе поведение атамана, по так же ничего не поняли в его действиях, как и в том случае, когда несколько дней назад здесь же, в станице, нас остановил и допрашивал немец на дороге.

Шли мы сейчас смело, не таясь, и за разговорами между собою не заметили, как вскоре вышли за околицу станицы. Прежде чем начались сумерки, мы прошли уже километров семь-восемь, и были на подходе к Крымской. Даже имея на руках пропуск, входить в станицу было глупо. Первый же немецкий пост задержал бы нас, так как хождение повсеместно запрещалось с 6 часов вечера.

Слева от дороги, недалеко, виднелся ряд домов, это был небольшой поселок Саук-Дере.

— Давай зайдем и попросимся переночевать. Нам теперь не откажут, пустят на ночь. Пропуск-то у нас есть! — говорю я.

Прошли по улице двор, второй. У следующего, прислонясь плечом к высоким, деревянным воротам, стоял молодежавый мужик, лузгая семечки. Мы вежливо поздоровались и попросились на ночлег в его доме.

— У нас и пропуск есть от коменданта Нижнебаканки! — сказал я, вытаскивая из бокового кармана рубахи и показывая ему нашу бумагу. — Вот и печать немецкая!

Мужик повертел бумажку в руках, ничего в ней, конечно же, не понял, открыл калитку и сказал:

— Ночевать так ночевать! Заходите!

Мы входим за ним в калитку, и видим, что у сарая стоят автомашины — бортовая с крытым кузовом и две легковых. Вокруг них и около стоят, сидят немецкие солдаты. Все в черной, эсэсовской форме.

Оставив нас у ступенек, сам мужик поднялся по ним и вошел в дом.

— Вот гад! — говорит Славка. — Он, наверное, или полицаи, или староста поселка. [261]

— Не знаю, — отвечаю я, — но ясно только, что он иуда, предатель! Чтоб ему... — Договорить я не успел, дверь распахнулась, и нас позвали.

Картина в комнате оказалась идиллическая: посредине стол, заставленный бутылками с выпивкой, закусками. Все курят сигареты, сигары, читают газеты. Двое, все еще с бокалами в руках, развалившись в креслах, слушают томную музыку из батарейного радиоприемника, стоящего на подоконнике. Все в черном, все эсэсовцы. Сидящий ближе к двери повернулся к нам, внимательно осмотрел нас и, разморенный аппетитным ужином и слащавой музыкой, мягко, отечески улыбаясь, негромко спросил нас на чистейшем русском языке:

— Почему вы не шли в Крымскую, как вам написали здесь, — показал он нам пропуск, — а пришли сюда? До Крымской осталось совсем мало идти!

— Мы решили остановиться здесь только потому, что уже поздно, а хождение разрешается только до 6 часов вечера. Если бы мы продолжали идти, нас задержали бы патрули, — сказал Слава.

— А откуда вы идете и кто вы такие? — все так же приятно улыбаясь, после глубокой затяжки сигаретой, выпустив ртом кольца дыма и полюбовавшись ими, спросил немец.

Нам опять, в который уже раз, пришлось рассказать ему неправдоподобную, построенную на песке, а не на твердых фактах, свою выдуманную историю.

— Ну, что ж! Я вас, пожалуй, отпущу! — сказал как-то неуверенно он. Затем: — Нет!.. Нет! — Он встрепенулся и, как бы найдя наконец выход из создавшегося положения, уже твердо произнес: — Вас отведут в Крымскую мои солдаты! С ними вас никто не задержит! — Он что-то громко сказал по-немецки, из соседней комнаты вышел унтер-офицер, выслушал его приказ и, показывая рукой на дверь, громко сказал:

— Вэк!

Мы вышли. Из сарая во дворе вывели еще двоих ранее, [262] видимо, задержанных молодых мужчин, и нас, уже четырех, под конвоем двух автоматчиков повели в Крымскую.

Говорить между собою нам сразу же запретили, сами же солдаты негромко переговаривались друг с другом. Луна еще не взошла. Была кромешная тьма. И охота им нас будет вести в Крымскую?! Зачем мы им? Сейчас сведут с шоссе в сторону, в кустарник, дадут очередь из автомата — и все! «Может, им, солдатам, и дали такой приказ?» — думал я, шагая рядом со Славкой по дороге.

— Если что — бежим! — шепнул он мне.

Оказывается, он думал то же, что и я. Наши мысли были одинаковы. Но ничего не происходило. Солдаты все также тихо говорили и не сворачивали с шоссе.

Идти было не так много, и вот уже Крымская. Посты и патрули действительно на каждом шагу. Нас беспрерывно останавливали, спрашивали пароль и пропускали дальше. Подошли к небольшому, отдельно стоящему двухэтажному дому, у которого тоже часовой. Солдаты, ведущие нас, о чем-то с ним говорили, выясняли, а затем обратились к нам — мне и Славке. Очень трудно было понять их, но кое-как мы разобрали, что этот дом — комендатура станции Крымской. Нас двоих приказано сдать сюда, а других двоих мужчин — в лагерь военнопленных. Сейчас ночь, комендатура не работает, «гер комендант шляфен, бай-бай, никс арбайт!» — так объяснили они нам. Мы вас сдадим вместе с этими двумя в лагерь, а утром вас проведут к коменданту!

Это разъяснение было более чем любезностью с их стороны. Могли бы просто, без разговоров, затолкать нас в лагерь — и конец всему! Так нет же, разъяснили, чуть не извиняясь перед нами за причиняемые временные неудобства.

До лагеря военнопленных было рукой подать. Ворота, небольшой домик-пропускник. Очень шумно. Свора полицаев, среди них немцы. Ярко светит фонарь «летучая мышь». Наши конвоиры что-то рассказали охране-



немцам, еще раз подошли к нам и предупредили, чтобы утром мы подошли сюда, на проходную, и нас отведут к коменданту. Потом они ушли. [263]

— Ну, што стоитэ? Заходьтэ! — крикнул полицай, толкая нас в ворота. Тут же они набросились на нас и стали обыскивать. Ощупали с ног до головы. Из левого, нагрудного кармана рубахи полицай извлек мои часы и быстро сунул их себе в карман, озираясь, как бы не увидели его сотоварищи.

— Отдай часы! Это подарок мамы! — глупо крикнул я, хватая его за руку.

— ... твоей маме! — зло зашипел полицай, больно стиснув своей грязной пятерней мой рот.

— Отдай часы пацану! — вступился за меня Славка.

— Побалакай, побалакай ще, кацап! — замахнулся на него полицай.

После обыска полицаи отошли, а нам ничего не оставалось, как идти в темноту, в глубь территории лагеря. Было темно и холодно. С Сальских степей тянуло холодом, пали заморозки. На подходе к бараку на голой земле, закутавшись в шинели, лежали бывшие солдаты, тесно прижавшись друг к другу, и чем ближе к его дверям, тем теснее. Мы уже дрожали от холода, понимая, что если не укроемся где-то, то к утру пропадем. Решили в что бы то ни стало пробраться внутрь барака. Переступая лежащих, мы медленно продвигались к дверям. Двери-ворота, какие бывают обычно в гаражах, были полуоткрыты. Оттуда шел теплый, тошнотворный дух от дыхания сотен людей, от испарений человеческих тел и одежды. Мы втиснулись в дверь и попали в еще большую темень. Барак-сарай был битком набит людьми.

С трудом мы забрались на верхний этаж нар, под самой крышей барака. Стоял густой, зловонный, липкий смрад, но мы, стараясь не замечать этого, довольные теплом, уставшие за прошедший день, обнявшись, сразу же уснули. Спали мы крепко, но недолго. Перед рассветом, часа в три-четыре, налетели наши самолеты и начали бомбить железнодорожную станцию. Станция большая, узловая, в прифронтной полосе. Ясно, что на ней должно быть много воинских эшелонов, ждущих своей очереди отправки к фронту. В соответствии с этим немцами здесь была организована мощная противовоздушная оборона. Все вокруг гремело и грохотало. Бомбы сыпались и рвались на [264] станции, на прилегающих к ней улицах. Одна попала к нам, в лагерь. Взрывом было убито двенадцать военнопленных, многие были ранены и контужены. Частично сорвало крышу нашего барака. Ночи как не бывало: все залито ярким светом. Недалеко, на станции, что-то горело, вверху висели, медленно опускаясь, осветительные бомбы на парашютах. В небе огненная стена рвущихся снарядов заградительного огня

немецких зениток, пересекающиеся трассы скорострельных малокалиберных пушек и пулеметов. Суетливо, беспорядочно метались лучи прожекторов. С воем, совсем низко пронеслась над лагерем группа наших «Илов», только что проштурмовавших станцию.

До самого утра в лагере была суматоха. Прибывшее начальство распорядилось увезти убитых, были отправлены куда-то раненые. Громкие приказы, отдаваемые немцами, команды полицаев, крики самих пленных, разыскивающих утерянных в этой сумятице своих товарищей, земляков, — все слилось в многоголосый шум. С наступлением полного рассвета все постепенно успокоилось. Незнакомая для меня со Славкой лагерная жизнь входила в свою норму.

В 6 часов по территории лагеря и по баракам бегали, тыча кулаками и размахивая плетками, полицаи, горланя «подъем!», хотя все и так не спали после бомбежки. Но, видно, так надо было делать по заведенному здесь порядку.

Холодно, градуса два-три мороза, и окаменевшая земля сплошь покрылась инеем. В теплый барак уже не зайдешь, оттуда полицаи всех выгнали. Не могущих передвигаться больных или притворяющихся больными вышвырнули, и на дверях повесили замки. Тут и там пленные в одиночку, а больше группками в два-три человека раздувают костерки. Из карманов шинелей, брюк, из-за пазух они достают припасенные еще вчера на работе вне территории лагеря палочки величиной с карандаш, щепочки от досок, скрученную в жгутики солому, сухую траву. В лагере все, что могло гореть в костре, давно сгорело, и теперь необходимость заставляла людей заранее, еще днем, будучи на работе, заготавливать материал для костров. Костры мизерные — каждый можно накрыть пилоткой, от них больше дыма, чем тепла. [265]

В 7 часов из канцелярии лагеря на аппель-плац выходит группа немцев. У некоторых в руках папки с бумагами. Кто-то из них громко подает команду:

— Антретэн!

И пошло... Полицаи, стоявшие у проходной и ждавшие этой команды, рассыпаются сворой по всему лагерю. Некоторые совсем осатанели, на ходу топчут костры, бьют ногами сидящих, рычат: «Все наантрэту! Бегом!»

Свистят плетки-нагайки в руках полицаев, безжалостно, зверски полосуюя ими головы, спины пленных. Лопаются, рвутся фуфайки, шинели под ударами палок, течет кровь по лицам. В воздухе висит матерщина

полицаев и немецкое «антретэн!». Немцы довольны. Стоят, посмеиваются, наслаждаются зрелищем.

Наконец, время подпирает или это им надоедает, и они тоже включаются в наведение порядка на плацу. Тоже с помощью палок, кулаков, ног в кованых сапогах. А все дело заключается в том, что надо всех построить для пересчета. Через 15–20 минут криков, побоев, ругани личный состав лагеря стоял в строю по двадцать человек в глубину.

Вступили в работу немцы-счетчики. Их двое: унтер-офицер и писарь с папкой и карандашом в руках — хилый ефрейтор в очках. Начав с правого фланга, унтер-офицер шел вдоль фронта строя, папкой ударяя по правому плечу каждого стоящего в первой шеренге и считая эти удары: «...айн, цвай драй, фиер...», и так далее. Досчитав до двадцати, он останавливал счет, сам останавливался и смотрел на писаря-ефрейтора. Тот делал пометку в своей папке, кивал головой унтеру, и тот шел дальше, вновь начиная счет с единицы. Можно было подумать, что считать он умеет только до двадцати.

Но вот строй счетчиками пройден, они подсчитывают общий итог. Первая шеренга потирает после ударов свои правые плечи.

Громко подается команда: «Штиль гештанден!»

Все замерли, унтер от середины строя, строевым шагом, как на параде, шагает к стоящему напротив обер-лейтенанту [266] и, приложив руку к виску, рапортует ему. Тот, приняв рапорт, дает какие-то указания, и строй распускается.

8 часов утра. Мы со Славкой, сохраняя в себе слабую надежду вырваться отсюда, направляемся к проходной, как нам было сказано вчера вечером. У проходной толкотня — полицаи, немцы.

— Вот этот, наверное, старший! — говорит Славка и обращается к одному из полицаев: — Мы не военнопленные! Нам нужно к коменданту станции. Вчера вечером нас привели, сказали, чтобы мы утром подошли сюда, и нас отведут к коменданту!

— Я это слышал! — подтвердил полицаи.

Он что-то рассказал рядом стоящему немцу, показав на нас. Оказывается, он умел говорить по-немецки. Тот согласно кивнул головой, было отдана команда одному из полицаев, и тот без промедления повел нас к коменданту. Комендатура недалеко от лагеря, у входа солдат-часовой, фашистский флаг, свисающий с балкона, вывеска. Полицаи беспрепятственно проводят нас мимо часового, мы входим в коридор и там по лестнице поднимаемся вверх на второй этаж.

Дверь в кабинет коменданта распахнута, здесь никого нет. Только что прошла уборка: после мытья полы мокрые, все сияет чистотой. Неожиданно открывается дверь из смежной комнаты слева от нас, и входит комендант. Скользя по нам холодным взглядом, он молча прошел за письменный стол и уселся за ним.

«Чак, чак, чак...» — вдруг раздалось в коридоре. В открытую дверь, печатая шаг, четко, по-уставному размахивая руками, гордо выпятив грудь, с высоко поднятым подбородком, вошел стройный юноша-немец в безукоризненно чистой, отглаженной солдатской форме, но без головного убора. На голове тщательно уложенные, еще мокрые после утреннего туалета волосы, с правой стороны прямой, четкий пробор.

Он остановился, чисто выполнив поворот направо, и, уже стоя лицом к коменданту, резко, эффектно выбросив [267] вперед вытянутую правую руку в фашистском приветствии, звонко выкрикнул: «Хайль Гитлер!»

— Хайль Гитлер! — приподнялся за столом комендант. — Гут морген, Вилли!

— Гут морген, герр майор! — ответил кукольный юноша-немец.

— Вас волен дизес швайн? Заген зи инен! {2}

Как оказалось, это был переводчик. По-русски он говорил отменно, чисто, без малейшего акцента. Через него и произошел короткий разговор с комендантом.

Мы рассказали, кто мы такие, куда и зачем идем, как нас задержали на подходе к Крымской и как мы оказались здесь. Просили одно — дать пропуск до станицы Красноармейской. Выслушав нас, комендант сказал, что дать пропуск нам сейчас он не может, так как мы не имеем никаких документов. Здесь, сказал он, прифронтовая полоса, особый режим, а мы бродим без разрешения немецкой комендатуры и этим самым вызываем к себе подозрение. Он, комендант, будет связываться по телефону с комендантом станице Красноармейской, чтобы удостовериться, действительно ли мы оттуда. И если это подтвердится, он выпишет нам пропуск. А пока мы будем находиться в лагере военнопленных.

Аудиенция закончилась. Юноша-немец, переводчик, еще раз бросив на нас брезгливый взгляд, передал приказ майора полицаю: увести нас в лагерь. По дороге в лагерь мы, даже не боясь рядом идущего полицая, рассуждали вслух между собою о происшедшем. Наше общее мнение было таково: никуда комендант не будет звонить и выяснять что-либо. Это было видно по разговору с ним. Он о нас забыл, выбросил из головы сразу же, как только мы вышли от него. Да и что он может выяснить, скажем, в отношении меня,

если у меня в Красноармейской никого нет? Значит, мы застряли в лагере. Никто нас вот так просто из него не отпустит на все четыре стороны. У нас остается только один выход — бежать из лагеря, и как можно скорее. Если мы упустим [268] время, то через неделю-другую станем такими же доходягами, как и все там. Тогда нам будет не до побега!

С таким решением мы и вошли в ворота.

Полицай привел нас в канцелярию лагеря, где нас обоих записал, зарегистрировал в книге толстый и на удивление неопрятный пожилой немец — обер-ефрейтор.

\* \* \*

Мне терять было нечего, и на вопрос «Ви хайст ду?» — я, не краснея, соврал: «Папандопуло! Христофор Папандопуло!»

Немец, чертыхаясь и пыхтя, долго выводил в книге трудно выговариваемое для него имя.

— Ду? — спросил он Славку.

— Анастас Павлиди! — соврал и Славка, искоса глядя на меня и сдерживая смех.

Закончив запись, обер-ефрейтор выдал бирки из плотного картона с номерами. Теперь я стал номером 3157, у Славы номер заканчивался на восьмерку. Итак, мы узники концлагеря военнопленных в станции Крымской. С этим нас начальник канцелярии лагеря ехидно поздравил.

— Раус! — пискнул он по-свинячьи, фальцетом, и больно ударил меня в зад, выпроваживая за дверь.

— Пашель!

Лагерь располагался на восточной окраине станицы, ближе к железнодорожной станции. Его территория была ограждена забором из туго и часто натянутой колючей проволоки в два ряда, со свободным проходом между ними, — для патрулей с собаками. С внешней стороны этого забора еще колючая проволока — третий ряд. Он выполнен по всем правилам фортификации в виде настоящего проволочного ограждения. Как и положено по немецкому стандарту, на углах воздвигнуты сторожевые вышки с легкими крышами, на которых круглосуточно находились немцы — охранники лагеря. Внутри два больших барака, стоящие под прямым углом друг к другу. Массивные, метровой толщины, высокие каменные стены, покрытые крышей на два ската. В лицевых стенах по двое дверей-ворот с железными засовами. Внутри земляной пол, потолка тоже нет: по всей вероятности, [269] это какие-то складские сооружения. На три с лишним

тысячи пленных этих двух барачков мало. Проводить ночи вне их уже было холодно, наступила холодная осень с ранними заморозками, и при захвате места для ночлега доходило до мордобоя. Мне и Славке крупно повезло, когда нам в первую ночь удалось втиснуться сюда.

За этими двумя бараками — третий, недостроенный: каменные стены без крыши и дверей. Часть территории, ближе к проходной, отсечена забором из колючей проволоки, образуя еще один двор прямоугольной формы. В заборе калитка, над которой большой лист фанеры с надписью о полном запрете входить сюда. Здесь, в этом дворике, в одном из домов, размещалась канцелярия лагеря. Далее казарма, кухня и столовая для солдат — охранников лагеря и еще один дом, выходящий фасадом на улицу станицы. В нем жил сам комендант лагеря «герр гауптман Зепп».

Других построек на территории лагеря не было, как и никакого признака растительности: все вытоптано тысячами ног, утрамбовано до твердости и блеска. У дальнего от улицы забора, в углу, вырыта яма метров десять длиной и не меньше пяти шириной: это туалет для всех. К началу нашего пребывания в лагере она уже была полна до краев, и испражнения зловонной массой расплывались из нее во все стороны. Подойти к яме было невозможно. Но оправляться трем с лишним тысячам людей, из которых больше половины болели дизентерией, было надо. Пленные подходили и подходили сюда бесконечно и, не имея возможности оправиться в яму, стараясь примоститься на чистом и сухом, все дальше и дальше отступали от нее. В результате далеко кругом все было загажено, стояло зловоние.

Воды в лагере не было ни капли! Не было ни водопровода, ни колодца! Не то чтобы умываться — глоток воды больному негде было взять. Попить воды можно было только вне лагеря, днем, находясь где-то на работе. Несчастные люди, волею судьбы попавшие сюда, имели ужасный вид. Грязные, косматые, с заросшими лицами, завшивленные, в рваном солдатском обмундировании, в развалившейся обуви или с закутанными в тряпки ногами. Здоровых среди пленных [270] не было. Или совсем больные, или полубольные. Вши, дизентерия, другие болезни не обходили и не щадили никого. Попавший сюда, в лагерь, выдерживал не более двух недель, после чего разделял участь всех остальных. Голод, антисанитария, моральная подавленность делали свое дело. Еду давали один раз в сутки, в 6 часов вечера. Деревянная бочка с выбитым с одной стороны дном, емкостью литров на триста, поставленная на попу. С двух сторон к ней прикреплены длинные ручки-жерди. В бочке темно-зеленая жидкость, в которой редко плавают комки неизвестного происхождения и широкие, хлопьями, листья

какой-то травы. Эту жижу с неприятным, отталкивающим запахом немцы называли «зуппе», то есть суп.

В шесть вечера несколько бочек с таким содержимым пленные, по восемь человек-носильщиков на каждую, заносят на территорию лагеря, на апель-плац, из отдельно отгороженного двора, где кухня. Их устанавливают в ряд, и начинается раздача пищи. К бочкам выстраиваются длиннейшие очереди. Люди видят, понимают, знают, что этой бурдой не насытишься, что ее просто опасно есть — наверняка подхватишь дизентерию, но голод, до нестерпимой боли, до спазм, сжимающий желудки несчастных, заставляет глотать ее. Лишь бы чем-то наполнить желудок, хотя бы на короткое время притупить чувство голода! Очередной подходящий на раздачу к бочке обязан в вытянутых вперед руках держать свой котелок, куда разливающий суп полицаи опрокидывает черпак с содержимым из бочки.

Редко у кого настоящий солдатский котелок. У большинства вместо него консервные банки разных форм и размеров. Черпак — тоже большая банка из-под мармелада, прибитая к длинной ручке. Попробуй, налей им, не пролив, суп в маленькую банку-котелок в слабых, дрожащих, вытянутых руках пленного! Для этого нет времени — вон какая стоит очередь, сотни людей к каждой бочке! И черпак полицаи ходит ритмично, как рука машины по дуге — вниз в бочку, вверх и в сторону с опрокидыванием в котелок — и назад. Куда попал суп из черпака — на руки держащего котелок, [271] ошпаривая их, или под ноги пленного, полицаи-раздатчики не интересуются. Зачерпнул — вылил, зачерпнул — вылил!

— Следующий! Не задерживай, стерва! Быстрей... твою мать! — орет, хлестая плеткой зазевавшегося, еле стоящего на ногах от слабости бывшего солдата полицаи, следящий за порядком. Удачливый, получивший полную банку похлебки, отбегает в сторону и тут же залпом выпивает ее. Он пообедал! Хотя раздача супа ведется из нескольких бочек, обед затягивается надолго.

В 9 часов вечера опять построение на «антретэн», на вечернюю проверку. Опять полицаи плетками, палками, с криком и матом загоняют людей в строй, опять идет долгий и нудный пересчет. Считают раз — что-то не сходится в цифрах, начинают считать вновь, и так далее.

Во время этого построения полицаи снимают замки с дверей-ворот барачных. Как только проверка заканчивается и подается команда «разойдись», вся масса людей, все три тысячи пленных бросаются, сбивая друг друга, в открытые двери барачных. Пробудившийся у людей инстинкт самосохранения заставляет спасать себя, только себя!

Бегут, пробивая себе дорогу кулаками, ногами, всем телом! Только бы успеть прорваться в барак и занять там, в тепле, место на нарах. Только бы успеть пробиться и не остаться дрожать от холода всю ночь на дворе!

Эта потасовка, борьба — для немцев концерт, потеха. Они стоят, хохоча, заливаясь чуть ли не до истерики. Полицаи рядом, боязливо посматривая на них, подобострастно, подхалимно, негромко хихикают. Наконец все успокаивается. Счастливики, сумевшие захватить место в бараке, устраиваясь на ночь, криками, теперь уже в темноте, разыскивают своих земляков, товарищей. Но постепенно и они смолкают, утихомириваются. Прошел еще один день плена, день голода, истязаний, надругательства над человеческим достоинством. Человек прожил еще один день. Будет ли он жив завтра? Не будет ли он завтра убит пулей фашиста при попытке к бегству? Не забьют ли его нагайками до смерти озверевшие полицаи только за то, что он из-за слабости от голода и нечеловеческих условий не сможет выполнить одну [272] из команд? Не умрет ли он в развалинах, за баракom, скорчившись от режущей боли в желудке, болея вот уже много дней дизентерией?..

Ночь проходила тихо, без бомбежки. Слабо прослушивалась где-то далеко-далеко артиллерийская канонада. Мы со Славкой сидели под стенкой барака, тесно прижавшись друг к другу. Сна не было. Мы тихо говорили, планируя свои действия. Что нас ожидает в будущем — мы не могли знать, но знали одно: если мы сникнем, смиримся с положением, в котором сейчас находимся, мы пропадем. Мы пока еще не едим баланду, которую здесь выдают на обед, она нам противна, не лезет в рот, но через два-три дня мы будем ее есть, голод заставит это делать. А там дизентерия — и... Выход один — надо отсюда бежать! Бежать, не теряя времени, пока мы еще здоровы! Но как бежать? С территории лагеря побег исключен, немислим. Значит, надо бежать, находясь вне лагеря. А вне лагеря пленные могут быть только в одном случае — на различных работах в пределах станицы. Мы уже узнали (да и увидели в первый же день), что утром немцы формируют из числа пленных рабочие группы-команды для выполнения самых различных работ для нужд гарнизона и вообще для немецкой армии.

К 8 часам к канцелярии лагеря подходят, подъезжают множество немцев-«покупателей», как им уже дали кличку пленные. Они дают свои заявки администрации лагеря, и та составляет для них рабочие команды. Эти команды могут быть в 10, 20, 100 и 200 человек, в зависимости от специфики работы. Пленных под усиленной охраной немецких солдат пешком, если работа недалеко, или на автомашинах, если далеко, отправляют на работы.



Все работают до 5 часов вечера, после чего их возвращают в лагерь. На другой день утром — все сначала.

Надо сказать, что старожилы-пленные, уже разобравшись во всех этих работах, знали в лицо всех «покупателей»-немцев, бравших их на работы, и сделали для себя выводы: работы были хорошие и плохие. Хорошие — это те работы, где можно работать, не надрывая пуп, вполсилы, а самое главное — можно раздобыть что-либо поесть. Плохие [273] — это те, где будешь под плеткой работать, не разгибая спины до вечера, а поесть нечего. Поэтому, как только появляются немцы с плохой работы, все шарахаются от них, как от чумных, и полицаи загоняют людей в строй насильно, плетками. С появлением же немцев с хороших работ все, наоборот, бросаются к ним, прося взять их. А поскольку немцы, и хорошие, и плохие, приходят разом, в одно время, то в лагере происходит кутерьма еще хуже, чем при построении на «антретэн». Опять носятся полицаи, полосуя налево и направо нагайками, загоняя с криками и матерщиной в строй. Люди бегут от них, становятся в строй хорошей работы, — здесь они уже лишние, и их тоже плетью гонят отсюда. Крики, просьбы, слезы боли и кровь от плеток на лице. Полицаи били не столько с целью наведения нужного им порядка, сколько для наслаждения своей властью над людьми. Били свой народ, не забывая при этом угодливо поглядывать на хозяев-немцев, ожидая от них похвалы за собачью преданность...

— Подъем! Антретэн!

К проходной начинают подъезжать автомашины за пленными. Все больше подходило немцев. Еще пять-десять минут — и началось:

— 40 человек, станови-и-сь!

— 20 человек, ста-но-ви-и-сь!

Нам было все равно куда на работу, у нас цель одна — побег. Поэтому мы пристроились в ближайшую команду. В нее набрали 40 человек. Вывели за территорию лагеря, еще раз пересчитали, оцепили автоматчики и... «марш!».

За нами из ворот команды выходили одна за другой. Здесь же, на улице, столпотворение! Весь квартал буквально забит женщинами. Это женщины-матери, жены, сестры, пришедшие сюда со всего Краснодарского края разыскивать своих сыновей, мужей, братьев. Все они с кошелками, мешками, сумками, узлами и узелками. Каждая принесла собранные с трудом продукты, чтобы найти, накормить, попытаться вызволить, спасти своего родного, любимого.

В воздухе пыль, шум, гвалт, крики: [274]

— Из Тихорецкой хто е?

— Темрюкские есть?

— Передатэ Матрене, што йи сын — Павло — вчерась помер! — это из строя пленных.

— Пошукайтэ в лагери Мэтлицкого Пэтра! Здэсь йего маты!

— Тетка, тетка! Дай трохи хлеба, бо мы вврэм!

— Сынки! Сыночки вы мойи! — кричит, плачет простоволосая пожилая женщина. — Що з вами роблють? Бэрыть! Бэрыть всэ, хлопцы! — Она тычет проходящим пленным из своей кошелки хлеб, пирожки, огурцы, яблоки... — Бэрыть, наши мученыки!

— Фрося, Фро-ося! — кричит кто-то в отчаянии у меня за спиной. — Жена моя! Братцы, жена моя! Фро-о-ося! — Он бросается из строя.

Из толпы на шею ему — жена!

— Гриша! Гри-и-ша! — бросив корзинку, она повисает на его шее, заливаясь слезами.

Подбежал немец-охранник, взмахнул прикладом, автоматная очередь, душераздирающий крик — и все остается где-то сзади, в поднятой сотнями ног пыли.

Вдруг совсем рядом из толпы:

— Из Анапы есть?

— Есть! — ору я. — Есть!

Подбегает молодая женщина, идет рядом со строем, беспокойно, с опаской оглядывается назад, на охранника и быстро-быстро, чтобы успеть, спрашивает:

— Кто у тебя дома? Фамилия? Где живут?

— Мама и брат-инвалид у меня дома! Улица Кирова, 31! Фамилия...

— Я сообщу о тебе твоей маме! — кричит мне вслед женщина и теряется сзади.

И что удивительно... как впоследствии выяснилось, весть обо мне маме передали! А ведь сделать это было не так просто — в то время мама моя не жила по адресу, который я дал незнакомке. Наш дом, вся улица Кирова находились в запретной зоне, установленной в городе немцами, — все [275] жители были оттуда изгнаны, и они расселились кто где. Моя мама жила теперь в поселке Алексеевка.

Шум, гвалт постепенно, по мере нашего продвижения по улице, остаются позади. Мы со Славкой жуем на ходу, прячем за пазуху, в карманы поданные нам женщинами продукты. По лицам некоторых пленных в строю текут слезы. Они плачут, вспоминая, видимо, своих родных.

Наконец, команда:

— Хальт!

Мы в стороне от вокзала. На запасных путях стоят железнодорожные платформы, груженные бревнами. Оказалась, что наша работа — выгружать с платформ эти бревна и складировать их здесь же в штабель. Мы со Славой посмотрели вокруг и поняли, что день для нас пропал. Отсюда не убежишь. Кругом чисто, голое место, поле, и мы все у немцев-охранников на виду.

Работа тяжелая, все делается вручную. Никаких подъемных устройств или механизмов не было. Я вчерашний школьник — и это мой первый трудовой день раба! Я был раб! Такой же, как рабы на плантациях в книге «Хижина дяди Тома». Так же ходили и подгоняли нас в работе плетью надсмотрщики, только у этих еще и автомат был на груди!

— Льос! Арбайт! Никс плехо работа! — то и дело слышалось за спиной.

И мы работали. Катали, поднимали, складировали эти проклятые бревна. Руки, ноги дрожат от слабости. Выдержим ли мы этот день в работе до конца? Вот кто-то там упал, не выдержал... Для фрицев это находка — это им предлог для развлечения. Мы работаем, стараемся не смотреть на издевательства, не видеть страданий несчастного!

— Паузен! — раздается команда немца-плантатора. 12 часов — время обеда. Тут же, у платформы, и присели. Один из фрицев взобрался на штабель бревен и оттуда, удобно усевшись, наблюдал за всеми нами. Остальные немцы расположились группой невдалеке. У каждого из них на ремнях сзади небольшие матерчатые зеленые, под цвет мундира, сумки с кожаными застежками. К ним прикреплены обтянутые коричневым сукном фляжки с крышками-кружками. [276] В сумках солдаты носят свой обед в виде бутербродов с маслом, колбасой. Во фляжках кофе.

Сейчас сумки раскрыты, фляжки отстегнуты. Сидят, обедают, пьют кофе — все в одиночку, каждый свое, отвернувшись друг от друга. Мы, быстро проглотив то, что успели передать нам женщины, сидели, отдыхали, тихо переговариваясь.

Один из немцев, укладывая остатки еды в суму, посмотрел на нас, приостановился, что-то подумал и бросил нам под ноги на землю оставшийся у него от обеда кусок хлеба.

— Не бери хлеб! — негромко сказал мне Слава.

— И не думаю брать! — ответил я и, отвернувшись, стал смотреть в сторону.

Немец, упаковавшись, встал и, оправив мундир, подошел к нам. Он знал, что мы голодны, и понимал, что только наше презрение к ним, немцам, не позволяет нам взять брошенный хлеб.

Я продолжал смотреть в сторону. Слава, опустив голову, крутил в руках какую-то щепку.

— Ауфштейн! — взвизгнул немец.

Подчиняясь приказу, мы молча встали перед ним.

— Ворум никс кушайт хлеб, руссиш швайн?

Мы молчим.

— Ти ест маринеи? Матрозел? — ткнул он стволом автомата Славу в грудь.

— Ду ауф матрозен? — больно ткнул он и меня.

Флотские брюки-клеш, фланелька Славы, «рябчик» на мне заставили его считать нас матросами.

— Да, мы матросы! — глядя немцу в глаза, твердо, с вызовом ответил ему Слава.

Я придвинулся к Славке и плечом притиснулся к его плечу, так же смотря немцу в глаза.

Физиономия фрица исказилась гримасой злобы. Брызжа слюной, он излил ее на нас в виде длинного монолога вперемежку с русскими словами, не забывая разбавлять свои тирады руганью. Из всего им высказанного мы поняли, что мы — «руссиш швайн». Высказавшись, облегчив тем самым свою душу, немец пинком сапога отбросил лежащий на [277] земле хлеб в сторону сидящей группы пленных. Один из них, не раздумывая, тут же жадно схватил его и стал прятать за пазуху.

— Работа! Аллес Арбайт! — закричал немец на платформе, пряча часы-луковицу в карман.

Перерыв кончился, мы продолжали работать и к концу дня вымотались окончательно. Ноги дрожали, все тело болело. Назад в лагерь шли в строю, поддерживая друг друга. Так и закончился наш второй день пребывания в лагере и первый день работы. Побег не получился.

На следующий день, утром, все повторилось сначала. Опять построения, опять крики, ругань, битье и все прочее. На этот раз нас загнали палками в строй, где формировалась небольшая команда в 20 человек. Нам было все равно куда, все равно, на какую работу, — лишь бы там была возможность бежать.

Всех вывели за ворота, усадили в закрытый кузов грузовой автомашины и повезли. Ехали мы совсем недолго, минут десять-пятнадцать. Машина

стала, нам скомандовали выйти. Мы были в каком-то большом, широком дворе. В стороне стоял добротный каменный дом. Здесь велись уже начатые в прошедшие дни земляные работы: кругом была навалена большими кучами свежевырытая земля. Посреди двора огромный котлован, в стенке которого друг против друга вырыты ведущие куда-то дальше в землю ходы в полный рост человека. Как мы поняли, двор этот был на одной из улиц в центре станицы. Пленные, работавшие здесь раньше, говорили, что в доме живет какой-то большой немецкий военачальник.

Все работы выполнялись под присмотром и командой двух фельдфебелей и унтер-офицера. Ну и, само собой, вокруг были солдаты-охранники.

Нам приказали спуститься в котлован. Здесь был аккуратно сложен весь необходимый для работы инструмент: лопаты, кирки, ломы, тачки, носилки. Разобрав его, кому что попало под руку, пленные, понукаемые немцами, разошлись по местам и приступили к работе. Из котлована несколько наклонно в глубь земли шел один ход, достаточно [278] широкий и высокий, чтобы по нему можно было идти во весь рост, почти не пригибаясь. Стены хода-коридора и потолок были укреплены через каждые полтора-два метра широкими брусками и сплошную обшиты досками. Коридор заканчивался большой комнатой, которая уже была готова. В потолке два вентиляционных отверстия. По нашей прикидке, она находилась на глубине примерно четырех метров от поверхности земли. Глубина не такая уж большая, но, если учесть, что эти четыре метра были, как нам сказали, сплошь из дубовых бревен в несколько накатов, засыпанных толстым слоем утрамбованной земли и щебня сверху, то ясно, что не каждая авиабомба нанесет сколь-нибудь значительное разрушение, попав сюда. Тем более что обычно Крымскую бомбили наши самолеты «У-2», или, как их называли, — «кукурузники», а они могли брать для бомбежки только мелкие бомбы. Немцы, строящие это сооружение, учитывали это.

Мне и Славке досталась работа в противоположном ходе: там еще только-только начинали расширять его и сооружать такую же комнату-зал. Сверху была пробита вентиляционная шахта, через которую и поступал воздух для работающих. Через нее был спущен электропровод с лампочкой на конце для освещения, а ток поступал от тархтевшего наверху, во дворе, движка.

Наша работа была — накидывать накированную землю на носилки в конце подземного хода и выносить наружу в котлован. Таскать громоздкие носилки нам, обессиленным, не привычным еще к физическому труду, было

тяжело. Они раскачивались в такт нашего хода, кисти рук больно терлись о стенки в узком проходе.

На выходе из подземелья, в котловане, стоял немец-охранник с элегантной плеточкой. Он, гад, не лез под землю проверять, как там идет работа, а контролировал ее ход по своим часам. Как только мы показывались с носилками, он смотрел, полные ли они землею, потом на часы, и, если мы пробыли там, под землею, по его мнению, больше, чем надо, он хлестал нас плетью, крича: [279]

— Плехо работа! Никс карашо арбайт! Круце фикс! Зи зинд думкоопф! Доннер-ветер! Пошель, быстро!

Другие немцы орут:

— Льос! Давай! Арбайтен, шайзе-райн! Работать карашо! Руссиш швайн!

Мы таскаем носилки с землей, надрываясь и задыхаясь от недостатка воздуха.

Наконец команда:

— Паузен! Миттаг!

Немцы смилостивились и разрешили нам всем вылезти из сырого котлована и расположиться здесь же вокруг, на солнце.

— Кому миттаг, а кому и так! — говорит Славка мне. — Есть-то нечего!

Пленные доставали из-за пазух, из карманов кто качан сырой кукурузы, кто сбереженный, тщательно завернутый в тряпицу кусочек хлеба, кто полусырую картофелину, сырую свеклу. А некоторые, как и я со Славой, сидели просто так. У нас нечего было есть. У дома напротив мела веником тротуар девушка. Я попросил разрешения у сидящего рядом охранника поговорить с ней, попросить у нее что-либо поесть. Немец разрешил.

— Девушка, подойди, пожалуйста, сюда! — позвал я.

Она подошла.

— У меня вот есть десять рублей, — протянул я ей оставшийся у меня последний червонец. — Купи, пожалуйста, нам что-нибудь поесть! Только побыстрее!

Девушка стояла и молча смотрела на меня, видно, колеблясь: выполнить мою просьбу или нет. Затем так же молча она взяла деньги и пошла со двора.

Рядом со мною сидел уже пожилой солдат-пленный. Он был невероятно худой, и у него тоже ничего не было поесть, как и у нас. Слышав мой разговор с девушкой, он оживился.

— На червонец она может купить кое-что. Хлеба кусок, с пяток яиц в придачу! А если хорошо поторговаться, то и еще что-нибудь! — мечтал

он. — Ребятки, вы мне дадите хоть [280] одно яйцо или кусочек хлеба? А то я и до лагеря не доберусь! Уже давно у меня во рту ничего не было! Все попадаю на такие вот работы, где ничего не достанешь поесть и не выпросишь ни у кого! Сил у меня никаких не осталось, как только еще доработаю до конца дня?

— Не беспокойся, отец! — говорит Слава. — Принесет девушка — поделимся! Дадим тебе и хлеба, и яйцо!

— Ну, вот и спасибо за добрые слова! Вы откуда будете, ребята? — спросил пленный солдат.

— Черноморцы мы, батя! Из Анапы!

Между прочим, мы гордились тем, что мы жители города на Черном море и, когда нас спрашивали, откуда мы, — всегда с гордостью говорили об этом.

А вот и девушка показалась в воротах, несет что-то в фартуке, впереди себя. Подошла, высыпала из фартука на землю нам под ноги десятка два яблок. Больше ничего не было...

— Ешьте! — буркнула она и быстро пошла на улицу.

Мы растерялись и тупо смотрели ей вслед.

— Вот вам и хлеб, и сало, и яйца! — негромко сказал кто-то с насмешкой.

Я растерянно посмотрел на худого солдата-пленного, только что мечтавшего об одном-единственном яйце, ждавшего мига, минуты, когда он положит себе в рот что-нибудь съестное. Он беззвучно плакал. По его лицу густо катились слезы, исчезая где-то в свалявшейся бороде.

— Сволочь! — крикнул Славка. Он быстро вскочил на ноги, схватил пару яблок и запустил их одно за другим в удаляющуюся девку. К сожалению, яблоки уже не долетели до нее, и она, не оборачиваясь, прошмыгнула за ворота.

— Но-но! — вскочил и немец-охранник. — Руих! Тихо! Абер шиссен! — постучал он ладонью по автомату.

Слава сел. Все молчали. Худой солдат-пленный вдруг побледнел, застонал, глаза закатились, откинулся на спину.

— Сволочь девка! — заговорил сидевший напротив меня пленный. — Эта шкура еще вчера была школьницей, комсомолкой! [281]

— Она, наверное, дочь полиция! — сказал кто-то рядом.

— Этим яблокам цена — рубль, не больше. Она просто украла у вас деньги, подлюка!

Пленные заговорили все разом, возмущались.

— Запоминайте, братцы, все запоминайте! Придет наше время! — гудел кто-то басом. — Скоро наши придут сюда, слышите вон, как гремит артиллерия. Они недалеко! Тогда мы разберемся, что к чему здесь, кто, чем и как дышал! — все громче и громче говорили все разом, распаляясь.

— Пусть дадут мне тогда только винтовку! Нет, не надо винтовку, я буду вот этими руками давить всех этих полицаев, атаманов и таких, как вот эта сука! — поднявшись и стоя на коленях, выставив руки вперед — вверх, уже почти кричал распалившийся конопатый пожилой дядька — бывший солдат.

Вскочили, видя возбуждение пленных, охранники.

— Руих! Сокраменто! Швайне райн! Ауф кец! Пошелъ работа! — орали они, пинками ног загоняя пленных вниз, в котлован.

Опять изнурительная работа. Вчерашняя работа на станции теперь уже кажется нам не такой уж и тяжелой по сравнению с этой. Да к тому же вчера мы не были голодными, у нас было что поесть, хотя и не столько, сколько хотелось. Всему бывает конец. Будет конец и этому тяжелому дню, утешали мы сами себя.

— Генух! Раус! — раздается команда-приказ немца-фельдфебеля.

\*\*\*

Все собираются в котловане, чистят лопаты, кирки, ломы и устанавливают их ровными рядами у стены.

— Русские не любят порядок! Надо везде порядок! — выговаривает унтер-офицер, когда мы поднимаемся наверх, во двор. У ворот уже стоит автомашина, которая отвезет нас в лагерь. На шинели, там, где мы сидели в обеденный перерыв, лежит мертвый худой солдат-пленный, так хотевший съесть хотя бы одно только яйцо! Его звали Петр Лукич Игнатов... [282]

Немцы приказали уложить умершего в кузов автомашины, куда сели и мы. Им надо было сдать в лагерь ровно столько пленных, сколько они утром взяли на работу. Живых сдать или мертвых — все равно, лишь бы по счету все было точно. Во всем должен быть порядок!

Вот и третий день прошел, как мы в лагере. Никакого проблеска, надежды на побег все не было.

— Менять! Каждый день менять место работы. Пока есть возможность, надо так и поступать — другого выхода у нас нет! — говорит Слава. — Говорят, что самая хорошая работа — это работа на консервном заводе. Хорошая потому, что там можно вдоволь поесть консервов, а если кто



смелый и ловкий, то может, уходя с работы, утащить пару банок. Нам надо завтра попасть на эту работу. Мы и наедемся, и, возможно, сбежим!

Мы начали наводить справки, расспрашивать пленных, что кто знает о работе на консервном комбинате. Конечно же, не все знали об этой работе, но наконец мы нашли человека, который уже бывал там.

— Э-э, ребятки! На комбинат попадают только счастливики. Все хотят там работать! Там харчи! А берут всего сорок человек. Каждое утро в лагерь оттуда приезжают немцы на автомашинах. С ними русская девушка. Говорят, что она мастер-технолог. Вот она и выбирает для себя рабочих под присмотром немцев. Кто ей приглянется, того и берет! Трудно, очень трудно попасть к ней в команду!

На следующий день утром, когда началась обычная здесь суматоха с распределением на работы и построением команд, мы не спешили в этот раз стать в строй какой-либо команды. Смотрели, слушали, ждали, когда же появится девушка с консервного комбината. А ее и прозевать нельзя было. Как только она показалась на территории лагеря в сопровождении четырех фрицев, все волной хлынули к ней, крича, прося, умоляя:

— Красавица, возьми меня!

— Землячка, гукай мэнэ! — просил какой-то кубанец.

— Доченька, меня возьми! — неслоь отовсюду. [283]

— Цурюк! — кричали немцы, ногами отгоняя тянувшихся с просьбами к девушке-мастеру пленных.

— Назад! Куды прэшь! Геть витциль! — орали полицаи, хлеща налево и направо плетками.

Но вот порядок наведен, все притихли. Девушка-мастер стояла с невозмутимым лицом, холодно поглядывая на стоящих пленных, теперь уже отогнанных от нее полицаями. По какой-то ей одной известной причине вдруг останавливала свой взгляд на ком-то и, вытянув руку, показывая пальцем на «счастливика», произносила:

— Вот этого мне!

— Льюс! — приказывал немец, и счастливый пленный радостно выбежал и становился на площадку, где должна быть построена вся набранная команда.

Я и Слава протиснулись вперед и ждали своей участи. Я впился взглядом в лицо девушки, мысленно приказывая ей: «Посмотри на меня! Посмотри на меня!..»

Вижу, девушка действительно поворачивается, и пристально смотрит мне прямо в глаза!

«Бери меня, бери меня!» — продолжаю мысленно приказывать я ей.

— Вот этого мне чернявенького! — говорит девушка, показывая на меня пальцем.

— Я не один! Со мной друг! — говорю я.

— Давай с другом! — отвечает она, все также пристально смотря на меня.

— Льос! — командует немец.

Мы быстро выходим из общей массы пленных и становимся в строй команды «счастливи́чиков». Вот и не верь после этого в телепатию!

После того как было набрано 40 человек, нас строем вывели за ворота лагеря, и там все расселись в двух приехавших за нами автомашинах. Следом в кузова сели охранники, и нас повезли на комбинат. Кузова, как обычно, были покрыты брезентом, и поэтому дорогу мы не видели. Машины въехали во двор комбината и стали. Быстро по команде выгрузились. Нас здесь ждали. [284]

На упаковку готовой продукции взяли сразу двадцать человек, затем еще куда-то шесть, потом восемь... Всех разобрали, все разошлись по рабочим местам. На меня и Славку — ноль внимания. Никто нас никуда не взял, не дал какую-либо работу. Не зная, куда себя пока деть, мы подошли и присели под кирпичную стенку домика-проходной. Стали осматриваться. Насчет того, что мы здесь хорошо поедим, — это видно будет, а вот бежать отсюда не получится. Кругом высокий забор из серого кирпича, поверх забора густо натянута, напутана колючая проволока — не пролезешь, если и захочешь. По всей территории непрерывно ходят парами немцы-патрули. Так что все находящиеся здесь — под их присмотром.

— Дело швах! — говорю я. — Счита́й, что еще один день для нас потерян.

Мимо пробегает маленький сухонький старичок. В сером пиджачке, брюки заправлены в сапоги, бородка клинышком. Увидев нас, он остановился, спросил:

— Вы что здесь делаете, пацаны? Почему не работаете?

— А мы не знаем, что нам делать! — говорит ему Слава. — Разобрали всех на работы, а про нас забыли!

— Сидеть нельзя! Немцы увидят — изобьют! Они не любят, когда кто-то сидит, не работает! Вон их сколько ходит, наблюдают. Вот что! — продолжал он, подумав и слегка подергав себя за бороду. — Там, за вот этим корпусом, стоит под стенкой саж для свиней. Рядом с ним тачка, две лопаты и кирка. Берите этот инструмент и, хотя бы для видимости, киркуйте и

вывозите к забору вон ту кучу шлака! — посоветовал он. — Не торопитесь! Работайте так, чтобы этого шлака вам хватило до вечера.

Он еще раз внимательно осмотрел каждого из нас:

— Я вижу, вам не до работы сейчас. Вам нужна еда и отдых!

— Мы голодные! Нам надо поесть! — сказали мы. — Вы кем здесь работаете? Говорят, что здесь можно организовать пару банок консервов. Скажите, где?

Старичок, сощурившись, посмотрел на нас, вроде как бы оценивая, а затем вполголоса, теперь уже медленно, сказал: [285]

— Кем работаю — не ваше дело! В том длинном корпусе склад готовой продукции. Если сумеете, там вы можете украсть банки. Но имейте в виду, немцы воров вешают! — сказав это, он быстро ушел.

Сначала надо было определить себе место здесь на территории комбината, а потом уже позаботиться о еде. С этого мы и начали. Нашли саж, тачку, инструмент. Подкатили тачку к слежавшемуся шлаку. Покирковали немного его, набросали в тачку. Видимость нашей работы теперь уже есть!

— Пойду на разведку! — сказал я, бросил лопату и направился к тому дому, на который нам указал старик.

С противоположной стороны дома были двери и окна. Из первой двери слышался говор и стук молотков. Я вошел в небольшой тамбур-коридор, через него туда, откуда слышался шум, — и чуть не ткнулся носом в спину стоящего за дверью немца-охранника. Отпрянув назад в тамбур, я быстро шмыгнул в приоткрытую дверь соседней комнаты.

Здесь был полумрак. Единственное окно забито досками снаружи, сквозь щели между ними пробивается слабый свет. Это и был склад готовой продукции. Аккуратно, ровными штабелями сложены упакованные в ящики консервы. Никого нет. Я ухожу подальше от двери, за штабель, там легко отрываю доску одного из ящиков, беру оттуда две банки, кладу их в карманы брюк.

Вдруг за дверью, на выходе во двор, послышалась приближающаяся немецкая речь. Немцы (по-видимому, их было двое) вошли в коридор. Один из них, увидев полуоткрытую дверь в склад, выругался по поводу этого беспорядка, громко хлопнул ею, прикрывая. Звякнула щеколда. Я стоял за штабелем, прижавшись спиной к стене, затаив дух.

Немцы удалились, но тут же послышался шум работающего двигателя подъехавшей к складу автомашины. Опять голоса, теперь уже русская речь, опять звякнула щеколда, открылась дверь, кто-то вошел и знакомым мне голосом распорядился:

— Входите! Начинайте грузить вот этот штабель! Да поосторожней!  
[286] Ящики сбиты мелкими гвоздями — могут развалиться!

Мне все ясно. Подъехала автомашина, и на нее будут грузить консервы.

— Живей, живей, ребятаки!

Совсем уже рядом кто-то командовал знакомым мне голосом. Я решился, выглянул и... встретился взглядом с тем же старичком! Тот отпрянул от неожиданности и широко раскрытыми глазами смотрел на меня, ничего не понимая, раскрыв рот от испуга и неожиданности.

Я молча смотрел на него, думая: выдаст он меня или нет? Надо отдать ему должное, среагировал старичок быстро: дернул себя за бороду-клин и заорал на меня:

— Ты что, пришел сюда работать или дурака валять? Выноси ящики! Сейчас придет господин обер-фельдфебель, он вам всем, лодырям, задаст! — Это он уже кричал всем грузчикам.

Не раздумывая, я хватаю ящик со штабеля и, держа его перед собою на опущенных вниз руках, чтобы прикрыть банки в карманах брюк, быстро проскакиваю коридор мимо немца, считающего отгружаемые ящики, и вслед за грузчиками подаю его на автомашину.

Все заняты делом. На меня никакого внимания. Отступая за высокий борт машины, я в два прыжка исчезаю за углом дома и там, сдерживая себя, спокойным шагом направляюсь к долбящему шлак Славке.

— Ты что такой бледный? — спросил он, глядя на меня. — Чего тебя так долго не было?

Я рассказал, и мы решили съесть обе банки, по очереди залезая в саж, в котором не было свиней — он был сух и чист, а главное — он был укрыт от посторонних глаз. Вокруг валялось много осколков от авиабомб после бомбежек. Мы выбрали один, длинный и узкий, как стамеска, с острыми зубчатыми краями. Я продолжал работать — ковырять шлак, а Слава, прихватив банки и осколок, незаметно юркнул в саж. Послышались легкие удары — Слава вскрывал банки. Через пару минут в саж полез я, а Слава работал киркой. С наслаждением я выел все содержимое банки. Горошек [287] в томатном соусе показался мне едой богов. Казалось, что ничего вкуснее я до этого в жизни не ел.

Крымский консервный комбинат в то время работал, хотя и не на полную свою мощность, выпуская продукцию для пополнения продовольственных запасов немецкой армии. Изготавливались консервы — горошек в томатном соусе в поллитровых жестяных банках. Работали здесь люди и из числа жителей станицы, и из числа военнопленных. Все работы

были под контролем оккупантов, и по территории, следя за порядком, парами ходили патрули. Форма на немцах-патрульных была необычная, такую мы увидели впервые. Цвет ее был светлый, желтовато-бежевый. Френч с накладными карманами, широкий кожаный пояс через плечо, под погон, португепя. Брюки-галифе, заправленные в сапоги с высокими, под самые колени, голенищами. На руке, выше локтя, широкая ярко-красная повязка с белым кругом посредине и черной свастикой в нем. Небольшой, открытый ворот френча, за которым кремовая рубашка и черный галстук. Все это подогнано, вычищено, выглажено...

— Теперь пойду я, моя очередь! — сказал Слава, бросая лопату, когда я вылез из сажа и подошел к нему.

— Иди, только будь осторожен, не напорись на фрицев! Слава пошел. Я продолжал работать — возил накиркованный шлак тачкой к забору. Прошло минут десять, вернулся Слава. В карманах его брюк туго выпирали банки консервов.

— Ты что-то быстро организовал банки! — удивился я. — Как это ты сумел?

— А я не ходил в тот склад, где ты был. Дальше еще есть дверь. Там работают женщины: перетирают банки и укладывают в ящики. Немцев нет. Женщины дали мне парочку и посоветовали побыстрее сматываться!

Мы опять по очереди поели в сажу, насыщаясь. Наши желудки отвыкли принимать много пищи, и после двух банок каждому из нас есть уже не хотелось.

— Схожу еще раз, — говорит Слава, — возьмем с собою консервы в лагерь, в запас! [288]

Слава вернулся так же быстро, как и в первый раз, но, еще когда он только показался из-за склада, я обратил внимание на то, что двое немцев-патрульных что-то уж очень пристально издали смотрят на нас. Потом они направились к нам, и как раз подошел Слава.

— Слава, — шепнул я, — немцы засекли, идут сюда! Не оглядывайся, бросай банки в шлак!

Слава, приседая, как бы для того, чтобы взять кирку, выбрасывает быстро и незаметно одну банку из кармана.

Я тут же загребаю ее шлаком, продолжая грузить тачку. Вторую банку он выбросить не успел, немцы были уже рядом. Так с банкой в кармане и начал работать. Банка выпирала буфом на брюках, немцы явно видели уже ее.

— Komm hier! — указывая стеклом на Славу, приказал один из них.

Мы приостановили работу, выпрямились.

— Комм! — раздраженно рявкнул фриц.

Слава подошел и остановился перед ним в двух шагах.

— Aus! — приказал немец и стеклом постучал по банке в кармане брюк Славы.

Слава медленно вытаскивает банку и протягивает ее немцу. Тот берет ее, о чем-то советуется, говорит со своим напарником. Тот вначале как бы возражает, затем соглашается.

Взявший банку немец неожиданно сильно бьет Славу ногой в живот, и они оба уходят.

Я бросился к корчившемуся на земле другу. Держась обеими руками за живот, он кривился и стонал от боли, по лицу текли слезы. Немного придя в себя, вытирая лицо, он сказал:

— А все-таки у нас на ужин есть что поесть!

Имелась в виду банка горошка, спрятанного в шлак. Хорошо хоть так отделались, могло быть и хуже. За воровство немцы жестоко расправлялись: в большинстве случаев пойманных на воровстве просто вешали.

В обеденный перерыв мы решили походить по двору, присмотреться, поискать возможность бежать, — но тщетно. Патрулирующие немцы не разрешали шататься без дела, [289] и хождение по территории комбината разрешалось только им. Так мы и работали до вечера на своем месте. Бежать опять не удалось, но мы хотя бы отдохнули, проведя здесь день. После предыдущих работ, на вокзале и на земляных работах, окажись сегодня вновь на какой-либо тяжелой работе, мы не выдержали бы, свалились. Здесь же мы не работали, а дурака валяли и как-никак поели.

Вечером в лагере за свою банку горошка мы выменяли четыре печеные картофелины и небольшую свеклу, — тем и поужинали. Сегодня с утра и весь день нам просто везло. Повезло и вечером. После вечерней переключки нам удалось захватить себе место для ночлега на нарах, на четвертом ярусе. К смраду здесь в амбаре мы уже привыкли и не замечали его. Нам не давали спать вши, но даже просто впадать в забытие несравненно лучше, чем лежать сейчас во дворе, под дождем, на мокрой земле и ледяном ветру. Здесь же сухо и тепло. В полной темноте тут и там слышались бесконечные разговоры о еде, о доме, о войне. Но если о еде говорили мечтательно, о доме с болью и слезой в голосе, то, рассуждая о войне, многие не могли сдержать своих чувств, и эти разговоры переходили в жаркие споры. Редко где люди могут высказывать свое мнение так открыто, не боясь худых для себя последствий, как здесь, в лагере. Люди были разные: в недавнем прошлом командиры

разных званий и должностей, политработники, вовремя посрывавшие свои знаки различия на форме или просто переодевшиеся (если была возможность) в форму рядовых красноармейцев, чтобы не быть расстрелянными; рядовые бойцы всевозможных частей и соединений. Здесь бывшие служащие, рабочие, колхозники, интеллигенция. Люди разных национальностей и с разных мест. Всех уравнивал плен!

— Почему мы здесь, в плену? — говорил кто-то рядом. — Разве мы не хотели защищать свою Родину? Разве мы, побросав оружие и подняв руки вверх, добровольно пошли сдаваться в плен? Нет, добровольно сдавались, шли в плен единицы из общей массы войск, трусы или подонки-предатели. Таких шкурников немного, и они не в счет! Мы попали в плен не по своей воле, а по вине командиров, не сумевших [290] организовать, навести порядок во вверенных им воинских соединениях по причине своей растерянности, бездарности, несогласованности в своих действиях, воинской безграмотности. Кровью залили фашисты нашу землю! Издеваются под нашими семьями на захваченных территориях, расстреливают ни в чем не повинных. Издеваются и здесь над нами! Но верьте — это все временно! Сейчас время работает на нас! Отступить наша армия дальше не будет! Пружина сжата до предела! Скоро, очень скоро она распрямится, и фашисты получат все сполна! Нам, оказавшимся здесь, необходимо не сидеть сложа руки, не выжидать чего-то, а сплотиться воедино, организовать и бороться по мере наших сил и возможностей с оккупантами!..

— Подумаешь, агитатор нашелся! — прокричал кто-то недалеко в темноте на нарах этажом ниже нас визгливым голосом евнуха. — Наслышались мы уже по горло таких политруков, как ты! Ишь, комиссар объявился! Целую речь закатал! Висеть тебе скоро в петле на апель-плацу!

— Заткните ему глотку, суке! — прохрипел кто-то там же, внизу. — Такие вот стервы и продают нас!

— Кто там рядом? Придушите его, братцы! — послышалось со всех сторон. — Дайте ему в морду, предателю!

Возбуждение людей постепенно утихало, смолкало, гасло. Утомленные на работах, ослабленные голодом люди засыпали. На смену всеобщемуговору пришел храп сотен людей...

\*\*\*

Утро. Все, как вчера, как позавчера и еще раньше. Подъем, пересчет на апель-плацу, построение команд на работу. На этот раз мы не выбирали, куда нам стать в строй, как делали до этого. Сегодня полицаи палками

загнали нас в строй команды, в которую набирали двести человек. Получилась колонна по шесть человек в шеренге, и тридцать три таких шеренги в глубину строя, в затылок друг другу.

Нас вывели за ворота лагеря, мы прошли по улице станицы сквозь шумящую толпу ищущих мужей женщин и этой же улицей вышли за околицу в поле. Дорога, вначале мощенная булыжником, примерно через километр перешла [291] в «профильную», грунтовую. Такие дороги недолговечны, и пользоваться ими можно только в сухую погоду. Земля на проезжей части быстро выбивалась, появлялись ямы, ухабы. При езде летом в сухую погоду было много пыли, а в дождь дорога раскисала, становясь скользкой. Преобладавший тогда конный транспорт колесами подвод, копытами лошадей выбивал, месил грязь, и дорога превращалась в остановившийся грязевой поток, двигаться по которому автотранспорту было просто невозможно.

Немцам, оккупировавшим Кубань, отсутствие хороших дорог крайне затрудняло вывоз награбленного. В селах, в городах были огромные запасы зерна, продовольствия, сырья для промышленности. Все это надо было вывозить в Германию, для чего они бросились на строительство новых и восстановление старых, разрушенных дорог. Выгоняли на работы местное население, использовали в работе пленных. Одна из таких дорог, по которой нас вели, шла в станицу Троицкую. Работали на ней пленные уже давно, и сейчас она была восстановлена на протяжении километров шести-семи от Крымской.

Идя в строю рядом, в одной шеренге, мы со Славой приуныли и не разговаривали. В обе стороны от дороги, и влево, и вправо от нее, расстилалась ровная, лишенная какой-либо растительности степь. Ни кустика, ни дерева! Голая, непаханая целина с жухлой травой, бурьяном. Если даже выскочить из строя, то куда бежать, где скрыться? Все как на ладони! Нет, здесь не побежишь! Значит, еще один день потерян. Возможность подхватить в лагере дизентерию еще более увеличилась. Мы чувствовали, что лагерная жизнь нас уже засасывала. Надо бежать! Но как? Пока это нам не удастся. Удастся тогда, когда появится тот самый шанс: используя его, и надо будет рискнуть. Ох, как долго нет этого шанса!

Нас при водят к месту работы. Здесь уже стоят две автомашины, привезшие лопаты и кирки. За кюветом, выровненные точно по шнуру, стоят тачки для перевозки земли; нас поджидал и с десятков приехавших вместе с инструментом полицаев. Мы были пересчитаны тут же, в строю, и по [292] команде разобрал инструмент, приступили к работе. Немцы, передоверив



охрану полицаям, расположились невдалеке и, оттуда наблюдая за нашей работой, приступили к своему завтраку.

У фрицев был свой взгляд на работу, на труд. Они требовали безукоризненной точности и аккуратности в работе, но никогда не вникали в то, сколько ты сделал. Их интересовало качество, но не количество сделанного. Они жестоко избивали за то, что ты неровно копаешь канаву, небрежно, оставляя бугорки и ямки, ровняешь лопатой полотно дороги, за то, что в перерыв бросил в сторону лопату, не почистив ее. Но они совершенно не замечали, сколько ты сделал за рабочий день. Их приводило в бешенство, если кто-то стоял ничего не делая или сел покурить в рабочее время, зато можно было делать любую бессмысленную работу, но лишь бы ты не стоял, а был все время в движении.

Двигаться, двигаться, носить один и тот же камень туда-сюда весь день. Наклоняться, выпрямляться, катать тачку с землей взад-вперед, но только не стоять! Если не хочешь быть битым — двигайся! Это все знали, к такому порядку привыкли и пользовались им. В результате — 200 человек рабочих копошились, как муравьи, а ремонт дороги продвигался очень медленно.

В 11 часов команда: «Паузен!» Все выстраивают строго в одну линию тачки, протирают лопаты, кирки, ровным рядом укладывают их на землю и отдыхают 30 минут. Немцы-охранники пьют из фляг теплый кофе, жуют бутерброды. Потом снова нудная работа.

В обед, всем нам на удивление, автомашиной из станицы подвезли хлеб. Полицаи нарезали его кусками граммов по 300 и под присмотром и контролем немцев раздали всем. С чего это они так расщедрились?

До конца дня никаких происшествий не случилось. Доработали спокойно, если не считать того, что на кого-то наорали, кого-то побили. Это обычное явление: такова участь рабов, какими мы были. Когда, возвращаясь в лагерь, колонной вошли уже в станицу, опять женщины стали бросать [293] нам продукты — кто что мог. Мы на лету ловили их и прятали кто за пазуху, кто в карманы.

— Ось возьмите, покушайте, хлопчики вы мойы! — подбежала и со слезами сунула мне узелок с едой пожилая женщина.

— Спасибо тебе, тетя!

Женщина шла вдоль забора, смотрела на нас и плакала...

В лагере, как обычно, грязь, вонь. Тут и там по территории лежат в одиночку и группами пленные, не ходившие на работу. Лежат на голой, холодной земле, натянув на себя, на голову, укрываясь от холодного ветра, какие только есть тряпки. Это умирающие, истощенные голодом,

дистрофики и больные дизентерией. Все проходят мимо, переступают через них — никому нет дела до лежащих! Хочешь остаться в живых — карабкайся, цепляйся, крутись, изворачивайся в водовороте лагерной жизни, и все сам. Никому ты не нужен! Как сумеешь, так и выживай.

Очень многие не выдерживали этой борьбы за жизнь, покорялись судьбе. Таких болезнь хватала за горло, скручивала, и они в течение десяти-двенадцати дней, провалявшись вот так на земле, умирали. Мы со Славкой пока еще перебивались случайной едой со стороны и остерегались есть лагерную баланду, боясь подхватить дизентерию или еще что-нибудь.

В эту ночь мы зазевались и не попали в барак ночевать. Нагло, пренебрегая руганью и пинками, сыпавшимися на нас, мы втиснулись в середину лежащих на земле под стенкой барака с подветренной стороны. Ближе к утру опять был налет наших самолетов. Они бомбили вокзал, станицу. Бомбы сыпались совсем рядом, все под нами ходило ходуном. Поднятые взрывами бомб, сыпались сверху камни, земля, визжали осколки. Мы лежали молча — так же, как и легли с вечера, только еще теснее прижавшись к земле и друг к другу. Куда побежишь, где спрячешься? Укрытий никаких нет!

Вот бомба рвется совсем рядом! Взрывной волной нас подбросило и свалило в общую кучу. Сорвало, разрушило крышу барака. Крики, вопли! Все куда-то бегут, что-то кричат! [294] Над лагерем висит осветительная бомба, заливая все вокруг ярким светом. Паника!

Бегают и что-то орут немцы, обезумевшие полицаи, колотя всех вокруг палками, загоняют назад в барак, который теперь уже без крыши, выбежавших оттуда пленных. Совсем низко, поливая из пулеметов, с ревом пронеслись штурмовики. Рядом, на пустыре, за колючей проволокой лагеря бьет не переставая заградительным огнем немецкая зенитная батарея. Взрывы бомб, стрельба зениток, пулеметов сверху с самолетов и снизу по ним — все слилось в хаос!

— Ложись! Не вставать! — орут полицаи, переводя приказы немцев на русский язык. Для острастки, стремясь навести порядок, немцы из охраны стреляют очередями из автоматов поверх голов все еще мечущихся в панике пленных по лагерю, еще больше создавая панику, неразбериху.

— Ложись! Ложись, мать вашу! — кричат полицаи, бегая с перекошенными от страха мордами. Но вот самолеты, выполнив свою задачу, ушли. Стрельба, шум кругом, грохот сразу же резко оборвались.

В лагерь попали две бомбы. Одна взрывом выкорчевала угол проволочного ограждения, разнесла в щепки сторожевую вышку, убив

находившегося там немца-часового. Вторая упала и взорвалась за бараком у ямы-туалета. Много пленных, лежащих под стенкой барака, было убито и ранено.

На востоке небо бледнело, начинало светать. У разбитого забора-заграждения уже стояли дополнительные посты немцев. Пленные подбирали убитых и укладывали их навалом в прибывшие подводы. Раненые, кто мог сам передвигаться, шли, собирались у проходной. Потом их увели куда-то. Показался из канцелярии лагеря сам комендант в сопровождении своей свиты. Он быстро идет по территории, осматривая последствия бомбежки. Комендант улыбается, чем-то довольный, перебрасывается шуточками со своим окружением. Те заискивающе ему поддакивают и тоже улыбаются. Потом, приняв рапорт от дежурного офицера по лагерю после утренней проверки и пересчета, он, все еще находясь в приподнятом настроении и все так же улыбаясь, что-то высказал переводчику, и тот перевел нам: [295]

— Господин комендант говорит, что ваши летчики — дерьмо! Но они карашо, метко бросают бомба на ваш свинячий голова! Господин комендант дает им свой большой данке — спасибо! Другой раз он на двор лагерь поставит костер-ориентирен. Летчик будет сделать вам еще один отшень красивый концерт-подарок!

Стоящие кучкой полицаи дружно, подхалимно заржали. Будь в это время у них собачьи хвосты, они ими подобострастно махали бы. Строй пленных молчал.

Как нам со Славкой ни хотелось этого, нас при распределении на работы сегодня опять загнали полицаи в строй «команды-200». Опять, как и вчера, мы идем в колонне по дороге на Троицкую. Самочувствие гадкое после полубессонной ночи, настроение отвратительное. Мы идем в середине колонны, вокруг, оцепив ее, шагают немцы-конвоиры с автоматами. Все молчат, разговоры в строю запрещены, никто не перебрасывается словечком даже шепотом. Изредка только кто-то застонет от внутренней нестерпимой боли, и то тут, то там, как по эстафете, проносится с головы колонны до ее хвоста надсадный кашель. Кашлять не запрещалось.

Дорога идет по насыпи в метр-полтора высоты. Подняв голову, я вижу вдалеке место нашей вчерашней работы. Вдруг впереди нас из колонны выскакивает один из пленных, сбегает с насыпи дороги, на ходу расстегивая ремень брюк. В два-три прыжка он отбегает в сторону, сбрасывает штаны и садится на корточки оправиться. Видно, он болен дизентерией, мучается поносом и поэтому, не выдержав, выскочил из строя и присел.

— Хальт! — заорал увидевший его ближайший автоматчик и бросился бегом к нему.

— Хальт! Хальт! — кричат все другие конвоиры, останавливая всю колонну, еще сами не поняв, что случилось. Колонна остановилась. Подбежав к сидевшему на корточках пленному, конвоир с ходу бьет его носком сапога в лицо. Тот тут же, даже не натянув штаны, валится набок, заливаясь кровью. Сюда спешат и остальные охранники. Они подбегают по одному и с остервенением, что-то выкрикивая [296] по-своему, включаются в избивание корчащегося на земле несчастного.

Мы, вся колонна, 199 человек, стоим и с высоты насыпи дороги молча смотрим на страшное зрелище. Немцы озверели и били так жестоко пленного ногами не потому, что он выскочил самовольно из строя, а потому, что он присел оправиться чуть ли не под крестом на могилах захороненных здесь немецких, а скорее всего, румынских солдат. На одном кресте висела вроде бы румынская солдатская каска и было что-то написано.

Избиваемый был по внешнему виду нерусским. Он или азербайджанец, или из Средней Азии. Бедняга уже не двигался, а немцы, озверев, продолжали месить его ногами. Но в конце концов всему бывает конец! Немцы явно устали и прекратили битье. Да и кого было уже бить? Пленный был без признаков жизни.

Мы все так же стояли и смотрели. Конвоиры, все еще возбужденные, громко разговаривали, закуривая, как после хорошо выполненной работы. Со стороны станицы Троицкой шла бортовая автомашина: как оказалось, румынская. В кузове пять-шесть солдат, в кабине капрал и шофер. Немцы-конвоиры остановили ее и приказали румыну-капралу увезти мертвого. Капрал скомандовал своим солдатам, и те, бросив убитого в кузов, уехали.

— Форверц! Марш! — гаркнули фрицы, и наша колонна двинулась дальше по дороге.

Не сделав и десятка шагов, я, крайний слева в своей шеренге, увидел, что чуть впереди меня, почти рядом, подо мною бетонная труба, проложенная под насыпью поперек дороги. Такие трубы обычно укладывают под проезжей частью для протока воды в период дождей.

Никто мне не подсказал, никто ничего не советовал — я сам, как будто меня кто толкнул, вдруг, не раздумывая, прыгаю с насыпи дороги вниз к этой трубе. Успеваю заметить, как следом за мною прыгает Слава. Падаю на землю в кювете, работая локтями и коленями, втискиваюсь в трубу. Сверху по моей спине вползает Слава. Затаились! Над нами слышится шарканье ног идущей колонны пленных. Перед глазами, [297] в двух-трех метрах, я вижу

ноги проходящего мимо конвоира, потом другого, третьего. В голове тревожная мысль: только бы немец не наклонился и не посмотрел в трубу!

Но вот топот ног вверху стал затихать, затих совсем, и мы, выждав для верности еще немного, осторожно выползли из трубы, посмотрели на удалявшуюся колонну. Все дальше и дальше уходила она от нас по дороге.

Надо как можно быстрее уходить отсюда, скрыться! Но куда? Вперед — нельзя, назад, в станицу, — нельзя. Влево — голая степь, вправо — тоже, но где-то там, метрах в двухстах, виднелось что-то вроде кустарника, и мы направились туда. Хочется бежать, бежать, побыстрее скрыться, уйти подальше! Сейчас, уже вот-вот наша колонна будет на месте работы, и там немцы пересчитают всех. Обнаружится наш побег, и неизвестно, какие они примут меры. Но бежать нельзя! Это вызовет подозрение изредка проезжающих по дороге румын и немцев.

Мы, сдерживая быстрый шаг, идем вправо, в сторону виднеющегося вдали кустарника. Только бы успеть дойти до него, прежде чем начнется пересчет пленных в колонне! Только бы успеть! Идем по ровному, чистому от растительности полю. Сердце колотится, кажется, что на меня кто-то смотрит и вот-вот нас остановят!

Наконец, кустарник — заросли терна, тянущиеся широкой полосой куда-то далеко по полю, отделяя его невспаханную придорожную часть от обработанной, засаженной кукурузой. Быстро, но осторожно, чтобы не изорвать одежду о цепкие, острые колючки терна, мы продираемся через него и теперь уже бегом, поскольку нас никто не видит с дороги, мчимся как можно дальше и как можно быстрее по кукурузе.

Бешено колотится сердце, чувство радости, ощущение свободы, чувство восторга от столь неожиданного для нас самих, удачно совершенного побега! Падаем, сил дальше бежать нет! Лежим, глубоко дышим.

— А ты молодец, Коля! — еще не совсем отдышавшись, говорит Слава. — Как это тебе пришла в голову мысль броситься в трубу? [298]

— Я и сам не знаю! — признаюсь я.

— Вижу, ты прыгаешь с дороги к трубе — и я за тобой!

— Да! А ноги, ноги автоматчиков, проходящих мимо?

— Ну, думаю, сейчас фриц наклонится, глянет в трубу, даст по нам очередь из автомата, — и все!

— Нам очень повезло! — соглашаюсь я с ним. — Тут в нашу пользу сыграло еще то, что когда немцы избивали пленного, они все ушли на правую сторону дороги, и слева от колонны никого из них не было. Поэтому они не видели, как мы нырнули в трубу!

— А пленные? Многие из них видели наш побег, и никто не выдал! Прошагали над головой у нас — как будто ничего и не было!

Да, это был тот шанс, которого мы ждали и искали все эти прошедшие дни. И, признаться, уже приуныли. Но он пришел, и мы его не упустили!

Отдохнув, мы еще некоторое время побродили по кукурузе, отыскивая оставшиеся после уборки кочаны. Находили, ели, утоляли голод. Кукуруза уже подгнила, имела неприятный сладковатый привкус и гнилостный запах, вызывающий тошноту. Тем не менее мы насытились этим гнильем и двинулись на северо-восток, зная, что где-то в той стороне должна быть станция Троицкая. Дальше, в Красноармейскую, нам надо идти именно через нее. Там придется как-то переправляться через реку Кубань, но это нас пока не тревожило. Кончилось кукурузное поле, и мы вышли на околицу небольшого поселка. Невдалеке стоит девушка, по возрасту чуть старше нас, рядом с нею пасется корова, привязанная длинной веревкой к забитому в землю колу.

— Надо у девчонки расспросить дорогу на Троицкую и попросить поесть! — говорит Слава.

Я никак не могу привыкнуть без стыда для себя просить у кого-либо поесть.

— Девушка! У тебя найдется что-либо поесть? — несмело спрашиваю я.

— Здесь, с собою, у меня ничего нет, а дома я бы вас накормила! А вы, что, из плена сбежали? — внимательно осматривая [299] нас, продолжает она и, не услышав еще наш ответ, предлагает:

— Пойдемте ко мне домой!

— Да, мы только что сбежали из плена. Мы голодные, и помыться бы нам! — открылся ей Слава.

— Ну вот, пойдемте, — приветливо говорит девушка. — У меня дома папа и мама, они очень хорошие. Мы уже многих сбежавших из лагеря кормили, вы не первые! Пойдемте! — приглашает она.

— А корова это твоя? — спрашиваю. — Как же ты ее оставишь здесь? Уведут ведь!

— Корова наша. Она пасется сама, я не всегда с нею. Пока что все обходится, никто не увел. Мы в стороне от дороги, сюда немцы и румыны редко заглядывают, а если придут, то заберут и со двора. Как будет, так и будет, никуда не денешься! Идемте! — опять пригласила она. — Только будем идти вон теми огородами. По улице нельзя, там живет полицай — вредный мужик! Он обязательно вас задержит, если увидит!

Девушка провела нас огородами, задами дворов до дома, где нас приветливо встретили ее немолодые родители. Хозяйка с дочерью быстро нагрели на кобыце воды, и мы отлично помылись за сараем. Часа через два подсохла выстиранная одежда, и нас, уже одетых, пригласили в дом обедать. За нами ухаживала сама хозяйка, подавшая давно забытый нами горячий, вкуснейший кубанский борщ. Закусили пахучим медом, макая в него свежеиспеченным домашним хлебом. Мы теперь понимали цену каждой капли еды, каждой крошки хлеба! Ели до отвала, а хозяйка то и дело подрезала нам хлеб.

— Ешьте, хлопчики! Ешьте на здоровье! — говорила она, вытирая фартуком влажневшие глаза. — Не стесняйтесь! Ешьте вдоволь! Вам еще много идти! — приговаривала она, уже зная из нашего рассказа, кто мы и куда идем.

В комнату заглянула дочь хозяев:

— Мама! Я пошла до коровы!

— Иди, доченька, иди!

— Прощайте, хлопцы! Счастливой вам дороги! — мило улыбнулась нам девушка и скрылась за дверью. [300]

Больше мы ее не видели. Как-то так получилось, что мы не познакомились с ней и не узнали, к сожалению, ее имя.

Пообедав, мы тепло поблагодарили хозяйку и вместе с ней вышли во двор. Там хозяин ладил повозку и, громко стуча молотком, набивал на деревянное колесо металлическую шину.

— Вам надо идти, хлопцы! — увидев нас, сказал он. — Ненароком еще заглянет сюда наш пан полицай. Будет худо и вам, и нам. Лучше вам уйти от греха!

Мы понимали, знали, что своим присутствием здесь действительно можем создать этим хорошим, добрым людям большие неприятности, поэтому, тут же попрощавшись с ними и не задерживаясь больше ни минуты, пошли со двора.

— Пойдите! — догнал нас хозяин. — Я вас немного провожу. Тут за нашим хутором развилка дорог. Я покажу, по какой вам лучше идти в Троицкую.

Так же задами дворов, огородами, как шли и сюда, хозяин нас вывел из этого маленького села. Остановились у развилки.

— Влево, вот по этой дороге, вы не идите. Она выведет вас на профиль, где работают пленные. Там идти опасно. По ней едут и румыны, и немцы. Идите по правой. Метров через двести она приведет вас к железной дороге.

Дорога заброшена: когда наши отступали, растаскали танками в стороны рельсы, шпалы, повзрывали мосты. По насыпи и идите, не заблудитесь, она приведет вас прямо в Троицкую.

— Спасибо, отец! — поблагодарили мы его и заторопились.

Все было так, как и рассказал старик. Пройдя немного, мы вышли к железной дороге: та шла плавнями по высокой насыпи из земли пополам со щебнем. Справа была сплошная вода, поросшая камышом. Местами плавня разливалась и по левую сторону насыпи, тогда здесь перекидывались мосты. На протяжении всей дороги, до самой Троицкой, мостов (и больших, и малых, и совсем маленьких) было много, но все они были взорваны. Сама насыпь буйно поросла [301] бурьяном в рост человека. Но все же этой дорогой кто-то ходил, так как через бурьян, там, где он особенно густ, была протоптана тропа. Нас такая дорога вполне устраивала. Можно было идти свободно, не таясь. Мы и шли бодрым шагом. Цеплялись за железо, старались не замочиться в воде, когда попадались взорванные мосты и их приходилось преодолевать, прыгая с фермы на ферму. Нас эти мелкие трудности пути не смущали, и мы, полные радостью сегодняшних удач, быстро, громко разговаривая, делясь впечатлениями, шли.

— Хорошая девушка нам встретилась! — говорит Слава.

— И красивая! — добавляю я.

— Родители ее тоже хорошие люди! Ты слышал? Они говорили, что нас не первых кормят и оказывают всякую помощь бежавшим из лагеря пленным. Это наши люди! А дочь их наверняка комсомолка... как и мы!

Наш разговор перебивает показавшаяся впереди пара — мужчина и женщина. Они идут навстречу нам. У женщины в руке кошелка, у мужчины за спиной сидор.

— Здравствуйте! — говорят они нам, подходя. — Вы в Троицкую идете?

— Здравствуйте! Да, в Троицкую!

— А мы из Троицкой! — снимая лямки мешка с плеч, усаживаясь на землю отдыхать, сказал мужчина. Женщина, поставив кошелку, подправив выбившиеся из-под Платка волосы, присела рядом с ним.

— Садитесь, ребята, отдыхайте! Вам, наверное, некуда спешить, так же как и нам. Сейчас настало такое время, когда спешка к хорошему не приведет, — свертывая из газетной бумаги и табака-самосада сигарку, говорил он, внимательно посматривая на нас. Мы присели. Отдохнуть, посидеть не мешало и нам.



— Вы откуда будете, братцы? — спросил дядя, добро улыбаясь. — Если не хотите — не говорите! Я спрашиваю просто так, для разговора.

В нем было что-то располагающее к себе. Женщина тоже не настораживала нас. Мы не боялись, потому что считали, что справиться с нами, если окажется подлецом и попытается [302] задержать нас, он не сможет. К тому же он был без оружия. И мы разоткровенничались, рассказали, что только вот сегодня утром бежали из лагеря, что идем в Красноармейскую, что наша первая задача сейчас — дойти до Троицкой. А сами мы из Анапы.

— Из Анапы?! — как-то обрадованно воскликнул мужчина. — Я там был в июне. Вы видели, в бухте тогда на рейде стоял большой пароход, транспорт «Эльбрус»?

— Да, видели! — говорю я. — И не просто видели, а на наших глазах его разбомбили немцы, и он, как стоял на якоре, так и затонул. Был гружен бочками с вином.

— Правильно говоришь! — даже обрадовался мужчина. — Я матрос с «Эльбруса». Самолеты немцев на втором заходе попали бомбой прямо в трюм парохода, и он, расколовшись пополам, сразу же затонул. Я стоял на корме, и меня взрывом сбросило далеко в воду. Если бы я падал на землю, то разбился бы. А так упал в воду, сознание не терял, плавать умею хорошо, вода теплая, летняя, берег рядом... В общем, вполне благополучно доплыл к городскому пляжу. А пароход... Затонул он неглубоко, и немцы-сволочи, наверное, уже достают и попивают коньяк! Чтоб он им поперек горла стал! — добавил он, сплюнув.

Женщина, его спутница, достала из кошелки хлеб и брынзу, угостила нас. Мы ели и продолжали разговор.

— Ребята! В Троицкой вам придется переходить Кубань... Имейте в виду, там переправиться на другой берег можно только по понтонному мосту, наведенному немцами. Других путей нет. Мост охраняется. Перейти его можно только по пропуску, а пропуск выдает немец — комендант станции. Так что подумайте, как вам это сделать. Если сумеете благополучно перейти мост, то вам надо будет дальше идти в станицу Славянскую. Там тоже большой мост через Протоку. Когда наши отступали, то почему-то не взорвали его. Наверное, быстро уходили и не успели. Если и там удачно перейдете мост, то считайте, что вы уже дома — Красноармейская отсюда совсем недалеко, — рассказал нам матрос с «Эльбруса», уже надевая лямки сидора на плечи. [303]

Мы распрощались и пошли дальше своей длинной дорогой. День клонился к вечеру. По нашим расчетам, мы должны были подойти к Троицкой уже затемно. Входить в станицу и искать там ночлег в ночное время рискованно. Надо было перебыть ночь где-то здесь, в этой глуши, и мы забились в пустую, полуразбитую железнодорожную будку у крупного, тоже взорванного моста, а утром зашагали дальше. Земля смерзлась и была обильно покрыта инеем. Сзади, справа от нас, из-за горизонта показывалось багровое, желанное солнце, а впереди уже была видна широко раскинувшаяся по реке Кубани станица Троицкая.

Входить в станицу по железной дороге мы побоялись и поэтому, сойдя влево с насыпи, пошли по степи, пока не попали на разъезженную проселочную дорогу, и уже по ней вошли в станицу. Спросив встречных, как пройти к Кубани, мы вскоре благополучно вышли к переправе. Да, действительно, тут был понтонный мост. Перед мостом на обоих берегах все забито немецким и румынским транспортом. Здесь немецкие вездеходы, легковые, бортовые, крытые и не крытые автомашины, румынские «каруцы», пушки, прицепы, много солдат. Мост охраняется автоматчиками; проверяет документы и пропускает через него немецкая фельджандармерия. Жандармы в своих форменных, прорезиненных, серых плащах с крылаткой на спине и широкими, крупными бляхами, свисающими на цепях с шеи на грудь.

Несмотря на такое огромное количество скопившегося транспорта по обе стороны реки — никаких пробок, никакой суеты. В переправе был виден полный порядок: 20 транспортных единиц идут на мост с этой стороны, затем 20 с другой, и так далее. Никто порядок не нарушает, все терпеливо ждут своей очереди. В промежутках между транспортом по мосту идут пешие солдаты, гражданское население. Проход через мост для них только по пропускам.

Стоя в десятках метров от него, мы внимательно приглядывались к этой обстановке. К переправе двигался поток людей, машин, подвод.

— Хлопцы! Ставайтэ до нас! — раздался рядом голос. Мимо нас шла строем группа ребят и девчат нашего возраста [304] с лопатами и кирками на плечах. Вел их идущий впереди строя немецкий солдат. Не раздумывая, ничего не спрашивая, быстро вклиниваемся в их строй. Кто-то мне сунул лопату, Славке на плечо — кирку.

— На работу идете? — спросил я идущего рядом парня — это он нас позвал в строй.

— А-а! На работу! — скривился парень и неопределенно махнул рукой. — Немцы гоняют каждый день!

Продолжать разговор дольше было некогда. Мы подошли к мосту, беспрепятственно прошли мимо жандармов, затем через мост и вышли на правый берег Кубани. Отдав ребятам инструмент, мы вышли из строя и скрылись в толпе людей, ожидающих своей очереди переходить мост. Удачно проскочили!

Следуя немецким дорожным указателям, мы легко определились и вышли на дорогу в станицу Славянскую. Немецкая дорожная служба, надо отдать ей должное, была на высоком уровне. Везде на дорогах (важных и не важных), у станиц, хуторов, больших и малых поселков были указатели-стрелки с пояснением направления и количества километров пути, наименование населенных пунктов, грузоподъемность мостов, местонахождение военной комендатуры и тому подобное. Все надписи были сделаны черной краской по оранжевому фону, поэтому ярко выделялись и легко читались.

В Славянскую мы пришли быстро, без происшествий, в середине дня. Река Протока оказалась тоже широкой, многоводной и, по-видимому, глубокой. Через нее — длинный, горбатый, на высоченных сваях деревянный мост. Здесь ничего подобного Троицкому не было. Пустынно, никакого движения! Изредка с этого или с того берега по мосту проходили люди, гражданское население. Немецкий пост — охрана моста — только на левом берегу, со стороны центра станицы.

Мы стояли и так же, как и там, в Троицкой, наблюдали за немцами на мосту. Ничего определенного в их поведении не было. У одних проходящих они проверяли наличие пропусков, на других, по каким-то своим соображениям, вообще [305] не обращали внимания, и люди шли свободно, без проверки: та была выборочной.

Нам очень не хотелось рисковать, и пойти, не зная, проверят нас или нет, было трудно решиться: до Красноармейской осталось идти всего 12 километров, это совсем близко, и попасть сейчас в лапы фашистов нам не хотелось. Мы медленно пошли вдоль реки по берегу, все дальше от моста, размышляя, не найти ли нам какую-нибудь доску или бревно, чтобы переплыть через реку?

Мы прошли разбитый железнодорожный мост, вышли за станицу, но ничего подходящего для нашей переправы не увидели. Дальше по берегу виднелись какие-то безлюдные строения: все отсюда давно ушли и все, что представляло ценность, вывезли или унесли.

— Вот она, родимая! — вдруг заорал во дворе Славка.

Я выскочил во двор и увидел нечто странное: Славка с радостью на лице махал руками и кружился, выплясывая.

— Ты что, тронулся? — спросил я, быстро идя к нему. — Что случилось?

— Посмотри туда! — показал он мне пальцем куда-то в потолок сарая.

Я вошел в дверь и увидел вверху (на балках потолка вообще не было) лежащую там вверх дном небольшую плоскодонную лодку! Невероятно! Мистика, да и только!

И вот лодка уже на берегу. Она маленькая, узкая, рассчитанная на одного гребца, хорошо просмоленная, но без весел. Мы торопились и еще раз сбегали во двор взять там что-нибудь грести вместо них. Я подобрал круглый лист фанеры — сиденье от разбитого стула. Слава, не найдя ничего подходящего, сорвал с духовки в печке уже надорванную железную дверку. Теперь бегом к лодке — и вот мы сталкиваем ее в воду. Сидеть двоим нельзя — слишком уж она мала и неустойчива, перевернется при малейшем неверном движении одного из нас. Сначала на дно лодки боком (так, что руки у него свободны и он может делать гребки) ложится Слава. Затем так же ложусь я, но головой в противоположную сторону. У меня тоже свободны руки, и я тоже могу грести. [306] Вскоре лодку подхватило быстрое течение, и мы понеслись по реке.

Надо сказать, что мы не боялись воды. Нам ли ее бояться: мы выросли у моря и оба отлично плавали и ныряли. Энергично подгребая, не противясь течению, мы направляли ход лодки по диагонали к противоположному берегу и довольно-таки быстро его достигли.

— Нельзя оставлять на берегу следы нашей высадки! — сказал Слава и толкнул лодку от берега.

Наша неуправляемая спасительница беспорядочно завертелась и понеслась вниз по течению, а мы, не теряя времени, стали быстро удаляться от берега в сторону расходящихся от моста в кубанские степи дорог.

— От Славянской до Красноармейской я дороги знаю хорошо. Я ездил по ним, — говорит Слава. — Нам надо идти вот по этой. По ней мы войдем в станицу с восточной стороны, а там в первой же улице дом, в котором должна сейчас жить мама с Тамаркой!

Мы, подгоняемые голодом и чувством близости конца наших лишений, быстро шагали по степи. Кругом безлюдно: степь... Такая безлюдность нас вполне устраивала. Оставшийся какой-то десяток километров пути мы промахнули незаметно, и вот показалась станица! Пройдя несколько дворов,

Слава уверенно нажал щеколду очередной калитки, открыл ее и, предлагая мне войти первым во двор, сказал дрогнувшим от волнения голосом:

— Входи, Коля, мы пришли!

Во дворе сестра Славы — Тамара. Она стоит, смотрит на нас красивыми черными глазами и молчит — растерялась от неожиданности нашего появления.

— Мама! — кричит она наконец, спохватившись. — Мама, Слава пришел! — и бросается на шею Славы.

Из открытой двери дома выбегает Анна Васильевна, мама Славы.

— Слава, сыночек мой, сыночек... — обнимает она Славку, заливаясь слезами, не находя никаких других слов.

Меня она замечает только позже. [307]

— Вы-то вообще пока держитесь подальше от нас, у нас полно вшей! — говорит Слава. — Где бы нам снять с себя все грязное и помыться?

— В сарай, в сарай идите! — заторопилась, засуетилась Анна Васильевна. — Сейчас нагреем воды, вымоетесь, переоденетесь в чистое...

Слава знал, где что лежит, и мы с ним быстро разожгли печь в летней кухне, поставили на нее воду в большом ведерном казане и в выварке. Колотых дров в сарае было более чем достаточно, и мы, не жалея, часто подкидывали их в печь. Мылись мы с наслаждением, урча от удовольствия; Тамара подносила и подносила горячую воду. Наконец мы обтерлись насухо и надели чистое белье (наше, грязное было тут же брошено на проварку в золе). Анна Васильевна принесла нам сразу две гребенки с мелкими частыми зубьями, и мы быстро очистили свои еще мокрые волосы от паразитов.

Пока готовился обед, мы растянулись здесь же в сарае на сухой соломе, лежали и наслаждались чистотой собственного тела и отсутствием ставшего уже постоянным зуда в голове.

— Все же мы молодцы! — сказал я Славке. — В какие только переплеты не попадали, а выкрутились, дошли! День-два отдохнем, и надо будет начать поиски партизан здесь. Я думаю, это будет нетрудно. Ты, Слава, говорил, что у тебя тут родственников навалом: через них мы обо всем и узнаем.

— Спешить некуда! Обживемся, увидим! Как оно еще все покажет! — как-то не так, как обычно, с какой-то незнакомой мне раньше интонацией в голосе ответил он.

У меня в груди дрогнуло, и я, приподнявшись на локоть, посмотрел Славке в лицо. Он лежал на спине, заложив согнутые руки в локтях за голову, и смотрел вверх, в потолок сарая.

— Ты что? — спросил Славка, скосив на меня глаза.

— Я... да так... ничего! — Я смутился. — Мне что-то неприятное подумалось. Просто показалось...

Слава ничего не знал о своем отце, и на его вопрос мать рассказала, что отец в начале августа (еще за месяц до прихода [308] немцев) отправился отвозить документы райкома партии в Сочи. В то время фронт был еще далеко, поэтому она думала, что отец благополучно добрался и сейчас находится далеко в тылу. А вот им досталось...

— Слава! — со слезой в голосе говорит Анна Васильевна. — Наш сосед, твой товарищ, Кирьякади, знаешь, что он делал?!

— Кирьяк? — переспросил изумленно Слава.

— Да, Кирьяк! Как только немцы заняли Анапу, он на другой же день добровольно пошел работать полицаем: нацепил повязку на рукав, начал выслуживаться у немцев. Потом он зашел к нам в квартиру, нагло потребовал: «Выкладывайте сейчас же все деньги, какие есть у вас!» Я отдала ему 180 рублей, но он кричал: «Врете! У вас должны быть деньги! Отец был начальником!», вытаскивал ящики из комода, опрокидывал их на стол, копаясь в белье. «Как ты можешь так себя вести? Где твоя совесть? Я же кормила тебя и твою мать, помогала вам, как могла! Неблагодарный!» — высказывала я ему. «Вот за то, что помогала, я не иду сейчас и не доношу пока немцам, что здесь живете вы, семья коммуниста!» — ответил Кирьяк. Я не выдержала, бросилась к нему: «Пошел отсюда, подлец!»

Анна Васильевна не могла дальше рассказывать, плакала. Рассказ продолжила Тамара.

— Кирьяк ударил маму в грудь и, когда она упала, приказал: «Убирайтесь отсюда, куда хотите! Если вы завтра еще будете здесь, я доложу о вас в гестапо!..»

Собрав самое необходимое в два узла и корзину, они ушли из города. Сначала шли пешком, а потом повезло, ехали. Встретили попутчиков, хороших людей: у них была подвода с лошадью. С ними и ехали до самой Славянской, пока лошадь не забрали румынские солдаты...

Я поднялся из-за стола и вышел во двор, оставив их наедине. Меня не покидало чувство тревоги. Быстро стало темнеть, потянуло холодом. Посидев с час, я, уже окончательно продрогнув, пошел к дому и услышал, что там громко спорят. Как только я открыл дверь, спор резко оборвался. Все так же сидели за столом и теперь, увидев меня, смутились [309] и умолкли. Мне тоже стало как-то неловко, и я глупо стоял в дверях, не зная, как поступить дальше.

Мы со Славой вышли во двор, но разговор не клеился.

— Ну вот, я и управилась! — сказала Анна Васильевна, выйдя позже во двор. — Коля! Тебе придется спать в сарае. Я тебе сейчас все объясню. У нас здесь в станице строго-настрого запрещено пускать кого-либо к себе в дом ночевать: для этого необходимо иметь письменное разрешение коменданта станицы. Ты сам понимаешь, что тебе нельзя идти к нему за таким разрешением. Там, в комендатуре, могут дознаться, что ты партизан, и тогда через тебя пострадают мы все, вся наша семья. Ты извини меня, но я не могу пустить тебя спать в дом! Спи в сарае. А если, не дай бог, будет облава и тебя найдут, то ты, пожалуйста, не говори, что нас знаешь и что мы пустили тебя ночевать. Скажи, что сам влез во двор через забор и хотел переспать в сарае. Иди, устраивайся там и спокойной тебе ночи! — закончила она и пошла в дом.

Ошарашенный тем, что я сейчас услышал, я стоял и не мог прийти в себя. Так вот почему Славке так неловко! Вот какой спор был в доме, когда я сидел во дворе! Но, в конце концов, я тоже не должен быть эгоистом, я должен понять мать Славки. Она бережет себя, свою семью, и какое ей дело до какого-то друга ее сына! А мне все равно, где спать, — в сарае, так в сарае. Здесь мы со Славой будем не долго. Ну, дня четыре, пять, пока выясним местную обстановку. А потом уйдем в плавни или в Краснодар, успокаивал я сам себя.

\* \* \*

Проснулся я поздно и не увидел во дворе никого, кроме Тамары. Оказалось, мама послала Славку поработать у дяди, и домой он придет вечером, и сама Анна Васильевна тоже ушла (от ответа на вопрос о том, где она работает, Тамара уклонилась). Мне она просила передать, чтобы я никуда со двора не выходил. «Нам будет очень нехорошо, если тебя кто увидит», — сказала Славина сестра.

— Слушай, — спросил я после завтрака. — Здесь у вас не слышно партизан? Ни каких диверсий против немцев на железной дороге в станице не было? [310]

— Какие партизаны?! — удивилась Тамара. — Никаких партизан здесь не было и нет! Никаких диверсий тоже не было!

— Так что, и немцы здесь не зверствуют, не издеваются над жителями?

— Нет! Здесь все тихо. Правда, говорят, немцы в первые дни оккупации забрали все семьи коммунистов, которые не успели эвакуироваться, некоторых комсомольцев-активистов. Кого-то повесили, расстреляли. Но с

тех пор пока тихо. Рассказывают, что в плавнях, в камышах было много скрывающихся там окруженцев-солдат и каких-то гражданских. Может, даже это были и партизаны, я не знаю. Но немцы с помощью полицаев (полицай-то местные, знают здесь все входы и выходы) стали выжигать камыш в плавнях. Выгорело там все! Кто прятался, тот или вышел к немцам, или сгорел...

Потом Тамара тоже ушла, — как она мне сказала, к тому дяде, где работал сегодня Славка. Я остался один в доме. Все же я надеялся, что Славка много узнает и выяснит за день и мы с ним примем какое-нибудь решение.

Пришедший поздно вечером Славка подтвердил, что был у своего дяди, помогал ему перекрыть сарай.

— Тебе нельзя показываться на людях. — сказал он. — Начнутся расспросы: «кто такой, откуда, зачем сюда пришел, у кого живет?».

— Ну, а как нам действовать дальше? Ты узнавал о партизанах? — спросил я с нетерпением.

— Узнавал, спрашивал. Дядя говорит, что партизан здесь никаких нет. А когда я ему сказал, что они, партизаны, могут быть в приазовских плавнях, он даже высмеял меня. «Ты, — говорит, — сам подумай и представь себе, как можно партизанить в плавнях? Как можно там, в воде, в камышах, пусть даже на каком-то крохотном, мокром, полузатопленном островке, находиться все время? Комары заедят! Туда можно только убежать, на день-два спрятаться от преследования, как это делали еще в Гражданскую войну, а жить в плавнях долгое время невозможно! Но если даже не думать о том, как жить там, а думать о борьбе с немцами, то где и как [311] бороться с ними? С одной стороны непроходимые плавни до самого Азовского моря, а с другой — степь. Что ты сделаешь с немцами? Их здесь просто нет! Стоят они мелкими гарнизонами, да и то только по крупным станицам. Воинские части их двигаются только по главным дорогам, а этих главных дорог здесь тоже нет! Вот и получается, что партизанам делать нечего. Их и нет! Можно, конечно, убить одного-двух солдат из гарнизона. А какой от этого толк? Убьешь паршивого фрица, а за него каратели расстреляют 100 человек местных жителей. Об этом все предупреждены расклеенными по станице немецкими приказами. Нет здесь партизан, им нечего тут делать!»

— Вот так мне дядя рассказал все. Дядя прав! — добавил он после долгой паузы.



— Тогда давай действовать по нашему запасному варианту — идти в Краснодар и искать там подпольщиков! — говорю я. — А что же еще нам делать?

— А ты думаешь, в Краснодаре мы так вот сразу и найдем их? Стоят они, подпольщики, на базаре и ждут, когда мы придем к ним! — с раздражением ответил мне Славка.

— Не ждут, конечно же, нас, но мы поищем их!

— А что есть будем? Где, у кого жить мы будем? Кто нас пустит к себе? Кому охота быть расстрелянным? Вот и не пускают к себе ночевать, а не то что жить!

— Ну и пусть! Не найдем подпольщиков, и не надо, никто не пустит к себе — и не надо! Пойдем в горы. Будем идти по Кубани от станицы к станице. Добрых людей много, накормят нас, и придем к большим горам. Там, в горах, и перейдем к своим! — все еще пытался я убедить и уговорить его.

— Уже пробовали, переходили! — зло ответил он и, встав, не желая больше говорить, пошел в дом.

Славка никуда не хотел идти. Он дома, с мамой, с сестрой. Здесь есть еда, тепло, сухо, спокойно, ничто пока не угрожает. Значит, он отказывается от борьбы... Теперь мне стали понятными его отчуждение и холодность.

И уже на следующий день его мама сказала мне: [312]

— Коля! Ты меня извини, оставаться у нас тебе больше нельзя. Для нас это опасно! Слава богу, облав еще в станице ни разу не было, никто не ходил по дворам и не проверял документы, но этого ожидать всегда можно. И если тебя найдут у нас, нашей семье не поздоровится. Поэтому я прошу тебя, иди домой! Ты должен уйти от нас! Дома тебя ждет мама, волнуется, переживает!..

— А Слава как? — негромко, с трудом от захлестнувшей меня обиды, выговорил я. — Он где сейчас?

— Славы нет дома! Я его послала к родственнице за молоком!

Это было вранье: я только что слышал тихий разговор Тамары со Славкой в соседней комнате. Ему было стыдно, и он самым подлым образом спрятался.

— Для того чтобы тебе жить у нас хотя бы временно, надо иметь на это письменное разрешение коменданта. Тебе нельзя идти к нему и просить такое разрешение. Немцы жестоки, они сразу же дознаются, что ты партизан, и тебе и нам будет плохо... Тебе надо уходить от нас домой сейчас же. Я не могу жить в постоянной тревоге. Я не хочу этого.

— А Славку вы тоже будете все время прятать? — спросил я, немного приходя в себя.

— Я работаю в немецкой комендатуре поваром у коменданта, готовлю ему завтраки, обеды. Комендант доволен мною. Я все сделаю, добьюсь, достану у коменданта удостоверение на право жительства сыну!

«Так вот где она работает! Сразу вчера она еще стеснялась, по-видимому, говорить, а теперь призналась! Для сына она, значит, может достать удостоверение, а для меня нет! Гонит меня со двора, а я еще стою и слушаю ее!» Все это проносилось у меня в голове.

— Хватит Славе бродяжничать! Пустое все это! Он еще не дорос до армии, у него непризывной возраст, и он вправе быть дома! — распалилась Анна Васильевна. — Комсомолец, говоришь? Вон сколько в станице комсомольцев! Все сидят по домам и ничего против немцев не делают! А Славе, что, больше всех надо? — уже переходила на крик она. — Вот твоя одежда! Переодевайся и иди с богом! [313]

Только тут я заметил лежащую у тахты свою одежду. Больше мне здесь делать было нечего. Я быстро, подавляя в себе возмущение и чувство обиды, стараясь не смотреть и не слушать ее выкрики, стал сбрасывать с себя на пол одежду Славки и надевать свою, в которой пришел сюда. Сама Анна Васильевна, пока я переодевался, вышла из комнаты, потом вернулась и сунула мне что-то в карман.

Не помню, как я вышел во двор, за калитку, на улицу. Глаза застилала мокрая пелена. Я все еще слабо соображал, не придя в себя от пережитого только что потрясения. Хлестал дождь. Раздетый, в одной рубашке, с непокрытой головой, в дырявых постолах, я моментально промок и стоял, еще не в состоянии сообразить, куда мне идти. Сунул руки в карманы брюк, нащупал там два яблока — это их она мне дала на дорогу! Я рванулся к калитке, открыл ее, размахнулся и швырнул яблоки в дверь дома.

— Сволочи! Сволочи... вы! — закричал я и, не закрыв калитку, под проливным дождем зашагал по улице на выход из станицы. Не помню, как я оказался уже за околицей, как шел по степи. Будто кто-то вел меня прочь от этих подлых людей, от негостеприимного дома. «Как он, мой лучший друг, мог поступить так подло?» — с болью думал я, шагая по сплошь залитой дождем дороге. Я был мокрый насквозь, но ворот моей рубахи был расстегнут — через него был виден флотский полосатый тельник. Это было очень рискованно, один его вид бесил врагов, но мне было все равно. Дрожа всем телом от холода, шатаясь от усталости, голодный, я шел, тяжело перемешивая ногами липкий, засасывающий кубанский чернозем. Шел к

Черному морю, в свой родной город Анапу. Шел, потому что идти было надо...

Пройдя войну, в 1949 году я впервые получил отпуск и приехал в родные края. Узнав, что семья Еременко живет совсем рядом с моей семьей, я, после долгих колебаний, решился зайти к ним. Мать Славки, суетясь и причитая, рассказала мне, что, когда отступающие немцы угоняли всех мужчин в Германию, она сумела спрятать, выторговать его, валяясь в ногах у немецкого солдата, отыскавшего Славку [314] прячущимся на чердаке. Но уже через день-два после освобождения его мобилизовали в армию и сразу же отправили на фронт. Через месяц Слава был убит в бою где-то под Ростовом...

\* \* \*

В середине дня дождь, вылившись весь до конца, прекратился. Не доходя до Славянской километра два, я вышел на шоссе, и идти стало легче. Вот и первые скромные домики станицы. Надо уже думать, как переправиться через Протоку, но прежде необходимо найти место, где можно обсушиться, привести себя в порядок и переночевать. Везде пусто, все имущество в домах растащено, но из трубы одного из них идет дым. Я подхожу и стучу в дверь.

— Входи! Я тебя уже увидела в окно! Входи, хлопец! — услышал я женский голос, открывая дверь вовнутрь. В доме одна женщина средних лет, мы здороваемся.

— У вас можно обсушиться? — спрашиваю я, глядя на жарко горящие дрова в печке. В комнате было достаточно тепло.

— Можно, отчего же нельзя? — улыбаясь, говорит женщина. — Только я здесь такая же хозяйка, как и ты, хлопец. Этот дом ничей. Хозяев нет — бросили они дом. Да ты раздевайся! Ты весь дрожишь! Снимай все, какое тут уж стеснение? Будем сушить твою одежду, вон она какая мокрая вся!

Я снял рубаху, «рябчик», сел на пол, разулся. Женщина тут же развесила все на веревку, протянутую вдоль печки, а портянки повесила на дверку духовки.

— Снимай и брюки! Ишь какой стыдливый, как девка! — приговаривала она.

Припечек был горячим, из духовки валило тепло, и я с наслаждением вбирал его в себя. Быстро обсох, обогрелся, перестал дрожать.

Женщину сказала, что звать ее «тетей Надей». Она шла домой, в Троицкую, из Тимашевской, где навещала больную сестру.

— Я тоже намочила в дороге и искала, где обсушиться, да и переночевать заразу, — рассказала она. — Нашла эту вот [315] брошенную хату, в сарае собрала дров, затопила печку, натаскала соломы из сарая. Слава богу, все пересушила! Сидела у окна и боялась: не приведи господи, заявятся сюда немцы или румыны! Надругаются они надо мною! Или полицаи зайдут, от них тоже хорошего не жди... Сидела и дрожала, и не от холода, а от боязни. А тут ты пришел! Теперь мне с тобою и не так страшно!

Мы поужинали обычной, традиционной в дороге едой: яйцами и салом. Вместо хлеба — пышки. Закрыли дверь на засов, подложили дров в печку и улеглись спать.

— Как вы будете переходить Протоку? По мосту? — спросил я тетю Надю утром, завтракая с нею остатками продовольственных запасов из ее кошелки.

— По мосту! А как же еще? — ответила она. — Пойдем вместе. Ты будешь вроде как моим племянником. Если что, я так и буду говорить немцам!

— А они нас не задержат? Потребуют пропуск от коменданта, а его у нас нет, — вот и задержат!

— Может, и не задержат. Не у всех они смотрят документы, я знаю. Все равно другой дороги нет, надо идти мостом. Что будет, то и будет! — закончила она.

Такая ее решительность мне понравилась. Конечно же, надо было рисковать. Летом я, не раздумывая, переплыл бы реку, сейчас же — нет. Плавал я отлично, но в такой ледяной воде не проплыл бы и до середины реки. Бродить по берегу и надеяться найти лодку, как это удалось нам со Славкой на днях, — нет, такая удача два раза не бывает. Значит, надо рискнуть! — уже твердо решил я.

Мы аккуратно прикрыли дверь в дом, затем калитку и вышли на дорогу. Минут двадцать ходу — и вот мост. Не останавливаясь, не раздумывая, с ходу, мы как шли, так и пошли к нему. Как и в прошлый раз, у моста стояли два немца с автоматами: уставились на нас, смотрят пристально. Я шел, изображая на своем лице полное безразличие ко всему, глядя то вдоль моста, то на свою спутницу. Кошелку ее мы несли вдвоем за ручки, чтобы этим самым подчеркнуть нашу родственность. Я что-то говорю ей, она отвечает мне, кивая [316] головой. В поведении — полная раскованность и безмятежность.

— Доброе утро, паны солдаты! — мило улыбаясь, поприветствовала тетя Надя постовых.

— Хальт! — вместо ответа на приветствие рявкнул фриц и стал поперек нашей дороги.

— Что ест кошелька? — подошел второй немец и бесцеремонно вырвал корзину из наших рук.

— Варум никс яйка, вале, хлеб? — перетряхнув все в корзине, спросил он нас и, не дожидаясь ответа, зло ругаясь по-своему, размахнувшись, с силой бросил через перила корзину далеко в реку.

Тетя Надя непроизвольно вскрикнула и заплакала.

— Вэк! Никс плякать! Пошель! — Немец сунул кулаком мне в спину, добавил ногой под зад, я, еле удержавшись на ногах, ткнулся лицом в спину тети Нади.

— Пошли... Пошли, Коля! Будь они прокляты, фрицы поганые! Чтоб их матери так плакали, как мы плачем! — приговаривала она, вытирая слезы платком, идя по мосту на другой берег.

Немецкий пост был лишь с одной стороны, и мы, пройдя его, свободно сошли прямо в одну из начинающихся здесь оживленных улиц станицы, полных спешащих на базар людей. Пройдя два-три квартала, мы распрощались с тетей Надей, которая указала мне дорогу на Анастасиевскую. Это было тем маршрутом, который я выбрал.

На самом деле у меня было два варианта: по первому надо идти той же дорогой, какой я пришел со Славкой в Красноармейскую, то есть из Славянской в Троицкую, затем в Крымскую, Нижнебаканскую и так далее. Эта дорога была мне уже известна, но она в прифронтовой полосе, в станицах из-за этого много вражеских войск, а в Крымской концлагерь. В общем, так идти было слишком опасно, и я выбрал для себя второй вариант: Славянская — Анастасиевская — Варениковская — Гостагаевская — Анапа. Эта дорога дальше от фронта, и я считал, что на ней более спокойно и безопасно. А то, что я не знаю этой дороги, — так не беда, язык и до Киева доведет. [317]

Я прошел еще квартал по улице и вышел на площадь. Здесь также было много людей, идущих по своим делам и слонявшихся без всякого дела. Посреди площади на высоком постаменте памятник Ленину. Он цел — не взорван, не разбит, но обезображен: на голове рваная шапка, на плечи наброшен вывернутый шерстью наружу старый, тоже рваный кожух, к руке, опущенной в карман брюк, проволокой привязана грязная кошелка. Не иначе, это дело рук сволочей-полицаев! У вымощенного желтым кирпичом тротуара покосившийся, с оборванными проводами телеграфный столб. К нему высоко прибит деревянный щит с наклеенным на нем большим

объявлением. Крупными, идущими вкривь и вкось буквами там было написано: «По приказу господина коменданта в воскресенье на площади, в 10 часов утра, будет повешен станичник Сердюк Николай, 16 лет от роду, комсомолец, за то, что он нанес вред имуществу германской армии. Он вырезал 10 метров телефонного кабеля. Так будет со всеми, кто идет против доблестной немецкой армии и нового порядка. Станичный атаман».

Ходить по площади и глазеть было рискованно, и я поспешил пройти ее побыстрее. Но, идя по правой стороне улицы к выходу из станицы, я даже приостановился в удивлении у распахнутых ворот большого двора. Первое, что мне бросилось в глаза, — это громадный штабель свежеизготовленных крестов для могил. Их в штабеле было не десятки, а сотни! Сотни крестов! Тут же во дворе под широким и длинным навесом стояло несколько верстаков, за которыми работали рубанками, пилами, стамесками немцы, солдаты-плотники. У каждого на рукаве мундира, выше локтя эмблема: на фоне черного щита белый католический крест: я решил, что это армейская похоронная команда.

Солдаты делали кресты, — здесь была просто какая-то фабрика по изготовлению крестов! Иначе это и не назовешь — настолько много их изготавливалось. Я посмотрел на их работу и мысленно пожелал им: «Делайте, делайте побольше! Чем больше, тем лучше!»

По мере удаления от центра станицы улица становилась все грязнее и грязнее. Тротуар кончился, вымощенное булыжником [318] шоссе тоже. На выходе из станицы я уже брел по щиколотку в грязи. Дорога разбита, разъезжена, переходима гусеницами проходивших здесь танков, выбита колесами румынских каруц, колесами тяжелой артиллерии, протаскиваемой на прицепе мощными тягачами немцев. Это была одна из трех дорог, по которым из Крыма шли немецкие и румынские войска, пополняя вооружением и солдатами широко растянувшийся по Северному Кавказу фронт. Войска двигались колоннами, обозами, утопая в грязи, плывя по ней, еще больше и больше разбивая дорогу. Хлестали кнутами, матерясь на своем языке на надрывающихся лошадей румынские солдаты-обозники. Не выдерживали и рассыпались колеса их подвод, рвалась упряжь. Вдоль колонны, подобрав под поясной ремень полы шинелей, метались, наводя порядок, капралы, ругаясь и тыча кулаками в морды отупевших от усталости солдат-ездовых. Их офицеры, холеные, чистые, не вмешиваясь в сумятицу, ехали на таких же, как и они сами, холеных лошадях верхом, стороной, предоставив поддерживать порядок в движении унтерам.

Я шел параллельно дороге метрах в десяти от нее, навстречу их движению. Шел по голому полю, тяжело переставляя по липучему чернозему ноги, и думал только об одном: как бы благополучно миновать эту колонну. «Только бы не задержали! Только бы не обратили внимания на меня!» — вертелось в голове. На мое счастье, все обошлось...

Я опасался встреч с движущимися по дороге воинскими частями немцев потому, что при движении немецких колонн по дороге часто шныряла их полевая жандармерия. Попасть к ней в лапы без документов — все равно что попасть сразу в гестапо! Если же по дороге идет румынская воинская часть, то встреча с ней несколько не менее опасна, чем с немцами. Эти горе-вояки не проверяли документы, им безразлично, кто ты. Они просто задержат тебя, посадят на каруцу, дадут вожжи в руки — и ты у них ездовой. Сбежать от них — не сбежишь. Они зорко будут следить за тобой! И так за время движения к фронту они нахватают на дорогах десятков-полтора мужиков, пацанов. Потом там, на фронте, [319] на передовой, сами они будут сидеть где-то в овраге, в балочке, в укрытии, а их заставят подвозить ящики со снарядами к своим артиллерийским позициям или носить ящики с патронами в окопы пехоты... И все это под огнем наших. А трусливые твари-румыны будут еще и издеваться над ними, заставляя кричать нашим, чтобы не стреляли: мы, мол, свои — русские!

К моему счастью, со мной такого не было, но мне пришлось лично слушать рассказы людей, которые попадали в такой переплет.

На подходе к Анастасиевской я нагнал идущих туда же двух женщин. Мы поздоровались и, перекинувшись обычными в таких случаях словами, пошли дальше вместе. Как оказалось, одна из них шла в Темрюк, а вторая в станицу Гостагаевскую. Это для меня было неплохо: большую из оставшейся части моего пути она будет мне попутчицей. Из уже показавшейся вдали станицы к нам навстречу опять выползала войсковая колонна. Но на этот раз это была немецкая механизированная. Нам ничего не оставалось делать, как продолжать идти ей навстречу. А когда до немцев было уже совсем близко, мы сошли с дороги и, «подальше от греха», прямо степью пошли к уже недалекому крайнему двору станицы. Меня пустили ночевать в дом знакомой одной из женщин, но не покормили. От голода мой желудок сводило болью, но, к счастью, выйдя во двор, я нашел там свеклу и тыкву и наелся, разбив ее лопатой.

Рано утром на выходе из станицы мы присоединились к четырем женщинам, тоже ночевавшим в Анастасиевской. Теперь нас было уже шесть человек. Это уже совсем хорошо: больше людей — меньше подозрений к

ним, тем более что все, за исключением меня, — женщины. Тут же выяснилось, что две идут в Темрюк, еще двое — в Варениковскую. Все, как обычно, с корзинами в руках и узлами или мешками на лямках за спиной. По сравнению с вчерашним днем идти сегодня было совсем легко: дорога совершенно сухая: за ночь высушило ветром, да и дождь здесь был, видимо, слабее. Дорога была совершенно безлюдной, но с каждым пройденным километром мне становилось все тревожнее и тревожнее. [320] Я уже начал думать, как мне придется переходить Кубань у Варениковской.

Две женщины свернули на Темржж, и нас осталось четверо. Вдали, куда мы шли, по горизонту тянулась темная полоса.

— Там Кубань! Скоро будем дома! — сказала одна из женщин. — Уже недалеко идти...

Мы прошли еще с километр, и дорога стала подниматься в гору. Она была все такой же безлюдной, пустынной. «Как только увижу Кубань, мост, сразу же отстану от женщин, — думал я. — Пусть они идут сами на мост. Я больше не хочу и не буду рисковать! Пойду по берегу, буду искать, на чем переплыть реку. Не знаю, найду чего или нет, но к немцам на мосту я не пойду! Женщинам что? У них документы! А мне нельзя — никакой бумажки нет! Разденусь до трусов, одежду свяжу в узел и поплыву. В Кубани течение быстрое. Может, пока судорога меня сведет, я успею переплыть на другой берег? Эх, найти бы мне даже не лодку, а хотя бы доску или палку подлиннее и потолще. Лишь бы было за что держаться в воде, когда понесет течением. Мне бы только переправиться через Кубань удачно, а там... там уже легче. Переправ до самой Анапы уже не будет! Главное не прозевать, вовремя увидеть мост и сразу же отстать от женщин!»

— А вот и мост! Слава богу, пришли! — вдруг раздался голос одной из них, рядом со мною. Я быстро поднял голову, глянул вперед и... растерялся, оторопел. Передо мной была Кубань, длинный понтонный мост через нее. Справа от моста, внизу у основания насыпи дороги, небольшой домик. У домика (наверное, это было караульное помещение) немцы — не менее десятка, до них метров пятьдесят.

Увидев нас, двое из них стали подниматься по насыпи к мосту для проверки документов, остальные продолжали заниматься своими делами. Дорога пошла вниз, к мосту. Женщины засуетились, стали на ходу доставать свои документы для проверки. Я еще не пришел в себя от неожиданности внезапного выхода к Кубани и машинально шел за ними. Как я мог так забыть и прозевать выход к мосту? [321]



«Дурак! Надо же было так задуматься! Прозевал, упустил момент уйти с дороги в сторону! Идиот! — ругал я себя. — Теперь уже не уйдешь! Вон как пялят глаза фрицы сюда! Пропал я! Пропал из-за своей дурости! Сколько шел, и влип!».

— Докумэнт! Пашпорт, пашпорт! — потребовали немцы, когда мы подошли к ним. Инстинктивно оттягивая миг своего задержания, я пятился от немцев назад, прячась за спины женщин. Проверив наличие печатей в паспортах, немец, пропустив одну, затем другую женщину на мост, решил, по-видимому, оставить заканчивать проверку документов у остальных своему напарнику и пошел вниз по насыпи, к домику.

Второй фриц, проверив, пропустил еще одну женщину. Нас осталось двое. Одна женщина все никак не могла достать и показать свой паспорт. Расстегнув фуфайку, подняв кофту, она безуспешно пыталась развязать затянувшийся узел на поясе юбки. Под юбкой у нее был потайной карман, где лежал паспорт. Я стоял в бездействии за ее спиной, чуть сбоку.

— Докумэнт! — подошел ко мне немец.

Вспоминая все это много раз потом, я не мог дать объяснение своему поведению, своим действиям тогда. Ни слова не говоря немцу, я поднял руку и указал ею на спину копавшейся в своем белье женщины. Не знаю, как он понял этот жест, но отошел от меня и стал ждать, когда, в конце концов, женщина трясущимися от волнения пальцами развяжет свой злосчастный узел на поясе. Я тоже стоял рядом и смотрел. Узел не развязывался. Женщина волновалась, покраснелась, платок упал с головы. Она подняла его с земли, быстро бросив на стоящую рядом кошелку, виновато посмотрела на немца и продолжала развязывать неподдающийся узел.

— Сокраменто! Доннер ветер! Раус! Вэк! — рассердился фриц. — Марш! — махнул он рукой, показывая на мост.

Совершилось чудо! Пронесло! — Я подхватил корзину с земли и, не чувствуя под собою ног, пошел по мосту. Моя [322] попутчица Полина на ходу приводила себя в порядок, шла рядом. «Только бы не остановил фриц, только бы не передумал!» — несло у меня в голове.

— Хальт! — раздалось за спиной.

Я остановился, сам не свой. Внутри все похолодело. Медленно поворачиваюсь назад. До немца шагов двадцать. Он стоит посреди моста, улыбается и показывает рукой на упавший с корзины, которую я нес, платок женщины.

— Спасибо, пан! — говорит Полина немцу, поднимая платок.

Немец пошел вниз, к своим.

Я готов был бежать по мосту, но этого нельзя было делать. Сдерживая себя, я шел рядом со своей спутницей.

— Слава богу, пронесло! — все еще не успокоившись, проговорила она.

— А чего было волноваться? — ответил я. — В конце концов, развязали бы пояс, показали паспорт, и вас немец пропустил бы.

— Не пропустил бы! У меня нет немецкой печати в паспорте!

— Так, значит, вы специально делали вид, что узел на поясе не развязывается?

— Да нет! Это получилось само по себе!

— Если это так, то тогда и вам и мне сейчас крупно повезло!

— Вот и я говорю: слава богу! — ответила она.

Полина знала дорогу отлично. Она уверенно, быстро шла безлюдной улицей по краю станицы, и вскоре мы оказались на выходе из нее, у дороги в станицу Гостагаевскую. Там мы переночевали в доме у нищей пары стариков-переселенцев из Ставрополя, которых выгнали из дома понаехавшие с оккупантами «казаки». Старики, с гордостью рассказавшие мне, что их сын — танкист, воюет с немцами, тайком от Полины ночью накормили меня круто сваренной из крупной кукурузной крупы кашей на воде. Я не мог сдерживаться, голод не давал это делать, и ел торопливо, почти не пережевывая. Сидел на топчане, держал между ног чугунок [323] и откалывал ложкой большие куски теплой, тугой, пахучей каши, подставлял под ложку ладонь, чтобы не потерять ни крошечки, и ел...

— До свидания, тетя Даша! До свидания, Иван Трофимович! — прощался я утром во дворе с гостеприимными хозяевами казацкого куреня.

— Храни тебя бог, сынок! — напутствовала хозяйка. — Возьми вот шапку, голова-то замерзнет без нее!

Она протянула мне пусть старую, мятую, — но шапку! Был легкий мороз. Земля обильно покрылась инеем, лужицы на дороге затянулись тонким, хрупким льдом.

— Пойдем не по шоссе, а вот по этой тропе. Она короче, глухая. Немцев или румын на ней не встретишь! — предложила Полина и свернула вправо на уходящую сразу вверх, в гору, протоптанную дорожку. Уже на подходе к станице Гостагаевской тропа, выведя нас на гору, пошла между каких-то разработок, глубоких котлованов с отвесными стенами, среди холмов откинутой земли, разбросанного тут и там камня.

— Это скала, карьер! Здесь гостагаевцы добывают камень! — буркнула моя попутчица. — Одна я ни за что не пошла бы этой дорогой. Здесь страшно!

Мы благополучно прошли карьер, вышли на перевал, на шоссе. Никто нам не встретился. Дорога круто шла с горы вниз. Отсюда, с высоты, отлично была видна широко раскинувшаяся казачья станица Гостагаевская. Сделав два-три крутых поворота, дорога вскоре подвела нас к небольшому мосту через овраг, по дну которого протекала речка Гостагайка. Бесчисленно петляя, она в этом месте выходила на окраину станицы и, пройдя под мостом, продолжала течь на запад, к морю, отсекая оврагом много дворов и улиц от всей станицы. Фронт был далеко, где-то в Новороссийске, дорога никакого тактического значения для немецкой армии не имела, поэтому мост не охранялся. Свободно пройдя его, мы вышли в безлюдную улицу. Вдруг моя спутница, не сказав мне ничего, не попрощавшись и даже не посмотрев на меня, быстро юркнула влево, в переулок, и скрылась. [324]

«Ну и свинья же! — подумал я, остановившись от неожиданности такого ее поведения. — Пройти столько вместе и не сказать даже «До свидания!». А ведь я надеялся, что она пригласит меня к себе и накормит: она же знала, что я голодный и иду на последнем дыхании! Стерва она!

Хотя почему я должен ее ругать? — продолжал рассуждать я. — Может, ей нельзя было меня приглашать к себе. Может, рядом с нею живет полицай или муж у нее полицай?»

Я шел по левой стороне улицы. Вот один, второй двор... Я остановился у калитки третьего и увидел во дворе суетившуюся хозяйку.

— Доброе утро! Тетя, продайте что-нибудь мне покушать! — чувствуя, что краснею, попросил я. Денег, конечно, у меня не было ни копейки, но просить в такой форме мне было легче.

— Доброе утро, доброе утро! — повторяла хозяйка, внимательно рассматривая меня. — Входи!

Я вошел во двор и прикрыл за собой калитку.

— Иди в дом! Я сейчас! — распорядилась она и пошла к сараю. Там мычала корова.

Перешагнув две ступеньки, я через открытую дверь попал в первую комнату дома. Хозяйка вошла через минуту. В руках у нее был кувшин с молоком и большая фаянсовая чайная чашка с отбитой ручкой. Она поставила кувшин и чашку на стол передо мной, достала хлеб и нож.

— Ешь, хлопчик, сколько хочешь! Ешь!

Я с жадностью пил еще теплое, только что из-под коровы молоко, ломал и макал в него большие куски хлеба. Они набухали, раскисали, и я их отправлял себе в рот один за другим. Поднял я глаза на хозяйку, стоящую рядом у стола и наблюдавшую, как я ем, только тогда, когда в кувшине и

чашке молока уже не было. Дожевав корку хлеба, я почувствовал, что больше есть не могу.

— Отчего ты такой голодный? Откуда идешь? — Хозяйка вопросительно смотрела на меня.

— Из Красноармейской станицы иду, в Анапу! Денег у меня нет заплатить вам за хлеб и молоко, тетя!.. — сказал я и опустил от стыда голову.  
[325]

— Что ты, что ты, хлопчик! Не нужны мне твои деньги! Да разве же можно не дать голодному человеку поесть? Как же ты идешь в такую даль голодным? Вот бедный хлопец! Я тебе еще чего дала бы, да ничего пока нет готового! — совсем разжалобилась хозяйка.

— Спасибо вам, тетя! Я хорошо поел, наелся! Скажите, немцы у вас в станице есть?

— А, поняла. Ты боишься, чтобы тебя не поймали немцы?

— Да!

— Тогда, слушай сюда, тебе никак нельзя идти через центр станицы, мимо клуба. Там всегда полицаи. Они у нас как собаки! Если увидят чужого, сразу прицепятся и схватят! У-у, проклятые! Вот, подождите, скоро придут наши, они вам... — стала проклинать полицаев хозяйка. — Что они делали, что они делали! Ходили по хатам, хватали и старых и малых, кидали в немецкую машину-душегубку и этой машиной, газом травили людей!

Об этом мне говорили и приютившие нас прошлой ночью старики: в их станице румынами и полицаями были убиты многие жители.

Хозяйка рассказала и показала мне, как безопаснее идти, и, поблагодарив ее еще раз за угощение и добрый совет, я пошел со двора. Свернув несколько раз, я вышел на улицу, дугой уходящую от шоссе к высокому обрыву глубокого оврага. То петляя, то пропадая в зарослях прибрежного кустарника, то разливаясь небольшими озерцами, по нему лениво, неслышно, текла речка. У разворота, на пологом скате обрыва, «спиной» к улице стоял большой дом старой постройки, крытый, как и все остальные, соломой; вдоль стены дома росли посаженные в ряд раскидистые дикие каштаны. У калитки двора мела веником чисто одетая женщина. Проходя мимо, я поздоровался. Она выпрямилась и, ответив, внимательно посмотрела на меня. Пройдя еще несколько шагов, чувствуя спиной взгляд, я оглянулся: женщина все еще смотрела мне вслед. Этот эпизод запомнился мне во всех подробностях на всю жизнь... [326]

Идя улицами вдоль обрыва, я довольно быстро вышел из пустынной станицы на ее западную окраину, без затруднения найдя дорогу, идущую в

Анапу. До города было еще 25 километров. Расстояние меня не так уж пугало, хотя стертые до кровавых мозолей ноги гудели. Меня начинал тревожить вопрос: как я войду в город? Там опять мост, и опять на мосту немецкий пост! Но пока это было где-то еще там, далеко, и я отгонял от себя тревогу.

Дорога, густо покрытая тяжелой, холодной пылью, вела меня по неровной, пересекающейся балками, голой, лишенной растительности степи. Пройдя километров пять, я начал спускаться в широкую лощину, внизу по которой протекал ручей. Через него был перекинут деревянный мост, метров десяти длиной. Потом я узнал, что эта лощина называется Горькая балка. Со стороны Анапы, по склону балки, вниз, навстречу мне, по дороге двигалась какая-то воинская часть, и у моста мы сошлись. Это был румынский кавалерийский отряд. Более сотни всадников, не меньше. Я сошел с дороги и ждал, когда они пройдут мимо и освободят мост. Упитанные кони, все рыжей масти, хмурые лица солдат. На меня пахло тяжелым запахом конского пота, навоза, мокрой кожи сбруй.

«Двигаются на фронт — иначе почему они такие все хмурые, мрачные?» — подумал я. От моста дорога, делая зигзаг, долго поднималась в гору по пологому склону балки. Там, на горе, слева метрах в ста длинный каменный дом под двускатной черепичной крышей и рядом ветхий, полуразвалившийся деревянный сарай. Это колхозный полевой хоздвор, — в колхозах такие хоздворы почему-то называли цыганским словом — табор. У дома люди. Я свернул с дороги и пошел к ним. Мне хотелось пообщаться с людьми, узнать новости, наскоро передохнуть. Оказалось — тут две-три пожилые женщины, несколько девчат в возрасте скороспелых невест и орава неизвестно откуда взявшихся здесь детишек. Среди всех — четверо румынских солдат: без оружия, полураздетые, в расстегнутых на все пуговицы мундирах, кто и без шапки. Они играют, бегают и ловят девчат, тискают их. Те делают вид, что не хотят этого, визжат, хохочут, убегают, [327] но тут же возвращаются, дергают солдат, заигрывают, выпрашивая внимание к себе. В общем, идет веселье, всем приятно и радостно.

Солдаты ведут себя вольно, по-домашнему, как где-то у себя в Фатештах или Ионештах, в своей далекой Румынии. В этом доме был или их пост, или дозор — не знаю, но, во всяком случае, по их виду и поведению было понятно, что они здесь живут.

«Продажные шкуры! — глядя на девчат, думал я. — Как они могут с нашими врагами так вести себя? Отцы, братья сейчас на фронте кладут за

них головы, сражаясь с этими мамалыжниками-румынами, а они здесь услаждаются ласками оккупантов!»

При виде этой мерзости общаться мне расхотелось. Для вида я попросил у одной из женщин попить воды, наскоро выпил и заспешил назад на дорогу. Болели ноги. Как-никак я уже прошел сегодня 35 километров, а еще идти и идти... Мозоли опять раскровянились, я чувствовал мокроту портянок и шел прихрамывая, терпя адскую боль в ногах.

Вот показались домики поселка Чембурка. Значит, до города осталось примерно 8 километров, а я еще не придумал, как буду проходить мост у города. Как я ни оттягивал время принятия окончательного решения, оно подперло. Хочешь не хочешь, а надо думать, деваться некуда!

Я сошел с дороги, отошел от нее подальше и присел на землю. Здесь местность была выше, и вдалеке внизу я видел родной город. Вечернее море спокойно, полный штиль. В порту видны катера, на рейде, в бухте, — громоздкая баржа. Темнел на мысу в Малой бухте красавец парк Курзала. Рядом с городским театром высилась курортная поликлиника. Заметно выделялись на Пушкинской улице дом Борисова и здание райкома партии. Где-то там недалеко улица Кирова. Там ли сейчас моя мама? Жива ли она?

Я различаю высокое здание мельницы в городе. Рядом высокая башня — это створовый знак для кораблей, входящих в Анапскую бухту. А вот ближе ко мне, по улице от мельницы, на окраине города дом в два этажа. Это известный старожилам Анапы дом Бека. Вот где-то здесь, недалеко [328] должен быть и мост! По всей местности, на север от города до поселка Чембурка и на восток до станицы Анапской, разлились поросшие камышом плавни. У самого города из них вытекала неглубокая и неширокая река Анапка, которая почти тут же, метров через двести, пробившись через песчаные дюны пляжа, впадала в море. Идущая из города в сторону поселка Джемете шоссе дорога пересекала речку, и в этом месте был небольшой каменный мост. Войти в город, минуя этот мост, было никак нельзя: слева глубокие плавни, справа — море, а между морем и мостом густо нашпигованный минами песок пляжа. Обдумывая свои действия, я пришел к тому, что, поскольку с этой стороны в город не войти, в него надо идти через станицу Анапскую, а оттуда в город. Если же и там где-то есть немецкие посты, то это уже не страшно! Отлично зная город, я найду лазейку.

Стиснув зубы, пересиливая боль в ногах, я встал и пошел в сторону станицы Анапской. Там никаких постов, к моему счастью, не было. Я страшно устал, и режущая боль растертых мозолей заставляла меня останавливаться через каждые четыре-пять шагов. Близился вечер, а вместе с

ним и комендантский час, а до города было еще 5 километров. Значит, надо искать ночлег, тем более что завтра воскресенье, люди из станицы двинутся в Анапу на базар, и мне будет легче пройти с ними...

Увы, никто меня не пустил, у всех был один и тот же ответ: «Неси разрешение от атамана станицы или коменданта, тогда пустим». Мне ничего не оставалось, как вернуться по улице назад на дорогу и по ней идти в центр станицы. Здесь было еще многолюдно. Ходили жители, румынские солдаты (немцев не видно было), мелькали повязки полицаев. Надо было не задерживаться, и я побыстрее пошел отсюда. Пройдя станицу дважды и так и не получив ночлега, я вышел на ее окраину. Прямо через поле, метрах в трехстах от меня, был пригород Анапы — поселок Алексеевка. Мне были хорошо видны пять его крайних домов, ровной цепочкой уходящих от шоссе в сторону плавней. Глядя на них, я не знал, что в третьем по счету домике от шоссе в это время жила моя мама и брат... Как я узнал позже, наш дом в городе был разрушен [329] бомбой, да к тому же вся улица Кирова вошла в объявленную немцами запретную зону, и мама с братом вынуждены были уйти из города. Каждый устраивался в окрестностях как мог. Мама нашла добрых людей, которые пустили ее к себе здесь, в Алексеевке, в третьем от шоссе Анапа — Анапская доме. И вот я, изможденный дальней дорогой, голодный, с разбитыми ногами, полураздетый, еле стоящий от усталости на ногах, не знающий, где укрыться на ночь, рискующий быть задержанным патрулями, стоял и смотрел на дом, куда стремился все эти дни, где была моя мама, моя семья... Две минуты вполне безопасной ходьбы через поле отделяло меня от них, всего каких-то 200–300 метров! Кто знает, как повернулась бы моя судьба, а может, и вся жизнь, что было бы со мною, если бы я знал это? Но я не знал...

Совсем стемнело, взошла луна. Вдруг сзади, недалеко, в районе кладбища, раздался один, потом второй винтовочный выстрел. Послышались крики, опять выстрел... В ответ — несколько хлопающих выстрелов из пистолета и топот бегущих людей! Не раздумывая, я бросаюсь в калитку ближайшего двора, закрываю ее и прижимаюсь в тени к забору. Топот ног совсем рядом, крики команд на румынском языке, тяжелое дыхание пробежавших мимо солдат. Через несколько секунд удаляющийся шум (это уже где-то в поле) заканчивается торжествующим воплем румын.

«Кого-то ловили и поймали!» — подумал я и осторожно выглянул из-за калитки. По противоположной стороне улицы, теперь уже не торопясь, громко, возбужденно разговаривая, шла группа солдат. Между ними с заломленными назад руками шел мужчина в распахнутой шинели, без

головного убора, — меня поразила белизна его лица. Солдаты шумными возгласами, смехом выражали свою радость.

Громко скрипнула дверь, и из дома, во дворе которого я стоял, вышла девушка с наброшенной на плечи фуфайкой, а следом за нею вторая с платком на голове. Они остановились у двери, прислушиваясь. Голоса солдат удалялись и замирали где-то в улицах станицы. Прятаться дальше мне не было никакого смысла, и я вышел к ним из тени и поздоровался. [330]

— Ты не тот, кого сейчас ловили румыны? — спросили они.

— Нет! Того, кого они ловили, поймали! — сказал я. — Пустите меня переночевать у вас! Я иду издалека и очень устал!

Девушки стояли в нерешительности и молчали. Потом та, что стояла за спиной у подруги, спросила:

— А документы у тебя есть?

— Есть! Есть у меня документы! — неожиданно для самого себя соврал я.

— Ну, если есть, входи! — сказала та, что в фуфайке.

Ужаснувшись моим видом, девушки начали организовывать ужин, а старшая вымыла мне ноги, нашла в шкафу на стене пузырек с йодом и осторожно смазала мои раны.

Снаружи скрипнула дверь, затем открылась, и вошел пожилой, давно не бритый мужчина. Не здороваясь, косо бросив взгляд на меня, с осуждающей интонацией в голосе, обращаясь к девушкам, он строго спросил:

— Вы кого это пустили к себе в дом? Почему вы нарушаете приказ коменданта? А если ночью будет облава и его, — показал он рукой на меня, — найдут у вас? И вас заберут вместе с ним в комендатуру, и мне попадет!

— А вы-то при чем здесь? — с неприязнью глядя на вошедшего, спросила младшая девушка, которую звали Люба.

— Как это при чем? Скажут — ты сосед, видел постороннего и не доложил! Гоните его со двора, пока не поздно! — сказал он, и вышел.

— Зануда проклятый! Все ему надо, все надо! Увидел, значит, как мы разговаривал и во дворе. Стоял, подлец, за забором и наблюдал! — возмущалась старшая.

— А кто он такой? — спросил я. — Полицай?

— Нет, сосед наш! Он не полицай, но выслуживается перед новыми властями. Подлый человек! Все ходит, высматривает, вынюхивает и не иначе как доносит в комендатуру.



— Ну, ладно! Черт с ним, давайте ужинать. Садись к столу! — сказала Люба, обращаясь ко мне. Я не обувшись, босыми ногами протопал по половику к столу. В животе мутило [331] от голода. На столе в миске горкой лежала отварная картошка, желтели куски круто сваренной мамалыги.

Но поужинать не пришлось. Вновь скрипнула дверь, послышался топот ног в сенцах, и в комнату ввалились два румынских солдата, с ними старик-сосед.

\* \* \*

— Вот он! — показал солдатам рукой на меня.

— Докумэн естэ? — спросил один из них.

— Нет у меня документов! — ответил я, и краска стыда залила мне лицо. Мне было стыдно перед девушками за свой обман.

— Гай ал комендант! — приказали румыны, и пока я крутил на ноги портянки, втискивал в постолы, они бесцеремонно пожирали на столе наш ужин.

Сосед-предатель стоял у двери и строго смотрел на девушек, словно он сам был комендантом. Девушки молчали. На ходу доедая взятые со стола куски мамалыги, румыны-патрули вели меня по темным, кривым улицам станицы в комендатуру. Идти пришлось недалеко. Прошли две-три улицы, переулок и вот она — комендатура.

Несмотря на позднее время, здесь оказалось много солдат: на улице, во дворе. Не докладывая, не спрашивая на то разрешения, патрули открыли одну из дверей в коридоре дома и втолкнули меня в кабинет. Браво щелкнув каблуками, отсалютовав винтовкой, один из них доложил обо мне сидящему за столом офицеру (я решил, что это комендант), пока второй стоял за спиной у двери.

Выслушав рапорт, тот что-то им сказал, по-видимому, поблагодарив за добросовестную службу, и патрули вышли. Комендант — это был офицер средних лет, среднего же роста и с совершенно лысой головой — отодвинулся от стола, откинулся на спинку стула, и внимательно посмотрел на меня.

— А мы тебя искали! — сказал он на чистом русском языке, и лицо его расплылось в широкой улыбке. — Друга твоего мы вот только что поймали, а ты скрылся! Оч-чень хорошо! Я думал, что ты уже в Анапе, а ты, оказывается, решил [332] переночевать здесь, в Анапской! — продолжал комендант. — Оч-чень хорошо!

— Никакого друга у меня нет, но я и вправду иду в Анапу! — ответил я, решив, что он явно меня с кем-то путает. — А переночевать попросился здесь, потому что уже было поздно, а ходить, вы сами это знаете, разрешается только до 6 часов вечера.

— О-чень хорошо! — уже с иронической усмешкой опять сказал комендант. — Откуда же ты пришел в Анапскую?

— Я иду из станицы Красноармейской. Там жил у своей тетки, а сейчас возвращаюсь домой, в Анапу! Иду один. Никакого друга у меня нет!

— У тети, значит, жил! Оч-чень хорошо! А я думал, что ты со своим другом пришел сюда с берега моря! Но оставим это! Сейчас времени у меня нет. Мы завтра встретимся здесь все вместе и поговорим. А пока я отправлю тебя в свой отель, по-русски гос-ти-ни-ца, прекрасный отель! Зачем тебе проситься спать в плохой, вонючей хате?

Комендант приказал что-то солдату, стоящему у двери за моей спиной. Тот, выслушав приказ, дернул меня за плечо, пропустил вперед в дверь и, идя сзади, стволом винтовки направлял к выходу. Из коридора через боковую дверь мы вышли во двор комендатуры. Наискосок через двор — длинный, охраняемый часовым сарай. Конвоир поговорил с часовым, тот открыл дверь и втолкнул меня туда, в темень. Дверь за спиной прикрылась, загремел засов. Я стоял, ничего не видя в темноте.

— Калимера! — поздоровался кто-то со мною по-гречески.

— Калиснера! — ответил я тоже по-гречески.

Через маленькое, узкое окошко на стене у потолка сарай слабо наполнялся светом луны, глаза мои стали привыкать к полумраку, и я уже различал лежащих на соломе вдоль стены людей.

— Эла дока! Иди сюда! Ложись рядом со мной! Здесь есть место! — предложил мне тот, который только что поздоровался со мной по-гречески. Раздумывать было нечего, [333] я подошел к нему и стал моститься рядом на перебитой, перетоптанной соломе.

— Ты грек? — спросил сосед.

— Нет. Русский!

— Откуда знаешь по-гречески? Тебя как зовут?

— Николаем звать. Жил до войны в Анапе среди греков.

— А я грек. Христофор. Зови просто Христо! Кого знаешь в Анапе из греков?

Я назвал своих греческих знакомых и рассказал, что жил у тетки в Красноармейской станице, шел домой в Анапу, не дошел немножко и попросился здесь переночевать у людей. Сосед увидел и привел патрулей.

Они меня забрали и привели сюда, в комендатуру. Комендант сказал, что завтра разберется.

— Какой комендант? Какая комендатура? Ты что путаешь?! — удивился Христо. — Ты, что, думаешь, попал в комендатуру? Да?

— А куда же еще? — теперь удивился я.

— Ты попал в страшное место! Это не комендатура, а румынская полевая жандармерия! Это то же, что у немцев гестапо! Похоже немножко! Отсюда не так просто вырваться! А с тобою говорил, как я понял, не какой-то там комендант, а начальник этой жандармерии полковник Инкулеску. По-румынски: «Домнуле Колонэл Инкулеску».

«Вот это я влип! Вот это попал!» — растерянно думал я. Шел, перебирался, и все же влип под конец!

Всего в сарае было 12 человек, все мужчины, разные по возрасту. Утром загремел засов на двери, румын-часовой распахнул ее настежь и что-то сказал нам по-своему. В двери хлынул свежий, холодный воздух.

— Предлагает сходить всем в уборную, — пояснил мне Христо, — вон она, у забора! Сходи, а то заступит на пост другой солдат — не выпустит из сарая. Попадают такие!

— А харчи здесь дают? — спросил я у Христо.

— Какие там харчи! Ничего не дают! Приносят и ставят вон там, — указал он пальцем в угол сарая, — ведро с водой, вот и все! [334]

— А что же есть? — опять спросил я. — Что вы здесь едите?

— У кого есть родственники, тем приносят, а у кого их нет, те просят. Как и у кого просят, ты скоро увидишь.

Пришел капрал с солдатом, пересчитал нас по головам, сделал запись в папку и ушел. Все быстро, в темпе, без всяких построений или переключек.

— Ну, кто первый сегодня станет на дверь? Уже можно! — громко обратился ко всем Христо. — Молчите? Ну, хорошо! Я буду первым!

Он подошел к открытой двери, переступил ее порог и, повернувшись в сторону улицы, стал чего-то ждать.

Часовой посмотрел, отошел немного в сторону и больше не обращал на него никакого внимания. Христо стоял, не сводя глаз с улицы. Я ничего не понимал.

— Тетка, принеси что-нибудь покушать! Нас здесь много, мы голодные! — вдруг стал кричать Христо кому-то на улице.

Я подошел к двери и увидел проходившую по улице мимо нашего низкого забора женщину.

— Принеси, пожалуйста! Мы будем ждать! — просил Христо.

— Ты теперь понял, Николай, как мы здесь едим? — обратился он ко мне. — Румыны никакой еды не дают, но разрешают нам вот так стоять на дверях весь день и просить у прохожих. Мы и стоим по очереди, кричим, просим! Только мало здесь ходят люди, улица глухая, да и не хотят, наверное, проходить мимо этого опасного места. Кричим с утра до вечера, просим, просим, а за целый день принесут всего ничего, — но и за то спасибо! Делим на всех поровну... [335]

В дальнейшем так и было. Мы все по очереди стояли у двери и кричали прохожим весь день. Очень мало находилось таких, которые приносили нам продукты. Да и еда была не ахти: кто принесет вареную кукурузу, кто мамалыгу, узелок с семечками подсолнуха, соленые огурцы, редко отварную картошку в мундирах. Но мы были благодарны и за это.

Примерно с 9 часов начался обычный рабочий день жандармерии. Пришел солдат и увел куда-то двоих; потом опять капрал с папкой — и забрал тоже двоих, на допрос. Еще четверых увели, но вернулись первые двое: оказывается, их заставили мыть полы в канцелярии, а потом колоть дрова. Под конвоем вернулся один с допроса: побитый, из носа шла кровь. Второго, говорит, отпустили.

Я с тревогой ждал своей участи. Менялись часовые, охранявшие нас. Один из них, держа как-то по-особому, не по-нашему, винтовку на ремне перед собой полусогнутой рукой, молча ходил взад-вперед перед дверьми. Другие, надолго прислонясь к стенке сарая, насвистывали или тянули голосом тягучие, тоскливые мелодии без слов.

Уже к вечеру в сопровождении солдат к нам в сарай пришел сам начальник Инкулеску. Без головного убора, в расстегнутом мундире, он как-то дружелюбно смотрел на нас всех, что-то беспрерывно быстро говоря стоящему рядом капралу-писарю, и тот делал записи в своей тонкой папке.

— Ты! Пойдешь со мной! — приказал он мне и, резво повернувшись, быстрым шагом вышел из сарая.

— Теперь мы будем говорить с тобой серьезно!

И действительно, его лицо сразу преобразилось, из добродушного оно стало суровым и жестким.

— Альзо! Вас двоих для разведки и связи с местным подпольем перебросили сюда. Но, слава богу, вы пойманы! Итак... кто ты такой? Твое имя?

Я был удивлен, ошеломлен услышанным!

— Никакой я не разведчик, и никакого у меня товарища нет! Я жил у тети в станице Красноармейской и иду от нее сейчас к себе домой в Анапу! [336]

— Как твоя фамилия, имя? Твой адрес? — перебил меня полковник.

Я назвал свои подлинные фамилию и имя. Еще раньше, в сарае, думая, как себя вести на предстоящем допросе, я решил, что нет смысла скрывать свое настоящее имя, свой домашний адрес. Если румыны удостоверятся в том, что я здешний житель, они могут отпустить меня домой. Такие случаи я уже знал, слышал от людей. Но дело принимало другой оборот! Меня с кем-то путали. Я ведь действительно не был разведчиком и ни с кем не приходил ни на какую явку.

— Живу я в городе, на улице Кирова, 31. Дома у меня мама и старший брат-инвалид! Мне пятнадцать лет, поэтому в армии я еще не служил и не знаю никаких разведчиков!

— Значит, это не ты вчера вечером убежал от моих солдат?

— Не я! Ни от кого я не убежал!

— Оч-чень хорошо! — с издевкой в голосе проговорил полковник. — Значит, вчера был не ты! — все более угрожающе, снижая тон голоса и поднимаясь из-за стола, говорил Инкулеску. — Документы? Где твои документы? Где пропуск от немецкого коменданта станицы Красноармейской? — уже как-то шипел, свирепея, он.

— Потерял я пропуск! В дороге потерял! — врал я.

— Оч-чень хорошо! Потерял пропуск! — Полковник, весь напряженившись, смотрел мне прямо в глаза. Медленно переступая, он стал боком обходить меня. Я стоял, знал, что сейчас будут бить. Сзади резкий выдох — и меня полоснул жгучий удар плети. Я не устоял на ногах, упал. Инкулеску что-то крикнул стоящему рядом солдату и бросил ему плеть. Тот, поймав ее на лету, начал хлестать меня куда попало.

Я корчился по полу... Наконец битье прекратилось.

— Встать!

Я медленно поднялся с пола, но не мог устоять на ногах и опять свалился на пол. Подошел солдат, помог встать и, стоя рядом, поддерживал меня. Я стоял, промаргивая катившиеся [337] из глаз слезы, и смотрел в пол. Ноги дрожали, и, если бы не солдат рядом, я бы опять упал. Много ли мне было надо? Питавшийся последнее время впроголодь, я совсем истощал, ослабел. Сказывались и большие пешие переходы, и постоянное нервное напряжение.

— Сейчас ты будешь смотреть на своего командира! — сказал Инкулеску и отдал приказ солдату.

Тот вышел за дверь. Полковник о чем-то вполголоса говорил с капралом-писарем.

Открылась дверь, и в комнату ввели хорошо, чисто одетого мужчину. Я сразу узнал его. Это был тот, которого румыны ловили и поймали вчера вечером. Он был одет в полувоенную одежду, в расстегнутой армейской шинели. Она была почти новая, но без знаков различия. Под нею видна была комсоставская гимнастерка, тоже без знаков различия, заправленная в гражданские, темно-серые брюки. На ногах ботинки. Головного убора нет. Весь его внешний вид был какой-то чистый, аккуратный, интеллигентный, лицо благородное.

— Ты знаешь этого человека? — обратился ко мне Инкулеску, кивнув головой на него.

— Нет, не знаю! — ответил я.

— И вы не знаете, конечно, этого мальчишку? — с иронией, с усмешкой спросил полковник, кивнув теперь уже головой в мою сторону.

— Не знаю! — так же, как и я, ответил незнакомец.

Он внимательно и удивленно посмотрел на меня. Я обратил внимание на то, что Инкулеску обращался к нему на «вы». Внешний вид, достоинство, исходившее от незнакомца, заставляло полковника подавлять в себе злобу, профессиональную грубость и говорить ему «вы».

— Если не этот мальчишка ваш помощник, то где же тот, другой, который был с вами?

Незнакомец молчал, прямо, твердо смотря перед собой.

— Вы упорствуете, не хотите назвать себя и цель вашей заброски через фронт. Этим самым вы усугубляете и без того сложное ваше положение. С отказом говорить со мною лояльно [338] вы теряете последний шанс на жизнь. — Инкулеску, усмехнувшись, слегка улыбаясь, провел рукой вокруг себя.

— Глупо было бы думать, что, если я вам открою свое имя и расскажу все, интересующее вас, вы меня после этого отпустите. В любом случае меня ждет расстрел. Выбора для меня нет! Потому я в последний раз заявляю — ничего я вам не скажу! — твердо высказал свой ответ незнакомец.

Полковник, нервно перекидывая из руки в руку свою вдвое сложенную плетку, быстро подошел к нему, ткнул рукояткой плетки снизу в подбородок.

— Я тебе не дам так просто умереть! — переходя на «ты», сказал он, еле сдерживая злость. — Да, ты будешь расстрелян в любом случае, но

признание избавило бы тебя от лишних мук! Лично я тебя сейчас не понимаю!

— А тебе и не понять! Ты — фашист! — бросил ему в лицо, как плевок, незнакомец.

Присутствующие в комнате румыны, не понимая ничего по-русски, с интересом и с каким-то беспокойством следили за их диалогом.

— Коммунист! Фанатик! — не выдержав, вскричал полковник. — Я еще с тобой буду много говорить! Много и красиво говорить! — добавил он злобно и приказал что-то по-румынски солдатам.

Один из них подошел к незнакомцу, толкнул его в плечо и показал на дверь. Они вышли.

— Марш! — хлестнул полковник плеткой по столу, и другой солдат, дернув за рукав, вытолкал меня из кабинета в коридор. Оттуда во двор, со двора в сарай.

— Но-но-но! — удивленно произнес грек Христо, перехватывая меня у дверей сарая из рук солдата и помогая лечь на солому.

— Николай! И это все только за то, что ты шел от тетки из Красноармейской? Но-но-но! — опять удивленно качал он головой, видя меня избитым.

Я молчал. Было больно.

— Зверь начальник! У-у-у, палалос! Мухтерон! Шкили! — бормотал по-гречески ругательства Христо, адресуя их Инкулеску. [339]

Подошел мужчина:

— Возьми, вот. Поешь! Менэ тильки што принэслы! — и сунул кусок мамалыги.

На дворе стемнело. Я лежал на соломе и думал о произошедшем со мной и о незнакомце. На допросе он держался, как настоящий патриот, и по всему видать, что полковник ничего от него не добьется, даже пытая его. А вот внешне незнакомец выглядел очень странно. Если он действительно заброшен сюда, в тыл врага, через фронт, как разведчик, то почему же он одет в полувоенную форму? Не могли его в такой одежде забрасывать через фронт сюда! То же самое — если он был оставлен здесь для подпольной работы. А если не разведчик и не подпольщик, то почему же он убегал от румын? Почему они его преследовали, ловили? Я ничего не мог понять.

Теперь другое. Инкулеску связывает меня с ним. Как это объяснить? Это его ошибка или шантаж? Долго я думал и в конце концов пришел к убеждению, что полковник, допрашивая меня с пристрастием, просто надеется на авось. А вдруг я и вправду окажусь не бродягой-мальчишкой, а

персоной, достойной внимания жандармерии. Держа меня в своей тюрьме, допрашивая, он ничего не терял. Глядишь, может, что и выплывет из допросов! Это я так думал, а что думал полковник — не знаю. Признаться мне не в чем, за исключением того, что я партизан. Ну, а называть себя партизаном — это сразу же подписать себе смертный приговор. Я этого никогда не сделаю!

Дальнейшие мои допросы были однообразны, да и немного их было: два-три. Инкулеску так ничего и не добился на этих допросах ни от меня, ни (как я понял) от загадочного незнакомца. Меня он все так же бил плеткой, но прежней твердости и напористости в его вопросах немного поубавилось. Чувствовалось, что ему начинает уже надоедать эта возня: он уже не настаивал на моей связи с незнакомцем, а все больше и больше склонялся к версии, что поскольку я являюсь местным жителем, то был высажен с моря с группой разведчиков-моряков в качестве проводника. Тем более [340] что такие высадки на нашем побережье, как я узнал позже, были довольно-таки частыми. На последнем допросе Инкулеску так и назвал меня: «десантист».

— Ты не хочешь говорить правду! Оч-чень хорошо! Скоро я тебя буду расстреливать! Я тоже не хочу с тобой еще разговаривать! — сказал он мне накануне.

Долго этого ждать не пришлось. В тот же день, поздно вечером, когда совсем стемнело, к нам в сарай вошел капрал-писарь. Пройдя вдоль всех лежащих и сидящих, внимательно всматриваясь в каждого, он ткнул ногой меня, сказал что-то солдату и пошел на выход.

— Гай ла офицер! — Солдат вывел меня из сарая.

Наверное, из-за плохого питания я в темноте наступившей ночи совершенно ничего не видел, не различал перед собой. Солдат повел меня куда-то со двора, подталкивая и направляя мое движение стволом своей длинной винтовки. Впереди нас шел капрал-писарь. Мы вышли мимо часового за ворота на улицу и почти тут же вошли в соседний двор. Здесь в беспорядке стояло несколько подвод-фурманок и привязанные к ним, жующие свой корм лошади. Сильно и резко пахло навозом, конским потом. Пройдя мимо лошадей, мы вошли не то в конюшню, не то в сарай. На подоконнике занавешенного чем-то для светомаскировки окна стояла карбидная лампа, очень ярко освещавшая все вокруг.

Здесь был сам Инкулеску, несколько солдат. У стены стоял человек. Вид у него был ужасный: в мятой, грязной, мокрой, рваной одежде, с распухшим, в кровоподтеках и синяках лицом.



Да это же мой незнакомец! С трудом я узнал его. За несколько дней, в течение которых я его не видел, ему крепко досталось. Видя его в таком состоянии, можно было думать, что он так ни в чем и не признался на допросах. Я смотрел на него, незнакомец тоже пристально посмотрел на меня, узнал, глаза его чуть дрогнули, и он громко, внятно сказал мне: «Я Сергеев!» Я видел, что он еще что-то хотел сказать, какой-то миг боролся с собою, но, видимо, собрал свою волю, пересилил себя, отвернулся, и взгляд его твердо уперся в колеблющийся язычок пламени карбидной лампы. [341]

— О! Ты, наконец, назвал себя! Оч-чень хорошо! Может, ты еще что скажешь? Я жду! — Инкулеску подскочил и, как это он делал всегда, рукояткой плетки, давя снизу в подбородок, приподнял голову незнакомца. Тот молчал.

Наливаясь злобой, Инкулеску, выкрикивая по-румынски ругательства, сатанея, перехватив плетку левой рукой, правой стал расстегивать кобуру.

— Дракулы! Дьяволо! Ты мне не нужен! Я тебя буду стрелять! — Он выхватил пистолет и, отпрянув назад, дважды выстрелил в грудь незнакомца.

— К стенке! Быстро к стене! — толкнул меня Инкулеску. — Смотри в стенку! — тыкая пистолетом, он поворачивал меня лицом к стенке сарая. — Ты десантист? Комсомолист? Отвечай! — кричал он в истерике.

Холодный, твердый ствол пистолета больно уперся мне в затылок. Рука Инкулеску дрожала, пистолет давил и словно ввинчивался в меня.

Выстрел, второй, третий!.. Я еще стоял, упираясь лбом в тузлучную стенку сарая... Потом... я ничего не помню...

— На фурузмэнэ! Маймунэ! — кто-то ругался рядом со мною по-гречески. Сознание возвращалось. Я приподнялся, сел.

— Николай! Ты уже живой? — спрашивал грек Христо.

— Живой! — не сразу ответил я.

— Ну, хорошо, что живой! Когда тебя принесли солдаты, ты был совсем целый, не побитый, а сознания нет! Что с тобой делал шкили Инкулеску?

Я не отвечал на вопросы Христо.

— Ну, ладно! Не хочешь говорить — не говори! — проворчал он, обидевшись. — Буду еще спать, а то утро уже скоро!

Слушая его похрапывание, я снова сидел и думал. Понятно, что, ничего не добившись на допросах, Инкулеску решил в дальнейшем не морочить себе голову и расстрелять нас. Но почему он не убил меня? Хотел поугагать? Какой смысл в этой разыгранной комедии? Зачем я ему еще нужен? Я ничего снова не мог понять... [342]

Сразу после утренней проверки капрал увел с собою шестерых узников. В их число попал и грек Христо. Нас стало наполовину меньше. Томимые голодом, мы по установившемуся здесь правилу по очереди стояли у дверей сарая и кричали изредка проходившим мимо по улице случайным прохожим, прося их принести нам что-либо поесть.

В полдень двое солдат-румын кулаками затолкали к нам в сарай молодого мужчину лет двадцати пяти — двадцати семи.

— Юда! Юда! Еврей! — приговаривали солдаты, шпыняя его под бока.

— Я не еврей! Я не еврей! — испуганно твердил мужчина, увертываясь от ударов.

Солдаты ушли. Настороженно озираясь, наш новый товарищ выбрал себе место подальше от всех, уселся под стенку на соломе, обхватив прижатые к груди колени руками, и так молча сидел, мелко вздрагивая. Не прошло и часа, как в сарай ввалилась целая группа солдат, человек шесть-семь, во главе с сублокотенентом. Все они толпою окружили новенького.

— Встать! — приказал сублокотенент. — Ты еврей?

— Нет, нет! Я не еврей! — как бы оправдывался мужчина. — Я не еврей!

Солдаты загалдели, затем кто-то из них приказал по-русски:

— Снимай штаны, будем смотреть!

Мужчина, весь дрожа, покорно начал расстегивать ремень, пуговицы, и брюки упали.

— Юда! Жидан! Юда! — вдруг радостно завопили все сгрудившиеся вокруг солдаты. На кулаках, пинками ног вышвырнули его из сарая и увели прочь со двора...

За исключением всего этого день прошел в основном спокойно: допросами никого не терзали.

На следующий день, рано, пришел солдат, забрал меня и еще двоих. Оказалось, мы были взяты для работы. Этих двух заставили чистить конюшню, а меня солдат повел в соседний двор, где располагалось караульное помещение. Мимо то и дело проходили солдаты. Ни с того ни с сего один из них [343] вдруг больно ударил меня носком ботинка в зад и пошел дальше, даже не посмотрев на меня.

Увидя, что я закончил мести двор, конвоир спросил:

— Гата работа?

— Гата! — ответил я.

— Гай рэпедэ! — И он повел меня опять через дорогу, во двор жандармерии, а оттуда в сарай.

В конце дня к нам опять пришли два солдата, на этот раз они взяли уже четырех.

— Естэ мало-мало, пущин, работа! — сказали они и повели нас на улицу. Мы прошли несколько кварталов, перешли через дорогу, идущую в город, и там, почти на выходе из станицы, вошли в большой двор.

— Господин офицер ходить на другой квартир! Мы будем брать его кровать и другой одежда! — сказал румын и приказал нам вынести вещи из дома.

Вдруг кто-то из сидящих во дворе людей вскочил.

— Коля?! Ты... ты?! — не находя слов от удивления и растерянности, он бросился ко мне.

— Арсен! — Я не верил своим глазам. Передо мною был мой друг Арсен Савицкий!

— Ты что? Почему ты у румын?

— А ты почему здесь, а не в Анапе?

— Это мои знакомые. Я часто прихожу к ним из города, прошу продукты. Иногда даже ночью здесь! — торопливо отвечал мне Арсен. — А ты как попал к румынам?

— Арсен! Сейчас я не могу все рассказывать. Скажи — живали моя мама, жив ли брат? Ты знаешь что о них?

— Живы! Я у них часто бываю, они живут рядом, в Алексеевке, совсем недалеко отсюда!

— Передай маме, что я сижу здесь, в станице, в тюрьме румынской жандармерии!

— Обязательно передам! Завтра утром я буду у них!

Из дома вышли мои товарищи с вещами офицера: всего-то их было — складная металлическая кровать и два чемодана. Мне и нести ничего не досталось...

С раннего утра следующего дня, как только часовой позволил открыть настежь дверь сарая, я уже стоял у двери и [344] ждал, когда увижу маму. В том, что Арсен скажет ей обо мне и она придет, я не сомневался. Я знал, что приказом оккупантов хождение гражданским лицам разрешается только с 6 часов утра, а сейчас еще совсем рано, но я уже не мог отойти от двери. Было по-утреннему, по-осеннему свежо. Часовой, стоящий рядом, поднял воротник шинели, надвинул поглубже пилотку на голову, ссутулился, съежился от холода.

Вот и мама! По улице, взглядываясь во дворы, медленно шли мама и брат Борис.

— Мама! Я здесь!

Часовой вздрогнул от неожиданности и удивленно посмотрел на меня.

— Это моя мама! — тыкая себе в грудь пальцем и показывая на маму, говорил я часовому.

— Мама? Мама хорошо, бунэ! — ответил он.

— Я хочу говорить с мамой! Можно подойти к забору?

— Гай! Можно ходить маленько забор! Мама — бунэ, мама — хорошо!

«Румын попался добрый!» — подумал я и бросился к забору. Он был невысок, по пояс, сложенный из камня. Перегнувшись через него, я обнял маму, подал руку Борису. Меня переполняло чувство радости.

— Сыночек, сыночек, как же это так? Как же это ты здесь? — плакала мама, обнимая меня.

Брат, державший в руке корзинку, раскрыл ее, выставил на забор маленький, черепичный горшочек с супом, положил рядом кусок круто сваренной мамалыги.

— Ешь, сынок, ешь! — растерянно, еще не придя в себя, приговаривала мама. — Другого ничего мы не могли принести. У нас нет продуктов!

— Мама, я поем потом, с товарищами. Мы едим все вместе. Что кому принесут — мы делим на всех.

— Ладно, ладно, сыночек! Мы еще придем к тебе, заберем потом посуду.

— Гаты! Разговор больше нет! Капрал ла мыни ругай! — сказал подошедший часовой. — Ходи на сарай! [345]

— До свидания, мама! Пока, Борис! Принесите мне какие-нибудь ботинки. Мои постолы совсем развалились!

— До свидания, сыночек! Мы придем еще!

Уже к вечеру пришел один Борис, принес две лепешки из кукурузной муки и ботинки.

— Мама не могла идти. Она сильно болеет, — рассказывал Борис. — Тяжело ей очень. Да и живем мы сейчас с нею еле-еле. Продуктов у нас в запасе никаких нет. Голодаем. Дом наш в городе разбит бомбой, прямым попаданием. Немцы сильно бомбили город перед вступлением в него: особенно досталось центру и району порта. Жить там просто стало невозможно, и жители поуходили кто куда. Кто ушел на квартиру на окраины города, а большинство вообще расселились по окрестным поселкам и вот здесь, в станице. Кто как сумел, так и устроился. Все наши вещи пропали под бомбой. В чем одеты — вот это и все. Правда, мы ходили к своему разбитому дому еще до того, как немцы объявили там запретную

зону. Копались в развалинах нашей квартиры: собрали кое-что из посуды и разное по мелочи. А все остальное пропало.

Мы с мамой знали, что ты ушел в партизаны. Думали, что ты сейчас где-то в горах, в лесу, а может, даже ваш отряд ушел еще дальше, на Кавказ. Мама много плакала, беспокоилась за тебя. И вдруг вот приходит Арсен и говорит, что ты сидишь у румын в Анапской, в жандармерии! Ты не обижайся, что мы тебе не принесли ничего хорошего поесть! Нам нечего нести, ничего у нас нет. Мама просила передать тебе, что завтра она придет сюда просить, чтобы тебя отпустили.

— Гай! Пошел ла сарай! — снова прервал наш разговор и погнал меня от забора подошедший румын-часовой.

— Обожди, Борис, — крикнул я, — сейчас вынесу корзину с посудой!

Я вынес корзину из сарая, но румын не разрешил мне вновь идти к забору. Он просмотрел, что там внутри, и понес сам, но, подойдя к забору, не отдал ее Борису, а, сильно размахнувшись, швырнул далеко на улицу. В корзине явно все побилось. [346]

«Скотина! — выругался я про себя, — ну зачем это было делать? Вроде бы доброе дело сделал для меня, разрешил выйти из сарая и разговаривать с братом, а вот под конец взял и напакостил!»

Я с нетерпением ждал завтрашнего дня, результата разговора мамы с Инкулеску. Я не думал, что он меня вот так просто, по просьбе мамы, отпустит, но все же какая-то надежда была на это. А вдруг...

Часов в десять утра следующего дня меня повели в кабинет к Инкулеску. Там была обычная обстановка, только вот плетка не в руках Инкулеску, а лежит у него на столе. Сам же он вышел из-за стола, стоит и разговаривает посреди комнаты с моей мамой. Увидя меня, она чуть-чуть, слабо улыбнулась, непроизвольно сделала движение ко мне. Инкулеску резким взмахом руки остановил ее и также быстро повернулся ко мне.

— Ты в армии служил? — громко, почти криком, спросил он меня.

— Нет, не служил!

— Твоя мама принесла очень хороший документ, и я хочу отпустить тебя домой! — сказал Инкулеску и показал на какую-то истрепанную, ветхую, пожелтевшую бумажку, которую мама аккуратно уже складывала и прятала в карман своего платья. — Но ты должен признаться, что служил в армии! Альзо! Ты в армии служил?

— Нет, не служил! — повторил я, не пони мая его глупого вопроса. Он же должен по мне видеть, что я совсем не призывного возраста! И притом я же действительно не служил в армии, так что, говоря ему «нет», я не врал.

— Оч-чень хорошо! — начинал раздражаться Инкулеску.

Я не заметил, как плетка, лежащая до этого на столе, уже оказалась у него в руках.

— Ты служил в армии! Служил! Служил! — кричал Инкулеску и после каждого слова хлестал меня плеткой. — Ты не говоришь правду!

— Не бейте его! — крикнула мама и, бросившись к Инкулеску, схватилась рукой за плеть. [347]

— Дракулы! Ты... и твой сын!.. — взвизгнул он и, без усилия вырвав плеть из слабых рук мамы, начал хлестать ее.

Мама упала. Я бросился к ней, загораживая ее от ударов истерика, зверя. Он, продолжая бить нас обоих, кричал, приказывал стоящим у двери солдатам. Те подбежали, схватили с пола маму и поволокли из кабинета в коридор.

Вдруг, как всегда было до этого на допросах, припадок-истерика с Инкулеску как рукой сняло, и он, сразу обмякнув, сделался сдержанно-спокойным. Подошел ко мне вплотную и, глядя в глаза, сказал:

— Я хотел отпустить тебя, но ты все врешь и не признаешься! Завтра мои солдаты будут ехать в Крымскую, они отвезут тебя туда, в концлагерь! Ларэ ведэри! — попрощался он, и солдат повел меня в сарай-тюрьму.

Проходя коридором и затем по двору, я смотрел вокруг во все глаза, но маму нигде не видел. Ни до конца дня, ни на следующее утро ко мне никто не пришел — ни мама, ни Борис.

«Куда там ей еще идти! — думал я о маме. — Больная, избитая! Да и Борису незачем сюда идти, кушать-то мне принести нечего!»

Солдат-румын, расстегнув пару пуговиц на груди, засунул за борт шинели папку с документами, вскинул свою длинную винтовку на ремень за плечо и толкнул меня в спину.

— Гай!.. Пошли! — добавил по-русски.

И мы пошли: я впереди, он сзади меня, в двух-трех шагах. Безлюдная дорога влилась в улицу Крымскую, у начала которой был румынский пост, а метров через 100–150 далее взад-вперед прохаживался немецкий часовой. Мой конвоир перебросился по ходу несколькими фразами с румынами на посту (те чему-то рассмеялись в конце), мимо фрица же он прошел молча, но подобострастно отсалютовал, поприветствовав немца своей винтовкой. Тот, так же молча, лениво и небрежно отдал рукой честь.

В городе было оживленно, и чем дальше мы шли к центру, тем все больше и больше было на его улицах людей. На углу Крымской и Красноармейской улиц находилось большое [348] каменное, с высоким

фронтоном здание городской мельницы. Сейчас она работала: у стен и широко открытых дверей на улицу стояло несколько немецких армейских автомашин. Одни уже загружены мешками с мукой, другие ждут своей очереди. Городские власти не эвакуировали по какой-то причине муку, не позволили и местному населению разобрать ее по домам: в результате мука попала к немцам. У мельницы много снующих туда-сюда, работающих здесь людей. Среди них припыленные мукой немецкие солдаты в своих зеленых мундирах, покрикивающие на работающих.

На противоположном углу перекрестка на высокой конусообразной бетонной будке-цоколе все так же стоит высоченный, многометровый лоцманский створовый знак, вот уже много лет служащий ориентиром для захода судов в Анапскую бухту. На удивление, несмотря на жесточайшие бомбежки города, он сохранился, уцелел. Рядом с ним я вижу какое-то непонятное большое сооружение — чужое на привычном, знакомом фоне улицы. Подойдя ближе, я понял, что это громадный высокий крест: большой христианский крест с прямой и косою перекладинами, с двумя отфугованными досками, прибитыми сверху в виде крыши-козырька. Кромки досок зубчиками; в центре креста, почти в половину его высоты, укреплена вырезанная из дерева же фигура распятого Иисуса Христа. Крест сооружен на массивной деревянной тумбе, раскрашен яркой краской и украшен гирляндой привядших уже живых цветов...

Позже я узнал, что румыны установили этот крест как памятник в честь своей победы: Гитлер, как верховный главнокомандующий, объявил благодарность маршалу Антонеску за взятие крепости Анапа доблестными румынскими войсками. Обласканные фюрером румыны на радостях устроили торжество в честь взятия города, соорудили вот этот самый крест и совершили богослужение у него, с пением солдатами молитв. На перекрестке улиц, у креста, по этому случаю был построен румынский полк, армейским священником совершено богослужение. Крест освятили [349] водой, затем был произведен салют из винтовок и торжественный марш полка по улице Крымской. «Взятие крепости Анапа!» Да город Анапа еще в 1856 году перестал быть крепостью! Да к тому же и никаких боев за город не было: город был оставлен нашими войсками за несколько дней до подхода противника, и румыны, а за ними и немцы, вступили в город без единого выстрела!

\* \* \*

Шагая через город, я видел, как торопятся куда-то люди, толпясь у расклеенных по заборам и стенам домов приказов немецкой комендатуры, распоряжений русской полиции и бургомистра. Солдат-румын снял свою винтовку с ремня из-за спины и теперь держал наперевес перед собою, изредка тыча стволом мне в спину, подгоняя. Мы шли посредине дороги. Люди с тротуаров внимательно смотрели на меня, некоторые даже останавливались. Может быть, из любопытства, а может быть, хотели убедиться — не родственника или знакомого это ведут. Во всяком случае, меня их внимание приободрило: я выпрямился, поднял голову. Не знаю, может быть, читающий эти строки осудит меня, но во мне появилась какое-то маленькое чувство превосходства над смотревшими: «Смотрите! Я, мальчишка, честно сражался за свою Родину! Сражался и попал в лапы врага, а вы сидите по домам и пальцем не шевельнете, чтобы чем-то насолить ему, ускорить нашу победу!»

Если посмотреть со стороны, то вид у меня был, конечно же, не геройский, а скорее жалкий, но меня переполняла гордость...

Мы подошли к Краснодарской улице. На углу, на тротуаре, у стены полуразрушенного бомбой дома-конторы колхоза имени Кирова я увидел сидящую на миниатюрной скамеечке старушку, которая продает семечки. Я знаю эту бабушку, торговку семечками. До войны она жила недалеко от нашего дома по улице Кирова, и все звали ее «Мишелиха». Она тоже знает меня и сейчас, увидев, медленно, с трудом поднимается со скамеечки, внимательно смотрит и, мелко крестя, громко говорит мне вслед: [350]

— Храни тебя бог, детка!

Румын-конвоир на это никак не реагирует, за исключением того, что в очередной раз тыкает меня винтовкой в спину, подгоняя.

Улица от перекрестка поворачивала вправо и шла прямо к крепостным воротам. Здесь располагалась площадь с огромной цветочной клумбой в центре и многочисленными аллеями, расходящимися в разные стороны от нее. Аллеи были обсажены деревьями и стриженным кустарником. Напротив клумбы возвышалось четырехэтажное здание горисполкома, скорее похожее на «макаронную фабрику» или «трикотажный цех» захудалой артели, чем на Дом Советов. Задолго до революции на этом месте стояла высокая красивая казачья церковь, но в 1932 году она была закрыта, и в спешном порядке в ней разместили дом для беспризорных детей. Не прошло и года, как детдом отсюда убрали, переведя его на улицу Серебряную. Внутри церкви опять что-то переделали, и теперь в ней открыли уже общеобразовательную школу — начальную, с классами с 1-го по 4-й. Но и школа почему-то в церкви не



прижилась, и через два года она ушла на улицу Краснодарскую, а церковь снесли. Я был ребенком, но хорошо запомнил, как кричали и рыдали верующие люди, когда с куполов один за другим начали падать кресты.

В 1938 году первый в нашем районе колхоз-миллионер им. Кирова закупил весь камень, оставшийся от церкви. Из него на этом же месте, где и стояла до этого церковь, колхоз стал строить для себя клуб. К началу войны он и был почти построен, — остались какие-то мелкие внутренние недоделки. Массивный, приземистый, некрасивый, он тяжелой громадой распластался по площади. Внешне он скорее был похож на этакий капитальный амбар для хранения зерна. Так и получилось в дальнейшем. Как клуб он не проработал ни одного дня, а с началом войны сюда стали свозить и засыпать пшеницу. Местами покореженный взрывами бомб, подожженный кем-то, закопченный дымом сгоревшего в его нутре хранившегося там зерна, он сиротливо выглядел на пустынной теперь площади. [351]

А вот и наш городской рынок! Несмотря на уже полуденное время, там много людей. У входа на рынок, мимо которого меня сейчас ведут через мощенную булыжником улицу Протанова, на углу — столовая, к которой пять месяцев назад был прикреплен наш молодежный взвод истребительного батальона. Окна столовой выбиты, входные двери искромсаны осколками бомб. Тяжелая черепичная крыша провалилась, прогнулась внутрь дома. На тротуаре стоят небольшой группой ребята-подростки. Среди них я вижу своих товарищей, знакомых по школе братьев Черноморченко — Женьку и Володьку. Они стоят, о чем-то толкуют, дымят табаком. А вот у самой дороги остановился, заметив меня, и пристально, в упор смотрит Лагутя — мой товарищ еще по детсаду, по школе, по улице. Он молчит и даже не здоровается, хотя я прохожу не более как в трех-четыре шагах от него. Интересно, что он сейчас думает, глядя на меня и моего конвоира?

Мы подошли к крепостным воротам, — это все, что осталось от когда-то мощной, неприступной крепости, построенной в далеком прошлом: самой крепости уже давно нет. По Крепостной улице, впритык к воротам, тянется проволочное ограждение: не забор, а настоящее, выполненное по всем правилам военной фортификации из колючей проволоки. Как я узнал после, ограждение построили в первые же дни оккупации немецкие саперы, отделив прилегающую к морю часть города и его центр. Длинной ломаной линией ограждение проходило по нешироким в этой части города улицам. Начинаясь у стен винзавода, оно тянулось по улице Папанина, обтекая Кладбищинскую площадь и само городское кладбище. Затем, у маяка, ограждение сворачивало под прямым углом и шло по улице Протанова до

улицы Черноморской. А отсюда, еще дважды изломавшись поворотами, — по улице Крепостной, прямо к Крепостным воротам.

Приказом коменданта эта зона была объявлена запретной для местного населения. Жители, проживавшие здесь, были изгнаны, и вход сюда для горожан был воспрещен под страхом расстрела, о чем предупреждалось в объявлениях на щитах, прибитых там и сям к столбам заграждения. Войти [352] или въехать сюда можно было только через три прохода, прикрывавшихся откидными рогатками, также изготовленными из колючей проволоки. У каждого прохода были немецкие посты, а вся запретная зона круглосуточно контролировалась патрулями. Единственной стороной, не огражденной колючей проволокой, остался городской парк, тянувшийся вдоль берега моря и пляжа. Вся территория парка, как и сам пляж, были густо нашпигованы противопехотными минами. Минировали их наши саперы, еще в мае месяце, когда бои в Крыму завершились и создалась угроза высадки немецкого морского десанта в Анапе. И жители города, и немцы знали об этих минах, тем более что по периметру минного поля еще нашими саперами были вбиты колышки с предупреждающими надписями на фанерках: «Мины». Именно поэтому на этой границе запретной зоны надобности в проволочном заграждении не было.

Мой конвоир-румын опять раболепно и даже как-то с опаской поприветствовал немцев-часовых у прохода в проволочном заграждении, что-то сказал им, и те, ответив на приветствие, слегка откинули рогатку в сторону, пропуская нас в зону. Дальше мы пошли по улице Кубанской. Считая себя здесь в полной безопасности и не опасаясь теперь того, что я сбегу от него, конвоир убрал винтовку на ремень за спину, повеселел и, шагая бодрее, даже стал насвистывать какую-то мелодию.

Идя по центральным улицам города, я был потрясен увиденным. Полная безлюдность, а отсюда и тишина. Побитые воронками от бомб мостовые, разрушенные и полуразрушенные дома, на некоторых — копоть и след пожара; хаотическое переплетение оборванных, скрученных в спираль телеграфных и электрических проводов со срубленными осколками или просто обломанными взрывами бомб ветвями деревьев. Густо покрывшая все пыль, стекла разбитых витрин магазинов, усеявшие тротуары... трупный запах. Все это вместе воспринималось с болью в сердце, с жалостью к любимому городу. Что с тобой стало, милая Анапа?

Мы идем мимо санатория «Красная Звезда». За добротным забором, каменным внизу с широкими чугунными решетками, [353] вставленными в него сверху, за буйно разросшимися кустами сирени во дворе — тянувшийся

на целый квартал, массивный, в два этажа, имеющий П-образную форму дом санатория. Построенный почти одновременно с крепостью, сложенный из одного с ней камня, в далекие времена он был казармой русских солдат гарнизона крепости. Толстые, метровой толщины стены дома выдержали все: и время, и огонь Гражданской, и бомбежки уже этой войны. Сколько я помню себя, в этом громадном здании размещался санаторий «Красная Звезда». Когда началась война, санаторий закрылся, но с началом боев в Крыму здесь развернул свою работу военный госпиталь. Морским транспортом сюда поступали для лечения раненые матросы и солдаты.

Сейчас, проходя мимо по улице, я видел через решетки забора во дворе немецких солдат: сидящих, отдыхающих на скамейках вдоль чистых, прибранных дорожек двора. Стояла хорошая погода, и многие окна дома были раскрыты. Было ясно, что здесь располагалась воинская часть немецкого гарнизона. Справа по улице — разбитые еще зимой 1941 года целой серией бомб с фашистских «Юнкерсов-88» гаражи и контора предприятия «Союзавтотранс». Тут же, почти рядом — наполовину сгоревший Дом пионеров им. Косарева. До войны я посещал его много раз: здесь была городская детская библиотека, большой зал со сценой, на которой демонстрировалась художественная самодеятельность школ, а в праздничные дни проводились торжественные собрания. В других многочисленных комнатах работали различные кружки: фотокружок, авиамодельный кружок, танцевальный, кружок юннатов и много других. Так как Дом пионеров был назван именем Косарева, то в вестибюле висел большой портрет серьезно, исподлобья глядевшего на входящих революционера-ленинца с орденом Красного Знамени на груди. Но в 1939 году было объявлено, что Косарев — враг народа, его портрет сняли, и с тех пор Дом пионеров перестал называться его именем. Теперь здесь все сгорело, и на меня несет запахом гари — каким-то застоявшимся, старым запахом пожарища... [354]

За Домом пионеров конвоир свел меня с дороги на тротуар — во всю ширину улицы здесь огромная воронка от бомбы. Взрывом разворотило слева хлебный магазин, и рядом рухнула стена дома до самого Греческого переуллка, в котором была сапожная мастерская имени Челюскинцев. Зал мастерской обнажен на улицу, в нем хаосом навалена разбитая, раздавленная, поломанная вдребезги мебель — верстаки, скамейки сапожников; разбросаны сапожные колодки.

Мы идем, ступая по хрустящим под ногами стеклами окон «Бродтреста». Рамы, стекла — все под ногами! Окон нет, есть только оконные проемы. Сквозь них внутри здания видны стоящие целехонькие, но

присыпанные обвалившимися с потолка кусками штукатурки станки и разное оборудование для производства газированной воды в бутылках. До войны здесь работал цех по изготовлению и розливу в бутылки сладкой газированной воды — лимонада, морса. Особенно ценилась и пользовалась большим спросом у местного населения приготовляемая здесь газ-вода «Крем-сода». Резкая, пахучая, шипучая, обильно насыщенная углекислотой, она прекрасно утоляла жажду в знойные дни продолжительного анапского лета. Официальное название цеха было «Бродтрест», — и почему он так назывался, я не знаю и сейчас.

Переходим Греческий переулок, идем мимо гостиницы «Джигинка», закусочной «Американка», рыбацкого магазина, конторы «Заготзерно», столовой-ресторана и, наконец, выходим на улицу Ленинскую. По ней конвоир проводит меня возле небольшого двухэтажного дома милиции, уголовного розыска, и мы сворачиваем на улицу Калинина. Здесь мы опять идем по мостовой, так как у ОСОАВИАХИМа тротуар широко залит каким-то остро пахнущим мазутом, вылившимся из лежащих тут же двух разбитых металлических бочек.

— Куда ведет меня румын? — стараюсь угадать я на ходу. Мы идем в сторону Высокого берега: до него осталось не так уж много. Вот мы прошли санаторий им. Крупской, где совсем недавно, каких-то пять-шесть месяцев назад, располагался наш истребительный батальон. Теперь все чаще и чаще [355] стали встречаться немецкие солдаты. Прошел мимо парный патруль: внимательно, не останавливая, осмотрел нас и, не проверяя, кто мы такие, пошел своей дорогой. Проскочил, обгоняя, высоченный худой рыжий фриц с папкой под мышкой; громко цокая подковами копыт по булыжникам улицы, прошли тяжеловесы кони-битюги, без заметного усилия тянувшие немецкие подводы-короба. А вот строем навстречу нам идет не менее взвода фрицев. Без пилоток, кто в мундире с расстегнутым воротом, а кто просто в сером армейском свитере с закатанными рукавами. В руках у всех котелки. Идут они вольно, громко говоря, жестикулируя, — все веселые, смеются, что-то рассказывая. Мы подходим к Таманской улице, — у перекрестка стоят два автофургона и легковой «Опель». Все три машины камуфлированы желто-зелено-коричневыми разводами краски. Рядом с легковушкой калитка в каменном заборе, там часовой — солдат с автоматом, немец. Сюда меня и привел конвоир-румын. Поприветствовав часового, румын вытащил из-за борта шинели папку, извлек из нее какую-то бумажку и показал немцу. Тот громко свистнул в висевший у него на груди свисток, и из ближайшей двери дома во дворе вышел унтер-офицер (как я понял, начальник караула). Он

подошел, прочитал предъявленную румыном бумагу и жестом разрешил нам войти во двор. Часовой пропустил нас. Это было гестапо.

Две невысокие гранитные ступеньки ведут на широкую открытую веранду. Она не имеет крыши, и солнечные лучи свободно падают на красивую мозаику из мелких цветных плиток ее пола. Везде идеальная чистота. Меня вводят в большую прихожую, из которой открывается несколько дверей. Ту, что прямо, предупредительно открывает (словно я какая-то важная персона) молодой, идеально начищенный, будто для строевого смотра, эсэовец. Удар ногой полицая, идущего за спиной, мне в зад — и я через дверь влетаю и распластываюсь на полу какого-то кабинета. Таков, по-видимому, установленный здесь порядок, ритуал встречи новоприбывшего.

— Ауфштэйн! — приказывают мне из-за массивного [356] стола, в тумбу которого я чуть не врезался в падении головой.

Встаю, осматриваюсь. За столом стоит крупный фриц с невозмутимым, каменным лицом и пристально, глазами удава, рассматривает меня. Позади, у дверей, полицай. Он вытянулся в струнку, подобострастно, преданно смотрит на немца. Две-три секунды немой сцены — и гестаповец, считая, что достаточно рассмотрел новопоступившего, садится, открывает лежащую перед ним на столе столь же толстую и массивную, как стол и он сам, книгу: журнал регистрации доставленных. Фамилия, имя и отчество, год рождения, место жительства, состав семьи — вот все вопросы, на которые я ответил и которые были внесены в нее.

— Вэк! Раус! — рявкнул фашист. Полицай схватил меня за шиворот, умело, рывком развернул и бросил в закрытую дверь на выход. Не успею я выставить вперед ладони — открыл бы дверь лбом. Еще один удар под зад — и я уже на веранде.

— Налево! — командует полицай, больно толкая меня в спину стволом автомата, и ведет в глубь двора. Там длинный, приземистый дом (вроде как складское помещение) с множеством дверей на фасаде. Здесь оказались камеры узников гестапо. Камера как камера! Примерно 3 на 4 метра, пол бетонный, окон нет: только дверь, через которую меня и ввели.

...Я один. Сумрак, почти совсем темно. Свет доходит со двора только через фрамугу сверху двери и через щели в ее побитых филенках. В камере пусто: не на чем сидеть, лежать. Я изрядно устал, выдохшись и физически и психически. Как всегда, как во все прошедшие дни, остро сказывается голод. Меня бьет внутренняя дрожь, унять которую не могу, в ногах слабость. Я чувствую, что вот-вот упаду, и ложусь под стенку, на холодный пол,

свертываясь калачиком. То слева, то справа хлопают двери в соседних камерах. Возня, топот ног, злобные выкрики, мат полицаев. Кого-то уводят, приводят, волокут, приносят... В общем, гестапо работает! Обычный рабочий день этой страшной организации. [357]

Ночь проходит ужасно! У меня жар, в голове полыхает огнем. В висках стучит, больно смотреть, открыть глаза. Может, я простыл на холодном цементном полу? Хожу, бессмысленно считая шаги, ложусь, снова хожу. Хоть бы скорей утро! «А что утром?» — сам себя спрашиваю я и не нахожу ответа. Ноги уже окончательно не держат, я сажусь под стенку, впадаю в забытие... и прихожу в себя от неимоверного грохота. Пол, стены камеры, вся тюрьма вот-вот рухнет! Наши! Наши самолеты налетели и бомбят город! Рев, завывание самолетов, выходящих из пике, вой падающих бомб, бешеная стрельба зениток! Пламя взрывов, выстрелов орудий, свет трассеров, САБов — все сливается воедино. Отблески огня через фрамугу и щели в дверях прыгают, полыхают сполохами по стенам, потолку, полу камеры. Я сижу под стенкой, обхватив ноги руками, упершись подбородком в колени. Пол подо мною ходит ходуном. Наши бомбят! Молодцы! Дают фрицам прикурить!

Хотя... собственно, чему радоваться? Сыпят бомбы-то по городу, — своих больше побьют, чем немцев! Может, сейчас летчик бросил бомбу на дом моих родных? Зачем эта бомбежка? Кому она нужна? Сюда, в гестапо, могут попасть, и я погибну, — ну и пусть, но и моя мама где-то сейчас под бомбами! Мне-то все равно... Страху никакого, апатия. Я опять проваливаюсь куда-то в забытие...

С рассветом я почувствовал себя чуточку лучше, только вот слабость стала еще больше: наверное, от голода. Загремел засов, открылась дверь, и вошел полицаи с ведром воды и кружкой в руках.

— Хочешь воду? Пей!

Я с трудом поднимаюсь, пошатываясь иду к нему, черпаю воду и с жадностью пью. Одну кружку, вторую... Перевел дух. Попытался выпить еще, но не смог, отдал кружку полицая, утерся рукавом рубахи.

— Все? Напился? — спросил он и, не получив ответа, вышел, не закрыв на засов дверь.

«Что это все значит, почему он не закрыл дверь?» — поражаюсь я. Раздумывать долго не пришлось. Вновь послышались [358] шаги, дверь приоткрылась, полицаи, не заходя в камеру, глянул на меня, присел и положил на пол хлеб. Почти полбуханки хлеба! Затем, уже выпрямившись,

он пошарил в карманах, извлек оттуда два крупных яблока и положил их рядом с хлебом. Потом дверь закрылась, — и на этот раз засов был задвинут.

Я не мог съесть сразу столько хлеба, даже с яблоками, и оставшийся кусок приберег «на потом». А морда у полицая что-то знакомая! Где я его видел? Ну конечно! Фамилию его я не знал, но он из нашей школы, учился в 10-м классе вместе со многими моими друзьями, поэтому он и узнал меня! Как это его угораздило стать полицаем? Что его заставило пойти на это?

На самом деле заключенных в гестапо не кормили совсем: немцы считали, что в этом нет никакой необходимости. Кормить — значит тратить продукты попусту. Налаженный аппарат по уничтожению людей работал у гестаповцев четко, точно. В камерах люди не засиживались: три-четыре дня — и расстрел, поэтому выдавать пищу не было никакого смысла. Да и смогли бы кто что-либо есть, если при первом же допросе выбивались зубы, отбивались внутренности? В перерывах же между пытками-допросами людям было не до еды.

Послышалась громкая, приказная немецкая речь, возгласы полицаяев. Загремели запоры, захлопали двери камер. Вот и ко мне пришли... Два немца и два полицая.

— Встать! — орет один из полицаяев, подскакивает и замахивается ногой для удара, — но не бьет. Так, попугал для порядку.

Я встаю с пола. Гестаповец в звании штурмфюрера молчит, внимательно и даже с любопытством рассматривая меня. Второй — рядовой с папкой в руках, раскрывает ее, отыскивает где-то там, в общем списке мою фамилию и, с трудом выговаривая, страшно коверкая, произносит ее, вопрошающе глядя на меня.

— Ви хайсэн зи? — спрашивает меня первый.

Я называю себя. [359]

— О, рихтиг, гут! — спокойно говорит второй, утвердительно кивает головой, делает пометку в папке и, хлопнув, сует ее себе под мышку.

— До-сви-дани! До... встреча! — улыбается, шутит немец, довольный тем, что может кое-что сказать по-русски.

Оба полицая сдержанно, подхалимски хихикают, прямо-таки с обожанием глядя на немца. Будь у них сейчас собачьи хвосты, они бы быстро-быстро ими виляли!

Все вышли из камеры, стукнул запор, и немцы пошли в следующую. Это была обычная утренняя проверка наличия заключенных. Дежурный офицер, солдат-писарь, ну, а полицаяи — эти для черной работы: открыть, закрыть камеру, сунуть кулаком кому-нибудь в зубы.

«Надо доесть оставшийся хлеб, мало ли что будет днем!» — подумал я, — и часов в девять за мной пришли.

Меня привели на веранду, на ней сейчас круглый стол, вокруг него сидят офицеры-гестаповцы, развалясь в глубоких белых плетеных креслах. Они курят пахучие сигареты, на лицах благодущие. Их четверо: с любопытством, неприязнью и заметной брезгливостью они смотрят на меня.

Я стою, уставившись глазами на стол. На нем пара бутылок, фужеры, пачки сигарет, блестящие зажигалки, блокноты, еще что-то.

— Вилли, во бист ду? Ком цу мир! — недовольно, с капризной ноткой в голосе громко произносит сидящий за столом оберштурмфюрер.

Из дверей прихожей, где я уже вчера бывал, быстрой походкой вышел и направился к нам свежеумытый, выбритый и надушенный одеколоном белесый немец без головного убора. В отличие от сидящих, он не в черной гестаповской форме, а в обычной армейской — зеленой. Как оказалось, это переводчик. По-русски он говорил безукоризненно.

— Кто ты есть? — первый вопрос начавшегося допроса.

Я начал врать. Сказал, что я житель Анапы, но еще весной, после школы, уехал на каникулы к тете в станицу Красноармейскую. Там все лето я у нее и жил, а сейчас вот пешком шел домой. В станице Анапской меня задержали румыны, несколько дней я был у них, а вчера меня привели сюда.  
[360]

— Как, какой дорогой ты шел? — спрашивают меня, и я называю все станицы, через которые действительно шел.

— Как ты оказался в станице Анапской? Почему ты не пошел через мост реки Анапки в город?

Немцы знали, что на мосту меня должны были задержать часовые, так как у меня не было пропуска. И если я пошел через Анапскую — значит, явно старался пройти в город скрытно. Это уже было подозрительным!

— Я считал, что через Анапскую дорога короче и можно быстрее прийти в город!

— А почему ты так спешил?

— Время было уже позднее, и я боялся, что не успею дойти домой до комендантского часа!

Офицеры разом загалдели. Старший — оберштурмфюрер — что-то быстро, раздраженно сказал переводчику. Тот кивнул головой и молниеносно влепил мне хук с левой в скулу. Я, не ожидавший удара, падаю поясницей на ограду веранды, делаю сальто назад и лечу через нее в куст сирени. Придя в себя, я слышу счет словно рефери на ринге:... зибен, ахт, нойн! Аут!



— Колоссаль, Вилли! Нокаут! — хохочут офицеры.

Переводчик доволен, польщен похвалой, улыбается.

— Ком гер! Иди сюда! — приказывает он мне.

Я выкарабкался из куста, оправил одежду и вновь иду на веранду. В голове шум, меня пошатывает. «Хорошо, что зубы были стиснуты в момент удара, иначе посыпались бы!» — думаю я на ходу.

— Альзо! — Обер что-то сказал переводчику, тот быстро метнулся в дом, и через минуту вышел с развернутой военно-топографической картой в руках. Сдвинув в сторону предметы на столе, он разложил там карту.

— Покажи, как ты шел из Гостагаевской в Анапскую станицу?

Я склонился над картой, быстро сориентировался на ней. Вижу: там, где я шел по плавням в Анапскую, на карте топографическими знаками показаны плавни. Карта правильная. Мне ничего не остается делать, как врать до конца. Была не была! [361]

— Вот здесь я шел! — показываю ногтем свой путь через плавни.

— Но здесь нет дороги! Там болото, вода! — говорит переводчик. — Как ты мог идти?

Все подозрительно смотрят на меня.

— Нет дороги, — соглашаюсь я с ними. — Но есть узкая, маленькая тропинка!

Мне ничего не оставалось делать, как настаивать на своем. Немцы качают головами, недоверчиво смотрят на меня. Один что-то быстро говорит переводчику.

— А ты что, знаешь немецкий язык? Где ты научился читать немецкие карты?

Поймали, заразы, меня! Надо было сразу сказать, что в картах я не разбираюсь!

— Язык я не знаю, но читать по-немецки умею! У нас в школе с 5-го класса учат немецкий язык!

По мордам вижу, что немцы удивлены, — я же удивлен ими. Как они не могут знать, что у нас в школах учат немецкий язык?

— Ты говоришь, что ты местный житель? — продолжает переводчик.

— Да!

— А кто у тебя сейчас дома? Где твой дом, адрес?

— Мама, брат-инвалид. Живут в Алексеевке.

Больше меня ни о чем не спрашивали. Немцы посоветовались, послали опять куда-то переводчика, и тот вернулся с полицаем.

В моем присутствии ему был дан приказ: отвести меня домой, то есть по тому адресу, где, по моему заявлению, живут мои родные, и удостовериться, что я действительно местный житель. Затем — в городскую управу к голове города, пусть он выдаст мне справку на право жительства. После этого — в полицию, там меня регистрируют, и я должен буду ходить туда через день на отметку.

— Яволь! — по-немецки, по-установному, щелкнув каблуками, принял приказ к исполнению полицай.

— Ком! — опять же по-немецки скомандовал он мне и повел на выход со двора. К посту, контролирующему вход и [362] выход из запретной зоны города, мы шагаем молча: я впереди, полицай сзади.

— Тебе повезло, — говорит он, — выйти из гестапо на волю живым — это, знаешь!..

Он не договорил и покачал головой из стороны в сторону. Испытывая брезгливость к немецкому служаке, я промолчал.

Идя вдоль проволочного ограждения запретной зоны, мы прошли через Черноморскую улицу, мимо Сельхозтехникума, мимо моей школы и подошли к зданию райисполкома. Оказывается, сейчас здесь городская управа, что видно на вывеске у подъезда. Это большой, красивый, двухэтажный дом дореволюционной постройки из полированного темного кирпича. Он занимает весь угол улиц Крепостной и Ленинской. На втором этаже вдоль дома два балкона с выпуклыми, чугунного литья узорчатыми ограждениями, с них свисают огромные полотнища фашистских флагов — ярко-красные, с черными свастиками, вписанными в белые круги в центре. У подъезда люди, в вестибюле здания их еще больше, а в длинном коридоре со множеством дверей в кабинеты — совсем много. Городской голова расположился в комнате в конце коридора, куда меня и привел полицай. В этом кабинете почти до самой оккупации восседал мой сотоварищ по партизанскому отряду председатель райисполкома Матвей Рындин.

Полицай, игнорируя очередь, подводит к двери, и в момент, когда он собирается открыть ее ногой, на пороге появляется сам голова.

Сидящие в очереди почтительно встают и говорят все разом, обращаясь к нему, протягивая какие-то бумаги, прося чего-то...

«Да это же Захаров! Учитель Захаров!» — изумленно смотрю я на голову. Я ошарашен... наш учитель — и вдруг он городской голова! Невероятно! Как же он это мог?

— Господа! — Захаров обращается ко всем сразу просителям. — Граждане! Сегодня неприемный день! Я не могу вас принять! Я крайне занят, меня ждет господин комендант города! Приходите все завтра! [363]

— Я из гестапо! — перебивает его «мой» полицей. — Шеф приказал выдать вот этому пацану справку на право жительства в городе. Оформляйте без задержки!

— Не могу! Не могу я этого сделать. И только потому, что не имею бланков таких удостоверений! — Голова приложил ладони обеих рук к своей груди, чуть согнувшись, вроде как бы оправдывался перед полицаем. — Типография не выполняет мои заявки! То у них что-то там не ладится с печатающим станком, то бумаги нет! У меня голова идет кругом! — возмущается Захаров. — Столько работы, столько дел!

— Ну и что теперь? — спрашивает полицей. — Он же не может жить в городе без справки!

— Пусть подойдет через неделю! Я думаю, на днях бланки все же отпечатают! Пусть потерпит! — Захаров сорвался с места и, не обращая внимания ни на кого больше, стремительно, словно убегая от просителей, ринулся по коридору на выход.

Полицай торопит меня, мы быстро проходим город и вступаем в Алексеевку. Тут безлюдно, и лишь пройдя несколько дворов, у проема в камышовом заборе мы видим, наконец, живого человека. На завалинке хаты сидит, курит сигарку мужик. Он инвалид — у него нет правой руки. Рукав выцветшей, старой рубахи пуст по самую ключицу. Хотя лицо заросло давно не бритой щетиной, он не выглядит старым — лет на 40, не более.

— Добрый день! — первым обращается он к нам. — Кого ищете?

— Здравствуйте! — здороваюсь и я с ним.

Полицай не ответил на приветствие и сразу же, в лоб задал вопрос:

— Где здесь живут... — Он назвал мою фамилию.

Мужик секунду думает, соображает, смотрит как-то с недоумением:

— Ни! Таких у нас в Алексеевке нэма!

— Как нет? — быстро перебиваю я его. — Мама моя здесь сейчас живет, во-о-он там, под Анапской, в третьем доме от дороги! С нею мой брат-инвалид, он горбатый! [364]

— А-а, горбатый сапожник! Знаю, знаю и його, и маты! Воны у Резниковых проживают! Да, тамочки, у дорози, в дном порядке з Дашкой Романовой! — Мужик аж рад, что узнал, о ком его спрашивают, и он этим самым может помочь в чем-то.

— Точно там живут? — строго переспрашивает его полицай.

— Кажу точно! — Мужик обидчиво смотрит на полицейя. — Хвамылию я йих нэ знаю, а проживают там воны — это точно! Ходимты, я вас проведу, туточки недалэчко!

— Не надо! — обрывает его полицейя. Он пристально смотрит, смотрит на меня, что-то соображая, и затем неожиданно говорит:

— Вот что, иди-ка ты, пацан, к своей матери!

Произнес он это таким тоном и с такой интонацией в голосе, словно матюкнулся! Поправив перехлестывающий шею ремень автомата, полицейя резко повернулся и быстро зашагал назад, в город. Через десяток шагов он обернулся и через плечо бросил мне:

— Завтра, с утра, сам придешь в полицию — зарегистрируешься!

Я растерянно смотрел ему вслед.

Теперь я, торопясь, иду по поселку один. Я свободен! Я дома! Сейчас увижу маму! Я почти бегу, во мне все поет, радостно кричит внутри!

Вот и нужный мне дом, — где же вход? Вот что-то вроде открытой верандочки, — здесь кто-то лежит! Женщина, на спине... руки раскинуты в стороны... нет! Не просто лежит отдыхает, а упала... Так не ложатся отдыхать, да и не место здесь для отдыха... Да это же моя мама! Меня словно кто стукнул в спину, в голову.

— Мама!

Я бросаюсь к ней. Лицо белое, без единой кровиночки, глаза широко открыты, смотрят вверх, в потолок, и ничего не видят! Я упал на колени, ползаю возле нее, пытаюсь приподнять, подтащить и прислонить к стене. Мне это не удается, у меня нет сил, я сам истощен до предела. [365]

— Мама! Мама, ты жива? — В растерянности я опять пытаюсь приподнять ее с холодного, мазанного глиной, земляного пола веранды, но все так же безуспешно. Вдруг она слегка дернулась, шумно вздохнула, с лица стала уходить бледность. Заморгала, осмысленно посмотрела на меня, из глаз ее покатались слезы:

— Коля, сыночек! Ты пришел? Это ты, Коля?

Плача, она быстро-быстро гладит, общупывает меня.

Вот я и дома. Мама лежит, я сижу рядом, держу руками у себя на коленях ее руку. Мне так приятно, и я вижу, что и ей хорошо. Бориса дома нет — ушел куда-то. Мы говорим и не можем наговориться. Вон сколько событий произошло! Я рассказываю маме все свои злоключения, о добрых, хороших, и о грубых, злых людях, встретившихся мне в прошедшие дни. Мама очень возмущается поведением матери Славки Еременко, да и его собственным.

— А может, все это и к добру, сыночек! — говорит она ласково. — Вот, видишь, ты дома, со мной, а останься ты у них, в Красноармейской, всякое могло случиться! Сейчас такое время, не дай бог!

Рассказывает она и о своих мытарствах. Мама сильно болеет. У нее старый, еще довоенный ревматизм в ногах, язва желудка, что-то из женских болезней. А тут еще и полученная контузия от взрыва попавшей в наш дом авиабомбы. Маму часто тошнит, временами она теряет сознание. Когда я пришел домой и увидел ее лежащей — это и был очередной приступ. Пригласить врача, проконсультироваться, посоветоваться — немыслимо! Какие сейчас врачи, — их нет, как нет и лекарств, таблеток, порошков. Мама больше лежит, чем ходит. Приступы боли часто так сильны, что она не может сдержаться, громко стонет... Стонет и плачет. Плачет от горя, от своей беспомощности и, наверное, от обиды за свою тяжкую долю.

По счастливой случайности мама и Борис были вне дома и остались живы, когда в наш дом попала фашистская авиабомба. Собрав из-под развалин кое-что уцелевшее из вещей, они стали искать себе пристанище вне города. Так поступили уже все, кто лишился жилья, и просто люди, не хотевшие [366] глупо погибнуть под бомбами, которыми немцы днем и ночью с безумной неистовостью забрасывали город в последние дни перед вступлением в него. Каким-то образом маме удалось остановиться жить вот в этой самой комнатушке, где я сейчас сидел и говорил с ней. Как она сошлась с хозяйкой и та пустила ее в дом, — не знаю. Как будто мама что-то заплатила, отдала что-то из вещей...

Наша комната не просто небольшая, а миниатюрная — не более 4 квадратных метров. По всем признакам здесь никогда никто не жил — она использовалась хозяевами как кладовка. В стене, напротив двери, одноединственное «окно». Поскольку электросвета в Алексеевке в то время не было, хозяева пробили в стене небольшое отверстие и вмазали туда стекло без какой-либо рамы. Вот и окно! Через него чуть брызжет тусклый осенний свет, что позволяет нам троим не наткаться друг на друга. У окна табуретка — это наш стол. Под стенкой на полу ворох барахла, — это моя с Борисом постель. А у противоположной стены на собранном рядом с домом, в степи, бурьяне перекасти-поле, покрытом старой попоной, спит ночью мама. Вот такое наше жилище!

Мы голодаем. Денег у мамы никаких нет: ни советских, ни немецких марок. Вещей, которые можно было бы менять на продукты, тоже нет — все уже променяно. Осталось только то, что надето на нас. Есть маленький запас продуктов, который каждый день неумолимо тает. Под столом-табуреткой

мешок, в нем ведра два кукурузы в зернах, и там же, в завязанном узелком старом мамином платке, немножечко семечек подсолнуха. Вот это и все. Вечером мама наливает в кастрюльку воды, сыплет туда из мешка шесть ложек кукурузы: из расчета по две ложки на каждого из нас. Всю ночь кукуруза замачивается в воде, а утром мы ставим кастрюльку на огонь и варим ее. Потом жарим семечки, по стакану на каждого. Потом мама разливает в кружки и чашки горячую воду, в которой варилась кукуруза, и ложкой кидает туда же сами зерна: это и еда, и чай заодно! Таков наш завтрак-обед. Постоянное чувство голода мы убиваем семечками, — но и их не вдоволь! [367]

Когда маме удастся раздобыть где-то кочанов кукурузы, мы вдвоем рушим их, собираем зерна в тряпочку и идем к соседям Романовым проситься смолоть их на крупу и муку. У них есть мельница-камень: это два камня, вытесанных из ракушечника в виде толстых, тяжелых дисков. В центре нижнего камня вбит металлический штырь-ось, верхний надет на эту ось сквозным отверстием, тоже располагающимся в центре. Снаружи, почти у самого края верхнего камня, укреплена деревянная ручка. Взявшись за эту ручку, можно вращать верхний камень на оси нижнего. Для лучшего эффекта работы мельницы, на соприкасающихся поверхностях обоих камней сделаны зубилом радиальные насечки, а насыпать зерно (кукурузу или пшеницу) надо в конусообразное отверстие верхнего камня. При его вращении зерно просыпается вниз и перетирается между камнями. Мама стелет на земляном полу в доме Романовых свой чистый ситцевый головной платок. На него мы вкатываем, устанавливаем камни-мельницу. Затем садимся друг напротив друга на пол, сыплем кукурузу и, взявшись вдвоем за ручку камня (одному вращать тяжело), начинаем молоть. Верхний камень слегка подпрыгивает на зернах и трет их на крупу и муку. Крутить тяжело. Меня хватает на эту работу не более как на две-три минуты, затем я от слабости чуть не сваливаюсь на пол, бросая ручку. Мама понимает мое состояние, и молча крутит камень сама, свободной рукой вытирая катящиеся из глаз слезы. Ей тоже очень тяжело молоть, она тоже очень слаба. После очередной всыпанной в камень горсти кукурузы она останавливается перевести дух...

Надо сказать, что нам было хуже других, — в целом жители Алексеевки бедствовали меньше нас. Мы тоже могли бы жить лучше, но... Борис имел хорошую, очень ценную в то время профессию: он был отличным сапожником, умел не только ремонтировать, но и шить новую обувь. У Бориса был полный набор сапожного инструмента, да и заказов было хоть отбавляй. Купить новую обувь в войну, само собой разумеется, было негде.

Та же, что на ногах у людей, в носке, разваливается, а чинить ее было теперь нигде, так что профессия сапожника была на необычайной высоте. Но работать [368] он сначала не хотел, а начав, за работу брался лишь изредка, не каждый день. Но и на том, как говорится, спасибо!

Иногда ночью морем подходили наши военные корабли. С далекого рейда они бесцельно стреляли, бросали, сыпали снаряды по городу. Глупо! Разрушались дома, погибали люди. Спрашивается: какой идиот отдавал приказ кораблям идти и расстреливать город? Или считали так, что если город оккупирован, то, значит, там теперь все враги? Немцам эти обстрелы были, как говорится, «до лампочки». Их небольшой гарнизон в районе порта и Высокого берега всегда был в надежном укрытии. Обстрелы с кораблей были скоротечными, по 20–30 минут. Румынские батареи, установленные по берегу в районе Джемете, Бимлюка, а также немецкие у самой кромки Высокого берега и у Курзала открывали плотный ответный огонь по кораблям, и те поспешно убирались восвояси. Похоже действовала и наша авиация: самолеты прилетали тоже в основном ночью и бросали бомбы по городу. Мне приходилось наблюдать, как со стороны моря или Су-Псехских гор вынырнет вдруг наш красноезвездный истребитель, несется как угорелый на малой высоте над городом и поливает улицы, дома пулями, снарядами из всех имеющихся у него стволов...

Однажды в декабре, в ясный, теплый, солнечный воскресный день, около 11 часов, когда базар был заполнен людьми, из-за Лысой горы на средней высоте неожиданно выплыла тройка наших бомбардировщиков. Я стоял с братом у аптеки и отлично все видел. Самолеты, пролетев вдоль Высокого берега, не нарушая строя, разом развернулись над портом и тут же высыпали весь комплект своих бомб. Бомбы с воем понеслись на город и с ужасным ревом и грохотом накрыли плотным ковром базарную площадь. Это было ужасное зрелище: много убитых, раненых, искалеченных людей, базар, толчок — кровавое месиво! Зачем все это? Я предположил, что они, по всей вероятности, просто промахнулись! Бросали бомбы на порт, где немецкие корабли, а попали в базар. С высоты 4–5 тысяч метров, на которой были самолеты, расстояние от порта до базара в 400 метров — это совсем [369] рядом. Задержка на какую-то долю секунды — и бомбы понеслись не на порт, а на людей на рынке. Но такое объяснение, конечно же, не утешение для семей погибших и искалеченных от бомб. Между прочим, среди тяжелораненых там оказалась и младшая дочь хозяев нашей квартиры — Лена Резникова. Она была ранена крупным осколком в правое плечо.

Красивая 16-летняя девушка лежала дома с туго забинтованным плечом и много плакала: и от боли, и оттого, что боялась остаться калекой.

\* \* \*

Уже неделя, как я дома. Завтра воскресенье, надо будет сходить в город, составлял я мысленно план на следующий день. Во-первых, необходимо раздобыть где-то порошков или таблеток от головной боли для мамы: мне невыносимо жалко смотреть, как она мучается. Во-вторых, надо вообще побродить осторожно по городу, присмотреться. Возможно, я встречу каких-нибудь своих друзей, товарищей, знакомых. Постараюсь узнать от кого-либо из них, действуют ли в городе подпольщики. Не сидеть же мне сиднем здесь, в Алексеевке, ничем не досаждая врагу? Рискованно, конечно, шататься по городу, но что поделаешь? Надо!

Утром я быстро собрался, застегнул на пуговицу карман на груди рубахи, в котором лежали деньги (несколько немецких марок, заработанных Борисом), вышел на шоссе и потопал в город, пристроившись к большой группе женщин с оклунками за спинами и кошелками в руках, идущих в город на базар. Шумной толпой мы миновали сначала румынский, а затем тут же и немецкий посты при входе в город. И те, и другие пропустили нас беспрепятственно, не проверяя документы.

Улицы полны людей, — особенно многолюдно на рынке и вокруг него. Государственные магазины, лавки не работают: ни промтоварные, ни продуктовые. Они давно уже кем-то разграблены. Где людям приобрести все необходимое? Только на открытом ежедневно толчке! И идут со всего района люди в город с мешками, узлами, сумками, а то и с повозками продать, купить, удачно выменять что-то из продуктов, [370] барахла, обуви. С раннего утра, с конца комендантского часа по всей площади рынка, толчка, скопище людей.

В толпе базара ходят, прислушиваются к разговорам, присматриваются к людям полицаи. Вокруг рынка и по ближайшим к нему улицам быстро, как грибы после дождя, там и сям появились, пооткрывались всевозможные частные лавочки, мастерские, закусовые, буфеты с выпивкой. Работают пекарня, парикмахерская, большая слесарная мастерская, чайная. А там, дальше, по Владимирской, по Краснодарской улицам еще много всяких мастерских. Делают зажигалки, ведра, тазы, совки, шьют чувяки, пуговицы, кепки, фуражки. На углу Астраханской и Крымской улиц стоит дом в два этажа, в нем Биржа труда. Весь день у подъезда толпятся люди. На стенах домов, заборах расклеены приказы коменданта города, распоряжения



городской управы, разные объявления. Среди них приказ головы города Захарова об обязательной регистрации всех трудоспособных на Бирже труда. Биржа в принудительном порядке по приказу коменданта города ежедневно направляет на работу в порт рабочих — жителей города. Порт используется немцами исключительно для военных целей, и работа там только погрузочно-разгрузочного характера. Рабочие выгружают из судов и барж боеприпасы, поступающие из Крыма, и грузят на автотранспорт для отправки на фронт в Новороссийск. Направляют людей и на аэродром, на мельницу, в рыбцех, на разные мелкие работы по обслуживанию немецкого гарнизона, в с трудом, со скрипом начинающие функционировать коммунальные службы городской управы.

На рынке в одиночку, парами стоят, шумно торгуются румынские солдаты. Они за немецкие марки предлагают дешевые сигареты, какие-то безделушки, самодельные, под серебро и золото кольца, мелкое барахлишко — реквизированное, а попросту нагло, по-хамски забранное у населения во время бесчисленных облав и обысков ночами. Немцев мало, почти нет: только изредка увидишь стоящего где-то в стороне солдата. Фрицы держатся с достоинством, не суетятся, не шумят, как румыны. Продают зажигалки, камешки-кремни к ним, пахучие, в красивой упаковке сигареты, [371] сахарин. Сахарин — это синтетический заменитель натурального сахара в виде миниатюрных белых таблеток. Достаточно бросить такую неправдоподобно маленькую таблетку в стакан, и чай в нем делается на удивление сладким.

В обращении немецкие марки и наши деньги; очень редко можно увидеть румынские леи. Стихийно, сам по себе установился курс валюты: одна немецкая марка стоит 10 советских рублей. При расчетах все (и немцы, и румыны, и наши люди) предпочитают получать только марки.

Только я подошел к рынку, как сразу увидел идущего по улице Женьку Гончарова. Я удивлен этой встрече: в недавнем прошлом он подло сбежал, бросив меня одного в горах.

— Ты... ты что? — Он с удивлением, с изумлением от неожиданности смотрит на меня — Ты... дома? Живой? — Глаза его беспокойно бегают по сторонам, он старается не встретиться со мною взглядом.

— Живой! Дома! — говорю я.

Обида за прошлый поступок Женьки как-то сразу улетучилась. Я не чувствовал никакой неприязни к нему и был даже рад этой встрече. Все же нас совсем недавно связывало общее дело.

— Ты куда тогда пропал? Куда ты делся? Ушел на Сухой Лиман и не вернулся! Что там у тебя случилось? — спрашиваю я без какого-либо упрека, просто из любопытства.

— Да, так уж получилось! — уклончиво ответил Женька, все так же избегая смотреть мне в глаза. — А ты... значит, дома! Что, сбежал из отряда?

— Да ты что?! — возмутился я. — Как это сбежал?! Я не из отряда сбежал, а вот несколько дней, как от немцев ушел! Из гестапо! Набрехал им там за себя, они, лопухи, и поверили! Отпустили. Да знали бы они, что я партизан, — хана мне была бы! Расстреляли с ходу бы! — Почему-то я почувствовал себя душевно выше Женьки, и меня начало распирать бахвальство. — Ну, а ты как попал домой, что сейчас делаешь?

Мои вопросы вроде бы и не доходят до Женькиных ушей. Он явно избегает отвечать на них и все еще с некоторым замешательством продолжает расспрашивать меня: [372]

— А ты где сейчас живешь, по какой улице?

— Да не в городе я живу, в Алексеевке! На квартире у добрых людей! Наш-то дом вот здесь, в запретной зоне, да и разбомблен он!

— Ну, пока! — заторопился Женька. — Я спешу, у меня дело есть!

— Даты что? Давай поговорим, мы же еще не поговорили!

— Нет, нет! Потом. Мы еще встретимся! — Женька заспешил.

— Женька, стой! — крикнул я ему уже в спину. — Скажи, как мне найти аптеку?

— Иди прямо, за пекарней, рядом с домом Володьки Короткова аптека, — он махнул рукой вдоль улицы Протанова.

«Странное какое-то у него поведение! — думал я, продолжая идти. — В глаза мне не смотрит, спешит, торопится. Получилось так, что он не ответил ни на один мой вопрос. А я чего, дурак, разоткровенничался? «Набрехал немцам... поверили и отпустили из гестапо... живу в Алексеевке...» Зря я все это выложил ему!»

Чувство тревоги защемило в груди. Оно не обмануло меня... Как впоследствии я случайно узнал, Женька Гончаров был в те дни агентом гестапо.

Вот и аптека! Я узнаю это по скромной, но выписанной красивыми буквами вывеске рядом с затейливым крыльцом небольшого домика, выходящим прямо на тротуар, выложенный желтым, потертым временем, кирпичом. Бывший врач городской поликлиники Бондаренко открыл здесь собственную, частную аптеку. Выбор медикаментов скуден, очень и очень ограничен, но тем не менее аптека работает. Посетители выкладывают и

марки, и рубли за сомнительные порошки и таблетки в нестандартной, кустарной упаковке. А куда денешься? Люди болеют... Где еще можно приобрести лекарство, если не здесь?

С некоторым усилием я открываю дверь и захожу в средних размеров светлую комнату. Тут все, чему и положено быть в аптеке. По лицевой стене шкафы, заставленные аптечной [373] посудой, банками, склянками... даже обычный, специфический, устоявшийся запах лекарств. Что-то вроде невысокого барьера, отделяющего шкафы у стены от остальной части комнаты. За ним в белом, чистом халате и с таким же белым чепчиком на голове сам аптекарь. И, напротив него... немец! Они стоят и пытаются говорить: в их диалоге больше жестов руками, пальцами, мимикой лица, чем слов, — и русских, и немецких. Немец спокоен, добродушен. Лицо аптекаря — само обаяние, светится улыбкой. Увидев меня, они замолкли, вопросительно смотрят.

Глядя на немца, на рукав мундира, по двум, загнутым углом серебристым шевронам и эмблеме выше них я определяю: оберфрейтор медицинской службы. Попросту — санитар.

— Добрый день! — здороваюсь я.

— Здравствуй! — отвечает аптекарь. — Вы хотите что-то приобрести у меня?

— Was willst du? — спросил и немец просто так, безо всякой любопытствующей интонации в голосе.

— Мне надо что-то от головной боли! — говорю я аптекарю. — Что у вас есть такое?

— О! Ты очень кстати подошел! У меня ничего пока нужного для тебя нет, а вот у него кое-что в сумке есть! — аптекарь показал на немца.

Немец смотрит на меня и опять спрашивает:

— Was willst du?

— Meine Mutter kranke. — Я выскребываю из своей головы, из памяти немецкие слова, заученные на уроках немецкого языка в школе, стараюсь сплести их в единый смысл, понятный для солдата — Sie Haben Kopfschmerzen? Geben sie mir... ein Paket Tablett... vor Kopfschmerzen! — с трудом закончил я длинную фразу.

Немец с интересом смотрит на меня, слегка улыбается, потешаясь, наверное, тем, как я подбираю немецкие слова.

— Sehr gut! Zwei Mark — und Tablette deine!

Я замялся, переводя в голове только что услышанное. Немец же понял, наверное, это как мое нежелание платить столь дорого и изрек тоном, не допускающим возражения: [374]

— Ich habe dir alles gesagt!

Я молча извлек из кармана деньги и положил две марки на прилавок.

Немец, довольный, усмехнулся, взял их, что-то пробормотал себе под нос, раскрыл сумку и положил передо мной таблетки в аккуратной упаковке.

Выйдя из аптеки, я, страшно довольный покупкой таблеток, быстро шагал по улице. Теперь маме будет легче, перестанет мучиться головной болью! Нормально будет спать ночью, а это уже много значит для ее здоровья!

На ходу я рассматривал коробочку с таблетками, — надпись на ней оказывается не немецкая. «Нагребли добра со всей Европы, фашисты проклятые! — думаю я, и тут же: — Да ты сам только что просил, входил в сделку с врагом!

А-а! Наплевать, — решаю я. — Я их, гадов, презираю, но, главное, маме теперь будет легче!»

Иду опять мимо рынка. Людей, людей сколько! А знакомых никого! Вдруг: «Коля! Коля, сынок!» — ко мне спешит, чуть ли не бежит какая-то невысокая женщина.

— Здравствуй, Коля! — запыхалась она от быстрой ходьбы. — Ты живой? Ты уже дома?

«Да это же тетя Рая, мама Лизы Фарафоновой, двоюродной сестры моего погибшего друга Коли Краба!» — узнаю я ее. Лиза очень привязалась ко мне в те дни, когда я был в истребительном батальоне, что для многих служило поводом для насмешек. «Коля погиб, теперь ты мой братишка! Я всегда буду рядом с тобою!» — говорила мне Лиза после смерти своего брата.

— Здравствуйте, тетя Рая! Да, я дома! А что с Лизой? Как она?

— Лизка совсем голову потеряла. Плачет, бежит то в полицию, то к немцам, тебя разыскивает! Ей кто-то сказал, что видел, как тебя румыны в город под конвоем вели. Вот она и носится как оглашенная, ищет! Я ее, дуру, ругаю, говорю, чтобы сидела, помалкивала и носа не показывала на улицу. Смотри, говорю, чтоб саму не посадили! Донесет кто, что дядя Дмитрий Алексеевич комиссар у партизан, не дай бог, заберут нас всех! А она и слушать не хочет! «Все равно найду, [375] — говорит, — Колю и вырву его у фашистов. Я им там все побью и переломаю, гадам!» Пойдем, Коля, к нам! Пусть Лизка увидит тебя и успокоится! А то сидит зареванная...

— Тетя Рая! Сейчас я зайти к вам не могу. Передайте привет Лизе, пусть не плачет, я обязательно приду. Наверное, завтра. Где вы сейчас живете? Все там же в своем доме?

— Нет, Коля, вся наша улица попала в запретную зону, и немцы выгнали нас из дома. Живем по улице Новороссийской, № 41. Зайти к нам обязательно, сынок, пусть успокоится Лизка!

— Завтра я буду у вас! — пообещал я.

Но на следующий день я к Фарафоновым не пошел. Во второй половине дня к нам зашел староста Алексеевки, и с ним полицаи. Они проверили документы мамы, Бориса, сверили нашу фамилию по списку жителей поселка в толстой книге.

— А это кто? — спросил староста у мамы, ткнув в мою сторону пальцем.

— Сыночек мой, Коля! — побледнела мама.

— Почему у него нет «желтенькой»? У тебя, у старшего сына есть, а у него нет!

— Не знаю, не знаю, почему не дали ему! — отвечает мама скороговоркой. — Нам принес полицаи, а на него не было. Наверное, она у вас где-то затерялась!

Староста подозрительно смотрит на нее, думает.

— У нас ничего не теряется, тетка! — Он звякнул щекоткой и вместе с полицаем вышел во двор.

— Слава богу, обошлось! — Мама трижды перекрестилась в угол.

Я выглянул. Староста пришел не специально к нам: он заходил ко всем, в каждый дом. Надо пояснить, что под «желтенькой» понимали удостоверение на право жительства. Такие удостоверения были отпечатаны типографским способом на русском языке. Бумажка была небольшая, в пол-листа ученической тетради, и цвет бумаги обычно не белый, а желтый. Вот потому люди так и говорили: «У меня есть «желтенькая». На ней стояла печать коменданта станицы Анапской (административно Алексеевку немцы отдали [376] в подчинение румыну, коменданту станицы Анапской). При облавах, любой проверке документов всего требовалось ее показать, и почти сразу после оккупации такие бумажки были розданы всем жителям старостой Алексеевки. Я не был в то время здесь, поэтому и не получил ее. А в эти прошедшие дни моего проживания дома я так и не сходил, не зарегистрировался в полиции, как это мне приказано было сделать гестаповцами. Не сходил и к городскому голове: мол, авось все обойдется,

пронесет! Нет, не пронесло, не обошлось... Все произошло уже на следующий день.

Утром следующего дня я пошел в поле под Анапскую станицу собрать топливо для печурки во дворе: курай, сухие будылки кукурузы, подсолнечника, просто пересохший бурьян. Увлечшись, я дошел почти до самой станицы, зато собрал столько, что едва хватило веревки увязать, — еле поднял на плечи и понес. Во дворе меня ждали два полицаи. Рядом с ними стоял Борис.

— Нам приказано отвести тебя в полицию!

— Зачем? Почему? — глупо спрашиваю я. Внутри, под сердцем, похолодело.

— Не знаем. Тебе все разъяснит начальник. Пошли!

— Мама! — кричу в открытую дверь нашей комнатухи. — За мной пришли! Уводят в полицию!

...Уже прошли немецкий пост на повороте и входили в город, когда нас догнал Борис:

— Мама послала узнать, куда тебя денут! Я пойду с тобой!

Как о какой вещи говорит обо мне, — я горько усмехнулся. Второй раз меня ведут под конвоем посреди шоссе по Крымской улице, но на этот раз не румыны, а полицаи. Молча и быстро мы проходим полгорода. Борис семенит, старается не отставать. Вот пекарня, улица Протанова. В шестом по счету доме от угла улицы Ленина — полиция, это прямо напротив двора моей школы. Кирпичный дом длинно тянется вдоль тротуара. У дверей стоит и скучает полицей-часовой. Повязка на рукаве, автомат на груди — все как положено.

Часовой смотрит на меня, соображает, затем громко кричит через открытую дверь в коридор: [377]

— Фоменко! На выход!

На его зов появляется еще один полицаи. Он также с повязкой на рукаве, но вместо автомата впереди на ремне в кобуре, сдвинутой по-немецки на живот, у него пистолет.

— Вот, привели еще одного жмурика к начальнику!

— Пусть ожидают. Начальнику господина Герста, сейчас придет. Раз вызвали, пусть ждут. Ты им не позволяй уходить! — распорядился он и ушел в дом.

Прямо у входа рядом с часовым была вкопанная в тротуар небольшая скамеечка-лавка в одну доску, и мы с Борисом присели на нее. Несмотря на то что время приближалось к полудню, улица была абсолютно безлюдна.

Здесь, рядом с запретной зоной, на этом квартале улицы никто не жил: дома были брошены.

Только я решил закурить и начал было уже свертывать сигарку, как вижу — из дверей полиции вдруг выходит (я не верю своим глазам!) Катя Соловьянова.

— Катя! Ты? — Я встаю со скамейки.

Она смотрит на меня ошарашенно, глаза ее все больше и больше округляются от изумления.

— Коля! И тебя поймали! — Катя бросается ко мне. Обняла, обхватила за шею, уткнула лицо в мое плечо, плачет. Пытается что-то сказать или спросить, но слезы не дают ей этого сделать.

— Катя! Ты почему здесь? — глупо спрашиваю я ее.

— Я не могу больше! Не могу! — сквозь рыдания вырывается у нее стон. — Что они еще от меня хотят? Что? Я же им уже все рассказала! Ничего я больше не знаю! Не знаю! Не знаю!

Она была на грани истерики.

— Катя, успокойся! Перестань плакать!

Подавляя слезы, Катя начала говорить более-менее связно.

— На регистрацию сюда, в полицию, я должна являться каждый день в 10 утра. Отмечаюсь.

— А как ты попала, как тебя... взяли эти...немцы?

В этот момент к нам быстро подошел какой-то мужчина. Оказалось, что это сам начальник полиции города, и сначала [378] я его не узнал — им оказался известный многим в городе грек Фаня Кипариди, ловелас, виртуоз-гитарист и певун, завсегдатай многочисленных летних танцплощадок домов отдыха и санаториев.

Подойдя к нам, он рявкнул на Катю:

— Соловьянова, ты еще здесь? Марш домой!

— До свидания, Коля! — тихо попрощалась Катя и, опустив голову, покорно пошла в сторону рынка.

Я не успел ничего рассказать ей о себе. Что стало с Катей потом — неизвестно. После войны будут говорить, что она была расстреляна в гестапо. Потом, в послевоенные годы, одну из улиц города (Бугурскую) назвали ее именем — улицей Кати Соловьяновой...

— Господин начальник! — обратился к Кипариди полицей-часовой. — Вот, привели! Ожидаем вас.

Начальник полиции посмотрел на меня:

— Ты Николай Овсянников?

— Да!

— А вы кто ему? — вежливо спросил он Бориса.

— Я брат Николая!

— Можете идти домой!

Видя, что Борис замешкался, не торопится уйти, он резко добавил мне: «Приказано вас задержать! Сейчас вас уведут, куда надо!»

Он вошел в дом, и тут же оттуда вышел полицейский с автоматом.

— Пошли! — не приказал, а как-то буднично сказал он и повел меня в запретную зону.

— Эй! Стойте! — вдруг крикнул кто-то сзади знакомым негромким, шипящим голосом. — Дайте поговорить с партизаном!

Я оглядываюсь — и опять сюрприз: спешит, догоняя нас, Анатолий Яринов: тот самый начальник радиостанции в городе, а потом радист в отряде Булавенко, о котором Гусева рассказала, что он, разбив рацию, перебежал к немцам!

Догнав нас, Яринов идет рядом. По тому, как он ведет себя, нагло, подчеркнуто развязно, обращается к полицейскому с повелительной ноткой в голосе, я определяю, что Яринов свой человек в полиции, и более того — даже какой-то [379] начальничек. Я не ошибся, так оно и было. Перебежав к немцам, выдав им все об отрядах, он заслужил их благосклонность. Немцы простили Яринову его членство в ВКП(б) и все прочие советские «грехи», сохранили ему жизнь. Он стал своим человеком не только в полиции — что там в полиции! — в абвере у гауптмана Герста, в гестапо, став агентом и кем-то вроде главного консультанта по ликвидации партизанского движения в районе. В общем, служил немцам он «от души».

— Ну, что, партизан, попался! Эх ты, Николай, Николай! Чего ты поперся в отряд? Начальство побежало в лес прятаться от справедливой кары, прихватили с собой жен, бладей. Пьют, жрут, милуются с бабьем, а вы, дураки, охраняете их там. Решили защищать их подлые души?

Яринов шел рядом, читая мне мораль.

— Почему ты не сбежал сам оттуда, а ждал, когда тебя убьют или выловят? Я вот одумался и вовремя сбежал! И, как видишь, живой! А тебя три-четыре дня подержат, выбьют из тебя всю дурь, отвезут на Глинище и расстреляют!

Через пролом в заборе школы мы вошли в ее двор. Возможно, Яринов еще долго выговаривал бы мне, но мы, перейдя спортплощадку и миновав школьный туалет, подошли к дому канцелярии: тогда он оставил нас и пошел



со двора на Крепостную улицу, а полицай подвел меня к входу в подвал. Там на опрокинутой парте сидел немец-часовой. Он встал.

— Это партизан! — Полицай показал немцу на меня. — Его надо в камеру. — Теперь он показывал рукой вниз, в проем входа в подвал.

— O, ja, ja! Partisanen — das ist gut! Yung Partisanen — das ist gut! — затараторил немец. — Roott, bitte, nott zu gier mein junge Freund! Wie geht es ihnen? Hier ist Heilstatte, Sanatorium!

Мы спустились по крутой лестнице вниз. Немец был деланно вежлив, словно портье в приличном отеле. После лестницы поворот направо в полутемный коридор. Справа и слева вдоль стен крепкие двери в камеры.

— Битте! — открывает немец одну из них. Я вошел... [380]

Нас в камере 19 человек. Она небольшая, примерно 3 на 4 метра. Сидеть, лежать на полу можно, ходить для разминки — нет. Единственное узкое окошко с решеткой, какое обычно и бывает в подвалах. Оно высоко от пола, и поэтому в него нельзя посмотреть. Подставить что-либо под ноги нечего. В углу камеры наскоро сбитый из досок узкий топчанчик. На нем, тесно прижавшись друг к другу, лежат и стонут командиры взводов нашего отряда Андрей Каруна и Алексей Дегтярев. Они больны, температурят. Помочь им нечем. Какие там лекарства, в камере нет даже воды попить!

Мы, все остальные, сидим на холодном цементном полу. Мы — это командир взвода разведки Шурка Кравченко, Виктор Головахин, Витя Коробов и еще трое партизан — их фамилии не знаю. Свободно ходит (один раз даже заглянул к нам в дверь) Ворона — Володька Воронков. Он предатель, работает на немцев. Станя (Только Станиславов) тоже разгуливает без конвоя. Соседние камеры не пусты, иногда через толстые стены оттуда слышны слабые крики. Кто в них сидит — мы не знаем. С нами, партизанами, сидит секретарь горкома комсомола Булатников: тот самый, который ровно год назад в своем кабинете, в горкоме, принимал меня в комсомол. В общем, все свои. Мне рассказали, что это тюрьма абвера — германской армейской разведки и контрразведки, штаб зондеркоманды СС 10-А. Команда выполняла карательные функции, и возглавлял ее гестаповец штурмбаннфюрер СС Кристман. Штаб — через улицу напротив. Скрывать, врать, отказываться от того, что ты партизан, — глупо и нет никакого смысла.

— Они знают все! — убеждали меня товарищи по камере, — Тебя знали, когда ты еще и не был здесь! Предатели сделали свое дело. У немцев полные списки всех партизан обоих отрядов: фамилии, имена и отчества,

домашние адреса, кто, где и кем работал, кем был в отряде и всякое другое — все известно! Будут на допросах бить, — к этому будь готов, без битья они не могут! Ворона у них прислужник, продался с потрохами, выслуживается, готов вылизывать задницы. [381]

— Если он войдет сюда к нам в камеру, я его вот этими руками удушю, разорву ему пасть! — говорит матрос Виктор Головахин, показывая свои сильные руки.

Все без исключения выглядели, мягко говоря, непривлекательно. Давно не мытые, не обстиранные, не бритые. На лицах следы побоев: синяки, кровоподтеки, распухшие носы, слипшиеся от крови волосы на голове. Кто топчется по камере, бережно поддерживая рукой согнутую в локте другую, побитую на допросе, кто кривится от боли, гладит ладошкой поясницу: «По почкам били, сволочи!»

Стукнул засов, открылась дверь. Глядя на нас, полицейский орет:

— Александр Кравченко, на выход!

Шурка что-то прошептал про себя, поднялся с пола, отряхнул пиджак и пошел из камеры.

— Куда его? — спрашиваю я сидящего рядом на полу Булатникова.

— А кто знает? Может, на допрос, может, на расстрел, может, в другую камеру, — равнодушно говорит он. — С ним все как-то странно. Переводят без конца из одной камеры в другую. То уберут от нас, то опять, на другой день, к нам!

— А как вы попали сюда?

Булатников молчит, смотрит отрешенно перед собой в пол.

«Кого-кого, а его немцы должны давно уже расстрелять, — думаю я о Булатникове. — Как-никак, секретарь горкома комсомола!»

— Что вам немцы на допросах говорят? Чего они хотят от вас? — допытываюсь я у него.

— Они требуют у меня списки комсомольцев. А я им отвечаю, что все комсомольские дела, в том числе и списки, перед их приходом сжег. «Вы точно так же поступили бы на моем месте!» — говорю я им.

— А вы давно уже здесь?

Булатников молчит, отворачивается от меня, не желая продолжать разговор. Вечером уводят из камеры и его.

На топчане стонут, трясутся в нездоровом ознобе Каруна [382] и Дегтярев. Они лежат тесно, обнявшись, словно боятся, что их вот-вот разлучат.

Ночь. Темно — хоть глаз выколи! Да и откуда быть здесь свету? Мы в бетонном мешке, под землей. Маленькое окошко не в счет. Хорошо хоть то, что воздух через него поступает к нам.

Все затихли. Я сжался в комок, лежу на боку, согнутая в локте правая рука под головой. Твердо, холодно, неудобно, но не привыкать! В последнее время я почти всегда так и спал. Стараюсь уснуть, заставляю себя это сделать — но ничего не получается, сна нет, в голову лезут мысли. Почему я здесь? Кто меня выдал?

Итак... После того, как меня отпустили из гестапо, я был дома десять дней. Никто меня в эти дни не трогал. Регистрироваться в полицию, как это было мне приказано гестаповцами, я не пошел. Значит, в полиции обо мне ничего не знали, и там никак не могла фигурировать моя фамилия. Возникает вопрос: откуда в полиции узнали обо мне? Может быть, гестаповцы навели справки в полицию и, узнав, что я не зарегистрирован и не являюсь на регистрацию, приказали задержать меня? Нет! Этого не может быть! Никакие справки обо мне они наверняка не наводили. Через их руки проходит столько людей, что им не до меня, а если бы им понадобилось, они просто забрали бы меня к себе. А тут меня задерживает полиция и передает не им, а абверу. Стало быть, полиция схватила меня не по указке гестапо! Но тогда появляется опять все тот же вопрос: откуда полиция знает мою фамилию и где я живу? В городе я встречался только с Женькой Гончаровым, и он знает, что я партизан. Может быть, он меня выдал? В разговоре со мной он вел себя как-то странно: избегал отвечать на мои вопросы, уклонялся от ответов...

Я прокручиваю все происшедшее в эти дни еще и еще раз и в конце концов останавливаюсь на одном: меня выдал Женька Гончаров! Кроме него, я ни с кем не встречался, никто меня из близких знакомых не видел и тем более не говорил со мной. Тогда как Женьке я выложил по глупости все: что наврал в гестапо, как жил у несуществующей тетки в [383] Красноармейской, что гестаповцы-лопухи поверили этому... Сказал, что живу в Алексеевке...

Только к рассвету сон сморил меня, но спал я недолго: часа полтора, не более. Чуть только забрезжил рассвет в окошке, все начали просыпаться. Воздух в камере вязкий, холодные стены взмокрили от дыхания и тепла наших тел. Партизаны, еще полусонные, лениво, хрипло, вполголоса перебрасывались ничего не значащими словами, оправлялись в парашу — обыкновенное оцинкованное ведро. Кто-то из наших постучал в дверь, почти сразу же загремел засов, и она открылась. На пороге полицей, забравший ведро. Надо сказать, что охраняли нас, стоя на посту и выполняя роль

надзирателей, то немцы, то полицаи. Почему так было, мы не знаем, да нас это и не интересовало. Что те, что другие — собаки.

Вернувшись, полицай принес нам воду. Вода в ведре, кружки нет: пей, как хочешь! И даже если и не хочется, надо пить в запас, иначе унесут ведро — и будешь весь день до вечера без воды. Мы по очереди становимся на колени на пол, наклоняемся сами, наклоняем ведро и пьем через край.

Так же как и в гестапо, как в полевой жандармерии станицы Анапской, где я побывал, здесь не кормили, не давали никакой еды. Но в Анапской хотя бы разрешали стоять у дверей и кричать, прося жителей принести что-нибудь поесть, — здесь же этого не было. Немцев совершенно не интересовало, едим мы что-то или нет. Если часовой позволял, то родные подавали со двора, через решетку нашего окошка, узелки, свертки с пищей. Если же охранник не разрешал передачу, то иногда люди ухитрялись быстро, незаметно сунуть еду в окошко и без его ведома. Пока был в камере Каруна, ему каждый день приносила еду его дочь Лида со своей дальней родственницей и подругой Валей Ставицкой. Но не у всех сидящих партизан были родственники дома, некоторые просто не знали, что их отец, брат или сын сидит здесь, и, наконец, были такие, которым нечего было нести: они сами голодали. Такое положение было и у моих. По этой причине, сколько я сидел в этой тюрьме, никто мне ни разу не [384] принес еду. Но все, что попадало через окошко в камеру, независимо от того, кому оно предназначалось, делилось на всех поровну. Таким образом, и мне что-то перепало: кусочек мамалыги, лепешка, картофелина, кочан вареной кукурузы.

Послышались громкие голоса немцев, в коридоре затопали, загремели запоры на дверях камер: началась обычная утренняя поверка заключенных. Сразу же после нее увели трех партизан, фамилии которых я не знал, только понял из разговоров, что все трое — работники винзавода.

Еще часа через два пришли за Дегтяревым и Каруной. Вошли два немца и полицай.

— Autstein! — скомандовали они лежащим на топчане. — Weg! Raus!

Дегтярев и Каруна медленно, с трудом стали подниматься. Они были настолько истощены, что фрицы не позволили себе пинать их ногами, давать зуботычины, — как это у них было принято, если они считали, что человек слишком медленно выполняет их приказ. Они только стояли и с пренебрежением, брезгливо смотрели на двух помятых, измученных болезнью партизан, от которых к тому же еще исходил тяжелый дух. Каруна, сам еле держась на слабых ногах, подхватил, поддерживал трясущегося от

слабости Дегтярева. «Прощайте, товарищи!» — и они медленно, волоча ноги, пошли из камеры.

Теперь нас трое, в камере стало свободно. Теперь и у нас есть возможность по очереди полежать на досках топчана.

Настал и мой черед идти на допрос. Конвоир ведет меня через дорогу, по Крепостной улице, к небольшому, аккуратному домику с палисадником — наискосок от нашей школы. Я знаю этот дом. В нем жила до оккупации моя учительница по литературе, а теперь здесь, в их доме, штаб абвера.

За домом, в глубине двора, сарай. У его распахнутой двери стоит деревянная колода, на ней громко стучит, отбивая молотком ведро, Станя: наверное, приклепывает оторвавшуюся дужку. Это он умеет делать: за год до войны, после школы, Станя был учеником, а потом и мастером в артели «Металлтруд» в цехе, где изготавливались ведра. Он так же, [385] как и Ворона, без какого-либо конвоя, свободно ходит, работает во дворе абвера! Ну, если так свободно здесь ведет себя Ворона, то это понятно. Мы все уже знаем, что он предатель. Но Станя? Боевой, смелый партизан, сын участника знаменитого Таманского похода в Гражданской войне, фотография которого висит на стенде в Музее города? Трудно поверить в то, что Станя предатель!

А вот и Ворона. Вышел из сарая, увидел меня с немцем, быстро идет, улыбаясь во весь рот, навстречу:

— Что, Коля, на первый допрос? Ну, всего хорошего тебе!

Тут же с развязной улыбкой, нагло, без боязни, он обращается к ведущему меня конвоиру:

— Пан, дай сигарету! Айн сигарету... ферштейн?

Немец понял. Толкает его кулаком в грудь, прочь с дороги, недовольно ворчит:

— Schwain, keiler! Du bist Dummkopf! Fort von hier...

Ворона и не обиделся. Не получив сигарету, он был умилен, просто рад уже тому, что пообщался с фрицем, что тот удостоил его чести говорить с ним...

За столом сидит сам штурмбаннфюрер СС Кристман. Сбоку, у другого, миниатюрного столика за пишущей машинкой совсем молодой юноша-лейтенант. Кроме них двоих, никого нет. На столе у гауптмана папки, бумаги, чернильный прибор.

Кристман сел. Потянулся к стопке стандартных листов лежащей с краю стола бумаги, взял ее, перелистал, вытащил один из них, подал мне:

— Читайте! Вслух читайте!

К моему ужасу, у меня в руках оказывается моя собственная «Партизанская присяга» с вписанной мною же фамилией, именем, отчеством и подписью! Вот они, те листки бумаги, разбросанные взрывом вокруг штабной палатки на базе отряда, которые я увидел, прибежав с поста. Значит, немцы тогда спокойно их собрали — и вот они, присяги партизан, стопочкой лежат в абвере, на столе у Кристмана.

«Я ... преисполненный высоким чувством ответственности за судьбу своей Родины, своего народа... вступаю добровольно [386] в партизанский отряд, чтобы не щадя своей жизни, крови... беспощадно уничтожить врага... Смерть немецким оккупантам!» — прочитал я вслух от начала до конца и посмотрел на Кристмана.

— Also! Die Bilanz ziehen! — слегка иронически улыбаясь, произнес он. — Это ваша присяга?

— Да! — подтвердил я.

— А теперь давайте немножко писать! — Он полистал одну из папок, лежащих на столе, вчитываясь в некоторые бумаги. — Ваша фамилия, имя?

Я назвал себя.

Последовала целая серия вопросов, касающихся моей биографии: дата рождения, месторождения, место работы.

— Я не работал, я учился в школе!

— Ах, не работал. Да, да... учился! — поддакивал он мне. — Сколько классов кончил?

— 8 классов!

— Кто ваши родители и где они сейчас?

— Отец — рыбак, за полгода до начала войны погиб в море. Мама работала уборщицей в прокуратуре города. Сейчас нигде не работает, дома с братом-инвалидом.

\* \* \*

Весь допрос, вопросы и ответы печатает на машинке, фиксирует в протоколе лейтенант. Машинка стучит, лейтенант поглядывает то на Кристмана, то на меня. Значит, и он знает русский язык, — определяю я.

— Сейчас мама живет на улице Нижегородской, № 112! — вру я Кристману. Понимаю, что это опасно для меня, что немцы могут проверить, и тогда мне несдобровать, — но я боюсь за маму! Пусть что будет, то и будет со мной, а ее я не выдам! Что задом по улице Нижегородской, 112, я понятия не имею — номер я назвал произвольно.

— Комсомолец?

— Да, комсомолец!

Врать не было никакого смысла. Как мне раньше сказал все тот же Ворона, немцы знали все обо мне, так же как и об остальных партизанах. Им не надо их было бить, подвергать пыткам, чтобы выведать нужные им сведения: предатели [387] все поднесли им на тарелочке с голубой каемочкой. А их, предателей, было более чем достаточно. Как я узнал, увиденные сегодня утром из камеры временно исполнявший обязанности командира отряда Алексей Дегтярев и мой командир взвода Андрей Каруна, оказывается, не были пойманы немцами, а сами, добровольно пришли из леса с повинной и сдались, выложив все. Но они просчитались, предательство им не помогло. Немцы не простили им партийность, занимаемые руководящие должности в довоенной работе, командирство в партизанском отряде. 1 ноября оба были и расстреляны в гестапо...

— Вы были в отряде Терещенко, ваш командир взвода Каруна Андрей?

— Да.

— Отряд располагался в Лобановой щели, в пяти километрах от берега моря. — Кристман спрашивал и прямо наслаждался тем, что все знает.

— Да, в Лобановой щели.

— Как вы оказались в Анапе? Почему ушли из отряда? Вы же поклялись присягой, что будете «не щадя своей жизни и крови беспощадно уничтожать врага»!

Что мне было ответить Кристману? Наврать ему, что сбежал из отряда, я не захотел: мне обидно было показать себя перед фашистом трусом и подлецом.

— Нет, я не сбежал из отряда. После боя и нескольких стычек с вашими солдатами отряд был рассеян по горам и лесу. Случайно я остался один. Бродить одному было бессмысленно, и я ушел в станицу Красноармейскую к своей тетке. Был там некоторое время, а потом решил идти в Анапу разыскивать свою маму. Здесь меня и задержала полиция. — Вот так, примерно, я изложил Кристману свой выход из леса и возвращение домой.

Он продолжал быть предельно вежливым, внимательно слушая мой ответ.

— Ну, а как быть теперь с клятвой «беспощадно уничтожать врага»?

Я пожал плечами, и пока он закуривал, стоял, ожидая своей дальнейшей участи. Минуту-две стояла полная тишина. [388] Лейтенант, откинувшись на спинку стула, отдыхал, внимательно рассматривая свои ухоженные ногти. Станя во дворе перестал стучать по ведру, у двери переминался с ноги на ногу и скрипел ремнями амуниции солдат-конвоир.

Кристман вдруг резко встал, слегка стукнув ладонью по столу.

— Genug! — погасил он окурок в пепельнице. — Fortführen!

Солдат шагнул ко мне, дернул стволом автомата меня за руку: «Los! Komm mit!»

Улыбаясь, я вхожу в свою камеру. На топчане лежит Виктор Головахин, а напротив, под стенкой, на полу, сидит какой-то мальчишка. Виктор встает, тараша на меня в удивлении глаза.

— Что ты меня так рассматриваешь? — спрашиваю я.

— Ты улыбаешься... тебя не били? Как это понять?

— Нет, повезло, обошлось! Кристман говорил со мной вежливо. Ему нечего было у меня выпытывать. Он и без меня все знает. А где Витка Коробов?

— Да сразу же после тебя и его увели. Пацана вот к нам подбросили. — Он кивком головы показал на мальчишку. Тот, сжавшись в комок, настороженно смотрел на нас.

— Ты кто? Тебя как зовут? — спрашиваю я его.

Мальчишка молчит, не отвечает. Он весь обтрепанный, лохматый, зареванный, года на два моложе меня, — лет 12, наверно, не больше.

— Ты чего молчишь, как фамилия твоя?

Виктор называет его и рассказывает, что парень не знает, за что его взяли немцы. Плачет, боится, чтобы фрицы не расстреляли!

— А они могут меня расстрелять, да? — Мальчишка вскочил на ноги, из его глаз потекли слезы. — А за что им меня расстреливать? Никакой я им не проводник-десантник! И никаких матросов я не знаю! — Он разревелся окончательно.

— Постой, постой! Чего ты паникуешь, расквасился? Никто тебя не будет расстреливать! Кому ты нужен? Ты сопляк [389] еще! — Виктор хоть и в грубой форме, но старался утешить его. — Подержат два-три дня тебя здесь фашисты и выпустят!

— Правда выпустят? — Пацан перестал плакать, смотрел на Виктора.

Я не хочу подробно о нем писать, скажу только, что был он с нами в камере два дня и за эти дни всем надоел своим нытьем, слезами. Виктор махнул на него рукой, перестал уговаривать, утешать. Было противно смотреть, как каждый раз, когда в камеру входили немцы или полицаи, парень бросался к ним, хватал за штаны, за мундир, ревел, униженно просил, кланчил: «Пан, пан, отпустите меня!»



На разговор с нами он не шел, и мы так и не поняли, где, за что и когда его взяли немцы. Размазня, да и только!

Потом, через многие годы после войны, этого пацана вдруг с чьей-то легкой руки начали возносить, как местного героя, приписывать ему какие-то не совершенные им подвиги. Его именем будут названы пионерские дружины в школах...

\* \* \*

Вечером, уже после поверки, вновь затопали в коридоре, открылась дверь, и к нам втокнули еще одного узника в грязной, старой стеганке, латаных штанах и рабочих ботинках без шнурков.

— Головахин! — приказал полицай Виктору. — Выходи!

Виктор вышел, дверь захлопнулась, бряцнул засов. Я внимательно смотрю на вновь прибывшего к нам: в грязном, невымытом лице, лохматой голове что-то знакомое... Одного глаза нет — пустая, глубокая глазница... Да это же Кизя!

— Кизя! — ору я. — Это ты?

Передо мной Вася Кизяков, сын начальника уголовного розыска города. Он старше меня на три года, и у него есть младший братишка, с которым я учился в одном классе.

— Что с тобой? Как тебя прихватили фрицы?

Кизя трясет мою руку, здоровается. Нельзя сказать, что мы были друзьями, — я больше знался с его братом, поскольку учился с ним в одном классе. Но в такой обстановке, [390] в которой мы были сейчас, встреча со знакомым, даже очень мало знакомым человеком — большая радость. Сразу находится что-то общее, сближает. Достаточно было того, что мы учились в одной школе, знали друг друга, жили в одном районе города.

— Долго рассказывать... — говорит он. — Взяли в армию. Бросили в бой под Харьков. Там был ранен. Как видишь, потерял глаз. Попал в плен к фашистам. Они нас, пленных, погрузили в товарняк и повезли в Германию. На самой нашей границе мне удалось бежать из вагона. И вот шел, пробирался все это время домой, в Анапу. Прошел всю Украину от и до, потом через Ростов, Краснодар... Много пришлось топтать... Прятался, спал, где придется, ел то, что подадут добрые люди. Но я тебе скажу, Коля, украинцы — очень плохой народ! И не только в западных областях! Не то что хлеба — воды кружку не выпросишь! Хохлы — плохие люди! Как только перешел в Ростовскую область, а потом и на Кубань — сразу легче стало!

Кизя, несмотря на то, что выглядел истощенным, уставшим, несмотря на ужасное ранение, обезобразившее его лицо, наконец, на то, что у самого дома он попал в лапы фашистов, был настроен оптимистично и не унывал.

Мне хотелось еще его порасспрашивать, но тут опять затопали в коридоре, загалдели полицаи, открылась дверь, и в камеру втолкнули Виктора Головахина. Он был злой, на скуле ссадина, на ней проступала кровь.

— Все равно я его, гада-предателя, удавлю! — ругался он.

— Кого удавишь, Виктор?

— Ворону-подлеца ухайдакую! Он не уйдет от меня!

— Что, Женька Ворона здесь, и он предатель? — спрашивает удивленно Кизя.

— Да нет! — говорю я. — Не Женька, а Володька Воронков, брат Женьки! Женька где-то в армии, а эта сволочь, Володька, проданся немцам!

На дворе уже полная темнота: соответственно и у нас в камере темно.  
[391]

— Ты что такой злой и побитый? Куда тебя так поздно таскали? — спрашиваю я Виктора.

После молчания он отвечает:

— Возили на машине меня, Станю и Ворону в Су-Псех. Мы показали, где спрятали оружие! Обратной дорогой я хотел пришить Ворону, но не получилось, фрицы не дали! Оттого и злой!

— А при чем здесь Су-Псех, почему там оказалось ваше оружие? И вообще, как ты попал сюда? Ты же боевой, смелый матрос, севастополец и... дался в лапы фашистам!

— А что тут такого? Все очень просто! Попался, как самый последний дурак... Я сам себе не могу этого простить!

— Обожди, Виктор! Давай я начну все по порядку, чтобы все ясно было. Вот слушай: мы вчетвером, тогда в Мокрой щели, ушли за водой. Вы все должны были нас ждать...

Я подробно рассказал, что с нами произошло, как мы не смогли взять воду, как вернулись, — а никого из отряда нет.

— То, что произошло в наше отсутствие, нам рассказал нашедший нас Батя, — продолжал я. — Ну, а потом? Куда вы делись? Мы шли по вашим следам, видели брошенные вами кое-какие вещи, патроны, подобрали наволочку с сахаром-песком, рюкзак с сухарями! Как вы могли бросить продукты? У вас же ничего не оставалось из еды!

— Как... как! — бурчал Виктор. — Паника! Бежали, как зайцы! Все потеряли голову. Но ты сам подумай, мы же были, можно сказать, совершенно небоеспособны. После вашего ухода нас осталось 27 человек. Раненые, семь-восемь женщин, больные... Боеспособных, считай, осталось человек девять! Что мы могли сделать против карателей? Дать им бой? Смешно! Вот и бежали... Вся надежда была только на то, что встретим, найдем своих командиров или партизан из какого другого отряда. Сахар бросил Ворона, ему было поручено нести его. А сухари потерял Витька Коробов.

— А мы все время шли за вами! — перебил я Виктора. — То потеряем следы, то опять увидим... Никак не удавалось вас нагнать... Ну, а потом, однажды, где-то в середине дня услышали такую бешеную стрельбу, взрывы гранат, что решили, что с вами все покончено! Пришли, посмотрели место [392] боя, и решили, что все погибли и нам некого больше догонять.

— Вы ошиблись! Мы и в тот раз оторвались от немцев, ушли. Перестрелка и вправду была — я тебе дам! До гранат дошло...

Я коротко пересказал Виктору все свои приключения вплоть до дня, когда попал сюда, в абвер.

— Да, досталось тебе! — выслушал он меня, не перебивая до конца. — Ну, а мы тогда, после того последнего боя, вечером разошлись, кто куда. Дегтярев и Каруна сказали, что пойдут в Новороссийск переходить фронт. А сами, гады, как я уже здесь узнал, пришли домой, переночевали и утром явились к немцам с повинной. Вот тебе и командиры, начальники! — Виктор зло, с презрением сплюнул. — Набить бы им следовало здесь морды, да они доходные совсем... После их ухода началась полная неразбериха. Одни предлагали потихоньку всем разбежаться по домам, другие еще что-то. Никто не хотел слушать и понимать, у каждого было свое мнение. Мы, Станя, Ворона, Витька Коробов и я, посидели, посоветовались и приняли такой план действия: первым делом надо привести себя в порядок, помыться, побриться, снять с себя рвань.

— Пойдем в Анапу, — сказал Станя. — Там у меня родственники. У них найдем харчи и все остальное, что нам надо. А потом и подумаем, как дальше поступить. Может, шлюпку раздобудем и ночью рванем морем на Кавказ, а если не это, то пойдем опять горами к фронту.

Его идею мы поддержали. Другого выхода для нас не было, — а у меня тем более: у меня ж никого ни в Анапе, ни еще где-то здесь нет. Кроме как каким-то образом пробираться к своим через фронт, мне ничего не оставалось делать. Я согласился с их планом, и мы пошли в Анапу.

Благополучно добрались до Су-Псеха, там и припрятали свое оружие. До города рукой подать! Дождались темноты и двинули виноградниками... Полчаса быстрой ходьбы — и вошли в город. Укрылись в небольшом сарайчике в брошенном жителями дворе, дожидаясь рассвета. А утром, посоветовавшись, послали Коробова пройти по городу, осмотреться в нем, найти родственников, своих или Стани, чтобы можно было укрыться [393] на время. Коробов ушел и долго не возвращался. Как потом выяснилось, он был сразу же схвачен опознавшими его полицаями (один из них знал, что Виктор был в истребительном батальоне и ушел в партизаны). В это же время во двор, где в сарае сидели остальные, вошел румынский солдат-мародер, собирая брошенное жителями барахло, и заглянул в сарай. Увидев там ребят, он испугался, отпрянул от дверей и заорал с испугу: «Партизаны!» У нас действительно был партизанский вид: заросшие, грязные, одежда изорванная, а я к тому же и в флотской форме. На крик солдата тут же из соседних домов повыскакивали румыны, оцепили сарай. Нас с ребятами повязали и увели в гестапо, а через день, после предварительного допроса, нас передали в немецкую армейскую разведку и контрразведку абвер.

— Вот так я и попался по собственной дурости! — корил себя Виктор. — Как я мог, как я мог потерять тогда всякую осторожность и влипнуть, как какой-то салага? Ну, а теперь, что же — хана мне, крышка! Расстреляют фрицы и не высморкаются! Они, гады, нас, матросов, боятся, не щадят. Мы им показали, туды их мать, как сражаются за Родину морячки: и под Одессой, и в Севастополе! Тебя, Николай, могут отпустить, пацан ты еще, а меня нет! Жизнь моя уже тю-тю, терять мне больше нечего. А на колени перед фрицами не стану, я не Ворона!

Да, таков был матрос Виктор Головахин. Мне он всегда нравился, и я еще в отряде старался подражать ему, быть с ним рядом. Вот и теперь, оказавшись в руках врага, Виктор показывал бесстрашие, презрение к нему. Когда в камеру входили немцы и всегда сопровождавшие их полицаи орали, приказывая всем встать, мы вставали, а Виктор — никогда. И, как следствие этого, каждый раз он лежал избитый на полу, пока не уйдут фрицы. Видно было, что и они в какой-то степени восхищались его стойкостью и мужеством. Кровоподтеки, синяки на лице Виктора не безобразили его. Широкие флотские брюки-клевш, полосатый, местами уже рваный «рябчик», всегда гордо поднятая в разговоре с врагами голова придавали ему нечто геройское. Лежа на узком топчане, мы долго говорили с ним. Виктор рассказывал о [394] боях в Севастополе, в Керчи, о своей службе на военном

аэродроме в Симферополе, на флоте. Говорил, что у него в Горловке остались родители и меньший братишка.

Утром 5 ноября увели Кизю, а потом в камеру вошли полицейши, молча взяли и унесли наш маленький, колченогий топчанчик.

— Сволочи! — ругался Виктор. — Посчитали за роскошь для нас сидеть на досках.

День Великого Октября, 7 ноября 1942 года, застал нас все в той же камере. Ночью мы почти не спали: на голом цементном полу лежать всю ночь было невозможно. Больше мы ходили из угла в угол, греясь. Устав ходить, сели, прижались друг к другу и так и сидели до рассвета. Попозже кто-то стукнул к нам в окошко, и мы увидели, как между прутьями просовываются два свертка: чья-то добрая душа принесла нам еду.

— Поздравляем с праздником, товарищи! — успели шепнуть нам.

На этот раз, по случаю праздника, и еда была праздничная. И вдобавок к ней бутылка с молодым, самодельным, сухим виноградным вином. Поев и выпив вино, мы захмелели и... запели во все горло! Вначале — «Священная война». Что нам подняло дух, не знаю: то ли выпитое вино, то ли сама песня, а наверное, и то и другое.

Вбежал в камеру полицейши:

— Прекратите! Я доложу господину Кристману!

Виктор, не переставая петь, швырнул в полицейшу пустую бутылку. Она, к сожалению, пролетела мимо, в открытую дверь, и разбилась в коридоре.

Полицейши скрылся, и, когда мы уже пели матросскую песню «Раскинулось море широко», в камеру ворвались фрицы. На этот раз нам досталось здорово! Били нас долго... Вот так мы отметили праздник — 25-ю годовщину Октября.

12 ноября меня и Виктора вывели из камеры. После нас она осталась пуста. Надолго ли? Где-то в лесу, в горах еще были наши товарищи-партизаны. Как долго они еще продержатся там? Не исключено, что завтра-послезавтра кто-то из них будет здесь. [395]

Во дворе абвера, у двери штаба, под присмотром немца стоит Шурка Кравченко. Увидев нас, он слегка улыбается:

— Здорово, братцы! Мы ждем вас!

И действительно, из штаба тут же выходит лейтенант-секретарь. В руках у него три тоненькие папки.

— Помаленьку пошли! — командует он по-русски, мы выходим на улицу и идем по Крепостной улице в сторону маяка. Немец-автоматчик и лейтенант позади нас о чем-то тихо беседуют на ходу.

Мы проходим знакомые мне с детства дворы моих друзей. Жителей никого, тишина. Улица, дворы пусты — запретная зона! Слева большая, длинная прогалина — площадь у рва Турецкого вала. Совсем недавно мы, здешние пацаны, гоняли здесь футбол. А вот на перекрестке улиц Серебряной и Крепостной, по которой мы идем сейчас, — массивный бетонный ДОТ. Пять месяцев назад, в июне, наш молодежный взвод истребительного батальона строил его по приказу начальника гарнизона. Город вроде бы не собирались сдавать немцам без боя, предусматривались уличные бои, — для них и строились ДОТы. Но, как оказалось, Анапа была отдана врагу без единого выстрела, и ДОТы так и остались необжитыми, необстрелянными. Неужели они пригодятся немцам, когда те будут отбивать атаки наших бойцов, освобождающих город?

Нас ведут в гестапо. Быстрая процедура проверки часовым у калитки — и мы уже во дворе. Здесь мне все уже знакомо. Много солдат, среди них полицаи. Просто стоящих, праздношатающихся нет, все куда-то и откуда-то идут, ведут кого-то. Слышатся выкрики команд, распоряжений. Где-то рядом глухо, словно под землей, работает движок, вырабатывая электроэнергию.

Подвели к веранде.

«Сейчас мне дадут! — с тоской думаю я. — Переводчик Вилли вспомнит мое вранье здесь, вот на этой веранде, месяц назад. Будет мне от него сейчас не один нокаут!»

Лейтенант направился через веранду в дом, — докладывать. Вышел он с офицером, тот просматривает наши «Дела» и что-то приказывает конвоиру. Конвоир толкает Шурку [396] автоматом, и того уводят куда-то в глубь двора, а меня и Виктора — в дом. Все делается быстро, четко, без суеты, без лишних слов.

Нас завели в большую комнату, из-за темных, тяжелых занавесей на окнах в ней было полумрак. В комнате — широкий, массивный стол. Столешница накрыта черным сукном, на ней аккуратно, ровно, строго по рядам разложено множество каких-то блестящих предметов, инструментов. По ранжиру и размеру лежат какие-то пилы, щипцы, кусачки, иглы, жгуты и всякое другое. Слева, поперек стола, во всю его ширину, лежит толстая у основания, сплетенная из отдельных ремешков плеть. За столом на стене висит красное полотнище фашистского флага. В центре его белый круг, и в нем распласталась черная свастика.

Стоя посреди зала, мы ничего хорошего для себя, конечно же, не ожидали. Да, собственно, и раздумывать нам не дали. Вошли несколько

гестаповцев, и один из них быстро подойдя к нам, с ходу спросил, обращаясь к Виктору:

— Ви немецки зольдат стреляйт?

Виктор с издевкой в голосе, подражая его акценту, ответил:

— Стреляйт! Много стреляйт!

Немец отскочил в сторону, нам в лицо из-за стола ударил мощный поток света какой-то фары. Слепленный на миг, я ухватился руками за Виктора и, еще ничего не видя, услышал у самого уха тот же вопрос уже мне:

— Ви стреляйт немецки зольдат?

— Стрелял! — крикнул я и увидел, что немец стоит рядом, передо мной. Резкий поворот ко мне спиной, — и он бьет каблуком кованого сапога по пальцам моих ног. Страшная боль пронзила меня — пальцы на ноге разможжены. Я не удержался и повалился, и падая, увлек за собой на пол Виктора. На нас посыпался град ударов. Сколько гестаповцев нас били и чем — я не знаю. Били ногами, чем-то твердым, упругим, молча, с придыхом. Свет уже не был ярким, сквозь кровь, залившую глаза, он казался уже тусклым, красным. Я потерял сознание. [397]

Долго ли продолжалось это — не знаю. Когда пришел в себя, было очень тихо. Я лежал на полу, поперек меня Виктор. Видимо, большую часть ударов он принял на себя. Больно было шевелиться. Собравшись, преодолевая боль во всем теле, я отер с глаз кровь и сделал попытку подняться. Зашевелился и Виктор, он тоже приходил в себя. Гестаповцев не было. У дверей стоял полицай.

— Вставайте! Приказано отвести вас в камеру, — сказал он голосом, который показался мне виноватым. Видно, и ему было не особенно приятно видеть учиненную нам экзекуцию. Мы поднялись и, поддерживая друг друга, медленно, все еще приходя в себя, вышли сначала на террасу, а затем во двор. Нас затолкали в камеру, где уже были трое: моложавая женщина, ее дочь (лет пятнадцати на вид) и их бабушка (она лежала на полу). Женщина почти все время плакала. Подходила дочь, садилась, прижималась к ней и тоже плакала. Нар и скамеек не было, поэтому все сидели и лежали прямо на полу. Некоторое время мы с ними не разговаривали, присматриваясь друг к другу. Как я убедился уже неоднократно, в таких ситуациях больше молчат, стараются избегать разговоров, боясь провокаций. Но затем, видно, подействовало обаяние Виктора, и через некоторое время мы несколько разговорились. Оказалось, это была семья партизана нашего отряда Петраша, бывшего до войны председателем колхоза им. Буденного в Анапском районе — его жена, дочь и мать. До прихода немцев они не успели никуда

выехать, и кто-то из предателей выдал их немцам. Жена Петраша много плакала, боясь за дочь, маму, себя, ничего не зная о судьбе мужа. Нам скрывать, что мы партизаны, не было никакого смысла — немцы о нас знали все, поэтому мы сразу же рассказали им, что были в одном отряде с Петрашем и что виделись с ним примерно два месяца назад.

В соседней камере, за дощатой перегородкой, сидел всего один человек — до войны он был моим соседом и жил через два дома от нашего. Это был безобидный, добрый, застенчивый старик, которого все уважали и звали просто: дедушка Израиль. С приходом немцев он сразу же был арестован и брошен в гестапо; причина этого была одна — [398] он еврей. Жена Петраша рассказала нам, что она через стенку слышит, как его каждый день зверски избивают, не дают ни воды, ни еды. В первую же ночь нашего пребывания здесь мы слышали его тяжелые стоны, бред, плач. К утру он затих — умер.

Утром к нам в камеру привели и посадили трех молодых мужчин лет по 28–30. Это были здоровые, крепкие ребята, работавшие на мельнице и обвиненные немцами в том, что они якобы снабжали продуктами партизан. Все трое были уверены, что немцы вот-вот разберутся и выпустят их отсюда, так как никаких партизан они и в глаза не видели и тем более продуктами их не снабжали. Но нам было видно, что этими разговорами они просто поддерживают, утешают самих себя, а в душе у каждого из них страх.

В середине дня всех троих одновременно увели на допрос. Прошло часа два, и их возвратили к нам в камеру. Это было что-то ужасное! Мы сами уже многое испытали на себе, но то, что увидели сейчас, заставило нас содрогнуться.

Вернули в камеру двоих из трех: открылась дверь, и через нее от толчка в спину ввалился и упал на пол один; второго, держа за порванную одежду, боясь выпачкаться кровью, внесли и бросили полицаи. Первый в сознании, он стонет, изо рта идет кровь. Мы бросились к нему, подтащили и прислонили к стене: он был весь мокрый и липкий от воды и крови, — видно, терял сознание во время допроса и пыток, и на него лили воду. Одежда в клочьях, по телу раны, из-под слипшихся волос течет кровь и заливает заплывшие глаза. Кости ребер, по-видимому, переломаны, так как при малейшем прикосновении к груди, к животу он стонет от боли.

Бабушка быстро стала рвать что-то белое и вместе с невесткой обтирать, промокать и перевязывать его; дочь, перепуганная увиденным, сидела в углу, закрыв лицо руками. Мы с Виктором, как могли, старались помочь им, но не успели хоть кое-как привести в порядок одного, как лежащий у стены на миг



пришел в сознание, приподнялся, но тут же закашлялся, ртом хлынула кровь, — он упал на спину, захрапел и скончался. [399]

В ярости от всего увиденного, Виктор вдруг бросился к двери, ударами ног вышиб нижние филенки, — бьет кулаками, кричит.

Прибежали полицаи, открыли дверь.

— А-а! Гады! Бей! — Виктор совершенно потерял контроль над собой. Ударом ноги в живот он отбросил одного полицаю, бросился на другого, повалил, вцепился в автомат, пытаюсь его сорвать. Но... удар по голове прикладом, и он свалился с перепуганного полицаю.

К моему удивлению, его не стали бить. Прибежали немцы и что-то приказали полицаям. Те подняли Виктора, занесли и бросили в камеру, где недавно умер дедушка Израиль. Потом вынесли труп умершего из нашей камеры. Принесли ведро с водой, тряпку, приказали нам смыть кровь с пола, забили фанерой разбитую Виктором дверь.

Еще через час пришли и увели нашего случайного товарища по камере: жестоко избитого, уже несколько пришедшего в себя, но еще не способного самостоятельно двигаться.

Я остался один с женщинами. Все мы были подавлены ужасом увиденного, так быстро произошедшего на наших глазах, в душе понимая и сознавая, что нечто подобное не минует и нас. Остаток дня и наступившую ночь мы в камере не разговаривали, каждый был занят своими мыслями. Изредка вздыхала и охала бабушка, тихо плакали мама с дочерью. Утром, после того как прошли по камерам немцы и полицаи, проверив наличие заключенных, вновь брякнул замок на дверях в камеру Виктора. Туда вошли немцы, и я услышал команду:

— Вставай! Вэк! Пошел! Скоро!

Топот ног, возня, — и Виктора вывели. Руки у него были скручены и связаны сзади. Проходя мимо нашей двери (Виктор не знал, что я наблюдаю в щель за происходящим), он стукнул ногой в дверь и крикнул:

— Прощай, Николай! Не забывай матроса Витьку!

Немцы загалдели, замахали кулаками.

Щель в двери позволяла мне далеко видеть вперед. Вот подходят машины, кого-то привезли, вот полицаи ведут людей [400] из камер на допросы, — и назад, избитых, еле волочащих ноги. Среди полицаев я вижу знакомых: Кирьякиди, Володьку Мартына. У входа в казарму беседуют предатель Яринов и начальник полиции Кипариди. Мимо двери полицаи проводят моего товарища по истребительному батальону и партизанскому отряду Витю Коробова. Его рубаха, руки в крови, лицо белое, как стена... Во

дворе, у ворот, автомашина с крытым кузовом. К ней и подвели Виктора Головахина. Пока открывали задний борт, к нему подошел Яринов и что-то со злобной усмешкой сказал. Плевок в рожу, удар ногой в живот — и вот уже Яринов, отлетев к ступенькам крыльца, корчится от боли, схватившись за живот. Полицаи бросаются на Виктора, мелькают кулаки, и, наконец, его бросают в кузов машины. Туда же прыгают немцы, двое полицаев, борт закрывают, и машина выезжает со двора.

Остаток дня, да временами и на следующий день, я не отходил от двери, наблюдая за всем происходящим во дворе. Возможно, увижу Виктора! Но не увидел. Можно было предполагать, что его увезли и расстреляли на Глинице у Су-Псехской горы, где гестаповцы расстреливали всех, но я надеялся хотя бы что-либо услышать о нем. Я чувствовал, что он не может так просто уйти из жизни. И мое чувство не обмануло меня...

Много лет спустя, в разговоре с мамой, вспоминая тяжелые военные годы, я повторил ей рассказ о Викторе, сожалея, что ничего не знаю о его судьбе. И вдруг от нее я услышал следующее.

На подступах к Анапе в сентябре 1943 года развернулись жестокие бои. Но в конце концов наши войска ворвались в город и быстро очистили его от гитлеровцев. В одном из полуразрушенных домов, в здании городской больницы, быстро разместился и развернул свою работу армейский госпиталь. Для обслуживания раненых не хватало персонала, моя мама бросилась в ближайшие дворы, улицы, быстро собрала из женщин большую группу и привела ее к начальнику госпиталя, предложив помощь. Это было очень кстати. Женщины стирали бинты, носили воду, помогали бинтовать, [401] утешали мучавшихся от боли. К вечеру, когда уже не было суеты, один раненый в ногу матрос позвал маму и спросил ее: «Не знаете ли, не проживают ли в Анапе Головахины?»

— Нет, — ответила мама. — Город наш небольшой, и мы, старожилы, знаем здесь всех. Головахины у нас в городе не проживают, но я знаю Виктора Головахина по рассказу сына. Они вместе были в партизанском отряде и затем сидели в гестапо. Что потом стало с Виктором, ни мне, ни сыну не известно.

— Я знаю, что с ним стало. Я видел, как он погиб, — сказал раненый матрос. — Я матрос с катера «морской охотник». В 1942 году мы базировались в бухте Геленджика и оттуда совершали на катерах набеги, дерзкие вылазки на побережье, оккупированное немцами от Большого Утриша до Джемете. Высаживали на берег небольшие диверсионные или разведывательные группы, возвращались за ними через время, подходили

близко к берегу и обстреливали Анапский аэродром. Однажды даже ворвались в порт Анапы и наделали там переполоха. В общем, покоя немцам не давали. В последние дни ноября во время таких походов мы и наши товарищи на других «охотниках» стали замечать нечто странное. Почти каждый раз, идя с задания вдоль берега, мы видели на берегу человека, что-то пытающегося передать нам флотским семафором. Он явно хотел привлечь наше внимание. Подойти близко к берегу было рискованно, а издали разобрать, что к чему, не было возможности: то видимость ухудшала ранняя утренняя дымка, то легкий туман. Как-то, выполняя одно из заданий под Благовещенской, мы увлеклись и на свою базу возвращались уже совсем засветло. Когда проходили Лысую гору, солнце было высоко, туман рассеялся. Мы шли сравнительно близко вдоль берега, хорошо и внимательно просматривая его. Вдруг у щели Шенгери в прибрежном кустарнике мы заметили какое-то движение, а затем на берег, к самой кромке воды подошел, к нашему удивлению, матрос. Командир дал нашей машине «стоп», приказал занять всем места по боевому расписанию, а сам [402] стал наблюдать за происходящим в бинокль. Матрос был в брюках, в флотской полосатой тельняшке, голова перевязана бинтом. Сначала он поднял руку, как бы приветствуя нас, оглянулся назад на кусты, а затем, несколько помедлив, снял с себя тельник, поднял обе руки вверх, сделал по азбуке семафора вызов и начал быстро писать:

— Я матрос Виктор Головахин. Немцы приказывают заманить вас... Не подходите к берегу... Стреляйте по мне... Рядом много гадов... Прощайте, братцы... Стреляйте, бейте...

То ли у немцев был кто-то умеющий читать семафор, или по какой другой причине, — но они поняли, что Виктор пишет нам не то, что им надо. Несколько солдат выскочили из-за укрытия и, стоя открыто, на виду у нас, в упор расстреляли его из автоматов. Виктор качнулся, сделал два-три неровных шага вперед в море, к нам, и, еще раз подняв руку с тельняшкой вверх, упал в воду. Мы, потрясенные, открыли огонь по берегу из всего, что у нас было.

Хлестко била наша пушка на баке, я очередями бил по мелькавшим в кустарнике, убегавшим вверх по щели немцам из ДШК. Мы просили командира высадиться на берег, добить убежавших гадов. Было видно, что и наш командир горел тем же желанием, и неизвестно, что бы произошло, но обстановка вдруг резко изменилась не в нашу пользу. Со стороны Анапы, из-за Лысой горы, вынырнули два «Мессершмитта-109», один из которых атаковал нас. Командир развернул катер, и мы, лавируя и отстреливаясь от

наседающего самолета, стали быстро уходить в открытое море. «Мессер», сделав еще пару безрезультатных заходов, оставил нас и ушел.

Из этого рассказа мне стало понятно, что немцы не хотели просто расстрелять Виктора. Они угрозами, побоями, пытками пытались склонить его к предательству. В то время почти ежедневно, если позволяла погода, вдоль побережья курсировали советские военные катера, а вдали, в море, — крупные корабли. Вот немцы и надумали, по-видимому, захватить один из таких катеров, используя Виктора как приманку. [403] Для этого они вывозили его на берег в удобные для подхода катера места и заставляли семафорить проходящим мимо катерам, просить подойти к берегу и взять на борт его, матроса, будто бы скрывающегося на берегу после выполнения какого-то задания. Выводили на берег, к воде, а сами устраивали засаду для захвата катера с командой в случае, если их уловка удастся.

Но комсомолец, моряк, старшина 2-й статьи Виктор Головахин из Горловки на предательство не пошел...

\* \* \*

Мы — два матроса, две немолодые женщины, трое пожилых мужчин и я — в кузове крытой брезентом автомашине с высокими бортами. Мы сидим друг напротив друга на откидных скамейках вдоль обоих бортов. У заднего борта двое эсэсовцев с автоматами, в черных, безукоризненно чистых мундирах с серебристыми нашивками, знаками и эмблемами. Обтянутые портупелями, в начищенных до блеска ботинках и высоких, твердых крагах до колен, они более чем импозантно и свежо выглядели на фоне нас — истерзанных, в следах побоев и пыток, заросших, рваных и грязных. То есть так, как и должен выглядеть в их понимании цивилизованный, нордического происхождения человек рядом с унтерменшами{3}, или, по их же лексикону — russisch Schwein.

Мотор подвывает, машину подбрасывает на мелких ухабах пыльной, перепаленной летним зноем немощенной дороги. Нас везут за город, в Глинице, под Су-Псехскую гору, на расстрел. Голым, лишенным хоть какой-либо растительности отрогом гора отвесно обрывается там к морю. Со всей округи, города сюда ездили люди, долбили, кирковали, копали первоклассную глину, подводами, повозками увозили к себе на свои житейские нужды. Глины хватало всем, и каждый копал как ему заблагорассудится — где хотел, как хотел и сколько хотел. В результате за много лет здесь образовались ямы, траншеи, нечто похожее на небольшие пещеры, [404] котлованы, ходы. С приходом немцев гестаповцы по каким-то

им только самим ведомым соображениям посчитали Глинище идеальным местом для расстрела своих жертв...

Мы молчим. Еще при выезде со двора гестапо наша попытка заговорить сразу же была пресечена окриком: «Ruhig! Sokramento!»

Рядом со мной сидят матросы. Тот, что ближе, еще держится, хотя он избит, истерзан до предела. В рваной форменной робе, лицо — сплошные раны и синяки, слипшиеся от крови волосы на голове. Руками он вцепился в сиденье и одним не заплывшим синяком глазом с ненавистью смотрит на немцев.

Его товарищ, не менее побитый, не имеет силы держать себя прямо. Он все время клонится, падает на своего друга и кашляет отбитыми гестаповскими сапогами легкими. Кашель конвоирами не пресекается.

Напротив женщины. Одна то и дело подымает глаза кверху и крестится... Другая, безучастная ко всему, сидит с закрытыми глазами, неслышно что-то шепчет, шевелит губами. Мужики впереди покорно, смирившись со своей участью, тихо вздыхают, переглядываются, робко поглядывая на гестаповцев.

Машина, свернув налево на Терскую улицу и быстро проскочив короткий здесь квартал, выехала на улицу Серебряную.

— Ну, теперь прямо, до самой Бони, а там и Глинище, — фиксирую я.

Мы едем не одни. Впереди нас легковая машина «Опель-капитан». В ней офицеры — начальники. Вдруг машина начала сбавлять ход, притормозила и совсем стала. Мотор заглох. Впереди по ходу слышался многоголосый говор немцев, резкие выкрики команды.

Наши конвоиры прислушались, выругались, перебросились фразами:

— Verdammt! Verflucht! Was ist geschehen?

Один перегнулся через борт, выглянул вперед, крикнул:

— Warum autenthalt? [405]

Ему что-то ответили оттуда.

Немцы, недовольно бормоча, спрыгнули через низкий задний борт на землю, стали руками выбивать осевшую на мундиры пыль. Отряхнувшись, они не спеша прошли вперед.

Сидящий рядом со мной матрос встает, делает шаг к борту и осторожно выглядывает вперед. Он смотрит и затем разъясняет нам увиденное:

— Впереди, на перекрестке, пробка! Пушка у немцев свалилась в воронку от бомбы, колесом в воронку! Три машины и с десятков солдат!

Мы слышим команды и дружный, хором крик солдат, вытаскивающих пушку: «О-о рюк! О-о рюк!»

Подъехала еще одна бортовая машина с длиннющим, открытым кузовом и стала слева, почти вплотную к нам, борт о борт. В кабине солдат-шофер, а в кузове на раскорках стоит обычная колесная, полевая солдатская кухня.

Матрос опять не удержался, снова перегнулся через борт и стал смотреть вперед.

— Работают фрицы! — говорит он. — А наши конвоиры стоят, курят у кабины шофера.

Вдруг он как-то пристально посмотрел на меня.

— Слушай сюда, братишка! — шепчет он. — Беги! Мне не уйти, а ты — беги!

Я растерянно смотрю на него, мало что соображая.

— Ты что смотришь на меня? Беги, говорю, пока фрицы не видят, спасайся!

Тут только до меня стали доходить его слова. Я нерешительно, медленно поднимаюсь со своего места.

— Чего ты чухаешься? — Матрос уже со злобой шипит на меня. — Быстрее! Беги, мать твою... в душу...

Его матюки наконец словно подхлестнули меня. Я бросаюсь к борту кузова, перекидываю ногу, нащупываю приваренную под ним ступеньку и легонько, стараясь не шуметь, спрыгиваю на землю и приседаю. Впереди, у кабины, я вижу ноги: в крагах — наших конвоиров, и в сапогах — шофера. Немцы стоят спиной ко мне. На четвереньках, не мешкая, я проскакиваю под машиной с кухней в кузове, — и [406] вот я на тротуаре у открытой настежь калитки полуразвалившегося каменного забора. Не раздумывая, я бросаюсь через нее во двор. Дом с сорванной взрывом бомбы крышей, выбитыми окнами, дверью. Два-три прыжка — и я в нем. Мечусь по комнатам... Дурак! Зачем мне этот дом? Надо бежать, уходить дальше!

Пулей я выскакиваю назад во двор через дверь, обегаю его. За домом сарайчик... Проскакиваю между курником и уборной, перелетаю через забор за ними в огород соседнего двора. Здесь тоже пусто, жителей никого нет! Бегу, лезу через штакетник в следующий двор, в калитку... Я на Нижегородской улице. Внутри у меня страх погони и одновременно ликование, радостный порыв: «Я сбежал, ушел... Спасся...»

Хочется побыстрее скрыться, ноги сами быстро-быстро несут меня вперед! Но надо сдерживаться, чтобы не привлечь чьего-либо внимания к себе. Сзади все пока тихо. Не хватились еще фрицы!

Пересиливая желание бежать, я быстрым шагом иду через Черноморскую улицу. Прохожие (их очень мало здесь), обращают на меня

внимание. И не удивительно — вид у меня, мягко говоря, не для прогулок по городу.

«Надо где-то спрятаться, перебыть какое-то время! — стучит у меня в голове. — В таком виде я не пройду через весь город домой, в Алексеевку. Но где-то близко по Новороссийской сейчас живет Лиза Фарафонова! «Новороссийская, 41», — вспоминаю я слова тети Раи.

Выхожу на Ленинскую улицу, до Новороссийской отсюда рукой подать. Это здесь! Высокий, не позволяющий видеть, что во дворе, каменный, выбеленный известью забор. Калитка открылась свободно. Маленький дворик, дом с застекленной верандой. Сквозь стекло я вижу Лизу. Она поворачивает голову, видит меня. Секунда — дверь распаивается, и Лиза прямо с крыльца, через две ступеньки, прыгает мне на шею. Обхватила, прижалась, целует в одну, в другую щеку:

— Вот ты и нашелся! Я ждала, ждала тебя!

Мы сидим в чистенькой, маленькой, уютной времянке во дворе. Калитка предусмотрительно надежно закрыта засовом. [407] Жарко горят дрова в печурке: на ней в выварке греется вода для моего мытья. Мы сидим у открытой дверцы печки, я рассказываю Лизе свои злоключения, рассказывает и она свои.

— Наш дом попал в запретную зону — говорит Лиза. — Мы переселились сюда. Здешние хозяева — наши дальние родственники, ушли жить куда-то в Су-Псех. Боятся жить в городе. Бомбежки, обстрелы с моря, облавы немцев, и все такое... Сказали: «Живите сколько хотите, — сберегите наш дом!»

В доме Лизин отец, — он ранен в ногу, лежит в постели, не встает.

— А кто же это его ранил? Немцы? — спрашиваю я.

— Нет! Сам себя ранил. Подрядился кому-то что-то построить, ну и поехал с лошадьёю на пляж за песком. А там, ты же знаешь, все заминировано. Наехал на мину, взрыв. Лошадь убита, подвода в щепки, папе — осколок в ногу! Рана не опасная, кость не задета, уже пошло на поправку! Хорошо хоть живой остался!

Позже пришла мама Лизы — тетя Рая.

— Здравствуй, Коля! — приветливо поздоровалась она. — Ты что-то долго не приходил к нам после того, как я видела тебя на базаре. Ну, ничего! Хорошо, что пришел сейчас. Лизка теперь успокоится!

— Мама! — Лиза, слегка смущенная, перебила. — Коля не мог прийти к нам раньше, все это время он сидел в гестапо. Сегодня его чуть не

расстреляли. Он сбежал. Ему нельзя показываться на улице. Пусть хотя бы до завтра побудет у нас!

— Какой ужас, какой ужас! — заохала испуганно тетя Рая. — Что делается на белом свете? Мальчишку, мальчишку, звери, хотели убить!

Я коротко, в двух словах, рассказал тете Рае о себе то, что уже знала Лиза.

— Оставайся, оставайся у нас, сынок! Дай бог, все обойдется!

В их доме чисто, аккуратно прибрано, тихо, вроде за порогом и нет войны. В углу на этажерке из обожженного бамбука [408] свободно стоят и лежат книги. Среди них вижу два-три ярко-красных томика сочинений Ленина.

— Лиза! Ты не боишься вот так, на виду, держать эти книги? — показываю я ей на них. — А если немцы зайдут и увидят?

— Ну и что? Они заходили, видели! Один солдат даже взял, полистал, засмеялся: «Лэнин — никс гут! Коммунист — нэ хорошо!»

— Отчаянная ты, Лиза! Тебе надо быть очень осторожной! Ты же племянница комиссара партизанского отряда! Ты хоть сознаешь, понимаешь, что может быть с тобой, с мамой и папой, если немцы дознаются до этого?

— Понимаю! Но куда нам деваться? Что будет, то и будет!

— Все это так, — продолжал я выговаривать ей. — Но ты все же убери эти книги с этажерки, да и вот эти фотокарточки тоже. — Я показал на несколько висевших на стене вдоль комода крупных фотографий каких-то красных командиров в полной армейской форме.

— А! Пусть висят! Это наши близкие родственники! — Лиза беспечно махнула рукой. — Не буду убирать, авось все обойдется!

Утром, дождавшись, когда на улицах уже было много прохожих, я, попрощавшись с тетей Раяй, вместе с Лизой вышел со двора. Провожала она меня до мельницы.

— Приходи, Коля, обязательно приходи! Как только можно, приходи! Я буду ждать!

Сунула мне в руки узелок: «До свидания!» Потянувшись, поцеловала в щеку и пошла назад, не оглядываясь.

Я смотрел вслед с необъяснимой самому себе жалостью к ней, что-то защемило у меня в груди, давило, не позволяло вот так, сразу, повернуться и идти своей дорогой. Пересилив себя, я пошел.

Лизу я больше не увижу никогда... Через девять месяцев, за неделю до освобождения города от фашистов, она погибнет в одиночестве в горах



ужасной, мучительной смертью. Ее найдет ее отец и похоронит рядом с ее двоюродным братом, моим другом — Колей Кравченко... [409]

Боясь быть задержанным на немецком и румынском постах при выходе из города, я прошел в Алексеевку задами дворов, огородами.

Подходя к дому, я думал о предстоящей встрече с Борисом, с мамой. Я уже принес ей много горечи, волнений и переживаний, хотя с самого начала войны мог сидеть дома. Мой возраст еще не призывной для армии, и никто не упрекнул бы, что я отсиживаюсь дома в тяжелый для Родины час. Вон сколько вокруг таких, как я, по возрасту, — живут себе спокойно! Их не сажают в гестапо, в абвер, в румынскую жандармерию, не бьют, не пытаются, не издеваются над ними, не расстреливают! Но я не могу быть таким! И что бы со мною еще ни произошло, я не буду в обиде на свою судьбу. Значит, так тому и быть!

По случаю моего возвращения домой мы готовим праздничный обед — варим гречневую кашу. В узелке, подаренном мне Лизой, — гречневая крупа, горсть выжарок, бутылка постного масла. Мне пришлось соврать: я сказал маме и Борису, что меня якобы выпустили из гестапо, — мол, допросили, подержали в камере и выпустили.

День прошел нормально, если не считать того, что я больше был во дворе и без конца поглядывал на дорогу к дому — не идут ли за мной полицаи.

Утром пришел Арсен Савицкий. Я рад встрече с ним: в истребительном батальоне мы были друзьями. Я уже упоминал, что, когда мы с ним попали под бомбежку и чудом остались живы, Арсен был ранен осколком в голову и месяц лежал в больнице. Рана зажила, но после ранения он стал каким-то «ненормальным». Видя это, командование списало его из батальона. И он, оказывается, ходил к моим почти каждый день, пытаюсь узнать обо мне.

Арсен весел, беззаботен, его ничего не волнует, не гнетет. Его брат Алешка где-то на фронте, а он с мамой дома. Их дом тоже попал в запретную зону, но его мама, Софья Иннокентьевна, старая дворянка, поступила благоразумно. Еще до оккупации, ожидая мрачное будущее, она распродала мебель и лишние вещи, включая старинное, отлично звучащее пианино известной фирмы «Блютнер». Таким образом, [410] поднакопив денег еще тогда, она купила приличный дом с ухоженным двором на Новороссийской улице, близко к выезду из города в сторону станицы Анапской. По городу и сюда, в Алексеевку, Арсен ходит свободно, без боязни: у него на руках справка, удостоверяющая работу в городской управе в качестве чертежника технического отдела. Это Арсен-то чертежник? Он же в школе учился эле-

еле, пишет буквы, как курица лапой! Но тем не менее справка с красной немецкой печатью — вот она.

— Да какое там работаю, достал по блату эту бумагу! — объясняет Арсен. — Никто меня теперь не задерживает, не привлекает на принудительные работы. Лафа!

— Так ты и мне организуй такую справку!

— Нет, не получится! Я уже думал.

— Ну, что же, будем считать, что тебе повезло!

Оказавшись на свободе, я постоянно чувствовал себя как-то неуютно, беспокойно, а в первые дни после побега даже не всегда спал дома — боялся, что за мной придут гестаповцы! Получилось так, что из моих многих друзей-товарищей сейчас рядом только один Арсен. Он полностью в курсе моего положения и приглашает к себе домой ночевать. Я не отказываюсь и часто, каждую вторую-третью ночь, сплю у него. Там спокойнее, чем здесь, в Алексеевке. Немцы обычно делают облавы в центре города, румынская комендатура организует это в станице Анапской и Алексеевке. Дом Арсена далеко в стороне и от того и от другого. Но, бывает иногда, поздними вечерами жителей этой части города беспокоят мародеры — румынские солдаты. Они бродят из двора во двор, стучат, врываются в дома перепуганных людей и орут: — Партизанэ! Естэ партизанэ! — и, нагло, посмеиваясь, ищут таковых в комодах, сундуках, шкафах, забирая все более-менее приличное из барахла, чтобы завтра же продавать это на толчке. Как-то такие солдаты пришли и во двор Арсена. Мы к этому времени были уже в постели. Румыны кулаками и сапогами застучали в дверь, требуя открыть ее.

— Тихо! — посмотрела на нас Софья Иннокентьевна и приложила палец к губам. — Я сама! [411]

Она подошла к двери и голосом, полным возмущения и гнева, почти крикнула:

— Wer ist da? Je schlafeh schon!

За дверью мгновенно затихло, — ни звука. Мы подходим, открываем, смотрим: румын как ветром сдуло! Ни за дверью их нет, ни во дворе!

Софья Иннокентьевна смеется:

— Можно было бы и по-французски их пугнуть, но по-немецки надежнее!

Если сказать, что румыны боялись немцев как огня, — этого мало! Немцы считали, что румыны стали их союзниками в войне с большевиками по дикой нелепости. Они презирали их не меньше, чем нас, русских, и не терпели рядом с собой. «Zigeune!» (цыгане) — только так и не иначе звали

они румын. Дом, двор, в котором на постое были немцы, румыны обходили далеко стороной. Чуть что — немец кулаком в морду!

Гитлер объявил благодарность маршалу Антонеску за взятие доблестными румынскими войсками «крепости» Анапа. Казалось, что хозяевами города по логике должны стать румыны. Но нет! Немцы не отдали его румынам. Городом управляла немецкая военная комендатура, румынам же по воле немцев досталась станица Анапская. Поселок Алексеевка между ними оказался спорным: то немцы расклеивают по его улицам свои приказы, распоряжения, выдают жителям справки на право проживания в поселке, то, не проходит и месяца, как румынская комендатура станицы Анапской объявляет немецкие документы недействительными и выдает свои. И так не единожды.

— Пойдем в город! — предлагает мне Арсен. — Прошвырнемся по улицам, у меня побудем! Мама уже соскучилась за тобой!

Сейчас на дороге почти нет никакого движения. Проскакивают туда-сюда отдельные фрицевские автомашины, да ползет одинокая цыганская кибитка — румынская каруца. Мы идем и видим, что посреди шоссе у городской окраины маячит часовой-румын. Его нам никак не миновать. [412]

— Что-то не хочется мне идти прямо ему в лапы! — говорю я Арсену. — Задержать может, собака! У меня же ничего нет. Ни пропуска, ни какого документа!

— Пойдем, не надо бояться. Проскочим! — уверяет Арсен.

— Stai! — останавливает нас румын. — Документ?

Арсен развернул и показал ему свою справку.

— O, german stampil! Ziber! — Он вернул справку Арсену и махнул рукой, предлагая ему идти.

— Tu! Afi dokument? — это уже мне.

У меня ничего нет, кроме старого, ветхого, на пожелтевшей от времени бумаге, подклеенного много раз на сгибах гуммиарабиком, чудом еще не рассыпавшегося в прах свидетельства о рождении. На нем уже трудно было что-либо прочитать, печати размыты и выцвели. За год до войны мы с мамой носили его в ЗАГС. Там, взамен этого, ветхого, мне выдали новое, красиво оформленное на гербовой бумаге. Но сейчас оно, к сожалению, со всеми другими моими документами где-то в лесу, в Лобановой щели.

В прошедшие дни я, чтобы иметь на руках хоть что-то, доказывающее, что я еще мальчишка по возрасту, взял у мамы вот это чудом сохранившееся старое свидетельство. Просто вложить его в карман и носить нельзя — рассыплется бумага, поэтому я вложил его в самодельный, сшитый через

край вошеной дратвой кожаный бумажник. В таком виде я и отдал его часовому.

Румын долго рассматривал, чуть ли не нюхал бумагу. Видно было, что он не знает, как ему поступить дальше. Наконец, он нашелся: вытащил из кармана свисток и свистнул.

У дороги, метрах в двадцати, отдельный домик. В нем караульное помещение. На свист часового оттуда вышел капрал и подошел к нам. Недолго раздумывая, он, взяв свидетельство, приказал мне: «Țai, geredede!», а сам повел меня в начинающуюся здесь Нижегородскую улицу.

Арсен шел неподалеку, но потом, решив, что у меня дело затяжное, крикнул: [413]

— Я пошел домой! — и исчез.

Мы дошли до прогуливающегося румынского офицера в звании локотинента, — тот был без головного убора, лысоват. Капрал отсалютовал, скороговоркой доложил остановившемуся офицеру, передал мое свидетельство. Затем щелкнул каблуками, повернулся кругом и пошел назад восвояси.

Оказалось, что офицер понимает и отлично говорит по-русски.

— Иду с Алексеевки в город, в аптеку, — объясняю я ему. — Мне нужно лекарство для мамы. Часовой на посту задержал меня...

— Обожди здесь! — Румын оставляет меня на улице, а сам входит в дом.

Что это? — я не могу понять. Не комендатура, не караульное помещение... «Может, мне драпануть? — мелькает в голове. — Никого нет! Часовой у двери на меня ноль внимания...»

Пока я колебался, раздумывая, из дверей быстрым бодрым шагом выскочил локотинент.

— Иди в аптеку! — Он протянул мне свидетельство. — У тебя очень хороший документ! — Это он сказал без ухмылки, без иронии в голосе.

Слегка обескураженный так благополучно завершившимся для меня инцидентом, я стал даже не просить, а нагло требовать у офицера:

— Дайте мне пропуск, чтобы не задерживали часовые! Я хожу в город каждый день, и что, всегда меня будут водить к вам солдаты?

— Пропуск мы не можем дать! Это дело комендатуры! — Он повернулся и стал продолжать свой променад вдоль дома, уже не удостоивая меня вниманием.

Я зашел к Лизе и, посидев с часик с тетей Раей, попрощался и ушел, пообещав в ближайшие дни навестись. Было уже за полдень: улицы,

особенно в центре города, полны людей. Я иду, внимательно всматриваюсь во встречных, цель — увидеть, встретиться со знакомым, товарищем, другом. С другой стороны, я боюсь столкнуться с подлецом, [414] предателем, знающим меня, — таким, который тут же побежит доносить.

Прохожу Красноармейскую улицу. До Алексеевки рукой подать, но только я подумал: «Так и не увидел никого», как тут же чуть не столкнулся с Булатниковым!

— Здравствуй, Николай! Куда спешишь?

— Здравствуйте! Домой вот... иду! — не сразу отошел я от неожиданности встречи с ним. — Вас немцы... отпустили? Что вы... здесь делаете?

Булатников с непонятной ухмылкой, с растяжкой ответил:

— Отпусти-и-ли! Что им с меня взять?

— Ну, и... — я не знал, о чем его еще спросить.

— Что «ну?». Работаю сторожем вот, на мельнице! — Он повернул голову и через плечо кивнул в сторону мельницы, где кипела работа.

— А тебя, значит, тоже отпустили немцы? — продолжает Булатников.

— Отпустили! — вру я. — Подержали и отпустили!

— Да-а! Бывает, бывает... — Он недоверчиво смотрит на меня. — Домой, говоришь, идешь? А где ты живешь? Здесь где-то близко? Да? — вдруг, словно спохватившись, быстро заговорил он.

«Здесь что-то не то! — глядя на него, быстро соображаю я. — Тут дело пахнет керосином! Откровенничать с ним нельзя!»

— Нет, отсюда неблизко! Живу сейчас аж на самой окраине города, на улице Выгонной, рядом с хлопковым заводом!

— Ты сводку Информбюро слышал? Красная Армия остановила немецкие войска на Кавказе... тут ребята... слушают радио...

— Ну и как там, на фронте? Наши еще не наступают? Какие ребята? Вы их знаете? Расскажите, что там еще в сводке? — засыпал я Булатникова вопросами. Услышать сводку Информбюро, узнать, наконец, правду о фронте — это было более чем интересно! [415]

— А ты не знаешь этих ребят? Говорят, что они слушают приемник в Джемете. А может... в Анапе...

Булатников был мне непонятен. Он молол какую-то чепуху. То вроде слышал от ребят сводку, но тут же говорит, что не знает, где они — то ли в Джемете, то ли в городе.

— Ты бы узнал, где эти ребята с приемником! — говорит он.

Я удивленно смотрю на него:

— Так вы же знаете их! Сводку-то от них слышали!

Еще два-три моих вопроса — и я вижу, что он запутался в ответах окончательно. Что-то недоговаривает, мнетса. Почувствовав неладное, я прервал разговор и, буркнув: «До свидания!» — поспешил побыстрее уйти от него.

— Ты подходи ко мне! Я здесь каждый день! — торопливо говорил мне вслед Булатников.

«Он предатель! У него это на морде написано!» — Я быстро шел, спеша до комендантского часа выскочить из города. — «Не горячись! Подумай спокойно, разберись без суеты во всем!» — подсказывал я сам себе.

Мысленно я вновь прокручиваю встречу с Булатниковым. И так, он на свободе. Могли ли немцы-гестаповцы отпустить секретаря райкома комсомола? Нет! Я в этом твердо убежден. Но он на свободе, — значит, отпустили его с умыслом, с какой-то целью! С какой? Не иначе как кого-то выслеживать! И место здесь, у перекрестка улиц, он выбрал не случайно. Почти все, кто идет в город или выходит из него, обязательно пройдут через этот перекресток. Сторожем он на мельнице работает! Брехня все это! Стоит далеко в стороне от нее, а там кипит работа — полно наших людей-рабочих, немцев. Что ему охранять? Тьфу! Если уж хотел мне врать, придумал бы что-то умнее, правдоподобнее! Разговор о сводке Информбюро затеял, а сам так толком ничего и не сказал о ней. Не слышал он никакой сводки! Наверное, у немцев есть какие-то слабые данные о том, что кто-то нелегально слушает радио. Вот они и поручили ему узнать, выследить...

Размышляя, я сам не заметил, как оказался на повороте [416] шоссе у выхода из города — как раз у румынского поста, где меня сегодня утром задержали.

— Stai! Document!

Никуда не денешься, останавливаюсь. Передо мною часовой — не солдат, а какая-то пародия на солдата: мелкий, неказистый, хлипкий! Я на голову выше его. Он смотрит на меня снизу вверх и пришибленным голосом требует документ.

«Дать тебе сейчас в твою сопливую морду, ты и задержался бы вот здесь, в кювете!» — подумал я с брезгливостью.

Но ничего не поделаешь. Опять извлекаю из кармана свой бумажник, из него свидетельство о рождении.

— Утром у меня уже проверяли здесь документ! Сказали — можно свободно ходить через ваш пост! — вру я.

Румын почему-то не интересуется бумагой, а смотрит на бумажник и слезным, просящим голосом начинает клянчить:

— *Cu mine mult micut acasa. Eu prea sarac acasa mama!*

Я удивленно смотрю на него, ничего не понимая.

— *Dati-mi portmoneu! Dati mi!* — Он еще что-то лопочет по-своему.

Наконец до меня доходит — он просит у меня бумажник! Так унизительно, слезно...

— Да возьми ты его! — Я прячу свидетельство в карман, а бумажник протягиваю ему. Румын торопливо прячет бумажник за борт шинели и, довольный, теперь уже улыбается, показывает мне рукой — иди, мол!

— *A merge!* Гай, гай! — повторяет он много раз.

Мне не жалко бумажника — никакой ценности он не представляет. Странно поведение солдата. А впрочем, почему странно? По его виду он забитый, темный, естественно безграмотный, замордованный человек. Жил, наверное, в беспросветной нищете где-то в захолустье, белый свет только и увидел сейчас. Тоже мне оккупант, завоеватель! Драный бумажник ему понравился! Другой на его месте не просил бы у меня так унизительно, чуть ли не со слезами, а просто, без разговора, положил бы себе в карман и еще, для порядка, сунул бы мне кулаком в морду... [417]

Дома меня встретили Арсен и мама в слезах.

— Говорю тебе: никуда не ходи, а ты не слушаешься! — плакала она. — Хорошо, что и на этот раз все обошлось, а то мог бы и не вернуться домой!

Все, что произошло со мной, она знала из рассказа Арсена.

— А ты тоже хорош! — говорю я ему. — Друг, называется! Не поддержал, слова не сказал за меня румыну! Даже не проследил, куда меня повели!

К вечеру мы миримся. Арсен уже торопится домой, боясь нарушить комендантский час. Быстро темнело. Опять посыпал, завис мелкой сеткой холодный дождь, и сразу же потянуло холодом. Мы уже собрались идти в дом, как вдруг видим — через огород и двор бежит, согнувшись, прикрывая от дождя подолом платья голые колени, Поля Романова, дочка соседей и наша приятельница. Увидев нас, она кричит приглушенно, испуганно:

— *Облава!* Сейчас солдаты будут здесь!

И тут же где-то близко, в соседних дворах, мы слышим выкрики солдатских команд. *Облава!*

«Бежать! Иначе сейчас меня заберут!» — мелькает в голове. В ворота уже нельзя, можно напороться на румын. Бегу за сарай, там прыгаю через забор и — в поле, ровное как ладонь, не паханное и не сеянное. Тяжелая,

вязкая грязь под ногами, ноги вязнут по самую щиколотку. Темень такая, что протяни руку вперед — пальцев своих не увидишь! Но если я не вижу никого, значит, и меня никто не видит, и это хорошо! Стоять под холодным дождем не особенно приятно, но я стою, мокну, мерзну. Молодец Поля — предупредила, а то бы я уже «тю-тю»... Документа на право жительства нет у меня, румыны запросто забрали бы... Как ни хочется маме, чтобы я не отлучался из дома, но придется: я решаю, что завтра опять пойду в город. Там, слышал, есть какой-то паспортный стол: может, удастся достать нужную мне бумагу. А пока...

Я присел на корточках, обхватил ноги руками, сжался в комок, уткнул нос между колен и замер, предоставив стихии расправляться со мною так, как она этого хочет. И лишь [418] много позже, промокший насквозь, до умопомрачения продрогший, стукнув в стекло нашего маленького окошка, я стылыми губами, сиплым голосом позвал:

— Мама, открой! Это я!..

\* \* \*

До комендантского часа не более двух часов, и времени у меня в обрез. Прямо с тротуара я вхожу в распахнутую настежь дверь паспортного стола, располагавшегося недалеко от биржи, в третьем доме от угла Крымской и Астраханской улиц. В небольшом, узком коридоре длинная очередь — старики, женщины. С порога оценив обстановку, я быстро соображаю, что если занимать очередь, сидеть ждать, то на прием к начальнику я не попаду. Поэтому с ходу, пока еще не все присутствующие обратили на меня внимание, я проскакиваю коридор, — и в дверь. Мне в спину несется хор запоздалых криков возмущения, негодования. Но дверь захлопнута, я в приемной паспортного стола.

Просторная комната-зал. Прямо — две двери, на табличках крупно написано: «Канцелярия» и «Начальник». Между дверьми стол секретарши: она-то, по-видимому, и определяет, кому в какой кабинет надо. Молодая, с русой косой за спиной, склонилась над бумагами, что-то старательно пишет. Услышав меня, она поднимает голову от бумаг, смотрит удивленно и... краснеет. Краска то ли стыда, то ли просто смущения от неожиданной встречи густо заливает ее лицо, уши. На меня смотрит красивыми глазами милая, симпатичная Зина Науменко, моя одноклассница по школе. Скромная, в меру застенчивая девочка, в последний год нашей учебы она сидела на парте за моей спиной.



«Зина на службе у немцев! — мелькает у меня в голове. — Как это она могла?»

Я ошарашен, обескуражен тем, что увидел ее прислужницей у врага! Испытывая неприязнь, я, игнорируя ее и не здороваясь, прохожу мимо в дверь кабинета начальника.

Сюрприз за сюрпризом! Начальник паспортного стола — Франгули, мой сосед по улице: его дом и двор прямо напротив нашего. До войны он работал в какой-то организации, [419] кажется, бухгалтером. Естественно, он знал меня, моих родителей.

— Я занят! Обождите за дверью! — Он пишет, заполняет какой-то бланк. У его стола молодой парень, чуть старше меня по возрасту.

Я упрямо стою рядом, и не думая выходить. Франгули смотрит на меня, узнает, но, ничего не добавив, продолжает писать, заполняя графы бланка: рост, цвет глаз, цвет волос. Вместо фотокарточки в паспорте предусмотрена запись примет, понимаю я. Вот бы мне сейчас получить такой паспорт!

Франгули закончил заполнять, дал парню расписаться и выпроводил его за дверь.

— Вы что хотели? — обращается он ко мне таким тоном и с таким видом, будто не знает меня и видит в первый раз.

— Мне нужен вот такой же паспорт, какой вы выдали только что! Я живу сейчас в Алексеевке, часто хожу в город, меня без конца задерживают на постах то немцы, то румыны, так как никакого документа нет. И при облавах грозятся забрать меня! — вру я.

— Паспорт я вам выдать не могу. Он выдается только строго по разрешению коменданта города. Причем особо доверенным лицам! — Франгули говорил, не поднимая глаз на меня, глядя в сторону. — У вас в Алексеевке есть староста, вот и обращайтесь к нему, пусть оформят вам необходимый документ.

Просить, унижаться, умолять Франгули я не стал, слишком велико у меня было чувство если не презрения, то просто неприязни. Итак, никакого документа я не получил... Но дома меня ожидала вроде бы даже приятная новость. Староста с полицаем ходили по дворам, отбирая у жителей удостоверения на право жительства.

— Это приказ коменданта города! — объяснял староста. — Алексеевка выходит из подчинения румынской комендатуры станицы Анапской и включается в состав города, а стало быть, и теперешние документы, выданные румынами, недействительны. Приказано отобрать их у всех! В течение трех дней необходимо получить новые, немецкие. В городе, [420] по

улице Крымской, рядом с мельницей будет работать комиссия. Каждый пройдет там перерегистрацию, проверку и получит удостоверение на право жительства.

«Вот теперь и у меня будет документ!» — радовался я.

— Подожди радоваться! Как ты еще пройдешь комиссию?! — охладил меня Борис.

Уже лежа в постели перед сном, я думал: а может, не стоит идти на комиссию? Могут дознаться, что я партизан, — и тогда все, хана! Нет, не хочу больше жить зайцем, как сейчас. Была не была, пойду!

На следующий день я иду в город свободно, без боязни быть задержанным румынским или немецким постом. Пусть задерживают! Документов нет не только у меня, их у всех отобрали! Скажу: «Иду получать новые». Посты я прохожу нагло, с вызовом глядя на врагов, но они не обращают на меня внимания. Не остановили, не спросили, куда я иду и зачем.

Очередь. Я быстро ориентируюсь в обстановке: оказывается, вход в комнату, где комиссия, по одному. Там что-то спрашивают, пишут — одним словом, проверяют, кто ты есть, и затем выписывают это самое удостоверение. Бланк документа на этот раз на зеленой бумаге. Текст отпечатан в типографии на русском и немецком языках. Комиссия только вписывает туда фамилию, имя, отчество, год рождения и домашний адрес. Закрепляется все это красной немецкой печатью.

Томительное ожидание — и, наконец, я очередной на приеме у комиссии. Стою посреди комнаты на обозрении у всех. Напротив меня длинный стол, за которым сидят, как в президиуме на каком-то собрании, мужчины, женщины — члены комиссии. Многих я знаю в лицо: Анапа — город небольшой! А справа, отдельно, в креслах и на диванчике, немцы. Их трое: двое в гестаповской форме, один в обычной армейской.

На самое интересное другое! Председатель комиссии по проверке граждан на лояльность к теперешней власти — мало сказать знакомый, а просто близкий мне, очень уважаемый мной в совсем недавнем времени учитель, он же директор [421] школы № 1 Михаил Эрнестович Швембергер! Начальная школа № 1 (или, как ее именовали по старинке — школа первой ступени) располагалась на берегу, у высокого, крутого берега моря, рядом с кордоном и по соседству с Курзалом, и в ней с 1-го по 4-й классы училась вся детвора центральной части города и здешнего побережья: потом, с 5-го класса, все переводились в среднюю школу № 7, что на Крепостной улице, до революции это была мужская гимназия. Швембергер — немец по

происхождению, и среди школьников известен под кличкой «Дрест». Их сын Игорь был на два года старше меня, но мы с ним были большими друзьями, и Михаил Эрнестович это знал. Более того, то ли из-за того, что в школе я был отличником, то ли по какой-то другой причине, он хорошо знал и моих родителей.

Всего три месяца назад я со своим другом Славой Еременко в теплый августовский вечер зашел к Швембергерам попить воды, когда во время патрулирования по городу нас томила жажда, а теперь...

Теперь я, пошатываясь от слабости, стою перед ним, смотрю ему в глаза и мысленно спрашиваю: «Ну, что, выдашь меня или не выдашь?»

Бывший директор моей школы, сидящий сейчас в ладно подогнанной фашистской форме, прервав разговор, долго смотрит на меня. Он нервничает (это заметно по дернувшейся в тике левой щеке), соображая, как поступить со мной, и, деланно кашлянув, начинает задавать обычные, как и всем предыдущим, вопросы:

— Фамилия, имя, отчество, год рождения?

«Не выдал!» — с облегчением подумал я. Словно какой-то груз свалился с моих плеч.

После моих ответов он, повернувшись к сидящим слева и справа от него членам комиссии, спросил их:

— Кто его знает? Кто может что сказать о нем?

Пристально глядя на меня, пытливо, с искусственно напускной деловитостью, все они отрицательно качали головами: «Нет! Не знаю! Не могу ничего сказать!»

Сидящие по-барски, вразвалку, немцы, контролирующие ход проверки, тихо перебрасывались между собой словами, [422] делясь собственными мнениями. Неожиданно, как-то вдруг, они встали и что-то стали говорить Михаилу Эрнестовичу. Их быструю речь мне было трудно понять, я улавливал только отдельные слова:

...ohne Unterbrechung... Zu Mittagessen...

Михаил Эрнестович, выслушав их, согласно кивнул головой.

— Перерыв на обед, до двух часов! — не сказал, а приказал он членам комиссии.

Все шумно встали, заговорили разом, направившись на выход.

— После перерыва зайдешь! — скользнув взглядом, бросил он и мне...

Я хожу по Крымской улице туда-сюда, убивая время. Как и всегда в таких случаях, оно не идет, а нудно тянется. Мелькает мысль: «Интересно, Булатников дежурит на своем посту?» Так и есть, вон он стоит! Издалека я

вижу его ссутулившуюся фигуру у перекрестка улиц. Он в старой шапке, ватнике, по-старчески с палкой-тростью в руке.

Глядя на него, я еще раз твердо убеждаю себя: «Да, он поставлен здесь немцами. Следит, высматривает, а может, и ждет появления кого-то интересного гестаповцам! Вот тебе и секретарь райкома комсомола! Крепко его немцы пристегнули к себе!»

У меня было желание подойти к нему и с презрением бросить:

— Хватит валять дурака, немецкий холуй! Кончай балаган! Ты уже разоблачен людьми! Хиляй отсюда, сволочь!

Да еще и плюнуть ему в харю! Хотелось бы так сделать, руки, как говорится, чешутся, но...

Прошло не меньше часа. Очередь в коридоре значительно поубавилась. Я направляюсь к дверям, где проверка, останавливаюсь, прислушиваюсь...

— Они уже там все! — Кто-то из сидящих на полу в очереди как бы подталкивает меня. — Входи! Пусть не томят, начинают прием!

Да, действительно, через дверь слышится разговор. Я решительно открываю ее и переступаю порог: [423]

— Разрешите?

— Warum handelt es sich? — в гневе орет на меня один из фрицев.

Оказывается, обед еще не закончен. Михаил Эрнестович и гестаповцы, вальяжно развалясь в креслах и на диванчике, курят, попивая кофе, наслаждаясь покоем и тихо беседуя. Я нарушил их отдых, посмел не вовремя войти к ним! Это было возмутительно, и мне кричат:

— Mach daß du fortkommst!

Я пытался что-то сказать, оправдать свое бесцеремонное вторжение...

— Mund halten! — не дали мне открыть рот.

— Ruhig! — спокойно, доброжелательно перебил немцев Михаил Эрнестович. — Wir sind alte Bekante! — Он добавил что-то еще, поставил чашку на стол и поднялся с кресла. Подошел к столу, взял бумагу и протянул мне:

— Возьми свой Aufenthaltsbewilligung!

Я иду по улице, ликуя. Теперь мне все нипочем: у меня в кармане документ на право жительства, он же и пропуск! Конечно, надо меньше мозолить глаза, меньше показываться в городе, но все же... По логике, Михаил Эрнестович должен был выдать меня: я его враг, он немец и служит у гестаповцев. Но не выдал! Как его понять?

На выходе из города я впервые смело подхожу к немецкому посту, на ходу вытаскиваю, разворачиваю и показываю фрицу свой новый, еще не помятый документ.

Немец смотрит, читает и, показывая мне пальцем на печать, говорит:

— Das ist sehr gut! Scher dich zum Feufel!

Так же, как и почти всем жителям Алексеевки, маме и Борису на комиссию идти не пришлось. Кто-то из начальства передумал проверять каждого персонально — слишком это долго и хлопотно. По списку, представленному в комиссию старостой поселка, документы были выписаны и розданы всем остальным сразу. Теперь я чувствовал себя намного свободнее, более раскованно, не боялся облав, и если необходимо было идти в город, шел прямо, через румынский и [424] немецкие посты, а не пробирался огородами, задами дворов и плавней, как это делал раньше. Документ в моих руках срабатывал исправно. Правда, тревожное чувство не покинуло меня до конца, но все же это было лучше, чем раньше.

\* \* \*

Зима в том году по всем признакам обещала быть мягкой. Уже прошла первая декада декабря, а настоящего холода нет. Идут бесконечные, ежедневные морозящие дожди. Все кругом стылое, мокрое, серое. Земля напиталась влагой сверх всякого предела, водою заполнена каждая ямочка, выбоина, ложбиночка, пробитые румынскими каруцами колеи на дорогах. Я сижу у окна в доме соседей и приятелей Романовых (он расположен у самой дороги из Анапской в Анапу) и наблюдаю за дорогой, по которой в последние дни в сторону города что-то часто стали проходить длиннющие румынские обозы, кавалерийские отряды, топала пехота. Немцев мало, — почти только румыны.

Дождь на время прекратился, мы выходим во двор.

— Смотрите, какие у них перепуганные морды! — кивает Ленька Романов на румын в проходящей мимо колонне. — Небось дали им наши просрать на фронте!

Действительно, солдаты какие-то обтрепанные, обшарпанные, забрызганные грязью. У большинства полы шинелей подоткнуты за пояс, чтобы легче идти и чтобы не заляпывать их. Пилотки-фуражки, шапки-кичилы натянуты на уши. Никакого боевого вида! Ни дать ни взять — отступающая наполеоновская армия в 1812 году! Хмурые, угрюмые, они чавкают по разбитому, разъезженному, замешанному жидкой грязью шоссе ногами в высоко, до самых колен затянутых желтых (под цвет всей остальной

формы) обмотках, в полуразвалившихся ботинках. Мокрые насквозь шинели горбатятся коробами на спине.

— Откуда топаете, откуда идете? — громко, с издевкой, спрашивает Ленька проходящих солдат. Спрашивает, естественно, по-русски: его румыны в большинстве хорошо понимали.

— *Za casa la casa!* — отвечает один и, принужденно улыбаясь, [425] неопределенно машет куда-то вперед рукой. Другие солдаты косятся на нас затравленным взглядом и молчат.

— Откуда же вы, земляки сердешные? — продолжает весело измываться Ленька. — Новороссийск?

— Шталинград! Шталинград! — испуганно тараща глаза, отвечает нам другой — *A merge de linga Stalingrad!*

Колонна спешит, спешит... За пехотой — опять обоз. Подводы самые разнообразные: тут тебе и румынские каруцы — высокие, крытые кибитки на колесах, и широкие украинские арбы, русские телеги, дроги. Худющие лошади вконец устали, с них течет дождевая вода, смешанная с потом. Одна из подвод съехала к обочине, остановилась. Солдат-ездовой, стоя на коленях в передке, остервенело, зло полосует лошадь кнутом, ругается:

— А-а, *dra-a-cule!*

Лошадь еще раз напряглась, дернулась вперед, стала. Силы окончательно покинули ее. Она тяжело и часто дышит, с губ ключьями падает густая пена. Ездовой, а за ним и сидящий в каруце солдат, ругаясь, проклиная весь белый свет, спрыгивают на дорогу в грязь. Они выпрягают дрожащую всем телом лошадь, ведут ее с дороги, мимо нас, за дом Романовых, и там раздается выстрел.

Мы идем туда и видим, как солдат забрасывает винтовку на ремень за спину, а ездовой перебирает в руках уздечку. У их ног лежит на боку, подергиваясь в судорогах, убитая лошадь.

— В ухо стреляли, живодеры! — негромко говорю я. — Не пожалели лошадку!

— Да! — поддакивает Ленька. — Пока везла, нужна была! А теперь, когда...

Он махнул рукой.

— Чего ругаетесь? — вдруг чисто по-русски заговорил румын-ездовой. — Она все равно уже не жила бы! Надорвалась!

— В таком случае всегда надо пристреливать! — добавил тоже по-русски второй румын-солдат. — Это для нее лучше!

Я удивился не столько их знанию русского языка, [426] сколько чистоте их выговора — акцента у обоих нет ни малейшего.

— Откуда вы так хорошо знаете наш язык? — спрашиваю я.

— Он такой же ваш, как и наш! — отвечает солдат. — Мы с Бессарабии. Я молдаванин из Тирасполя, а он, — солдат кивает в сторону ездового, — гагауз из Комрата. Слыхали о таких городах?

И по виду и по разговору, так случайно возникшему, чувствовалась их доброжелательность, и это подтолкнуло нас к откровенности.

— Вы, что, драпаете от Сталинграда? Набили там вам наши морду?

Солдат качнул печально головой, усмехнулся:

— Да, хлопцы, да! Дали нам там ваши! Сколько побито, сколько померзло солдат! — Румын вздохнул, опустив голову.

— Да, да! — поддакивает и ездовой. — И румыны, и немцы, и итальянцы... и ваши! Страшно все!

— А как все получилось? — Я весь напрягся. Ведь это же первое, что мы слышим о положении на фронте за такое долгое время!

Румыны закурили.

— 19 ноября русские прорвали фронт с севера и с юга Сталинграда, проскочили танками по нашим тылам и загнали нас в котел! Через неделю примерно начали добивать нас! Что там сейчас делается! Мясорубка!

Они подробно, несколько это им виделось с их колокольни, рассказали о разыгравшейся трагедии румынских, немецких и итальянских войск в битве на Волге.

— Мы, слава богу, вырвались оттуда, — закончили они. — И сейчас не верится, что остались живы! Будь они прокляты: и Гитлер, и Сталин, и наш Антонеску! Повесить бы их рядом всех на одной виселице! Сколько, сколько людей гибнет из-за них! *Cu bine! Za revedere!* Скоро ваши будут здесь!

Румыны пошли по шоссе, но откуда-то появился тот самый знакомый мне безрукий инвалид, живущий в другом конце Алексеевки. [427]

— Што стоите? Добро пропадает, а они стоят! Полька, беги скорее домой за ножами, будем свежевать коня!

Быстро, сноровисто, отец Романовых и инвалид одной рукой разделявают тушу лошади. Мне неприятно, подкатывается тошнота, и я ухожу домой. Потом Борис приносит мясо, и мама варит его, но я есть его не смог: все так же не уходила из памяти безжалостно убитая, ничем не провинившаяся перед людьми лошадь. Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 16 лет...

С каждым днем количество отступающих войск все увеличивалось. Мимо нас по шоссе в Анапу проходили уже не отдельные воинские части, а лился сплошной поток расхлябанных, потерявших боевой вид войск, кое-как еще сдерживаемых пошатнувшейся дисциплиной. Румынские солдаты, останавливающиеся в поселке на кратковременный отдых, не боясь своих командиров, открыто высказывались против вдруг ставшей непопулярной для них войны, против своего руководства и вождей. То и дело слышалось: «Антонеску плохой! Его надо вешать! Он обманул нашего молодого, красивого короля Михая и его маму Елену и втянул родину в войну! Зачем нам воевать?» Так спрашивали они сами себя и отвечали: «Нам война не нужна, нам надо домой! Гитлера тоже вешать! А Сталина поймать серпом за шею и стукнуть крепко сверху молотом!» Они жестами показывали, как это надо сделать, и хохотали при этом.

Казалось, какое отношение может иметь происходящая сейчас гигантская битва на Волге, в Сталинграде, к жизни находящегося в тысяче километров оттуда маленького поселка Алексеевка, что в Анапском районе? Ан нет, имеет! Напуганная приближающейся расплатой за совершенные зверства и преступления, румынская солдатня заметно изменила свое поведение. Раньше, с первых дней оккупации, румыны прямо-таки упивались ролью победителей и в соответствии с этим по отношению к населению вели себя по-хамски, нагло. Им было все дозволено; не было никого, кто мог их остановить, пресечь безобразия, дать, в конце концов, сдачу. Мужиков в поселке раз-два и обчелся; в основном [428] — старики, дети и женщины. Это если не считать двух-трех здоровых, красномордых полицаев и старост. Да и попробуй, убей какого гада! За это поплатятся жизнью сотни невинных жителей. По всему поселку расклеены приказы коменданта, в которых предупреждалось, что за каждого убитого немецкого или румынского солдата подлежит немедленному расстрелу 100 человек жителей. По сути дела, все население было заложниками. Поэтому люди боялись не то чтобы прибить оккупанта, а даже обидеть их чем-либо! Боялись появления в поселке партизан, которые своим террором к оккупантам вызвали бы массовые расстрелы жителей. Я сам видел и слышал, и не единожды, как люди здесь говорили: «Хай им грець, с партизанами! Если воны заявця — мы первы доложим о них нимцам или румынам!»

В поселке тихо, нет мычания коров, блеяния овец, кудахтанья кур, лая собак. Собаки все перестреляны. В первые же дни своего появления здесь солдаты начали с того, что сделали облаву на собак. Они шли подряд по дворам и там, где были собаки, убивали их. Так же поступили и с голубями: в



два-три дня все голуби были уничтожены. Но если с голубями все ясно (не допустить голубиной почты), то собаки могли им мешать только в ночных грабежах населения. Так и случилось: не прошло и месяца, как бывший кое у кого скот был съеден оккупантами: те приходили во двор ночью, и, не таясь, взламывали замки и уводили скот. Непонятно было, почему они это делали ночью? Ведь и днем им никто не смог бы перечить, тем более оказать сопротивление. А кур стреляли, не стесняясь, прямо днем. Устраивали нечто похожее на веселую охоту: входили во двор и со смехом, с гиканьем, громко крича по-своему, весело бегали, стреляя в кудахчущих, мечущихся в испуге кур. Хозяйкам и курам переполох, а румынам потеха!

Помимо подобного мародерства, солдаты в тех дворах, где они были на постое, насиловали женщин. Вот так, просто, заходили во двор, в дом и, не сентиментальничая, не раздумывая, кто перед ними, девушка там или вдова — лишь бы женщина! — насильничали. «Что сделаешь им, гадам? Дратся, кусаться, царапаться — только хуже себе. Все равно [429] изнасилуют и потом изобьют так, что останешься на все жизнь калекой!» — такое я слышал от женщин, объясняющих свою покорность извергам. Были, правда, и такие, которые, потеряв совесть, всякий стыд и срам, сами цеплялись на шею оккупантам. У таких дома устраивались постоянные шумные, пьяные застолья, доходящие до прямого разврата. Уже одно то, что они были не нашими и говорили не по-нашему, приятно шокировало недалеких умом дур: «Ах, какие они культурные! Как пахнет от них!»

А эти культурные, пахучие европейцы почти поголовно всех заражали венерическими болезнями. По Алексеевке пошел гулять триппер! До появления оккупантов здесь сроду слыхом не слыхали о таких болезнях, как сифилис, шанкр, триппер: а теперь весь их букет был налицо! Наиболее шустрые бабы устраивали импровизированные свадьбы с румынами, кумовались с ними. В общем, не для всех женщин жизнь в оккупации была в тягость.

Глядя на жителей в поселке, я поражался тому, что люди на удивление спокойно, равнодушно относились к происходящему с ними и вокруг них. Какая-то апатия! Прикажут оккупанты сделать что-то — сделают, другое — тоже сделают беспрекословно. Ни о каком патриотизме не могло быть и речи! На факт оккупации и на самих оккупантов они смотрели как на нечто должное, ниспосланное на них. Ни о каком сопротивлении врагам (я уже не говорю об активной борьбе) никто и не помышлял! Все жили одним днем, не задумываясь о завтрашнем. Шла тихая, мало видимая со стороны борьба за выживание. О фронте, о где-то далеко отсюда идущих боях не знали вообще

ничего. Да и откуда узнаешь? Радио, газет, листовок не было... Недостаток правдивых сведений восполнялся слухами, — и каких их только не было! Чего только не говорили! Например, что идет освобождение Кавказа, немцы бегут, но это не Красная Армия громит их. Это идут в наступление, беспощадно бьют фрицев американские войска, прибывшие из Ирана, а в них все без исключения солдаты и офицеры — свирепые негры, которые не щадят никого. Так что в скором времени придется бежать в горы, в лес и отсиживаться там, пока первая волна [430] этих самых негров не пройдет через нашу местность. Вот таких, подобных этому слухов ходило в народе более чем достаточно.

С первых же чисел января поток отступающих мимо Алексеевки воинских соединений врага еще более усилился. Теперь попеременно с румынами тесно двигались и немцы. Горе-победители самым настоящим образом драпали с Кавказа, из степей Ставрополя и Калмыкии. Скорей, скорей в порт Анапа! Там на баржи, пароходы и дальше восвояси! Но плавсредств на море мало, да и наша авиация стала действовать намного активнее. Уходить морем рискованно. Поэтому основная масса солдатни с громоздкой военной техникой торопилась через город дальше, на Таманский полуостров, к Керченскому проливу. Там спасительный для них Крым, где еще пока можно побыть в безопасности, временно отсидеться под защитой свирепых январских и февральских штормов Черного моря.

Усилилась слышимая нами круглосуточно артиллерийская канонада в Новороссийске, участились налеты нашей авиации на город, аэродром и порт. В самой атмосфере с каждым днем все более и более чувствовалось какое-то напряжение.

— Сейчас самый раз действовать партизанам, — думал я, глядя на торопящихся уйти врагов. — Получилось бы так, как в 1812 году, в первую Отечественную войну, когда они крепенько пощипали отступающую наполеоновскую армию!

Здесь, сейчас, повторить подобное было некому. Партизан во всей округе в Анапском районе попросту не было. Два наших отряда, сформированные с такой помпой, перестали существовать из-за бездарности командования. Эх, как нужны были они сейчас!

Румынский гарнизон станицы Анапской занервничал. В спешном порядке солдаты начали воздвигать оборонительные сооружения. По замыслу командования станица должна была превратиться в мощный узел обороны на подступах к городу. Приказом Гитлера (я это прочитал в теперешней городской газете «Новая жизнь») объявлялось, что [431]

немецкие и румынские войска ни в коем случае не оставят Таманский полуостров. Это, дескать, предместное укрепление, с которого летом, после зимних холодов и весенней распутицы, немецкие войска мощным броском вновь неудержимо рванутся на Кавказ, и их тогда уже ничто и никто не остановит до самой Индии.

Анапская станица в два кольца опоясывалась проволочным, противопехотным заграждением, сама станица такой же колючей проволокой разбивалась на секторы. Рылись окопы, траншеи, строились блиндажи, ДЗОТы. Поля вдоль идущих в станицу дорог готовились к минированию. Выполнить такой огромный объем работы сами румыны были не в силах. Где найти свободные рабочие руки? Нет ничего проще! Приказом коменданта все мужское население Анапской и Алексеевки в принудительном порядке стало ежедневно выгоняться на эти работы. «Работая рядом с румынским солдатом, станичники тем самым вносят свой скромный вклад в дело защиты себя от коммунистов» — так было сказано в расклеенных по улицам приказах.

А на деле у нас в Алексеевке все выглядело так: рано утром солдатня устраивала что-то вроде облавы. Румыны шли подряд по дворам и выгоняли всех мужиков и подростков в общую колонну на улице. Затем строем, под охраной, их вели в Анапскую, где все работали до вечера. Домой после работы все шли самостоятельно. Куда денешься, — ведь надо домой, есть и спать. А утром все сначала! Строгости, в смысле конвоирования нас на работу, были только в первые дни, а в последующие мы сами, уже безо всяких облав, рано утром собирались у шоссе, у дома Романовых и огромной толпой, как покорное стадо баранов, топали в Анапскую. Сопровождал нас, больше для видимости, всегда только один солдат. Он шел рядом не для того, чтобы предотвратить бегство кого-то — мы шли добровольно, а только ради того, чтобы соблюсти некую формальность конвоирования, когда нас пропускали солдаты через КПП при входе в станицу. Возникает вопрос: зачем же тогда идти на работу, если румыны не выгоняли из дому и не конвоировали колонну, как это они делали в первые дни? А все просто: кто не пойдет на [432] работу сам, добровольно, тот будет выявлен, задержан шастающей по дворам полицией, сдан в комендатуру, а оттуда одна дорога — в концлагерь. Страх быть отправленным туда, откуда возврата домой не будет, заставлял всех выполнять приказ комендатуры и исполнять трудовую повинность...

В первые дни января, к Новому году по старому стилю, мой старый знакомый полковник полевой жандармерии Инкулеску сделал станичникам

подарок: повесил несколько жителей недалеко от румынского поста при входе в станицу, вдоль шоссе, на телеграфных столбах. Идя на работу, мы теперь проходили мимо повешенных: двух стариков и женщины. За какую провинность повешены наши люди — не было известно, и только на груди женщины висел кусок фанеры, где корявыми буквами было выведено: «Она готовила еду для партизан». Я знал, что это вранье. Никаких партизан вокруг к тому времени не было.

Мы создавали проволочное ограждение на южной окраине станицы, где голая, лишенная какой-либо растительности степь простиралась до самого подножия гор. Конечно же, мы все понимали, что делаем эту черную работу против наших же, своих солдат! А куда денешься? Единственное, что мы могли предпринять, — это тянуть время, не спешить, по возможности затягивать работу и делать ее не качественно. Ну, например, столбы вкапывали в землю так, что прислонись к нему — он упадет. Проволоку прибавляли еле-еле, чуть прикоснешь к ней — она отваливается. Солдаты-румыны, приставленные следить за нами, работу не контролировали. У них не было желания стоять истуканами, месить грязь, дрожать на холодном ветру. Сразу с утра, с начала работы они шли в ближайшие хаты станицы. Но зато часто и всегда неожиданно появлялся верхом на лошади в сопровождении денщика или адъютанта некий Sublocotement. Это был зверь! Не боясь замараться, он прыгал с коня в грязь и, зафиксировав наш саботаж в работе, нещадно избивал попавших ему под руку. Бил кулаками, плетью, ногами — с остервенением, в бешенстве, выкрикивая на ненавистном для нас языке грязные ругательства.

Работая, мы всегда были начеку, всегда ждали его налета. [433] Стоит кому увидеть его и крикнуть: «Сублокотенент!» — как мы все сразу бросаем работу и бежим через колючую проволоку на другую сторону от него, в степь. Офицер бесится, бежит вдоль ограждения, орет на нас, грозит выхваченным из кобуры пистолетом. Мы, отбежав в поле на вполне безопасное расстояние, стоим и, так же как и он нас, поносим его руганью.

Недели две работы — и запас колючей проволоки (она, кстати, была наша, трофейная, — мы это видели по биркам на ее заводской упаковке) у румын иссяк. Но румынское командование нашло выход, приказав снимать ее с оград огородов жителей. Три-четыре дня — и вся Алексеевка была очищена от проволоки.

\* \* \*

В час ночи с 3 на 4 февраля мы были разбужены артиллерийско-пулеметной стрельбой. Близкий грохот неистовой канонады, вдруг как-то сразу, лавиной обрушившийся на нас, рвал ночь, сотрясал все вокруг, заставил встать с постелей.

— Что случилось? — спрашивает Борис. — Такого мы еще как будто не слышали!

Мы поспешили выйти во двор. В темноте неба над городом тяжелый гул самолетов. А в сторону гор, за Лысой горой, дальше на юг по побережью, бешеная стрельба, — казалось, из всего, какое вообще существует, оружия.

— Наши десант высаживают где-то в районе Большого Утриша! — говорю я Борису. — Скорее всего, в Сукковской щели!

— Да, похоже на это! — соглашается он.

«Наши, наши! — радостно бьется сердце. — Скоро будут здесь!..»

Мы уже не ложились спать. Какой там сон! До утра мы сидели на завалинке дома, прислушивались к канонаде, ожидая, что она, а значит, и десантники будут приближаться к городу, к нам. Но этого не случилось. С рассветом стрельба несколько поутихла, хотя где-то там, дальше по берегу, она разгорелась еще более...

На работу в станицу Анапскую нас румыны уже не гоняли. [434] Строительство укреплений было закончено, и мы сидели дома, не занимаясь ничем.

По дворам прошел староста, — как обычно, в сопровождении полицейских. Он отбирал у всех ранее выданные удостоверения на право жительства. Теперь вообще никуда не пойдешь! Сиди дома, во дворе, и никуда не суйся, если не хочешь быть схваченным фашистами.

— Что это за стрельба по берегу, сегодня уже третьи сутки? — спрашиваю я у старосты.

— А-а! — Он скривился и махнул рукой. — Большевики хотели десант высадить в Сукко, но немцы и румыны дали им по сопатке! Добивают еще один десант там, — он опять махнул рукой неопределенно куда-то в сторону моря, — где-то аж под Новороссийском!

Верить старосте не хотелось, но где узнать правду? Только много лет спустя я узнал подробности этой страшной трагедии, которую я считаю одной из самых позорных страниц истории прошедшей войны. Бездарность командования Черноморской группы войск стоила жизни многим тысячам наших солдат и матросов...

Через три-четыре дня наш десант у Южной Озерейки был уничтожен немцами полностью. Стрельба оттуда уже больше не прослушивалась. Но

зато еще через пару дней стала слышна, хотя пока еще слабо, какая-то канонада уже с другой стороны. Мы думали, что это из Новороссийска, там сражения не утихали, — но нет, грохот артиллерии шел с востока.

Поспрашивав румын, мы узнали, что наши войска быстро очищают от оккупантов Северный Кавказ и фронт приближается к нам. 12 февраля был освобожден Краснодар, и сейчас бои идут уже где-то под Абинской. Нашей радости не было предела: всего 70 километров отделяли нас от долгожданной освободительницы, Красной Армии! А румыны? Румыны — кто как! Некоторые стали словоохотливыми и даже заискивающими. Другие сдержанны, держатся на дистанции. Были и такие, которые озверели еще более. К концу дня 15–17 февраля солдаты прошли облавой по дворам, домам [435] Алексеевки, собрали в колонну всех мужчин от 15 до 65 лет и повели в Анапскую станицу.

Поселок Алексеевка небольшой, все мужики призывного возраста еще до оккупации были мобилизованы в Красную Армию, поэтому нас, совсем молодых и совсем старых, набралось сейчас не более 40 человек.

При входе в станицу, справа за кюветом дороги, на голом пригорке амбар — каменный, массивный, словно строили его на века. Без окон, без вентиляционных окошек, он имел одну-единственную широкую дверь. В этот амбар нас загнали, закрыли на засов и повесили замок. Зачем румыны это сделали, что с нами будет дальше — неизвестно: объяснить они не нашли нужным. Амбар внутри пуст, сколько мы здесь будем — никто не знает. Стоять и чего-то ждать было бессмысленно, и все стали располагаться, устраиваясь на голом цементном полу. Пошли разговоры. Кто-то громко, обращаясь ко всем, с надрывом выкрикивает:

— Пропали мы, братцы! Расстреляют нас румыны! Для этого и согнали сюда! Ночью выведут в какую-нибудь балку и прикончат!..

— Чего паникуешь? — перебил его чей-то голос. — Ничего с нами не будет! Румыны убрали нас из поселка, чтобы мы не мешали им напоследок поваляться в постелях с нашими бабами!

— А может, на работу нас куда? — вопрошал кто-то робко.

— Какая работа? Если на работу, приказали бы взять харчи с собой! И зачем собирать в ночь?

Кое-как перебиваясь, в полудреме, мы провели эту показавшуюся нам очень длинной и долгой ночь. Еще задолго до утра, когда его свет стал пробиваться в щели двери, мы все были на ногах. Холод не давал нам сидеть или лежать в неподвижности. Дрожа, цокая зубами, мы пританцовывали, переминаясь с ноги на ногу.

— Мы вас отпускаем домой! — сказал румынский офицер, обращаясь к нам утром. — Но с сегодняшнего дня каждую ночь вы будете спать здесь! Всем приходиться вечером сюда! [436] Мы будем проверять. Кого застанем ночью дома — расстреляем! Можете идти домой!..

В амбаре мы провели еще две-три ночи. Многие стали приносить с собой для ночлега старые фуфайки, мешки с соломой, а некоторые даже и подушки. Но потом приказ румын ночевать здесь сошел на нет: они перестали контролировать его исполнение, не выгоняли вечером людей из дому, не было никаких облав. Мы опять стали спать по своим домам. Напряженность остановки, а по этой причине и нервозность оккупантов усиливались. Они то и дело отдавали то один, то другой, противоречащий первому, приказ. Мимо нас, по шоссе в Анапу, теперь уже вперемешку с отступающими врагами шли длинные колонны эвакуированных. Начался угон мужского населения в Германию или просто подальше в тыл, чтобы не дать возможность наступающей Красной Армии пополнить свои ряды мобилизацией мужчин в освобожденных районах.

Мы стоим у дороги, наблюдая их мрачное шествие мимо нас.

— Откуда вас гонят? — спрашиваем, кричим в колонну.

— Из Новороссийска... Краснодарские мы!.. Скоро и вы потопаете!..

Да, это не должно миновать и меня. А что делать? Бежать, скрываться на время, пока наши придут? Но где прятаться, когда будет освобождена наша местность? В доме, во дворе не спрячешься! Единственное, что остается, — это тайком уйти в лес, в горы. Но с чем идти? Где взять продукты? Пока еще не лето, холодно. Долго ли просидишь там, в лесу, в холоде и голодным? Ну можно терпеть пять-семь, даже двадцать дней! А потом что? Когда немцев и румын выбьют наши отсюда — неизвестно. Может, завтра, а может, еще через месяц!..

Так я рассуждал сам с собой и ничего вразумительного придумать не мог. Оставалось одно — отдаться на волю случая.

Утром 25 февраля полицией и старостой Алексеевки было объявлено: «Всем мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, за исключением инвалидов, немедленно явиться в румынскую [437] комендатуру станицы Анапской для регистрации». Что это за регистрация, зачем она, никакого разъяснения не было дано. За неявку, как обычно, угроза самой жестокой карой. Хочешь не хочешь, надо идти!

Собирается и Борис.

— А тебе-то зачем? Объявлено же, что инвалидов это не касается! — говорю я ему.

Борис молчит, не отвечает. Так, молча, мы и вышли из дому и вместе с Ленькой и другими присоединившимися к нам ребятами и мужиками потопали в комендатуру. Там к нашему приходу собралось уже много людей. Тут и наши, алексеевские, и жители ближайших хуторов. На крыльцо вышел румын-офицер и по-русски, громко, словно на митинге, разъяснил нам обстановку. Он сказал, что фронт приближается, немецкие и румынские войска временно отступают. По приказу высшего военного командования все мужское население в возрасте от 16 до 60 лет должно быть эвакуировано. Не подлежат эвакуации только мужчины-инвалиды и женщины. Сейчас все собраны здесь для того, чтобы составить списки эвакуируемых, а в ближайшие дни и состоится эта акция. Тому, кто уклонится от записи, будет прятаться, — расстрел. «Я вам не советую волноваться, бояться ухода из дома, — говорил он, — это временно. Большевики будут разбиты, уничтожены, и вы вернетесь домой. Пока будете работать в безопасности, в глубоком тылу, может, даже в Германии. Там на заводах и фабриках вы приобретете отличные специальности, заработаете много денег, а они вам пригодятся по возвращении домой. Германия высококультурная страна. Вы увидите настоящую, красивую жизнь, научитесь, как надо правильно жить...»

Началась запись. Образовалась очередь. Румынский солдат-писарь составлял списки.

— А тебе-то зачем записываться? — удивленно спрашиваю у Бориса, видя, что и он становится в очередь.

— Не твое дело! Я тоже хочу эвакуироваться!

Не место и не время было здесь спорить с ним, и я промолчал. Но по дороге домой я высказал ему все свое возмущение: [438]

— Меня фашисты угоняют, не по своей воле я ухожу из дому! А ты? С кем останется больная мама? Тебе, что, хуже быть дома, в тепле, в безопасности, сапожничать помаленьку, без забот зарабатывать себе на жизнь и помогать маме? Что ты хочешь увидеть хорошего в фашистской неволе? Здоровые мужики стараются увильнуть от угона, а ты, инвалид, сам добровольно лезешь! В конце концов, у тебя совесть есть? Как ты можешь бросить маму?

Борис молчал. С этого момента наши взаимоотношения, и без того натянутые, стали совершенно холодными.

\*\*\*



1 марта пришедший из города Арсен рассказал: «Вчера немцы уже отправили две колонны мужчин в эвакуацию. Сегодня-завтра подчистят, подберут всех остальных!»

— А как же ты?

— Меня это не касается. Угоняют с 16 лет, а мне только еще 15.

— Да, тебе, можно сказать, повезло! — говорю я. — А нас погонят! Если в городе начали, то вот-вот и за нас здесь возьмутся!

Так и получилось. Где-то в середине следующего дня по поселку прошла облава. Румыны шли цепью по улицам, дворам, огородам. Всех мужчин от 16 до 60 они выгоняли из домов; проверяли, просматривали сараи, погреба, чердаки, совались во все закоулки, где кто-то мог спрятаться.

Выгнали и меня. Мама плачет, отталкивает солдат, обнимает: «Сыночек, сыночек мой! Как же я теперь одна? Увижу тебя еще когда?»

— Гай! Гай, рэнедэ, рэнедэ! — торопят солдаты. Увидев Бориса, добровольно направляющегося в строй колонны, они дергают его за рукав, удивленно говорят ему:

— Тебе не надо! Ты инвалид! Тебе хорошо будет дома с мамой!

Борис не слушает их, идет, становится в колонну. Прочесав Алексеевку, подобрав начисто всех подлежащих эвакуации, румыны погнали нас в станицу Анапскую. Там, в самом центре, напротив клуба, длинная и ветхая колхозная конюшня. Сюда нас и загнали... [439]

Мало это или много, но румыны держали нас в этой самой конюшне взаперти почти сутки. Утром, вывалянных в конском навозе, с промокшими в жижее конской мочи ногами, нас вывели и построили в длинную колонну. В ней уже не только алексеевские, здесь и местные станичники, мужики и молодежь из ближайших колхозов «Большевик», «Каганович», и собранные с ближайших вокруг хуторов. Колонна оцеплена солдатами-конвоирами с винтовками в руках наперевес. Подошло начальство, и с «напутственным словом» к нам выступил румынский офицер.

— Никакой не должно быть паники! — сказал он. — Вы эвакуируетесь с гуманной целью — не подвергать вас опасности при подходе сюда фронта! Сейчас вам, каждому, выдадут документ. Берегите его, по нему вы будете получать в дороге продукты! Соблюдайте порядок, держите дисциплину и выполняйте все приказы солдат! Предупреждаю: если у кого будет попытка сбежать или если кто отстанет от колонны в пути — будет расстрелян!

Вдоль колонны прошли несколько солдат, вручили нам каждому по бумажке — справке. Это серая бумага в половину тетрадного листа. Типографским способом отпечатан текст, в нем сказано, что предьявитель

сего добровольно эвакуируется с места своего постоянного жительства... и т.д. Фамилия не указывалась. Главное — то, что я и все другие рядом со мною в колонне уходят из дома «добровольно», по собственному желанию.

— Марш! — скомандовали румыны, и наша колонна потянулась, поползла на выход из станицы по Анапскому шоссе в сторону города. Я оказался где-то в середине строя. Рядом идут Борис, братья Романовы, их родственник Афонька Горелов. Бросается в глаза, что у всех без исключения за спинами на лямках из бечевы туго набитые мешки — сидора. Само собой разумеется, что и сейчас у идущих рядом эти самые сидора набиты продуктами, необходимыми в дороге вещами. Мы с Борисом исключение. Идем, что называется, налегке. У нас нет сидоров за спиной. Взять себе в дорогу из дому что-либо мы не могли просто по той причине, что дома [440] ничего не было! Мы сами уходили голодными и оставляли мать голодной!

Вот и дом Романовых. За кюветом у дома вся родня Леньки и Тольки Романовых — отец, мать, сестры. Рядом с ними стоят моя мама и Арсен. Их попытка броситься к нам, обнять, попрощаться, возможно, навсегда, решительно пресекается охраной колонны, потрясающими оружием солдатами. Родные что-то кричат, машут, прощаясь, руками. Мама тоже машет рукой, плачет.

Арсен, увидев нас, вдруг бросается через кювет, не обращая внимания на окрик солдата, втискивается к нам в строй:

— Я тоже пойду с вами!

— Ты что, опупел? — удивленный, на ходу спрашиваю я его. — Ты же по возрасту не подлежишь угону! Дома, что, хуже тебе быть?

— А что мне дом? — спокойно, как-то равнодушно отвечает Арсен. — Мама и сама не пропадет! У нее хватит и чего есть, и денег! Вы все уходите, а мне что делать здесь одному?

— Ну, смотри, как бы не было хуже!

На подходе к городу через голое поле между крайней улицей Алексеевки и шоссе, по которому мы сейчас шествуем, к нам торопятся трое немецких солдат и с ними молодой парень. Вот они остановились у дороги. Немцы стали тепло прощаться с парнем: улыбаются, что-то все разом говорят ободряющее, нахлопывают по плечам его, суют в руки из своих сумок на поясах банки консервов, пачки галет, шоколад. Парень благодарит их и становится в строй колонны.

Да это же Витька Балабанов! — узнал я парня. С чего это немцы так его провожают? Удостоили чести проводить до самой колонны, подарить в дорогу продукты! Странно как-то это видеть... Витька шагает впереди

меня, — я решаю, что потом расспрошу его, что к чему... Вскоре я узнал, что эти немцы квартировали у него в доме, и со временем он с ними подружился.

Подгоняемая бесконечными окриками румын-конвоиров: «Гай! Гай!» наша колонна втянулась в город. Быстро [441] прошагали Крымской улицей до мельницы, свернули направо на Красноармейскую. Еще два квартала — и вот «Дом Бека». Стоя у дороги двухэтажным особняком, он как бы обозначал конец города. За ним, дальше, — небольшой пустырь и неширокая река Анапка с перекинутым через нее добротным, построенным не меньше ста лет назад каменным мостом. Это тот самый мост, через который я побоялся входить в город, когда шел из Гостагаевской в Анапу. Сейчас вижу, что дорога действительно перекрыта здесь шлагбаумом, у которого группа фашистов. Меня наверняка задержали бы, если бы я тогда сунулся сюда!

Немцы поднимают шлагбаум, и наша колонна переходит мост. Мы за чертой города. Сегодня 3 марта 1943 года. Надолго ли я покинул родную Анапу? Что меня ждет впереди? Вернусь ли я сюда вообще? Я не мог знать, что время оккупации для меня будет тянуться еще долгих полтора года.

\* \* \*

Мы в начале длинного, многокилометрового пути. Колонна идет быстро, бодро, ни о какой усталости пока еще не может быть и речи. Слышатся плоские шуточки всегда вдруг появляющихся в таких случаях бодрячков. Конвой не докучает. Солдаты следят за порядком, изредка покрикивая вполголоса, — не из необходимости в этом, а больше по привычке, как на скот, свое неизменное, румынское: «Гай, гай!..»

Вот и санаторий «Бимлюк», здесь береговая оборона румын. Вокруг все перекопано, перелопачено, изрыто. Окопы, траншеи тянутся зигзагами к берегу моря в дюны, где во множестве видны орудия, прикрытые сверху навесами из маскировочных сеток. Несколько позади них капониры с укрытыми автотягачами. За дюнами, ближе к берегу, просматривается добротное проволочное заграждение. Я знаю, что это заграждение строили еще наши саперы-красноармейцы, и оно досталось румынам нетронутым. Кругом, и во дворе санатория и вокруг, много праздношатающихся в безделье солдат.

Мы проходим через занятый румынским гарнизоном небольшой поселок винзавода «Джемете», сворачиваем к [442] морю и долго идем по песку у самого уреза воды. Темп ходьбы уставших людей резко падает. Конвоиры, утомившиеся не менее нас, расслабились. Здесь им нечего было опасаться чьего-либо побега: мы идем по так называемой Витязевской косе

между морем и лиманом. Колонна растянулась, стали появляться отстающие. Румыны злобно орут, подгоняя отстающих, грозятся, потрясают своими длинными винтовками. Теперь я вижу, что кроме моего брата в колонне есть и еще один инвалид — молодой (не более 30 лет) мужчина. Одна нога у него была намного короче другой, и ступня ее как-то неестественно выворачивалась в сторону при каждом шаге. Почему и как он попал в колонну? Кто затолкал его сюда, к нам? Ведь инвалидов фашисты не угоняли! Неужели он так же, как и Борис, по дурацки добровольно пошел в неизвестность — искать себе приключений?

Дорога по песку, да еще в таком темпе, в каком нас гнали, была не для него. Он все более и более отставал, и вот уже он позади нас. Я часто оглядываюсь, мысленно пытаюсь его подбодрить: «Ну, держись же!» Мужчина низко припадает на больную ногу, и каждый раз при очередном, трудном для него шаге хватается за штанину рукой и приподнимает, помогая переставлять вперед. На его лице, покрытом каплями пота, какая-то отрешенность и легкая, добрая, виноватая улыбка. Румыны-конвоиры уже давно обращают на него внимание, но пока еще он в общей массе, в строю, они молчат.

Еще раз оглядываюсь... Все! Бедолага-мужик стал, выдохшись окончательно. Он уже вне колонны: стоит, держась за грудь обеими руками, и покорно смотрит вниз, в землю. Перед ним два солдата, — винтовки у них уже в руках, снятые с ремней из-за спины.

«Сейчас убьют, сволочи!» — думаю я и отворачиваюсь. Несколько шагов, и... выстрел! Мне не хочется оглядываться — все и без того ясно, но я все же останавливаюсь и смотрю назад.

На только что протоптанной нами дороге лежит лицом в песок наш, русский, незнакомый мне человек, у которого было доброе лицо. Он и теперь в неестественной для живого [443] позе все так же придерживает правой рукой за штанину брюк больную ногу... От него, быстро нагоняя колонну, спешат... язык не поворачивается назвать их солдатами. Подлые румынские твари в противной, кукурузного цвета армейской форме! Почему им было не оставить живым выбившегося из сил человека на дороге? Никто с них не спросил бы за это, не наказал!..

К ночи мы дошли до станицы Благовещенской, нас пересчитали и загнали в клуб, навесив замок. Было очень тесно. В полной темноте, на ощупь, мы определяли себе место на досчатом полу и плотно, тесня друг друга, укладывались спать. А рано утром, на самом рассвете, нас подняли,

построили, пересчитали — и погнали опять к морю. Неумытые, мятые, невыспавшиеся, мы молча шагали, отсчитывая километры дороги.

Мы опять идем берегом моря, по еще более узкой, теперь уже Бугазской косе. Справа Бугазский лиман, сменивший Витязевский. Море такое же тихое, как и вчера, но улавливается сладковато-тошнотворный запах. С каждым шагом он все явственнее и явственнее.

— Дельфина где-то на берег выбросило? — предполагает Арсен.

Запах уже просто невыносим. Я приложил руку к носу и дышу через рукав рубахи. Другие, идущие рядом, кривятся, сплевывают, зажимают носы.

Кто-то из идущих в голове колонны громко говорит:

— Смотрите! Это же побитые матросы! Наши морячки!

Действительно, проходя мимо, мы видим у самой кромки берега на песке и в воде раздутые, иссиня-черные, разлагающиеся трупы матросов. Только флотская форма свидетельствует о том, что это наши ребята. Вид их настолько ужасен, что не хочется смотреть и тем более определять, сколько их здесь, бедолаг. Мы ускоряем шаг и быстро проходим мимо. Кто они, откуда их принесло море?

Стали попадаться выброшенные прибоем разбитые шлюпки, весла, уже пораженные морским червем куски обшивки бортов баркасов, банд, части рангоута с размочаленными водой снастями. А вот лежит красно-белый спасательный [444] круг. Из его разорванной парусины высыпалась мелкая пробковая крошка. Интересно, чей он? Я не удержался, выскочил из строя, подбежал, перевернул его и с удивлением читаю: по кругу, как это и установлено морским регистром, сделана надпись: «Зелим-Хан». Это же наша портовая фелюга! Самая быстрая, самая изящная в порту! И капитаном на ней был самый отчаянный, самый ловкий и смелый, уважаемый всеми красавец-грек Анастас! Где ты сейчас, «Зелим-Хан», где твой капитан? Как сюда, в такую даль от порта, попал твой спасательный круг? Я не знал этого, а море молчит...

На подходе к озеру Соленое еще издали виден выброшенный морем на берег громадный корабль. Это танкер «Куйбышев», — вернее, его останки. Летом прошлого года, накануне взятия немцами Севастополя, он шел с неиспользованным горючим в трюмах из Крыма на Кавказ и на траверзе Анапы (не более как в километре от порта) был атакован с воздуха догнавшими его двумя немецкими «Юнкерсами». Я и Славка Еременко, тогда бойцы истребительного батальона, были патрулями на территории порта и видели разыгравшуюся в море трагедию от начала до конца. «Юнкерсы», облетев танкер по кругу, как бы выбирая удобную позицию для

бомбометания, выстроились один за другим и, как на учебном полигоне, спикировав, сбросили бомбы. Ни одна не попала в корабль, но тут же появилась следующая двойка «Юнкерсов», и на этот раз их бомбы попали точно. В считанные минуты огромное пламя охватывает танкер от носа до кормы. Мало этого — из разбитого взрывом борта выливается горючее, расплзаясь все шире и шире. Пожаром охвачен уже не только корабль, но и сама вода вокруг! Команда, кто еще остался в живых, на шлюпках чудом вырывается из полыхающего вокруг них огня. «Юнкерсы», освободившись от бомб, ястребами бросаются поливать их огнем из пулеметов. Мы отчетливо видим их светящиеся трассы, кинжалами устремленные в лодки несчастных моряков...

— Что же это делается? — несутся выкрики из толпы людей, [445] собравшихся у здания Клуба водников на пристани. — Полный аэродром самолетов, и ни один не вылетает отогнать фашистов!

— А военные катера? Смотрите, сколько их в порту?

— И зенитки молчат! Даже тревога не объявлена!

Действительно, происходило нечто непонятное. Ведь все было на глазах у города, наштигованного зенитными батареями, со множеством военных катеров-охотников в порту, каждый из которых имел крупнокалиберные зенитные пулеметы ДШК. Более того, на аэродроме было тогда 11 самолетов-истребителей, начиная от «И-16» и «Чаяк»{4} и кончая новейшими «МиГ-1» и «МиГ-3». Но ни один истребитель с аэродрома не вылетел на помощь «Куйбышеву», не открыли огонь зенитные батареи, — если не сбить, то хотя бы отогнать фашистов. Не была объявлена даже воздушная тревога, хотя как раз в те дни в парке санатория «Ривьера» располагалась и эффективно работала передвижная радиолокационная станция — по тем временам роскошь, дорогая новинка; таких станций по побережью было только две: в Анапе и Новороссийске. Чем и как это все объяснить?..

Горящий, окутанный дымом танкер продолжал дрейфовать по течению на северо-запад. Через сутки он приткнулся к берегу в районе озера Соленое и продолжал догорать там. Еще семь дней со спасательной станции в порту в бинокль мы наблюдали шлейф дыма с него. Затем все погасло... Осенними и особенно жестокими зимними штормами остов корабля был разбит, искорежен, выброшен на берег. Громадный, он кособоко лежал теперь грудой металла, наполовину засосанный в песок.

\* \* \*

К вечеру, обессиленные изнурительным переходом без каких-либо привалов, мы остановились у полуразрушенного скотного двора. Это была пустая овечья кошара совхоза «Бугае» Вышестеблиевского района, и там румыны объявили нам ночевку. Арсен, Борис и я, легко одетые, уже сейчас [446] дрожащие от холода, прижались друг к другу, сидя на корточках под стенкой. Страшно и тоскливо сознавать, что впереди длинная, тягучая холодная ночь. Наши приятели братья Романовы и Афонька рядом, они неторопливо жуют то, что принесли с собой, но и не думают поделиться, угостить нас едой, делая вид, что не видят нас. Мы крутим из газет и табака сигарки почти одну за другой и курим. Слава богу, хоть курево есть в достатке! Курим, приглушаем табаком голод...

Конвоиры-румыны ведут нас в Тамань: там, мол, переправа в Керчь. Без каких-либо происшествий, приключений во второй половине следующего дня мы оказываемся там. Тамань представляет собой невероятное скопище немецких и румынских войск, их транспорта, военной техники. Все вокруг заполнено массой солдат. Они везде: во дворах, на перетоптанных огородах, на улицах. Стоящей в воздухе пыли не дают осесть ревущие в натуге колонны автотехники, ползущие от берега моря, от переправы, и те, которые спешат туда же. Лязгающие гусеницами танки, цуг-машины, снующие туда-сюда трескучие мотоциклы связных, патрулей полевой жандармерии.

Выбивают пыль с дороги сапоги топающих через станицу колонн немецких солдат, копыта румынской конницы. В небе чехарда, круговерть самолетов! Там война! Налетели наши, — они сбрасывают бомбы и ввязываются в бой с прикрывающими с воздуха станицу и переправу немецкими «Мессершмиттами». Все это я вижу мельком, — рассматривать что-либо пристально невозможно.

Наша колонна, подгоняемая, словно лаем собак, злыми окриками полевой жандармерии: «Schneller! Laufen!», бежит трусцой в узких проходах забитых военной техникой улиц, спускающихся к переправе. Конвоиры-румыны, желая, по-видимому, показать, что и они тоже еще есть, бегут рядом с нами, переводя с немецкого: «Yai! Repede!»

Где-то совсем рядом рвутся бомбы. Звонко, хлестко стреляют установленные прямо у дороги быстрые, удобные в управлении скорострельные зенитки — «эрликоны». [447]

Пыль, дым, запах пожарищ, вонь, черная копоть горячей где-то резины!.. Нас обгоняют спешащие, как и мы, к морю румынские кавалеристы. Где-то слева сквозь их плотные ряды мелькнул памятник

черноморским казакам, установленный в честь 100-летия основания ими в 1792 году Тамани. Казацкие усы, папаха, свитка, шаровары, шириною в Черное море, кривая сабля на боку — все как и положено казаку.

«А немцы не разрушили, не взорвали памятник! — успеваю подумать я. — С чего бы это? Заигрывают с казаками, что ли?»

Под грохот стрельбы и взрывов мы петляем, пробегаем улицу за улицей и, наконец, спускаемся по глинистому склону крутого кургана к берегу Таманского залива. Здесь переправа в Керчь. С ходу, не останавливаясь, мы все уже через две-три минуты оказываемся в трюме немецкой быстроходной десантной баржи — БДБ. Команда (пять-шесть фрицев), не мешкая, тут же отдает швартовые, баржа разворачивается, и глухо урча, вибрируя все корпусом от работающего мощного двигателя, устремляется через пролив к крымскому берегу. Мы не одни в море. Многочисленные самоходные баржи, катера и катерки с солдатами, военной техникой, всевозможным армейским имуществом сплошным потоком идут и в Крым, и на Кавказ. Здесь, в проливе, уже нет никакой суеты, шума, грохота, того хаоса, из которого мы только что выскочили. Но в чистом голубом небе беспокойно так же, как и над Таманью. Летают, воют моторами, а где-то там и постреливают короткими очередями истребители.

Вдруг на берегу, в Тамани, опять яростно застучали зенитки. Мы видим, как оттуда совсем невысоко несутся два наших родных, краснозвездных самолета. Не то «Илы», не то «МиГи» — не разобрать! С ревом они проносятся над нами, летя через пролив в сторону Керчи. Там, развернувшись и набрав нужную для пикирования высоту, они уходят от плотного огня немецких зениток и уже с крымского берега опять устремляются к переправе.

— Alle raus! Все наверх! Schnell! Бистро! Скоро! — попеременно [448] русскими и немецкими словами гонят нас матросы из трюма на палубу: — Alle rufen! Кричать! Махать шапка самолет!

Понятно, что это для того, чтобы наши летчики видели нас и не бомбил и.

Мы кричим (как будто летчики могут услышать нас!), машем руками, шапками — кто чем. Это не помогло: в идущую впереди нас метрах в трехстах БДБ, полностью загруженную такими же угоняемыми ребятами, как и мы, наш родной герой-летчик точно вlepил бомбу. На наших глазах баржу подбросило, разломило пополам, и она мгновенно скрылась в воде, — как будто ее и не было!



Самолеты, пролетая, полосуют нас из пулеметов, но, к счастью, очереди проходят мимо, в воде вдоль борта. Продолжать расстреливать нас им не дали немецкие истребители, и так же внезапно, как и появились, самолеты на малой высоте уходят в складки местности Кавказского побережья.

Мы стоим в потрясении. На наших глазах только что погибли сотни безвинных советских ребят! И от кого? От своих же! Я не верю, что летчики не видели их, нас, — хорошо видели! Это то же самое, что и бессмысленный артиллерийский обстрел ночами Анапы нашими военными кораблями! Это то же самое, что и систематические ночные бомбежки ее нашими летчиками, когда бомбы падают не только на аэродром и порт, где немцы, а большей частью на дома, головы спящих своих же, советских людей! Это то же самое, что и варварская бомбежка ясным днем базара и толкучки в Анапе, где погибли и были ранены сотни горожан, — а немцев там в то время и духу не было!..

Вот и причалы Керченского порта. Здесь полный контраст с тем, что в Тамани. Тишина, чистота, полный порядок. Опрятно одетые немцы четко обслуживают подходящие и отходящие суда. Мы без какой-либо суеты покидаем БДБ, и выстраиваемся на берегу. После обычного пересчета нас ведут вон из порта, и один из словоохотливых конвоиров-румын, по виду которого заметно, что он безмерно рад [449] тому, что вырвался из кавказского пекла, весело улыбаясь, поясняет на чистом русском языке:

— Сейчас придем на железнодорожную станцию, погрузимся в вагоны и... ту-ту! — на Украину!

Час хода — и мы на станции «Керчь-2». Быстро спускаются сумерки. Нас подводят к какому-то длинному пакгаузу: здесь немцы, свора полицаев.

— Подходи получать продукты! Выдача только по предъявлении эвакуационных листков! — орет один из них.

Открывается борт стоящей здесь же большой крытой автомашины. Там два немца-солдата и... целый штабель хлеба!

— Подходи, получай хлеб! — опять кричит полицай.

Мы строем подходим к машине, и солдаты, даже не проверяя наличия эваколистков, дают каждому по буханке хлеба и по заранее нарезанному одинаковыми размерами куску сала.

«Вот и я получил продукты из рук немца! Это что же получается? Меня кормит враг? И я не брезгую, беру у него из рук еду!» — такие размышления ставят меня в растерянность. По спине идет какой-то мерзкий холодок.

— О чем задумался? — прерывает мои мысли Борис.

— Ешь! Может, считаешь, что тебя не совсем вежливо угощают фрицы, и ты обиделся? — пытается подшутить Арсен. Он с аппетитом жует, откусывает куски хлеба прямо от буханки, подрезает ножичком сало.

Голод берет свое, я больше ни о чем не думаю и тоже ем: как-никак мы шагали на голодный желудок двое суток.

К ночи мы оказываемся за станцией, у какого-то длинного каменного забора. Неожиданно загрохотало, забабахали зенитки, застрочили где-то совсем рядом с нами, за нашими спинами, крупнокалиберные зенитные пулеметы. Все вокруг в бликах стрельбы артиллерии, разрывов снарядов ее заградительного огня, яркого света трасс в небе. Слышится гул летящих самолетов.

— Наши летят! — взволнованно говорит Арсен. — Сейчас и фрицам, и нам достанется! [450]

Вспыхнули и заметались по небу, нервничая, выискивая самолеты, прожекторы, еще более добавив света в рваную темень вокруг. Грозный рокот самолетов быстро приближается. Завыли, завизжали падающие бомбы.

— Ложись! — орет кто-то испуганным, надорванным страхом голосом.

— Пропали мы, бра-атцы-ы! А-а! — кричит кто-то рядом в истерике.

Как и все рядом, я бросаюсь на землю вниз лицом, прижимаюсь, втираюсь в нее, прикрывая голову руками.

\* \* \*

Рвутся бомбы. Подо мною уже не земля, а нечто зыбкое, жесткое, дергающееся. Меня подбрасывает, швыряет в сторону, переворачивает. Я ударяюсь обо что-то затылком, до дикой боли мне выворачивает в плече руку. Вокруг огненные всплески взрывов, рвущееся пламя, бешеная пляска огня. Сверху сыпется, падает дождем, гулко стучит по крышам [451] вагонов все то, что было поднято, брошено вверх силой взрыва бомб.

— По-мо-ги-те! А-а! Уби-ли-и! — в отчаянии кричат недалеко.

Потом все кончилось. Жарким, потрескивающим, высоко бросающим искры пламенем горят разметанные вагоны товарняков, вздыбились и неестественно застыли железнодорожные цистерны — к счастью для нас, порожние от горючего. А там, дальше, ближе к зданию вокзала, в свете огня видны бегающие, суевающиеся люди — не то немцы, не то русские рабочие. Оттуда несет едким, густым дымом.

— Удачно отбомбились наши! — осматриваясь, делает заключение виденному Ленька Романов. — Большую работу задали фрицам!

— Быстрее бы нас увели или увезли отсюда! — его брат Толька высказывает желание, не чуждое и нам. — Подальше бы от таких бомбежек!..

Уже на рассвете нас куда-то вели, считали, пересчитывали. Наконец, мы погрузились в эшелон с обыкновенными товарными вагонами. Вагоны голые, пустые, но зато с чистым, сухим полом. В них не холодно, вполне терпимо. Полумрак, [452] так как дверь конвоирами полностью задвинута и закрыта снаружи на крюк. Дневной свет — только через два зарешеченных окошка под потолком в противоположных сторонах вагона.

Поезд часто останавливается на каких-то станциях или просто разъездах. Во второй половине дня, на очередной остановке, брякнул запор на дверях нашего вагона, и она поползла в сторону. Солдат-конвоир объявил, что, кто желает набрать воды для питья, может это сделать. Наш паровоз стоял у водозаборной колонки, наливая воду в тендер. Сюда, к нему, бежали со всевозможной посудой в руках люди. Побежали и с нашего вагона. Минут через двадцать все утолили жажду, но эшелон продолжал стоять.

Мы сгруппировались у раскрытой двери вагона, наблюдая обычную вокзальную суету. Вдруг Ленька, что-то сообразив, спрыгнул на насыпь, быстро юркнул под стоящие рядом вагоны. Минут пять-десять — и он вернулся с толстым обрезком металлического прута в руках. Влез в вагон, внимательно осмотрел глазами слесаря-профессионала ролик нашей двери, по которому она катилась по желобу при открытии и закрытии, — и сунул под него прут, навалился, побряхтел, с силой стукнул пару раз по металлу. В результате этих манипуляций дверь вагона больше не закрывалась.

— Так лучше! — сказал он. — Ехать и не видеть, куда тебя везут, — не клево!

— Да и веселей так! — соглашается с ним Афонька. — Сидишь в темноте — ни хрена не видишь!

— Правильно! — поддерживают их все.

Все довольны. Вдоль эшелона прошли конвоиры, проверяя наличие людей. Как и следовало ожидать, дверь в нашем вагоне, несмотря ни на какие их усилия, закрыть не удалось. Те плюнули, выругались, махнули рукой и ушли, — и к нашему удовольствию, весь последующий путь мы ехали при открытых дверях. Любоваться особо было нечем: сколько едешь — вокруг голая, безлюдная степь. Будки, дома железнодорожников и другие разные постройки на разъездах да и станциях — все разбито, сожжено войной. Но, несмотря на это, сама дорога [453] работала исправно. Нельзя сказать, что поезда, воинские эшелоны двигались с перебоями, с долгими стоянками на станциях.

— Я здесь, в Крыму, бывал, знаю, что к чему! — делится с нами вополголоса Ленька. — Так думаю, что к вечеру мы будем в Джанкое. Вот там мы с братухой и рванем когти! Незачем нам ехать в Германию!

День клонился к вечеру, когда паровоз дал гудок, зашипел, выпуская пар, и поезд, сбавляя ход, втиснулся между тесно стоящими слева и справа на запасных путях эшелонами и замер, окончательно остановившись. Вокзал нам не был виден: перед нашей дверью сплошной стеной стояли товарные вагоны вперемешку с открытыми платформами.

Ленька Романов, не ожидая полной остановки вагона, быстро спрыгивает на землю, куда-то бежит. Через минуту он уже вернулся: запыхался, спешит, лезет к нам.

— Приехали! Это Джанкой! — И неожиданно для нас: — Прощайте, братцы! Дальше мы с Толькой не едем! Здесь у нас живет тетка. Мы к ней! Толька, собирайся быстрее, пока румын не видно!

А чего собираться? Толька подхватывает с пола свой и его сидора — и он готов.

— А как же вы будете жить? — спрашиваю я Леньку в некоей растерянности от неожиданности принятого им решения. — Здесь ведь татары?

К нам, в Анапу, доходили слухи, что в Крыму местные татары перед немцами угодничают, выслуживаются, свирепствуя по отношению к русским. С приходом немцев русские, жившие до этого бок о бок с ними, вдруг сразу стали их злейшими врагами. Появиться в селении, где проживают татары, — все равно что сразу подписать себе смертный приговор: растерзают, убьют или, в лучшем случае, приволокут к немцам.

— Ничего! Устроимся, как-нибудь проживем! — оптимистично смотрел на будущее Ленька.

Торопясь, он еще раз прощается с нами и, подхватив сидор, прыгает на землю, за ним Толька. Секунда — и они скрылись между вагонами... [454]

Наш поезд, до предела замедлив ход, ползет по рельсам через перекопский Турецкий вал по вызывающему сомнение деревянному мосту через ров. Подо мною его пугающая глубина. Все сооружение (и вал, и ров) впечатляет своими грандиозными размерами.

— Вот мы и на Украине! — как-то вяло, отрешенно говорит Борис. Может, он уже сожалеет в душе о своей глупости, из-за которой он сейчас здесь?

Наш поезд остановился далеко от станции, не доезжая до семафора. Справа, метрах в двухстах, — край большого села. У одной из хат, вне двора, прямо в степи мы видим колодец. Вода! Вода!

Томимые жаждой, мы выпрыгиваем из вагона и бежим к колодцу. Мы не первые, здесь уже прибежавшие раньше нас, из соседних вагонов. Слышится какая-то громкая перебранка, и, подбежав ближе, я вижу: у колодца, вцепившись в ведро-бадюю обеими руками, стоит разгневанная молодая украинка, отбивается от пытающихся вырвать у нее ведро наших ребят и громко, до неприятности визгливым голосом орет:

— Гэть! Гэть витцяля!.. Нэ дам воду! Кажу — нэ дам воду! Гэть, москали прокляты!

Что это она? Неужели воды ей жалко? Почему она такая злая на нас?

Людей с поезда все больше и больше. Всем невтерпех попить. Подходят мужики в возрасте. Они не шумят. Один из них кладет руки на бадью и что-то тихо говорит украинке, страшно вращая глазами. Та, как ошпаренная, отскакивает от него и, на ходу поправляя на голове платок, быстро семенит к хатам села. Только уже там, чувствуя себя в безопасности, она приостанавливается, оглядывается — и вновь поток ругани и проклятий несет на нас.

Но нам на нее наплевать! Ведро-бадюя мелькает туда-сюда, вода разливается в банки, в котелки, в кастрюльки, в бутылки. У кого всего этого нет — тот подставляет под струю сложенные в пригоршню ладони.

Нас строят и куда-то ведут по насыпи. Солнце огромным, полыхающим, багровым диском скрылось далеко впереди, [455] за горизонтом; падают холодные, влажные сумерки. Румыны-конвоиры изрядно, не менее нашего, устают от длительного, многокилометрового перехода по унылой, пустынной, кажущейся бескрайней степи. Из разговоров с ними мы уже знали, что конечная цель нашего похода — город Херсон; о дальнейшей же нашей судьбе они не знали ничего.

Еще одна ночевка в пустой, полуразрушенной кошаре, еще 30–40 километров ходьбы по грунтовой дороге, — и вот берег Днестра и Херсон. Старший нашего конвоя уходит куда-то хлопотать о нашей переправе на другой берег.

Мы с любопытством всматриваемся в реку, полную множеством снующих туда-сюда катерков, буксиров, каких-то парходиков, барж. Слышатся то басовитые, то по-щенячьи пискливые гудки судов; дробью рассыпаются сигнальные звонки быстро снующих по каким-то своим надобностям маленьких, юрких катерков под ярко-красными флагами с

фашистской свастикой в центре. Река, порт — все в деловой суете, а на противоположном берегу дымят высокие трубы.

Мы где-то ближе к окраине города: в центр нас не повели. Наоборот, уже к вечеру нас загнали в один из дворов на окраине и сказали, что это и есть конечный пункт, куда нам надо было прийти. Во дворе большой пустующий дом, чем-то напоминающий сельский клуб, в нем мы и переночевали.

— По-одъем, кацапы! — орут на нас утром.

«Наших» румын-конвоиров уже не было. Вместо них за нами присматривали теперь местные полицаи. Минуты две — и мы в строю; пересчитанные, неровно стоим в две шеренги поперек двора. Какие-то люди в штатском, перед которыми угодливо, подобострастно заискивают полицаи, обходят строй, внимательно, пристально вглядываясь в каждого. То ли выискивают кого, то ли еще чего...

— Евреев высматривают! — шепчет мне Арсен.

— Со двора никуда не отлучаться! — громко объявляет один, по-видимому, старший из полицаев. — К концу дня вас уведут отсюда, и вы будете отведены куда надо! А сейчас [456] без толкотни пройдите вот в этот пакгауз. — Он показал рукой в отдельно стоящий в глубине двора амбар. — Там вы получите еду!

Каждому из нас было выдано по полбулки хлеба, по две луковицы и одному яблоку. Вроде не ахти какая еда, но мы рады и этому. Один миг — и наши руки свободны: все полученное моментально проглочено.

За забором, за нашими спинами мы слышим натуженный вой двигателя автомашины. Обогнув угол и объехав двор, она останавливается у ворот. В калитку входят полицаи и четверо немцев: три солдата и фельдфебель.

— Станови-ись! — тут же орет, командует полицай и рукой показывает направление построения. — Быстро-о!

Мы вновь выстраиваемся посреди двора. Немцы выходят к середине строя.

— С вами сейчас будет говорить господин оберфельдфебель! — объявляет старший полицай. Он, вытянувшись в струнку, дергается вверх, щелкает каблуками и четко делает шаг в сторону, с поворотом к фельдфебелю.

Высокий, худой, в безукоризненно чистом мундире фельдфебель, сдвинув брови, строго повел взглядом по нашему строю из конца в конец и, упершись глазами в середину, как раз туда, где стою я, громко, с акцентом, недостаточно ясно по-русски сказал нам:

— Wie ein Mann — ви все есть грязный задница! Ви есть сраки! — Он сделал паузу, желая, чтобы мы хорошо усвоили данное им нам определение, кто мы есть. — Красни Армий — kaput! — продолжал он. — Ваша Сталин есть Dummkopf und Autschneider — дурак и хвастун! Фюрер много сказаль: — «Немски Армий den Sieg erringen — победа!» Мы hach Haus unser Kommunist schießen — постреляйт! Ваш коммунист und Yude — и еврей gleich — скоро auch — тоже! Нада viel — многа arbeiten — работа! Вы das nicht lieben — нет любить работа! Ви сраки! Deutsch Soldat — немецки зольдат учить вас карашо arbeiten — работа! Ich will — я хотель брать двадцать до-бро-воль-ски на работа! Завтра утро ви все ехать на Германий работать! Heute — сегодня мне нада hier — здесь 20 рабочих! Пошоль здесь! [457]

Все ясно. Оберфельдфебель мог бы и не говорить столь пространно. Он приехал сюда, чтобы взять 20 человек на какие-то там работы.

Наш строй стоял неподвижно, молчал.

— Ну, чего чухаетэсь? Выходьте! — выкрикнул один из полицаев. — Нэ хотитэ туточки робыть, завтра потопаете у Германию! Выходьтэ, бо мы... — Он не договорил. Оберфельдфебель занервничал, задергался, что-то сказал старшему полицаяу и вместе с ним пошел вдоль строя.

— Dieser! — этот! — говорит он полицаяу и показывает рукой на одного из стоящих в строю парня.

— Выходи! — рявкает полицай.

Парень, боясь худшего к себе обращения, торопливо выходит вперед из строя.

— Этот! — показывает немец на уже выбранного им следующего.

Выходит и другой.

Вдруг, к моему удивлению, из строя, еще до подхода к ним оберфельдфебеля, добровольно сразу вышло не менее десяти человек: среди них я вижу Виктора.

— Смотрите, сами вышли! — говорит тихо сосед. — У немцев хотят работать, сволочи!

— А что завтра всех повезут в Германию, так там не на немцев будет работа? Да? Лучше уж здесь, дома! — услышав его, говорит высокий парень рядом со мной. — Что в Германии на немца, что здесь на немца!

Высказав это, он решительно, растолкав плечом впереди стоящих в шеренге, вышел из строя.

— Ogut, schön, — видя выход добровольцев, заулыбался, повеселел оберфельдфебель. — Fünfzehn! — считает он уже вышедших. — Noch fünf Mann!

Вот он уже остановился против нас. Смотрит удавом, впивается взглядом в меня:

— Этот!

— Выходь! — гудит полицай.

Я в растерянности... Обдало внутри холодом, по спине мурашки. Внутри во мне какой-то инстинктивный протест, нежелание подчиниться воле врага. [458]

— Я не один, с братом! Он инвалид... Я должен быть с ним!.. — цепляюсь я за соломинку. Мои доводы ни к чему.

— Кажу, выходь! — орет полицай, хватая меня за плечо и рывком выдергивая из строя.

Вслед за мною вышвырнут Арсен. Он, так же как и я, ошеломлен и обескуражен, — стоит рядом и смотрит на меня, глупо улыбаясь. Я быстро прихожу в себя и сразу же обращаюсь к старшему полицаю.

— Он ранен! — показываю я на Арсена. — У него в голове два осколка от бомбы! Он не может работать!

— Ранен? — удивлен полицай. — Ну, так пошел вон!

Арсена опять швыряют пинком в общий строй.

— Fertig! Das genug! — прекращает набор «добровольцев» оберфельдфебель.

Вместе с теми, которых выбрал оберфельдфебель, и вышедшими к нему добровольно нас двадцать. Автомашинной нас перевозят куда-то на окраину все того же Херсона. Кузов, туго обтянутый брезентом, и сидящие у заднего борта солдаты не позволили нам видеть, какой дорогой и куда нас везут, но ехали мы недолго, минут двадцать. Машина стала, нам было приказано выгрузиться у двора по улице, выходящей прямо в степь, и ждать. Оберфельдфебель, оставив присматривать за нами одного из солдат, уехал с остальными. Солдат, а точнее — обер-ефрейтор, мало похож на настоящего (какими мы всегда представляем их себе) немца. Этот — явно славянского происхождения: чернявый, кареглазый, среднего роста; разве что усы под носом «а ля фюрер». По-русски он говорил с ужасным акцентом, но вполне сносно: настолько, что с ним можно было свободно разговаривать. Мало-помалу мы разговорились, тем более что высокомерно он себя не вел. Obergefreitor Hans Rotbauer, собственно, был не немец, а австриец из небольшой деревушки Kaiserschteinbruch в 16 километрах от Вены. До войны



он жил в Словакии среди славян, выучил польский язык и там же каким-то образом немного научился и русскому. Войной он недоволен.

— О-о-о! Krieg führen — война нет карашо! Война нада slub kaput! — доверительно говорит он нам, понизив голос и [459] оглядываясь назад, как бы удостовераясь, что его крамольные слова не слышат соплеменники. — Немеки und Руссиш Menschen — люди, niks — нет плехо! Пуф-пуф не нада! Fahren nach Haus нада! Ich du-tu-tu! — Он тычет пальцем себе в грудь и поочередно всем нам...

— Скажи, Ганс! — спрашивает его Витька Балабанов, — на какую работу вы нас взяли? Где мы будем работать?

— О-о! Работа многа! Нада делить grob und lang — длинни, большой Weg und Bracke — дорога, мост на Днепр!

— А где это? Здесь, в Херсоне?

— Нет! Дорога, мост im Stadt на город Berislav und Kachovka! Achtzig Kilometer — восемь на дэсять километер Берислав!

Выкурив очередную пахучую сигарету, Ганс поднялся, одернул на себе мундир, закинул за спину автомат:

— Also für heute genug. Ви карашо hier schlafen — здесь спать! Auf Morgen früh — утро я приходиль к вам насад! Guten Nacht! — Он приветственно махнул рукой и пошел со двора.

Мы удивлены.

— Как? Нас никто больше не охраняет? Нас оставили одних? — говорит Витька, обращаясь сразу ко всем. — Можно сейчас вот так встать и уйти куда хочешь?

— Получается, что можно! — выражает свое мнение другой парень. — Но куда и зачем?

Завязался спор. Одни предлагали сейчас же, не мешкая, разбежаться всем кто куда. Другие доказывали, что в этом нет никакого смысла. Работать немцы все равно принудят: не здесь, так где-то в другом месте.

— Вы как хотите, а мы уходим! — заявили четверо парней, навесили за спины свои сидора и ушли со двора в темноту наступившей ночи. Двое из них алексеевские — я знал их в лицо.

«Что мне делать, как поступить?» — задумался я. Надо хорошенько поразмыслить и твердо определиться в теперешней ситуации! Хорошо, можно сбежать — встать сейчас и уйти, как только что сделали эти четверо ребят. Но куда мне сбежать, куда идти? Где я буду жить и сколько времени? [460]

Когда там еще подкатится сюда фронт, придет освобождение? Кто меня будет кормить и за что? Люди здесь и сами еле-еле перебиваются с продуктами. Никто меня не пустит к себе жить просто так, никому я не нужен. К тому же я и не украинец! Дома, в Анапе, перед угоном меня сюда, я не знал, куда себя деть, где спрятаться, скрыться, а здесь тем более. Кругом чужие люди и голая беспредельная степь!..

Но если некуда уйти, то, значит, придется работать у фашистов, быть у них рабом? Да, это так, но работа работе рознь! Если я сейчас убегу, то нет никакого сомнения в том, что немцы в ближайшие дни выловят меня и отправят в Германию. А там — работа в шахтах, на заводах! Делать придется бомбы, снаряды, патроны, которыми фашисты будут убивать наших солдат. Так что? Делать эту работу или остаться здесь, на Украине, и строить какую-то там дорогу из Берислава в Каховку и мост через Днепр? Дорога ведь — не боеприпасы! Она в равной степени нужна и нашему народу после освобождения! Таким образом, строя эту дорогу, я никакого ущерба Родине не принесу, а поэтому мой рабский труд не будет для меня унижительным, предательским. Лучше работать здесь, а не в Германии, — а там, дальше по времени, будет видно.

Еще и еще раз я возвращался к началу своих рассуждений, прокручивая их в голове вновь и вновь. Но другого выхода для себя я не видел...

Опять многокилометровый поход в Берислав по пыльной грунтовой дороге вдоль Днепра, петляющей по балкам и пологим холмам степи. Впереди нас колонна военнопленных — небольшая, человек сто, не более. Она под конвоем солдат. Пленных тоже гонят из Херсонского лагеря в Берислав для строительства дороги. Мы, 16 пацанов, идем за ними, но без какой-либо охраны и конвоя. Идем свободно, толпою, никто нас не понукает, не подгоняет. Рядом шагает приставленный смотреть за нами, уже нам знакомый оберфрейтор Ганс Ротбауэр.

— Ви niks — нет хотель побежала! Германии arbeiten — работа карашо, aber hier — здесь лючче! — Ганс отлично понимает нас, и вообще — понимает что к чему... [461]

Вот и Берислав! Мы изрядно устали и еле-еле волочим ноги. Лично я уже в последнее время столько переходил, столько километров оттопал ногами, что этот поход уже не казался мне из ряда вон выходящим. Но устал я быстро — сказывалось постоянное недоедание.

Всего один квартал от окраины города, и мы останавливаемся на широкой, ничем не мощенной, сплошь поросшей мелкой травой площади. Час-полтора ожидания здесь — и, наконец, все утрясается. Немцы (воинская

часть, которой и предстоит заняться строительством дороги и моста) размещены тут же, у края площади, в пустующем здании школы с ее обширным двором. Наши пленные уведены дальше к центру города, где, занимая несколько домов, размещалось что-то наподобие лагеря военнопленных. «Подобие лагеря» — потому, что это нисколько не походило на стандартный немецкий концлагерь, которые я уже видел и в одном из которых был. Никаких сторожевых вышек, колючей проволоки вокруг территории, охраны с собаками: просто два больших двора, обнесенных крепким забором между соседними, жилыми домами горожан. Охрана — единственный немец-часовой у ворот.

Что касается нас, мальчишек, то мы были размещены в окраинных домах местных жителей. Мне выпало жить в паре с Витькой. Хозяйка, украинка, единственная в этом доме женщина лет сорока. К нашему вселению она отнеслась враждебно: не скрывая своей неприязни к нам, зло смотрела на нас, искривив лицо в неприятной гримасе, шипела: «Нэ трэба мэне москалі-квантіранці!»

Мы с Витькой сначала попытались добром, вежливостью изменить ее отношение к нам, но это не помогло, и через три дня нашего присутствия здесь Витька не выдержал, плюнул и ушел в соседний дом. Там жили шестеро наших ребят, у которых с их молодыми хозяевами было полное взаимопонимание.

Работали мы адски, как египетские рабы, а кормили нас немцы слабо. Голод настолько давал себя знать, что я не выдержал и как-то вечером снял с себя свитер и пошел в соседнюю улицу к местным людям, чтобы выменять его на [462] что-либо съестное. Наугад я заходил во дворы, но никому мой свитер не был нужен. Одни улыбались, расспрашивали, кто я и откуда, и вежливо отказывались, а были и такие, что чуть ли не гнали в шею. Наконец, в каком-то дворе я нашел общий язык с хозяевами, и свитер был куплен ими за ведро картошки. Помимо купли-продажи я, сидя в этот тихий, теплый весенний вечер в их дворе, разговаривая с ними и видя некоторое сочувствие ко мне, попросил их спрятать меня от немцев.

Мне отказали. Сказали, что прятать у себя они не могут и не хотят. Зачем подвергать себя риску ради чужого им человека? Да и смысла в этом никакого нет! Все живут один у другого на виду, по сто раз переписанные и зарегистрированные полицией. На днях немцы уже отправили две партии молодежи из города в Германию. Вскорости подберут и всех остальных, оставшихся. От немцев, и особенно от полицаев, не спрячешься! «Так, что, хлопчик, работаешь ты на дороге, ну и строй ее, проклятую! Это лучше того,

что тебя угонят в Германию! Строить дорогу и мост придется ясно, что долго, не один месяц, а за это время мало ли что может случиться. Там, дальше, видно будет!..»

На этом наш разговор и закончился. Оставшись в одной майке, я снял рубаху, завязал узлом ее ворот, и получилось что-то вроде мешка. Хозяева высыпали туда мне ведро картошки, и я, поблагодарив их, пошел к себе.

Сегодня Пасха. Моя злая хозяйка, сама чисто одетая, убралась и в доме. Везде, где только можно, развешаны красиво вышитые украинским орнаментом холщовые, тщательно выбеленные полотенца-рушники, разложены по подоконникам такие же салфетки. В углу зала сияет начищенная икона, перед нею на цепочке витиеватой формы светит зажженным хозяйкой язычком неколеблущегося пламени маленькая лампадка. На скатерти на расписном блюде стоит горка крашеных яиц. Рядом — пышная пасха, политая застывшей белой сахарной глазурью с точечками вкрапленного в нее разноцветного пшена, в тарелке кутья.

Не знаю, для кого это все выставлено, но только не для меня. Хозяйка с чуть заметной ехидной улыбкой смотрит на меня, но угостить по случаю праздника и не думает. [463]

Впрочем, она разрешает мне взять казанок и сварить свою картошку. «Каждый вечер буду варить по четыре-пять штук, и мне ее надолго хватит!» — планировал я. Но все вышло по-другому. На следующий день, опять вечером, я решил сварить себе несколько картофелин и пошел во временку. Оставленной здесь мною вчера картошки не было.

«Наверное, хозяйка куда-то переложила ее, — подумал я. — Кстати, вот и она сама...»

— Тетя! Я вчера вот здесь, в углу, высыпал картошку, а сейчас ее нет. Вы, наверное, переложили ее куда-то? Где она? Я хочу сварить и поесть! -

Хозяйка, руки в бока, стоит, нагло смотрит мне прямо в глаза: «Нэма картопли!..»

— Как это... нет? — Я, не ожидая такого оборота, растерялся, опешил. — Я... свитер свой вчера выменял на нее... Здесь, вот, вчера сварил и съел пять штук, а остальную оставил... Вот, в углу высыпал!.. Где она?

— Кажу, нэма картопли! — Хозяйка с вызовом, зло смотрит на меня. — Була, тэпэрэчи нэма!

...Что мне оставалось делать? Орать на нее, скандалить, плюнуть в подлую харю? Делать этого я не стал: грубо оттолкнул ее и вышел из временки. Не заходя в дом (там мне нечего было брать, — все, что я имел, было на мне), я пошел со двора в тот дом, где вместе с Витькой жили теперь

уже семеро наших ребят. Я стал восьмым. Дом был большой, разделенный внутри глухой стенкой пополам, с двумя входами с противоположных сторон. Хозяева занимали ту половину, что со двора, а мы ту, в которую вход с улицы. Две большие комнаты и коридорчик, — и ни стола, ни стула, ни какой-либо скамьи или чего еще другого из мебели! Пол устлан перебитой, перетертой, истоптанной в полову соломой. По ней мы ходили, на ней и сидели, и спали...

За военное время я уже настолько притерпелся ко всяческим неудобствам, что мне было уже совершенно безразлично, где спать, на чем сидеть и лежать, — лишь бы не было холодно! Здесь нам и пришлось жить все то сравнительно долгое время, пока производились намеченные немцами работы на Днепре и его берегах. [464]

Каждый день в 6 часов утра, с немецкой точностью, обер-ефрейтор Ганс Ротбауэр приходил будить нас на работу. Он не заходил к нам в дом, не расталкивал нас спящих ногами, а ограничивался тем, что с улицы стучал в окно и произносил одно и то же слово: «Aufstehen!» — после чего удалялся восвояси.



В освобожденной Анапе. 1944 г.

Мы быстро  
вскакивали,  
ополаскивали  
наскоро водой из  
колодца лица и  
спешили к школе. Не  
будешь спешить —  
останешься без  
завтрака. К этому  
времени туда  
подходили из лагеря  
военнопленные. Не  
мешкая, мы

проглатывали  
скудную еду вместе с

ними и пешком топали 5 километров к месту работы на берег Днепра. Военнопленные шли под конвоем солдат, — мы следом, без охраны. Не знаю, какова в данном случае была логика немцев. Нас, мальчишек, они не держали под охраной по той причине, что нам некуда было деваться, бежать. Поймают — отправят в Германию (это нам объяснили еще по дороге из

Херсона). Но пленных зачем охранять, — им же тоже некуда бежать? Наверное, я что-то недопонимал...

Широкая балка, начинающаяся где-то в степи, прорезала двадцатиметровую стену обрыва поперек и выходила к самой реке. По ее пологому склону, круто вильнув, дугой пролегла наезженная телегами глинистая, пыльная дорога. По ней мы и спустились к Днепру. В этом месте он сравнительно узок — метров сто — сто двадцать, не более, но течение здесь очень быстрое.

Хорошо просматриваемый отсюда левый берег реки пологий, ровный, весь в песчаных холмах, прикрытых сверху дерном и покрытых густым кустарником. А дальше — бескрайние степи. Там, в 12 километрах отсюда, утопала в садах знаменитая Каховка.

— Большовыки спочиналы робыть ще до войны тута мист черэз Днипро, та у них ничеого нэ выйшло! Пола вода в весну геть всэ змыла! — так говорили нам местные жители.

Да, действительно, у противоположного берега в воде реки торчали уцелевшие деревянные столбы-сваи разрушенного стихией, так и не достроенного моста. [465]

Та же задача — соединить надежной во все времена года транспортной связью левый и правый берега Днепра — встала и перед немцами. Для этого им было необходимо соорудить крепкий, выдерживающий весенний ледоход на реке, мощный грузоподъемный мост. И поскольку левый низкий берег в весеннее половодье широко заливадается талой водой, построить от моста до Каховки капитальную дорогу — шоссе на высокой насыпи. Кроме этого, чтобы застраховать бесперебойную работу переправы с берега на берег, исключить возможность нарушения грузопотока, они решили связать оба берега канатной дорогой.

Фронт строительных работ развернулся сразу на обеих сторонах реки. Деловито, четко, не мешкая, без какой-либо суеты, немцы начали работы. Временно, для переброски через реку необходимой для работ строительной техники, материалов, рабочей силы, они в течение первого же дня навели понтонный мост. Из Херсона мощным пароходом-буксиром были доставлены 12 секций такого моста. Десяти метров длиной, каждая из них представляла собой два сваренных из листового железа баркаса, соединенных между собой в виде катамарана. Поверх них, на высокой конструкции из швеллеров и уголков, было проложено само деревянное полотно дороги моста. Состыковав эти секции торцами друг к другу, немцы получили прекрасный плавучий мост, соединивший два берега. Широкая

проезжая часть, пешеходная дорожка сбоку, перила — все, как и положено быть на мосту. Баркасы, как и весь мост в целом, выровнены в струнку, закреплены в воде мощными якорями. Мост готов.



**Встреча освободителей жителями Анапы**

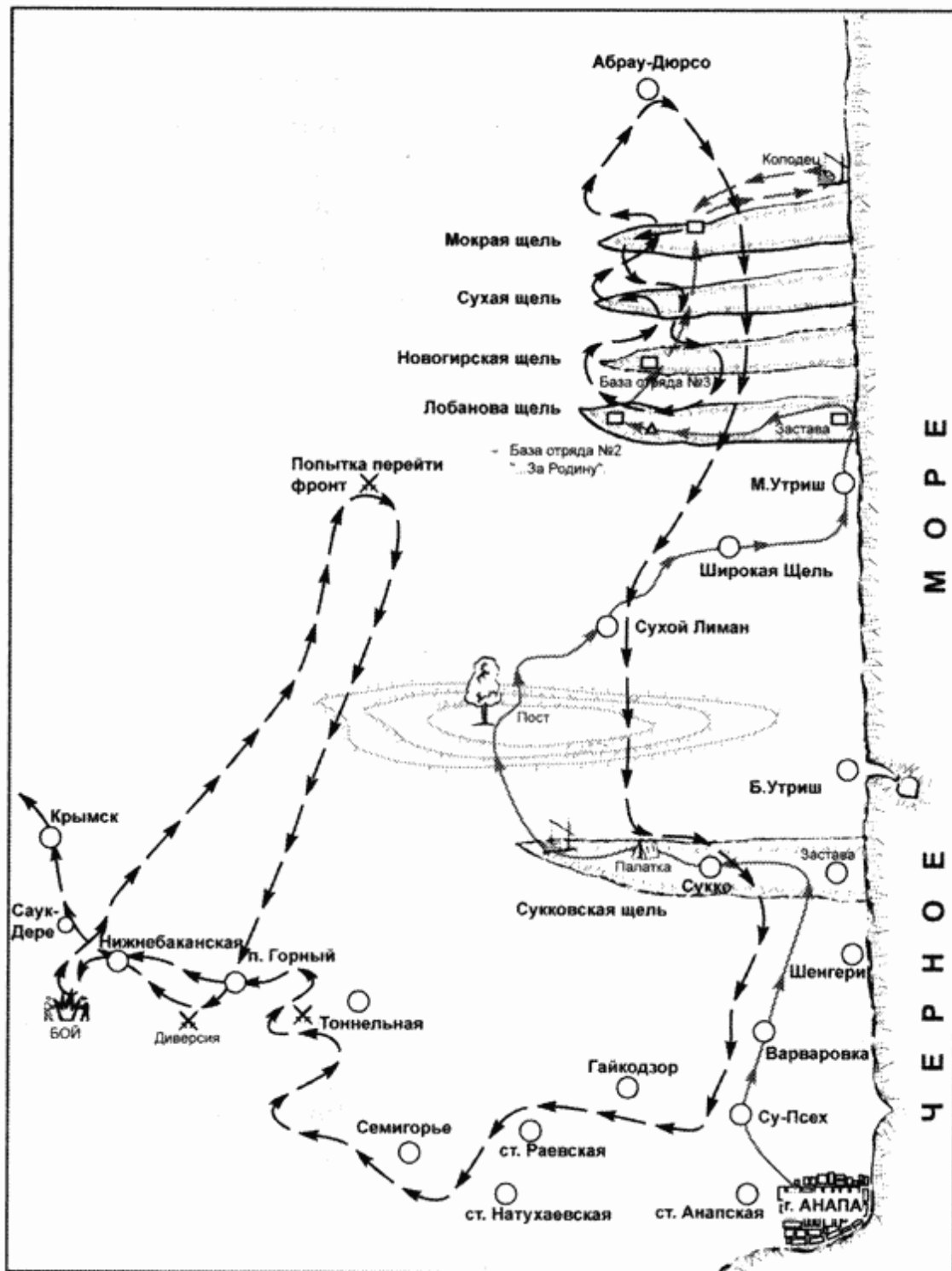


Схема пути Николая Овсянникова  
осенью — зимой 1942 года.



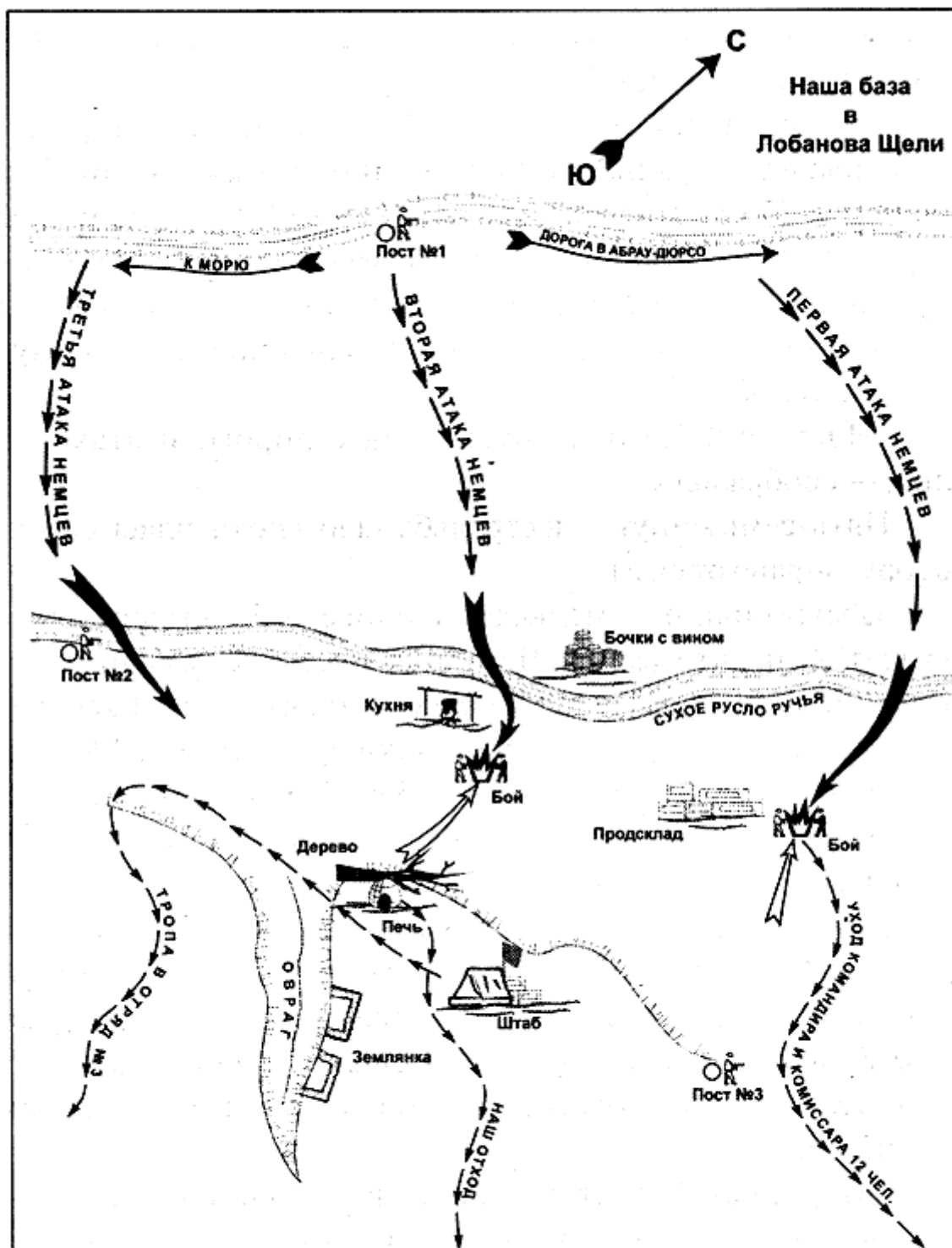


Схема боя за базу  
2-го Анапского партизанского отряда